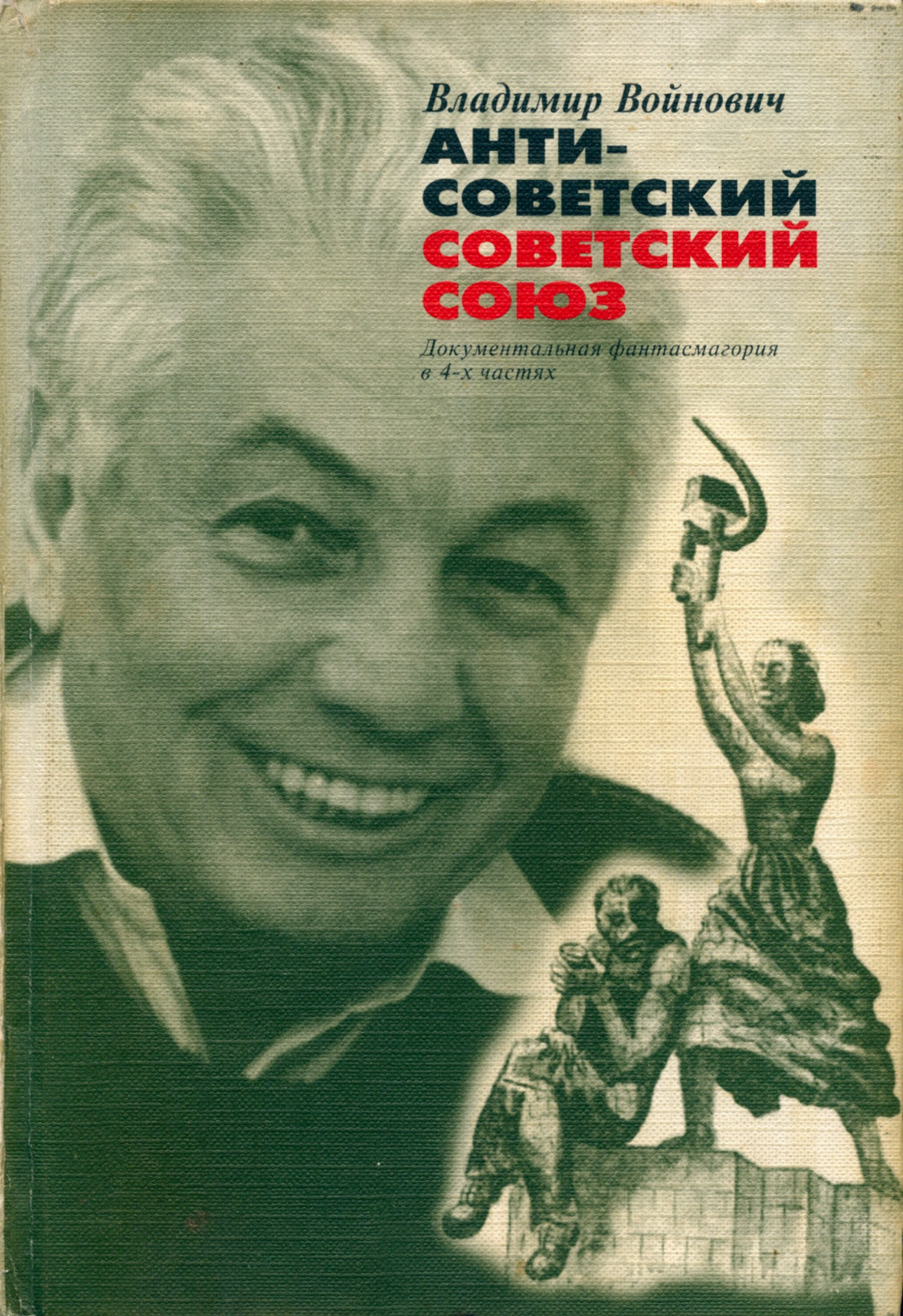


Владимир Войнович **АНТИСОВЕТСКИЙ** СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Владимир Войнович
**АНТИ-
СОВЕТСКИЙ
СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ**

*Документальная фантасмагория
в 4-х частях*





Зачем раздражать народ, вспоминать то,
что уже прошло?
Прошло? Что прошло?
Разве может пройти то, чего мы не только
не пытались искоренять и лечить,
но то, что боимся назвать и по имени...
Оно и не проходит, и не пройдет никогда,
и не может пройти, пока мы
не признаем себя больными...
А этого-то мы и не делаем.

Лев Толстой

РОССИЯ • XX ВЕК • НОВОСТИ ПРОШЛОГО

Владимир Войнович

**АНТИ-
СОВЕТСКИЙ
СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ**

*Документальная фантасмагория
в 4-х частях*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАТЕРИК» • МОСКВА • 2002

ББК 84 (2)
В65

РОССИЯ • XX ВЕК • НОВОСТИ ПРОШЛОГО
ПРОЕКТ 2001 ГОДА

Редакционный совет:
А.Н. Яковлев, Б.М. Сарнов, В.Н. Войнович,
Ф.А. Искандер, В.Т. Кабанов

Войнович Владимир Николаевич.
В65 **Антисоветский Советский Союз.**
Документальная фантасмагория в 4-х частях. —
М.: «Материк», 2002. — 416 с.
«РОССИЯ. XX ВЕК. Новости прошлого»

ISBN 5-85646-060-X

Причудливые, неправдоподобные, но задокументи-
рованные картины недавней нашей реальности
в жизни, литературе и политике. 1973-1993.

ББК 84 (2)

ISBN 5-85646-060-X

© В.Н. Войнович, 2002
© Издательская фирма «Материк»,
проект «РОССИЯ. XX ВЕК. Новости прошлого», 2002

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АВТОРА

Я родился 26 сентября 1932 года в городе Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой был журналистом, мать — учительницей математики. По национальности мать — еврейка, отец — русский сербского происхождения.

Одна парижанка русско-татарских кровей, узнав о моих корнях, была крайне изумлена и спросила, как же я могу считать себя русским писателем. На что я ответил, что я не считаю себя русским писателем, а я есть русский писатель.

Мои знания о предках по материнской линии обрываются на моем дедушке, который был, кажется, мельником. Зато о моей отцовской линии мне известно гораздо больше.

Начало свое наш род ведет от некоего Ивана Воина, о занятиях которого можно судить по его имени. В роду было много военных и воинственных людей, в том числе несколько генералов и адмиралов. Адмирал Марко Иванович Войнович при Екатерине Второй поступил в русскую военно-морскую службу, которую начал, как написано в старой энциклопедии, «в Архипелаге, где отличался своею храбростию». Он командовал на Черном море первым линейным кораблем «Слава Екатерины», был основателем и первым командующим русским Черноморским флотом. Главная пристань Севастополя названа Графской в его честь. Многие из его потомков также были моряками. Эта традиция, кажется, оборвалась на моем прадеде и четырех его братьях — все пятеро были капитанами дальнего плавания. Но в нашем роду были и люди мирных профессий. Один из них, Иво Войнович, признанный классик сербо-хорватской литературы. Брат моего деда Драгомир Николаевич Войнович написал известную в дореволюционной России «Историю сербского народа». Мой отец Николай Павлович перевел на русский язык значительную часть сербского эпоса (но напечатал, к сожалению, лишь малую толику переведенного). Мне было приятно узнать, что Милован Джилас тоже мой дальний родственник (его мать из рода Войновичей).

Несмотря на некоторую необычность моего происхождения, первая часть моей жизни была вполне заурядной для советского человека моего поколения. Мне не было четырех лет, когда отца арестовали по вздорному политическому обвинению. Он провел в лагерях по советским понятиям не так уж много — «всего» пять лет. В мае 1941 года (за месяц до начала войны) его не только освободили, но

даже реабилитировали и предложили восстановиться в партии. На что мой отец, не научившийся лукавить, сказал предлагавшему: «В вашу партию я не вернусь никогда!»

Он понимал, что такой ответ мог стоить ему головы и, вернувшись домой, схватил меня, и на другой день мы отправились в Запорожье (Украина), где жила его сестра, моя тетка Анна Павловна с мужем и двумя детьми. (Моя мать осталась в Таджикистане, ей осталось несколько месяцев до окончания педагогического института.)

Я думаю, что моего отца нашли бы и на Украине, но тут началась война, в первые дни он ушел на фронт, с которого вернулся инвалидом.

Моя собственная жизнь складывалась как у миллионов моих сверстников. Детский сад, стихи о Ленине, песни о Сталине, первый класс, война, две эвакуации, голод во время войны и полуголодная жизнь после нее. Мои родители элементарно не могли меня прокормить, и я с одиннадцати лет начал сам зарабатывать свой кусок хлеба. Работал в колхозе, на стройке, на заводе, на железной дороге, инструктором сельского райисполкома и короткое время редактором на радио. Четыре года служил солдатом. Учился мало, с перерывами и без отрыва от производства. Но мои родители были интеллигентные люди, всегда много читали, и я читал тоже много. Главным и практически единственным нашим богатством была наша библиотека.

Мой отец всю жизнь писал стихи и затем прозу, но поскольку то и другое никак не совпадало с требованиями времени, печататься ему почти не удавалось.

Мне повезло больше. Еще служа в армии, я начал писать стихи и почти сразу печататься. В 1960 году с разными композиторами я написал примерно полсотни песен, некоторые из них в свое время были известны без преувеличения всему советскому народу. В том же году я написал свою первую повесть о деревенской жизни «Мы здесь живем», которая была опубликована в первом номере журнала «Новый мир» за 1961 год. Советской критикой повесть была принята в целом благожелательно, а недавно умерший Владимир Тендряков приветствовал мое появление в литературе статьей под выразительным названием: «Свежий голос есть!». Но в то же время нашлись бдительные критики, которые сразу разглядели во мне начинающего злоумышленника. Один из них в своей статье «Правда эпохи и мнимая объективность» уже тогда справедливо заметил, что действительность я изображаю приземленную, безрадостную и вообще придерживаюсь «чуждой нам поэтики изображения жизни, «как она есть».

Поскольку я и дальше старался изображать жизнь, «как она есть», неприятности не заставили себя ждать. Уже в 1963 году один из главных идеологов хрущевской «оттепели» Леонид Ильичев подверг разному мой рассказ «Хочу быть честным», после чего в центральных советских газетах («Известия», «Труд», «Строительная газета») появились сфабрикованные ими злобные статьи советских «передовиков

производства» и героев Социалистического Труда под заголовками: «Точка и кочка зрения», «Это фальшь!», «Литератор с квачом» (квач — это кисть, которой размазывают деготь). Но настоящая травля началась в 1968 году после подписания мною писем в защиту сначала Даниэля и Синявского, а затем в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Травля эта усилилась, когда власти ознакомились с началом моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Пять лет я сносил эту травлю, надеясь сохранить свое положение «официального» писателя, но затем увидел, что оставить за собой это звание я на самом деле могу только путем отказа от своих главных литературных намерений и от своих понятий о чести и совести. В 1973 году я демонстративно передал на Запад первую книгу «Чонкина», подписал коллективное письмо в защиту Солженицына, написал свое собственное сатирическое письмо против создания Всесоюзного агентства по авторским правам (впоследствии написал еще несколько подобных писем), после чего (в феврале 1974 года) был исключен из Союза писателей и еще почти семь лет жил под постоянным давлением КГБ, в атмосфере непрекращающихся угроз, шантажа и провокаций.

В этих условиях я писал и демонстративно пересылал на Запад свои книги и сатирические письма по поводу тех или иных действий советских властей. В январе 1980 года, сразу после высылки в Горький академика Сахарова, я написал в газету «Известия» письмо, в котором, пародируя стиль выражающих свою благодарность орденносцев, высказался так: «Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев Социалистического Труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова».

В отличие от моих предыдущих писем это безответным не осталось. Примерно месяц спустя, в день выборов в Верховный Совет РСФСР, ко мне явился мрачный человек, который назвался работником райкома КПСС Богдановым.

Став посреди моей комнаты, этот Богданов, тоном полководца, объявляющего разгромленной армии условия капитуляции, сказал:

— Мне поручено вам передать, что терпение советской власти и народа подошло к концу.

Я думал, что он меня тут же расстреляет, но оказалось совсем другое. В отличие от всех остальных граждан Советского Союза мне в этот день был предложен не фиктивный, а реальный выбор: или — или. Поскольку терпение советской власти и народа подошло к концу одновременно с моим, я выбрал второе «или» и не прошло года, как (21 декабря 1980 г.) оказался на Западе.

Еще полгода спустя указом Брежнева я был лишен советского гражданства.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ АВТОРА

1. О том, что мир бочкообразен

Однажды я провел лето на подмосковной даче и, кроме того, что что-то писал, и, кроме того, что безуспешно пытался вырастить такой нехитрый овощ, как редиска, занимался еще праздными наблюдениями над различными формами жизни.

На нашем дачном участке стояла железная бочка, наполовину наполненная давно уже протухшей водой, уровень которой был почти постоянным благодаря смене солнечных и дождливых дней. Летом в этой тухлой воде расплодились какие-то водоплавающие жуки, которые стремительно передвигались по поверхности и глубоко ныряли, охотясь за чем-то мне невидимым. Существование этих жуков казалось мне весьма загадочным. Чем все они питались? Как выживали они сами или их личинки, если зимой бочка промерзала насквозь? Однако как-то они выживали, как-то плодились и размножались и чем-то питались. И вот я подумал, а что если предположить, что эти жуки обладают способностью мыслить? Какое представление они могут иметь об окружающем мире? При мерно вот какое. Мир — бочкообразен и наполовину заполнен тухлой водой. Тухлая вода гораздо лучше свежей (свежая иногда течет сверху), потому что представляет собой идеальную среду для передвижения, сохраняет тепло и содержит разные питательные вещества. Границы мира легко достижимы, имеют круглое сечение и сотворены из чего-то твердого. Но за пределами этого устойчивого и понятного мира есть, очевидно, и другие миры, в которых не все так устойчиво. Там то светло, то темно. Там, когда светло, плавает что-то круглое и жаркое, а когда темно, выползают какие-то светящиеся жуки. Тот мир гораздо хуже этого, потому что от того мира поступает иногда жара, иногда холод. Там иногда что-то сверкает и громыхает.

И вот, глядя на этих природных диогенов, я подумал: да это же мы, советские люди!

Мы рождаемся, живем и умираем в бочке. Мы не знаем, что происходит за пределами бочки, и не помним, как сами в ней оказались. Как бы различно ни было наше происхождение, но за годы сидения в бочке у всех развилось общее представление о мире — бочкообразное. У жителей бочки есть свои представления о добре и зле, среди них есть свои святые и свои негодяи. Самые умные по-

дозревают, что, вероятно, где-то существуют другие миры, возможно, много таких же бочек, в которых жизнь устроена как-то иначе. Самые свободолюбивые рвутся из бочки, ползут по ее ржавой стенке, падают и снова ползут. Самые упорные или гибнут, или доползают до края. И вдруг перед ними открывается новый, совершенно невиданный разноцветный мир: трава, цветы, звери, рыбы, птицы, бабочки и стрекозы. Есть вода, есть твердь, есть воздух и в этих трех средах каждый передвигается как может: кто летит, кто плывет, кто ползет и — никаких ограничений. Но каждый сам себе добывает пищу и каждый сам должен заботиться, чтобы его не растоптали, не проглотили и не склевали. Боже, да что же это творится! Скорей назад, в бочку!

Там никаких цветов, никакой травы, там затхлая вода, там скудная пища, но там спокойно. Прибился к стенке и дремлешь, зная, что никто на тебя не наступит, никто тебя не склюет.

Да здравствует бочка!

2. Как же я мог так жить?

Попав на Запад, я вовсе не собирался выступать здесь в роли пропагандиста. Но куда бы я ни попал, люди, узнав, что я русский, задают вопросы. Они хотят знать, что представляет собой супердержава, которая в состоянии уничтожить весь мир. Какие люди там живут и чем живут? Меня спрашивают, я отвечаю. Но каждый ответ вызывает новый вопрос. Оказывается, наша повседневная жизнь кажется западным людям загадочной и непонятной, как жизнь жуков в бочке. Иногда я никак не могу понять, почему? Иногда раздражаюсь. Иногда объясняю терпеливо, что мы такие же люди, как вы. Мы так же рождаемся, живем, стремимся к счастью, любим, ненавидим, радуемся, страдаем, болеем и умираем. Общее это объяснение возражений не вызывает, но когда доходит до деталей, опять ничего не понятно.

Как-то, во время нашего пребывания в Америке, решили мы с женой навестить знакомую художницу. С мужем-инженером и одиннадцатью детьми она живет на ферме, потому что в городе снять дом или большую квартиру им не по карману, а жить в небольшой квартире они не хотят: американцы — люди избалованные. Я когда-то в молодости снимал в Москве комнату у такой же семьи. Им на тринадцать человек государство отвалило четырехкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте. Одну из этих комнат они сдавали. «А вам-то всем в трех комнатах не тесно?» — спросил я у них. «Да что вы, — сказала хозяйка. — Нам и двух много. Мы после коммуналки все в одну норовим забиться».

Но вернемся к американцам. Собрались мы в гости к художнице, взяли такси, по дороге с шофером о том о сем разговариваем. (Таксисты везде разговорчивы, что у нас, что в Америке.) Услышав наше произношение, шофер, естественно, поинтересовался,

откуда мы. Мы сказали. «О, Раша! — говорит он с почтением. — Ну и как там, в России, жизнь?» — «Да как вам сказать? Все хуже и хуже». «Как у нас, — говорит водитель. — Жизнь, что ни год, дорожает. Десять лет назад такая машина стоила четыре тысячи, а сейчас девять тысяч долларов стоит. А я в месяц и трех тысяч не всегда могу заработать». «Ну это, — я говорю, — да, это, — говорю, — конечно. А мясо вы по карточкам получаете или по благу где достаете?» Он мой вопрос даже не очень-то понял, а когда понял, сказал, что мясо, как и все остальные продукты, он в ближайшем супермаркете покупает. «Ну вот представьте себе, — сказал я, — что ни в вашем супермаркете, ни в следующем, ни в соседнем городе нет ни мяса, ни консервов, ни колбасы, ни сосисок». «Да, — говорит шофер, — я слышал, что у русских с мясом не очень. Это неприятно, но в конце концов можно есть цыплят». Тут мы с женой стали смеяться, потому что он почти слово в слово повторил высказывание французской королевы Марии-Антуанетты, которая за двести лет до него сказала: «А чего это народ бунтует? Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Таксист наш рассердился и сказал, что в отличие от королевы он еще не очень оторвался от жизни, а чикенов этих, то есть цыплят, можно выращивать сколько угодно. Производство это очень простое, чикены сами из яиц вылупляются и сами растут, только корм подсыпай. Я пытался ему рассказать о социалистической системе хозяйства, где ничего не бывает очень простым, но он даже и слушать не хотел. «Да что вы мне говорите, да при чем тут система, да эти птицефермы вообще ничего не стоят, их можно при любой системе сколько хочешь построить». И так он убедительно говорил, что я ему почти совершенно поверил.

Ну доехали мы до места, встретила нас хозяйка, дом показала. Огромный двухэтажный дом она перестроила по причудливому своему проекту, и получилось много каких-то углов, закруглений и ответвлений. И само собой, невероятное количество комнат. У каждого из одиннадцати детей по комнате. У нее и у мужа по кабинету. А еще спальня, а еще гостиная и столовая, и еще что-то, и одних только ванн комнат не то пять, не то шесть. А для детей всякие спортивные снаряды и какая-то индейская хижина, и живой пони, и еще всякие вещи. А качели прикреплены к ветке высокого дуба, и, когда мы на террасе чай пили, дети на этих качелях со свистом сидели нашими головами летали.

Так вот сидели мы на этой террасе, чай пили, о жизни разговаривали, я такие простые разговоры предпочитаю всяким интеллектуальным беседам. Я спросил хозяев, не трудно ли им живется. Они сказали, что в общем-то нелегко. Такой дом, столько детей, столько забот, а они не миллионеры какие-то, обыкновенные люди, средний, как говорят в Америке, класс. А потом они стали нас расспрашивать, и как-то так получилось, рассказал я им вкратце всю свою жизнь, которой вовсе не собирался их удивить, потому

что биография у меня по советским понятиям почти заурядная. Как я уже сказал, мне не было четырех лет, когда моего отца посадили по идиотскому политическому обвинению. И просидел он по советским понятиям тоже совсем немного — пять лет. Ну а потом война, с которой он вернулся инвалидом. И не то, чтоб совсем уж калеккой, а так — одна рука не разгибалась. А я (тоже как миллионы других) ребенком пошел работать в колхоз. Потом ремесленное училище, завод, вечерняя школа, армия — тоже дело обыкновенное. Ну потом, правда, стал писателем и дальше судьба развивалась не совсем обычно. Стал я описывать в книгах то, что видел в реальной жизни, и пошли у меня неприятности, чем дальше, тем больше. А потом еще стал за других людей заступаться, да не с кулаками, а на бумаге, письма писал и протесты. За это меня исключили из Союза писателей, не печатали, не давали заработать на кусок хлеба и при этом пытались объявить тунеядцем, отключили телефон, угрожали убийством (и однажды, подсунув отравленные сигареты, показали один из возможных способов), инсценировали нападение хулиганов, прокалывали шины автомобиля, устраивали всякие другие провокации (вплоть до того, что моим престарелым родителям объявили однажды, что я погиб). Но все же не посадили, не убили, а только выгнали за границу, к чему некоторые люди даже очень стремятся. Так что мою биографию можно считать вполне благополучной. Но хозяйка дома мою биографию благополучной не посчитала. Она сказала:

— Как же вы так могли жить? Почему вы не обратились к вашему правительству?

Ее старшие дочери, студентки, стали смеяться, им, как это бывает в их возрасте, стало неудобно, что мама такая глупая.

А я не смеялся. Я считал ее вопрос вполне резонным и объяснил, какое у нас правительство и как оно отвечает на подобные обращения.

— Ну вы бы подали на них в суд!

Дочери и вовсе ее засмеяли.

— Ну хорошо, я понимаю, может быть, суд такой же. Но ведь можно же было написать в газету, обратиться к общественному мнению! Что вы надо мной смеетесь? Не перебивайте меня. Пусть я старая, глупая, пусть я ничего не понимаю. Я никогда не видала таких правителей, не читала таких газет, не знала, что бывают такие судьбы. Но если к ним ко всем бессмысленно обращаться, то ведь можно же в конце концов просто выйти на улицу и крикнуть: «Люди, посмотрите, ну что же это происходит?»

Нам, воспитанникам советской системы, такие высказывания западных людей иногда кажутся смешными, иногда раздражают. Ну как же можно быть такими наивными? Но я не понимаю, зачем нужно сердиться. Ну да, ну наивные, ну не могут себе представить нашей жизни, даже когда честно стараются.

Но есть такие, которые и не стараются.

3. Какую тайну раскроет эта книга?

В один из первых вечеров своего пребывания в Германии я попал в компанию, где разговор очень быстро свернулся на советскую военную угрозу, на то, что сюда скоро-скоро придут советские танки. Мои новые знакомые всерьез обсуждали, что они будут в этом случае делать. Один торговец лошадьми сказал, что надо уже сегодня, не дожидаясь танков, бежать в Австралию. Другой, владелец пивного завода, спрашивал меня, любят ли русские пиво, он надеялся, что прибытие любящих пиво советских танкистов может способствовать расширению его бизнеса. Молодой философ непонятным образом сочетал страх перед советскими танками с верой в то, что в Советском Союзе торжествуют законность, социальная справедливость и всеобщее равенство. Мои возражения он выслушивал с усмешкой, словно зная заранее, что я имею пристрастное мнение. Он, конечно, читал о советских лагерях и сталинском терроре, но призывал меня признать, что за годы советской власти Россия ушла далеко вперед, стала мощной индустриальной державой и ее успехи в космосе говорят сами за себя.

Я втянулся в спор, и философ объяснил мне дальше, что все-таки советская власть освободила трудящихся от капиталистической эксплуатации, от страха за завтрашний день. Я усомнился в его компетенции, когда он сказал мне, что, во всяком случае, советские люди никогда не знали голода. Я спросил его, слышал ли он что-нибудь о голоде на Украине, стоившем жизни нескольким миллионам людей, или в блокадном Ленинграде. Я рассказал ему, как умирали люди от голода (да я и сам чуть не умер) под Куйбышевым зимой сорок третьего года и в Запорожье три года спустя. Он пропустил сказанное мною мимо ушей и продолжал спорить. Парируя какой-то мой аргумент, он сказал: «Ну да, ведь Россия сама по себе страна маленькая, не больше Баварии». И в ответ на мой ошеломленный взгляд пояснил: «Я имею в виду не весь Советский Союз, а только Россию». Когда я сказал, что считать можно по-разному, но и сама Россия простирается примерно от Смоленска до Владивостока, кто-то уже другой спросил, а где находится Владивосток.

В другой раз меня спросили, хорошо ли понимают русские языки других народов СССР, например, хорошо ли я понимаю грузинский язык? Еще меня спрашивали, есть ли в Москве отели и такси и зачем вообще русским деньги, если на них все равно ничего нельзя купить?

Мои русские читатели, прочтя эти строки, охотно закивают головами. Не знают нас люди на Западе, скажут они, не знают и не понимают. Но я хочу прибавить к этому следующее: не только они нас не знают, но мы и сами себя не знаем. Среди русских людей из старой эмиграции я встречал здесь таких, которые абсолютно уверены, что в Политбюро, Генеральном штабе и КГБ сидят одни евреи. Переубедить их невозможно. Недавно я был на выступлении

одного старого русского писателя, который в своей лекции рассказывал, что сейчас в России нет ни одного цыгана (все уничтожены). Я встречал людей новой эмиграции, которые только на Западе впервые услышали имя Сахарова. В самом Советском Союзе миллионы людей ничего не знают о коллективизации, сталинских чистках и о том, что происходит сегодня.

Это незнание объясняется многими причинами. Корреспонденты, которые работали в Москве, отмечают, что советское общество закрыто для иностранцев. Но все дело в том, что оно закрыто не только для иностранцев, не меньше оно закрыто и для самих советских людей, особенно для тех, кто не слушает иностранное радио. Любая, часто простейшая информация является у нас секретной. Секретны отдельные предприятия, целые острова и города, туда не имеют доступа не только иностранцы, но и советские граждане. Секретны эпидемии, стихийные бедствия, крушения поездов и самолетов. Секретны истинные цифры урожая и вообще производственные показатели. Секретно число больных-алкоголиков и наркоманов. Секретны имена выгнанных из страны писателей и, конечно, их книги. Секретны даже имена наиболее отличившихся деятелей революции, гражданской войны и недавних советских руководителей. В энциклопедии, например, есть слово «троцкизм», но нет слова «Троцкий».

Советских людей с детства пугают иностранными шпионами и отечественным КГБ, призывают к бдительности, приучают помалкивать. (Даже старая русская пословица говорит: «Слово — серебро, молчание — золото».)

Еще есть перегородки сословные. В Советском Союзе рабочие живут отдельно, артисты — отдельно, спортсмены — тоже отдельно. Партийные бюрократы, дипломаты, кагэбэшники и высшие военные окружены заборами, за которые человеку другого круга вообще невозможно проникнуть. Отдельно от всех живут и писатели. Время от времени они «для изучения жизни» ездят в так называемые «творческие» командировки иногда индивидуально, а чаще всего бригадами, посещают «передовые» колхозы или заводы, где им показывают парадную или, точнее сказать, фиктивную сторону жизни и обманывают, как иностранцев. Подавляющее большинство писателей (а их в СССР больше 8000) совершенно не знают жизни собственного народа, а тех редких, которые знают и пытаются правдиво ее изобразить, власти преследуют, обвиняют в пособничестве иностранным разведкам и наказывают иногда даже очень жестоко.

В Советском Союзе есть много всяких секретов, но, как я уже сказал, главной и тщательно оберегаемой тайной этого государства является реальная, повседневная жизнь советских людей.

Раскрытию этой тайны и посвящена моя книга.

Я беру разные стороны советской жизни, рассматриваю их под разными углами зрения, рассказываю истории из жизни разных

людей — крестьян, рабочих, военных, партийных бюрократов от низших до высших, писателей и из своей собственной жизни. Из всех этих кусочков, которые я называю картинками советской жизни, кажется мне, должна сложиться общая цельная картина.

Понятия «советский народ» или «советские люди», произведенные от формы правления, выглядят несколько противоестественно. Так же противоестественно было бы назвать какой-нибудь народ монархическим или парламентским или все народы стран общего рынка объединить названием общерыночного народа. Но все же я часто пользуюсь прилагательным «советский», потому что другого общего названия для населяющих СССР людей самых разных национальностей не знаю. А оно необходимо, потому что действующие на протяжении жизни вот уже нескольких поколений общие законы, правила поведения и условия существования, не уничтожая полностью национальных различий, вырабатывают общие для всех традиции и привычки. Никакого отрицательного смысла в слово «советский» в данном случае я не вкладываю. Среди советских людей, как и среди всяких других, есть много умных, глупых, талантливых, бездарных, благородных и негодяев. Но попробуйте посадить в одну и ту же тюремную камеру русского, американца, эскимоса и тайландца, продержите их в этой камере достаточное количество лет и вы увидите, что у всех у них, при всех их национальных и личностных различиях, появятся одни и те же склонности и привычки, они все будут писать мелким почерком, неприятно относиться к яркому солнечному свету, все будут страдать клаустрофобией. А если в этой же камере вырастут их дети и внуки, то они уже с самого раннего детства научатся обманывать надзирателей, прятать мелкие вещи в складках одежды, а хлеб под подушкой и, даже выпущенные на волю и в благополучную жизнь, еще очень долго будут сохранять эти привычки и, может быть, передавать их по наследству.

Я уклоняюсь от употребления модного ныне термина «гомо советикус», потому что считаю его крайне неправильным и несправедливым. Это презренное существо, которое обладает двойным или даже тройным сознанием (думает одно, говорит другое и делает третье), в Советском Союзе, конечно, водится, но и среди западных людей его можно встретить довольно часто. Впрочем, об этом где-нибудь ниже.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ

*Потому что как бы ни были
священны те или иные реликвии, на
свете нет ничего священнее
человеческой жизни...*

МОЛОТКАСТЫЙ-СЕРПАСТЫЙ

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтоб завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на «Запорожце 968», более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились.

«К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двуспальным английским левою». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение, и правда, самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортной к окошечку даже и не суется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне, шепотом, разумеется. «Я, — говорит, — здесь в Минске во время немецкой оккупации был и на этой же гостинице было написано: «Только для немцев». И сейчас выходит только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, но достаточно. Много дашь — себя обидишь, мало дашь — администратор обидится

и скандал подымет и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки — это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета — это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значит, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

Так вот в Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом, какой она марки. А я по свойственному мне простодушию говорю: «Запорожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбления, вижу, рука у него застыла, само слово это «Запорожец» выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку: «Новый, — кричит, — «Запорожец», новый!»

А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше чем на «Жигулях» не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выписан и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться повежливей, владелец «Волги» вообще может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «чайкам» и «зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в

гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Так вот этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и прошел к своим друзьям безо всяких препятствий. Ну посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запикивают в серый автомобиль.

— Что? — кричит Рабинович. — Кто вы такие и по какому праву?

— А вот это мы тебе скоро как раз объясним, — обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так, мол, и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посещении в гостинице «Метрополь» американских туристов».

— Ага, — говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. — Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович».

Само собой, от подобного обращения немного струхнув.

— Ах, Рабинович! — говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

— Да ты что, — говорит, — Рабинович! Да кто тебе разрешил, Рабинович? Да я тебя, Рабинович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой усмирил и, прежде чем в морду заехать: «Паспорт, — говорит, — предъяви!»

Рабинович, само собой, руки дрожат, достает из не очень широких штанин, но не красно-, а синекожую паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненная птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. Ну и, само собой, как гремучую в двадцать жал, змею двухметроворостую.

— А, так вы, стало быть, Рабинович, — говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. — Господин Рабинович! — делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. — Извините, — говорит, — господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

— Нет, — говорит с облегчением. — Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я — их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР.

Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый писатель Гелий Снегирев несколько лет назад послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжелобольной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не своей воле оказались за пределами своего Отечества. Не буду сейчас касаться темы, почему так много оказалось их на Западе, почему так мало захотели вернуться. Многие из оставшихся здесь уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А Советское государство все их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать их при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином Страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И проходящим к нему гостям говорит:

— Читайте, завидуйте, я — НЕ гражданин Советского Союза.

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Довольно много пишут сейчас в советской прессе о хлебе. Не надо его есть слишком много, будете толстыми. Впрочем, и мясо, говорят, чересчур потреблять не следует, и тоже во избежание полноты. Хотя волки, скажем, мясо едят, а особо толстыми не бывают. Впрочем, волки едят по-дикому, не научно. А у нас все на научную ногу крепко поставлено. И как только нехватка того или иного продукта возникает, тут же находятся доктора соответствующих наук, которые пишут в центральной печати большие научные статьи, что вредно кушать то, чего нет. С чем, понятно, трудно не согласиться.

В одной советской газете я читал об искусном поваре, который готовит пятьсот блюд из картофеля. Это, конечно, если есть картофель (я помню, даже в Москве и с картофелем перебои бывали). Пятьсот блюд это, надо прямо сказать, немало. Я, как ни ломал голову, больше пятнадцати придумать не сумел. А если этот повар такой изобретательный, что придумал пятьсот, то я могу ему предложить пятьсот первое.

Во время войны наша семья жила некоторое время под городом Куйбышевым. Лето сорок третьего года было еще ничего, а с осени пошло к худшему. В нашей семье было трое рабочих, которые работали на военном заводе и получали пайки по семьсот граммов хлеба, тетка, служащая, получала то ли пятьсот, то ли четыреста граммов (точно не помню), и мы с бабушкой, иждивенцы, по двести пятьдесят. И толстыми не были.

С нами жил еще кролик, которого мы приобрели, чтобы потом съесть, но потом (так у нас всегда было с нашими животными) мы с ним так сжились, так его полюбили, что убить его было просто невозможно. Так вот мы совсем не были толстыми. И даже наоборот, изо дня в день худели более интенсивно, чем при соблюдении самой строгой современной диеты. И кролик наш тощал вместе с нами. А потом, когда наступила совсем уже полная голодуха, кролик этот от нас сбежал, видно, предпочтя быструю смерть от руки решительного человека медленной голодной смерти вместе с такими гуманистами, как мы. Правду сказать, пока этот кролик был с нами, мы его порядочно объедали, а когда пропал, спекулировали его честным именем. Дело в том, что я ходил к расположенным рядом с нами солдатам и на кухне просил картофельные очистки «для кролика». И солдаты все удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?» Они не знали, что у кролика было шесть нахлебников. Если бы мы не стеснялись и попросили картошку, солдаты вряд ли бы нам отказали, потому что у них ее было много, чистили они ее неэкономно. Из этих толстых очисток мы пекли на каком-то чуть ли не машинном масле блины. И они мне тогда казались безумно вкусными. Так что искусному повару я мог бы предложить и это пятьсот первое блюдо на всякий случай.

Но вернемся, однако, к хлебу. Время от времени вся советская печать буквально захлестывается научными статьями, публицистическими выступлениями, фельетонами, стихами, поэмами и даже романами о хлебе.

Ну и в самом деле. Слово «хлеб» говорит нашему уху и сердцу гораздо больше, чем название любой другой пищи. Хлеб содержит все необходимые для поддержания жизни компоненты: белки, углеводы и прочее. Если у человека есть хлеб, его уже нельзя считать голодным. Даже в молитве человек прежде всего просит у Бога: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Почти все мы, выросшие в условиях советской действительности, испытали в раннем или не раннем возрасте войну, голод и привыкли относиться к хле-

бу чуть ли не свято. Несмотря на недостаток мяса, никто вас не осудит, если вы выкинете в мусорный ящик протухшую котлету, но кусок хлеба...

Сколько читал я гневных строк в стихах и в прозе о людях, которые забыли войну и блокаду Ленинграда и швыряют хлеб в мусоропровод буханками. Я думаю, стихов об этом гораздо больше, чем самих подобных поступков.

Но если бы речь шла только о буханках! Печать и гневно, и лирически, и романтически призывает народ беречь и использовать каждый кусочек, каждую корку, каждую крошку. Уронил кусок на пол, подуй на него, поплюй, съешь. Засох этот кусок, не по зубам, размочи в воде, съешь. А если даже и позеленел, то ведь тоже надо помнить, что в плесени содержится пенициллин.

Прочел я как-то в «Неделе», что в каком-то районе города Киева приняты серьезные меры. В магазинах не только развешаны рекомендации по приготовлению блюд из черствого хлеба (сами эти рекомендации достойны отдельной поэмы), но и сбор крошек организован.

Да что же это такое, товарищи? Ну бережное отношение к хлебу, конечно, необходимо, но не подбирать же всякий кусок, на который случайно ногой наступил, не склевывать же каждую крошку, которая под стол залетела. Не воробы же мы, в конце концов, не кусочники, не крохоборы! И зачем же нас столько лет попрекать войной и Ленинградской блокадой? Уже поседели и облысели люди, которые родились после войны и, тем более, после блокады.

В Советском Союзе ежедневно показывают по телевизору тружеников села, комбайнеров и трактористов с покрытыми пылью лицами, которые ведут битву за урожай. А я вот живу уже четвертый год на Западе и никаких особых сражений и битв за урожай здесь не замечаю. Никаких комбайнеров и трактористов по телевизору ни разу не видел, в газетах призывов подбирать крошки не нахожу, а в магазинах всего полно.

А куда ж наш-то хлеб девается при таких гигантских усилиях?

Вот, говорят, есть еще несознательные граждане, которые кормят хлебом свиней. Об этих свинодержателях и в газетах пишут, и даже в тюрьму их нет-нет да сажают.

Кстати, насчет свиней. Как-то лет десять тому назад провел я месяц в городе Клинцы Смоленской области. Ну и, понятно, посещал иногда местные продуктовые магазины. Нормального мяса там, конечно, не было. И колбасу с зеленым отливом можно было достать только по праздникам. Зато в изобилии были свиные хвосты и копыта. Из них местные жители варили холодец.

Ну некоторые критиканы, конечно, и здесь находились, ругались, что их кормят только копытами и хвостами. Другие, благо-разумные, говорили: зажрались. И опять поминали войну и блокаду. А я, не поддерживая ни тех ни других, думал: откуда же столько хвостов и копыт? И куда делось то, на чем они произрастали, то

есть сами свиньи? Ну, конечно, Клинцы — город советский. И райком, и райисполком в нем имеются. Но не могли же ответственные работники, сколько бы их ни было, слопать всех этих свиней, оставив неотответственному населению только хвосты и копыта! Тем более что район в общем-то сельскохозяйственный и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей.

А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт и с хлебом перебои, я и вовсе задумался. Ну хлеба нет, это понятно, его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи?

И только уже потом, в Москве, меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессивная старушка напала на меня самым зверским образом. «Вот, — говорит, — почему мяса нет, потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят». И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд Линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха, вылез я из троллейбуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за несделанной кошке прививки и вообще расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделана из опилок, потому что если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем загрызть. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо, старуха из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шаляпин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же! Неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал: а ведь и правда дико. Ведь Россия, или, точнее, Советский Союз, такая огромная страна, в ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен. Но сам по себе местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватало и для нас, и для свиней, и для кошек.

Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья. Не такое уж это кошунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем. Когда удастся ее достать.

ЕЛКИ-ПАЛКИ

«Елки-палки! — воскликнул советский летчик, беря на мушку чужой авиалайнер. — Я иду, значит, а у меня З.Г. горит уже».

Потом переводчики в ООН долго ломали голову, при чем тут елки и при чем тут палки, которые находились на десять тысяч метров ниже происходившего.

Я не знаю, что означает «З.Г.»: ЗАПАС ГОРЮЧЕГО или ЗАРЯД ГОТОВ. Я знаю только, что словами «елки-палки» обычно выражают волнение, восхищение, досаду и беспокойство. Есть для этого и другие слова, которые часто употребляются в обычной жизни, но произносить их по радио категорически запрещено. Даже расстреливая пассажирский самолет, следует выражаться культурно. В крайнем случае можно использовать эвфемизмы, то есть заменять слова неприличные приличными, но близкими по смыслу.

Деспотические режимы всегда отличаются своим неприятием грубых слов и выражений, невероятная жестокость всегда сопровождается словесным ханжеством. В устах нацистов уничтожение миллионов евреев называлось «окончательным решением еврейского вопроса». В СССР массовые репрессии назывались «коллективизацией» или «борьбой с оппозицией», а потом «ошибками культуры личности», агрессия против других стран называется и вовсе возвышенно — «оказанием братской помощи».

Когда в 1971 году погибли три советских космонавта, диктор телевидения, вместо того чтобы сказать: «Дорогие товарищи, у нас стряслась беда», торжественным, как всегда, тоном сообщил, что «полет космического корабля успешно завершен, во время полета были достигнуты такие-то и такие-то успехи, своевременно были включены тормозные двигатели, корабль вошел в плотные слои атмосферы, совершил мягкую посадку в точно заданном районе, космонавты были найдены на своих местах... — тут диктор сменил тон с торжественно-триумфального на торжественно-печальный и закончил фразу... — без признаков жизни». Все было прекрасно, только каких-то признаков не оказалось.

Вот так же и в случае с корейским самолетом. Что бы сказать попросту: самолет был сбит. Так нет, ушел в сторону Японского моря. И только под сильным давлением появилась новая формулировка о принятии мер по пресечению полета. Полет был пресечен, самолет ушел в сторону Японского моря. Море это, между прочим, было внизу, вот туда, вниз, самолет и ушел. Крупнейший в мире красавец-лайнера кувыркался беспомощно, как осенний лист. Пассажиры вылетали из сидений, бились о потолок, о спинки кресел и друг о друга. Душераздирающий крик двух с лишним сотен людей не был зарегистрирован наземными службами, но его трудно вообразить. Наземные же службы слышали только голос советского летчика, который — елки-палки! — волновался, что ему не хватит керосина дотянуть до аэродрома.

Тут я хотел бы сказать несколько слов в защиту советского летчика. Говорят, что он не мог ошибиться, не мог спутать пассажирский самолет с разведывательным, «Боинг 747» с «Боингом 707», тем более что надпись на борту была соответствующая. Все эти доказательства ничего не стоят. Может быть, советский летчик и видел когда-нибудь на картинке «Боинг 747», а может, и нет. И одно дело на картинке, а другое живьем. А то что написано «Корейские авиалинии», так написать можно все что угодно. На советских шпионских грузовиках, которые колесят по всей Европе, тоже написано «СОВАВТОТРАНС».

Все советские люди, а уж военные тем более, воспитываются в обстановке шпионмании, всем им внушают, что почти каждый иностранец — шпион, и рассказывают ужасы о кознях иностранных разведок. Когда я был солдатом, нам рассказывали историю (и она даже была напечатана в нашем учебнике) о собаке, которая бегала по военному аэродрому, а потом выяснилось, что вместо одного глаза у нее вставлен фотоаппарат. А в Польше нам внушали, что ни в коем случае ни в какие контакты нельзя вступать с местным населением, что все польские девушки работают на американскую разведку. А еще рассказывали историю, как какой-то недостаточно бдительный офицер помог польской женщине поднять в вагон чемодан и на другой день в западных газетах появилась фотография с объяснением, что здесь изображены советские войска, отправляющие поляков в Сибирь.

Запутанный советский обыватель готов заподозрить шпиона в каждом человеке в темных очках, с фотоаппаратом или, тем более, с биноклем. В Москве моего соседа, писателя, который диктовал свои рассказы на магнитофон во время прогулок по парку, постоянно задерживали по подозрению, что он с помощью передатчика выходит на связь со своим шпионским центром.

В шестидесятых годах советские газеты писали о каком-то старике, который, закаляясь, ходил зимой по снегу босиком и в трусах. Таким образом он намеревался укрепить свое здоровье и продлить жизнь, что ему, однако, не удалось. Как-то в трусах и босой он заблудился в лесу и очутился у какого-то военного объекта. Часовой, увидев такого странного человека, сразу подумал: елки-палки, шпион. Правда, он сначала пытался старика задержать и застрелил его только после того, как старик с перепугу кинулся наутек. И газеты, столь усердно рекламировавшие образ жизни старика, об этой его последней прогулке, конечно, не сообщили ни слова.

Между прочим, девятнадцать лет тому назад мне довелось побывать на острове Сахалин. Как раз перед моим прилетом там разбился пассажирский самолет Ил-18, о чем в газетах, разумеется, не сообщалось. Самолет упал на сопку, и трупы пассажиров были раскиданы по ее склону. Когда мой приятель пытался сфотографировать эту сопку (а вовсе не трупы), бдительные граждане чуть не разбили фотоаппарат об его голову.

На Сахалине я выступал с литературными лекциями во многих воинских частях, возможно, и в той, где сейчас служит майор, сбивший корейский «боинг». И вот один летчик, тоже майор (может быть, теперь он уже дослужился до генерала), рассказывал мне, как с двумя своими товарищами был в Москве и как у Центрального телеграфа они заметили иностранца, который их — елки-палки! — фотографировал. Они его, конечно, схватили, аппарат вырвали, пленку засветили, а самого фотографа доставили в милицию.

— Зачем вы это сделали? — спросил я майора.

— А ты не понимаешь? — спросил он меня.

— Нет, не понимаю.

— Но мы же были в форме, а он нас фотографировал.

— Ну и что? Что он этими фотографиями мог сделать?

— А ты не понимаешь?

— Не понимаю.

— А если бы он их в газете напечатал?

— Ну допустим, — сказал я, — даже бы напечатал. И допустим, даже иностранный читатель узнал, что однажды у Центрального телеграфа стояли три офицера. Что из этого?

— А ты не понимаешь?

Я, конечно, не понимал. Я и сейчас не понимаю. И понять это вообще невозможно без психиатра, но майор, хотя и не мог объяснить мне причину своего беспокойства, остался при своем мнении, если считать мнением то, чего нельзя выразить словами.

Так вот представим себе такого майора, который испугался иностранного туриста с фотоаппаратом. Чего можно от него ожидать, если, поднявшись по приказу ночью на высоту десять километров, он видит перед собой огромную махину с ненашими буквами на борту? Елки-палки! Да откуда ему было знать, что это просто пассажирский самолет, который заблудился? И кроме того, он человек военный, его дело выполнять приказы, а не рассуждать. И как поется в песне: «А если что не так, не наше дело, как говорится, Родина велела».

В гибели авиалайнера виновны многие. И сам корейский летчик, совершивший роковую ошибку, и те наземные службы, американские и японские, которые не уследили за сбившимся с пути самолетом, ну и, конечно, тот советский генерал, который, тоже воспитанный в духе шпиономании, отдал приказ открыть огонь. В ряду виновных советского летчика я бы поставил на самое последнее место. Он всего лишь выполнял приказ.

И все-таки...

В сорок пятом году американский майор Клод Изерли, выполняя приказ своего командования, был среди тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Эта бомба была одной из двух, решивших исход войны. Если бы не эти бомбы, сопротивление Японии могло затянуться и количество жертв было бы еще больше. Так что стратегически и арифметически все было правильно. А то, что в

результате взрыва погибли тысячи ни в чем неповинных людей, так что тут поделаться? Война есть война, а бомба правых и виноватых не различает (конечно, было бы справедливее, если бы она уничтожила выборочно только японских генералов).

Все правильно. Но совесть Изерли не посчиталась ни с логикой, ни со стратегией, ни с арифметикой. Когда летчик узнал, что именно произошло внизу после того, как была нажата кнопка, он сошел с ума.

А что же советский майор? Мучает ли его совесть, когда он, может быть, узнает, что у берегов Японии выловлен обезглавленный труп ребенка? И труп женщины тоже без головы. И еще какой-то труп без головы, без рук, без ног. И просто кусок человеческого мяса, вымоченного в морской воде.

Ведь на земле майор, я думаю, обыкновенный мирный человек. Читает газеты, ходит с женой в офицерский клуб, помогает детям по арифметике или берет их с собой на рыбалку. Ведь не бандит какой-то. Ведь не стреляет ночью во встреченного на улице заблудшего прохожего и не пырлет его ножом.

Но как бы мне ни хотелось его оправдать, я бы все же спросил: «Елки-палки, майор! Неужели под охраняемым тобою небом ты спишь спокойно и тебе никогда не снится обезглавленный тобою ребенок?»

КОЕ-ЧТО О СВЯЩЕННЫХ КОРОВАХ

Советское гражданство, рубежи нашей Родины — довольно много подобных слов и понятий считаются у нас священными. Давайте поговорим немного о них. Я в этом деле вроде даже как специалист. Меня в одной американской газете назвали как-то «The kicker of sacred cows», если прямо перевести на русский, то придется употребить несколько необычное слово «лягатель» или, что ли, «пинатель» священных коров. И я, честно говоря, таким званием не только не был смущен, а, напротив, очень даже доволен. Потому что в нашем языке (я имею в виду не просто русский, но советский официальный язык) эпитет «священный» прилагается слишком часто иногда даже к вещам, которые священными называть вовсе не обязательно.

Взять хотя б те же «священные границы». Границы эти священны и нерушимы, нельзя их пересекать ни с той стороны, ни с этой. Вот и пример с корейским самолетом был совершенно наглядный. А впрочем, даже и не первый пример. И так этим священным у нас у всех головы задурены, что мы даже не знаем сами, что мелем. Читал я недавно в «Неделе» репортаж о том, как два воздушных пирата собирались священные границы нарушить. В то время как один держал на коленях бомбу, другой приказал пилоту ТУ-134 лететь в Швецию. А тот, разумеется, сел в Ленинграде. А пиратов

этих, не успели опомниться, тут же перестреляли. И что сказали пассажиры после такого вот случая? Кто-то из них сказал (и я верю, вполне искренне): «Спасибо экипажу, который спас нам жизнь». Да разве он спас? Он подвергал их жизни опасности и вовсе не из беспокойства за их благополучие, а только исключительно из беспокойства, что эти самые пираты действительно сбегут на Запад, а у самого экипажа будут серьезные неприятности. Я сейчас оставляю в стороне важную тему, почему вообще люди в Швецию или еще куда-то бегут. Почему они не могут, скажем, просто купить билет и полететь туда, не угрожая ни себе, ни другим, или пересечь эти священные рубежи пешком, с обыкновенным рюкзаком за плечами. Здесь, например, на Западе, переходить священные рубежи совсем просто, надо только показать паспорт. А однажды, пересекая границу между Францией и Швейцарией во время очень важного футбольного матча, я вообще у пограничной будки никого не нашел. Я даже остановился и вышел из машины, надеясь найти какое-нибудь вооруженное лицо, чтобы оно проверило у меня документы и удостоверилось, что я не так просто, а самым законным образом пересекаю эти священные рубежи. Но не найдя никого, махнул рукой, сел в машину и двинулся дальше.

Так пересекают рубежи в западных странах. Впрочем, внутри Советского Союза границы между республиками пересекаются тоже без всяких препятствий. Но не всегда. Как-то на своих «Жигулях» пытался я проникнуть на территорию РСФСР из Донецкой области, которая находится, как известно, на Украине. Меня остановили, заставили открыть багажник и тщательно его осмотрели. И что, вы думаете, они искали? Нет, не динамит, не наркотики и даже в данном случае не запрещенную литературу. Искали колбасу, которую жители Ростова возили из лучше снабжаемого Донецка. Но я хотел сказать не об этом. Я хотел сказать, что не ко всяким понятиям следует применять прилагательное «священный» и вообще, чем реже употреблять это слово, тем лучше.

В разных странах есть символы и реликвии, которые относятся к числу почитаемых. Например, в Англии с большим почтением относятся к отечественной монархии и к монархам. Правда, сами англичане чаще всего говорят о своих чувствах с юмором. Они не утверждают, что английская монархия является самым передовым в мире политическим строем. Они говорят обычно: «Да, мы не против монархии, мы к ней привыкли, она к нам привыкла, она нам в общем-то не мешает».

Лет пятнадцать тому назад один английский студент рассказывал мне, как к ним в Оксфордский университет приезжал советский литературовед профессор Машинский. Выступая перед оксфордской аудиторией, профессор рассказывал студентам, как живут советские писатели, как работают, какими немислимыми правами по сравнению с западными коллегами пользуются. Советская литература, утверждал он, не только самая великая, но и самая

свободная в мире. И тогда студент, который рассказывал мне эту историю, поднял руку и задал вопрос:

— Если ваша литература самая свободная, то почему у вас писатели Синьявский и Даниэль сидят на тюрьма?

Профессор снисходительно улыбнулся, давая понять, что студент еще молод и зелен и ему следует кое-что объяснить.

— Дело в том, — сказал профессор, — что Синьявский и Даниэль в своих произведениях оскорбляли Ленина. А Ленин у нас — имя священное. В каждой стране есть, и это естественно, свои священные символы и понятия, которые нельзя оскорблять. В одних странах это флаг, в других герб, а у вас, например, нельзя оскорблять королеву.

— У нас нэльзя оскорблять королеву? — переспросил студент. — Я хочу привести этот старый корова сюда, поставить к стенка и немедленно расстрелять. — Студент выдержал паузу и сказал: — Ну что, вы видите тут польщия? Кто меня хватает за рука?

Пересказывая мне эту историю, студент сказал, что, конечно, он вовсе не считает королеву старой коровой. Она обаятельная женщина, и он любит ее, как почти все англичане. Но он самым наглядным образом продемонстрировал этому профессору не только реальность свободы слова, существующей в демократической стране, но и терпимость властей и аудитории.

Вот у нас, например, о наших вождя можно сказать все что угодно, если представить себе невозможное, что в аудитории нет ни одного стукача. Но в сталинские времена сказать такое, например, о Сталине в любой аудитории... Да сама аудитория человека разорвала бы, не дожидаясь товарищей из органов госбезопасности. Потому что имя Сталина, как и Ленина, было священно.

Священные слова. Священные границы, могилы, имена, понятия, камни, знамена.

Советские власти как только могут эксплуатируют само слово «священный», взятое из церковного обихода. Пытаются отменить религиозные обряды и ритуалы, подменяя крест серпом и молотом.

Молодожены в подвенечных одеждах после дворца бракосочетания, где под портретом Ленина им произнесли напутственные слова, едут на могилу Неизвестного солдата. Какая дикая смесь религиозного и атеистического и сколько во всем этом ханжества и даже кощунства! Эти молодожены отдают дань не солдату, а варварству и милитаристской пропаганде. Насаждая этот новый ритуал, власти бессовестно эксплуатируют душевную потребность людей хранить память о погибших и умерших. Каждому из нас дороги наши близкие, которых мы потеряли на войне или в лагерях. У каждого есть родственники, не только погибшие на Курской дуге или на Эльбе, но и похороненные где-нибудь у берегов Колымы или Печоры. И если уж отдавать дань, то хорошо бы не только Неизвестному солдату, но и Неизвестному заключенному. Он тоже не заслужил нашего забвения.

Повторяю, нам всем дороги наши близкие, которых уже нет между нами. И не только погибшие с автоматом или с киркой в руках, но и просто умершие от болезни, от старости, от несчастного случая. Но приходиться на могилы не обязательно в день свадьбы. Есть для этого годовщины смерти, в некоторых странах дни поминовения или, как принято в России, на Пасху. Ведь вступая в брак, люди не воинскую присягу принимают, а собираются жить и растить детей.

С возведением вещей в ранг священных мы вообще уже потеряли всякую меру. Например вот, спасение чего-нибудь. Благородно, когда человек человека спасает и ради жизни другого рискует своей собственной жизнью. Но советская пропаганда поощряет людей не только рисковать, а и жертвовать собой, проявляя героизм при спасении, например, социалистического имущества. В данном случае прилагательное другое, но употребляется в торжественном смысле и легко заменяется на слово «священный».

Сколько написано всякой всячины о людях, жертвовавших собой ради спасения социалистического имущества, которым может быть названо все что угодно: сельскохозяйственный инвентарь, портянки или запасы стирального мыла.

Или вот еще один священный ритуал. В разных воинских частях Советского Союза на вечерней поверке выкликается какое-то имя и правофланговый заученно отвечает: «Рядовой или сержант такой-то погиб при выполнении боевого задания». Или даже: «Погиб при спасении знамени». И сами эти ритуалы поощряют гибнуть не только ради спасения Родины, свободы или людей. Но и ради вещей, которые при любом самом сентиментальном к ним отношении не заслуживают того, чтобы за них гибли.

Взять хотя бы то же знамя. Ну конечно, это реликвия. И может быть, даже очень ценная. Но когда речь идет о выборе, пропасть ли знамени или одной человеческой жизни, надо все же помнить, что знамя, каким бы оно ни было, пусть даже пробитое пулями и овеянное славой минувших сражений, оно все-таки только кусок материи, надетой на палку. И жертвовать ради него своей жизнью просто глупо. Потому что как бы ни были священны те или иные реликвии, на свете нет ничего священнее человеческой жизни.

БЕЗ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ

Если бы лет десять или пять тому назад мне кто-нибудь сказал, что я буду жить в немецкой деревне и своим соседям говорить не «здравствуйте», «спасибо» и «до свиданья», а «гутен таг», «данке шон» и «ауф видерзейн», я бы в это ни за что в жизни не поверил.

А вот так случилось. Деревня наша под Мюнхеном называется Штокдорф. Шток по-немецки — палка. Дорф — деревня. Мы эту

деревню называем Палкино, а наши друзья в Москве прозвали ее Перепалкино, по созвучию с писательским поселком под Москвой, который называется Переделкино.

Так вот, в этом нашем Палкине-Перепалкине живут в основном, конечно, немцы. Но не только. Прямо напротив нас живет Настя, бывшая колхозница из-под Харькова. Во время войны ее, тогда молодую девушку, немцы угнали в Германию. После войны домой не вернулась. Здесь ей было не сладко, но и на родину ехать не решилась. Опять в колхоз, где она гнула спину от зари до зари и с голоду пухла. Где ее отца неизвестно за что и неизвестно куда насовсем увели. Да и ее судьба после возвращения была бы вилами по воде писана. Сталин не любил людей, которые в чужестранстве побывали, хотя бы и не по своей воле. Не любил не только тех, кто против Советской Армии сражался или еще чего делал враждебного. Сталин не любил всех людей, которые видели западную жизнь и могли сравнивать ее с советской.

Так вот, побоялась Настя вернуться на родину. Осталась здесь, вышла замуж, родила дочку. Онемечилась. С мужем говорит по-немецки. С дочерью тоже. О внуках и говорить нечего. А теперь вот появились у нее соседи-соотечественники. Можно прийти, отвести душу, поговорить на родном языке. Ну язык у нее и раньше был такой, на котором говорят в ее родных местах так называемые простые люди. Не русский, не украинский, а какая-то смесь. А теперь еще и немецкие слова намешались. Потому что в русском языке есть много слов, которых в ее времена она слышать не могла. Например, телевизор. Здесь она этот прибор называет по-немецки «фернзеер». Иногда звонит по телефону или прибегает через дорогу, говорит: «Отворите фернзеер», там, значит, что-то показывают интересное, по ее мнению. И вот как-то на днях тоже звонит: «Отворите фернзеер, там Москву показывают!»

Ну отворили фернзеер, смотрим. Москва. Красная площадь. Портреты вождей, ГУМ. Как раз о ГУМе и передача.

Стоит очередь. Огромная. Вокруг магазина. Растекается по отделам. Я не знаю, что там в этот день давали. То ли югославские сапоги выкинули, то ли школьную форму, то ли чего еще. Впрочем, чего бы ни давали, а очередь соберется, потому что все нужно. И вот давится народ, задние напирают на передних, и одни лица переполнены решимости выстоять и победить, а на других выражение полной обреченности, эти люди заранее знают, что весь день простоишь, бока тебе намнут, а к прилавку подходя, услышишь голос продавщицы: «Касса, форму не выбивайте! Кончилась форма!» И покупателям: «Граждане, не стойте зря, не толпитесь!»

А какая-нибудь гражданка, все еще надеясь на чудо, будет зывать к продавщице: «Да как же, да я специально из Воронежа приехала!» А ей ответят: «Все специально приехали!» «Но мне же только одну пару!» И это не аргумент. Всем только одну. А всех тысячи, и на каждого не напасешься.

Я смотрел, и грустно мне было. Это была моя прошлая жизнь. Сорок восемь лет я прожил в Советском Союзе и сам прошел в очередях путь, который, если сложить вместе, растянулся бы от Москвы до Владивостока. Я помню очереди за хлебом, на станциях за кипятком, в учреждениях за какой-нибудь пустяковой бумажкой, во время войны длиннющие очереди у женских уборных. Теперь, по мере повышения благосостояния, стоят очереди за пивом, за стиральным порошком, за перчатками, за зубной пастой, туалетной бумагой и даже за кубиком Рубика.

Очереди бывают разные. Бывают на несколько минут, на ночь, на несколько дней. В очередях на машину или квартиру люди стоят годами.

Но все же я не мог себе представить, как ужасно выглядит очередь, если взглянуть на нее со стороны.

Показали по телевизору все эти очереди, во всех отделах и на разных этажах, а потом показали пожилую и толстую работницу ГУМа. Я не понял, кем она там работает, парторгом или заведующей секцией, но политически она оказалась на высоте. Она объяснила немецким телезрителям, что изобилие, которое они видят воочию, достигнуто советским народом под руководством и благодаря неустанной заботе нашей ленинской партии.

Я смотрел на это, слушал и думал: до чего же задурены советские люди! Она сама даже не понимает, что плетет. Да все эти товары, которые выставлены в ГУМе, у любого западного человека не могут вызвать ничего, кроме насмешки.

Я вспоминаю анекдот про американца, который, подойдя к очереди, спросил, что здесь продают. Ему сказали: «Ботинки выбросили!» Он посмотрел и сказал: «Да, у нас тоже такие выбрасывают».

Ну хорошо, эта тетя из ГУМа, она, может, невыездная, за границей отродясь не бывала и даже представить себе не может разницы между убогим ГУМом и любым самым простым западным магазином. Но вот, например, секретарь Московского отделения Союза писателей товарищ Феликс Кузнецов — точно выездной. И разницу эту знает. Он за границей бывал и в свободное от борьбы за мир время немало стоял в этих западных магазинах с раскрытым ртом. И уж ему-то должно быть стыдно выступать в роли упомянутой мною тетеньки. А нет, не стыдно. И в статье «Не опоздать», напечатанной в «Литературной газете», разоблачая зловредных империалистов, он, помимо всего прочего, пишет, что, в то время как на Западе растут психоз и паника перед ядерной катастрофой, западные люди, приезжая в Советский Союз, удивляются (я цитирую) «спокойствию, собранности, деловитости атмосферы в нашей стране». И чуть ниже: «Мы спокойно работаем, решаем вопросы Продовольственной программы, совершенствуем социализм».

Если уж иностранцев и удивляет Продовольственная программа, то только тем, что она вообще существует. На шестьдесят восьмом году советской власти и через сорок лет после окончания войны.

Есть чему удивляться.

Здесь Продовольственную программу никто не решает. Здесь ее просто нет. Здесь человек просто идет в магазин и покупает, что ему нужно.

Недавно я слышал рассказ об одной очень ортодоксальной гражданке, профессоре марксизма-ленинизма. Попала она первый раз на Запад, точнее, в Мюнхен. Вошла в магазин вместе с сопровождавшими ее немцами. Как увидела, что здесь стоит на полках, сразу смекнула, что все это выставлено с провокационной целью. Она знала, ее научили, что здесь ухо надо держать востро. Увидела двенадцать сортов апельсинов. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела семьдесят сортов колбасы. «У нас, — говорит, — это тоже есть». Увидела сто пятьдесят сортов сыра: «У нас это тоже есть». Подошла еще к одной полке, там туалетная бумага: белая, розовая, в цветочек, в горошек и в клеточку. Обыкновенная, двойная, гладкая и с пупырышками. «У нас, — говорит, — это тоже...» и потеряла сознание. Пришла в себя, ее на носилках в закрытую машину втаскивают. Испугалась, подумала, что воронок. «Что это?» — говорит. Ей отвечают: «Скорая помощь». «А-а, — говорит она успокоенно, — у нас это тоже есть!»

А другой, тоже пожилой человек, прибыл дочку свою навесить, которая замуж за немца вышла. И тоже пошел вместе с ней в магазин. Она стала хвастаться: смотри, мол, чего здесь только нет. Он смотрел, хмурился. «Нет, — говорит, — ты мне настоящий магазин покажи». «А это какой же?» «А я, — говорит, — не знаю, какой, может, специальный, для иностранцев. А ты мне покажи настоящий, для простых людей». Дочка пытается его убедить, что это для всех людей, и для простых, и для непростых. А он заладил свое: «Быть этого не может, покажи мне настоящий». Стала она его водить из магазина в магазин, он ходит, смотрит, глазам своим не верит и опять требует, чтобы она ему настоящий магазин показала. «Какой настоящий? — рассердилась она. — Гастроном вроде вашего на Соколе?» «Ну хотя бы такой», — говорит. «Но здесь нет таких! Здесь даже таких бедных магазинов, как Елисеевский, нет! Может, ты хочешь, чтоб я тебе сельпо показала?» «Покажи», — говорит отец. Хорошо. Посадила она его в свою машину, завезла километров за пятьдесят в глушь, в деревню. Зашли опять в магазин. Вышел отец, огляделся, видит, вокруг дома редко одно-чаще двухэтажные, добротные, каменные, крытые черепицей, с огромными окнами, с балконами и на всех балконах — цветы. И хоть бы одна развалюха. «И это обыкновенная немецкая деревня?» — спросил отец. «Да, — сказала дочь, — самая заурядная». «Нет, — говорит отец, — ты мне настоящую деревню покажи».

Я хочу быть понятым правильно. Меня само по себе богатство не умиляет и не соблазняет. Я лично предпочел бы не то чтобы голодную, но, скажем так, скромную жизнь в свободном обществе богатой жизни в несвободном. Но как показывает практика (да и

теория, впрочем, тоже), свободные люди производят материальных ценностей больше, чем несвободные. Это, между прочим, заметил даже Карл Маркс.

Именно поэтому жители не только Германии, но и всех западных стран достигли такого материального изобилия, которого советские люди даже представить себе не могут. И добились, между прочим, безо всякой заботы со стороны ленинской партии.

СОВЕТСКАЯ АНТИСОВЕТСКАЯ ПРОПАГАНДА

Лет пятнадцать тому назад мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то в районе, кажется, Армавира попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-Дону. В месте нашего въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатались, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедем дальше, а в худшем развернемся.

Дорога была совершенно пустынна. Очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось, не ехал никто, кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились. Главное — доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он...

Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково шурился и одобрял выбранное нами направление: «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!» — крупными буквами было написано под портретом.

Если товарищ Ленин и произнес когда-то эти слова, он, вероятно, имел в виду общий путь народа к коммунизму, но написанные на дорожном щите слова эти приобретали более конкретное содержание.

Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло, хотелось бы получить более детальные сведения, но что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, без даже обычных (тоже бессмысленных) фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собираются сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами «ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ» с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги.

Проехав около сотни километров, мы наконец догнали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону.

Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина с теми же словами «правильной дорогой...».

Думая о советской пропаганде, я вспоминаю эту дорогу и эти бесчисленные портреты с ничего не значащими словами.

* * *

Сравнивать советскую пропаганду с американской или вообще с западной трудно, а может быть, и невозможно, потому что советская пропаганда является основным продуктом советской системы, производство которого значительно превосходит производство продукции сельского хозяйства, легкой, тяжелой и даже военной промышленности.

Понятно, что производством пропаганды заняты прежде всего пропагандистские органы коммунистической партии, комсомола и Комитета государственной безопасности. Этим же заняты все газеты, журналы, телевидение, радио, кино, театры, союзы писателей, художников, композиторов и даже официальная церковь. Но кроме всех этих упомянутых организаций, изготовлением пропаганды заняты все без исключения заводы, колхозы, больницы, строительные управления и воинские части. Каждый директор, управляющий, заведующий, председатель или воинский начальник должен заботиться, чтобы на подчиненной ему территории было необходимое количество портретов Ленина и нынешних членов Политбюро ЦК КПСС (а если кто-нибудь из них смещен с поста, его портрет должен исчезнуть немедленно и навсегда), транспаранты с ничего не значащими лозунгами вроде «Народ и партия едины», «Учение Маркса всеильно, потому что оно верно» или «Победа коммунизма неизбежна», стенная газета, заполненная чем угодно (важно, чтоб она была), Доска почета с портретами так называемых передовиков производства (для того чтобы попасть в «передовики», надо не только хорошо работать, но и самому быть активным изготовителем или, по крайней мере, потребителем пропаганды) и еще всякие плакаты с призывами, цитатами, цифрами и процентами, обещающими перевыполнение производственных планов. Цифры эти, не имеющие никакого отношения к делу, висят везде. Даже в кабинете зубного врача я видел обязательство работать на экономленных материалах.

Каждый руководитель, большой или маленький, знает, что в случае какой-нибудь проверки его деятельности ему еще могут простить невыполнение планов, пьянство, воровство, прогулы и взяточничество его подчиненных или его самого, но беспорядок со всеми этими портретами, плакатами, лозунгами, цитатами и цифрами прощен не будет.

Потребителем пропаганды является каждый советский человек, начиная с ясельного или школьного возраста, когда он впервые

становится членом коллектива (уже в яслях висят все эти лозунги, плакаты, портреты и стенгазета). В зависимости от возраста, социального положения, партийности и образовательного уровня каждый человек получает пропаганду в том виде, какой, по мнению властей, доступен его пониманию.

Студенты, независимо от их будущей специальности, изучают марксизм-ленинизм и историю КПСС, каждый раз изменяемую в соответствии с изменениями требований пропаганды. Рабочие, колхозники и солдаты должны посещать политические занятия и кружки, на которых они когда-то изучали биографию товарища Сталина, потом объявленные литературными шедеврами «произведения товарища Брежнева». Формально эти занятия добровольны и бесплатны, но каждому советскому человеку известно, что посещение этих занятий или уклонение от них самым непосредственным образом отразится на уровне его жизни, будет учтено при служебных перемещениях, распределении производственных премий, квартир, путевок в дома отдыха или импортных кур к празднику.

Как говорил один начальник своему подчиненному: «Ты работай бескорыстно, а мы тебе за это заплатим».

* * *

Давно прошли те счастливые для советской пропаганды времена, когда массы народа откликались на противоречивые призывы партии, с энтузиазмом строили заводы в Сибири или «защищали» свободу в Испании, на демонстрациях восторженно размахивали флагами и портретами вождей, сходили с ума от счастья, если удавалось увидеть хотя бы издалека Ленина, Троцкого или Сталина, прикалывали к груди красные банты и давали своим детям революционные имена вроде Владилена (Владимир Ленин), Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) или хотя бы просто Тракторина или Индустрия.

В те благословенные времена советская молодежь не воротила нос от советских же символов. Юноши украшали свои футболки и косоворотки значками МОПР (Международная организация помощи борцам революции) или «Ворошиловский стрелок», девушки повязывали красные косынки. Я помню, в моде были «буденовки», сталинские френчи и даже сталинские усы.

Давно это было, да былью поросло.

Теперь люди тоже ходят на демонстрации и размахивают флагами и лозунгами, но только за лишней выходной, отгул или дополнительную плату.

Теперь совсем иная мода. Теперь советский молодой и не очень молодой человек с душевным волнением произносит не революционные лозунги, а названия разных западных фирм и вещей. Слова «Честерфильд», «Панасоник» или «Мерседес» говорят его сердцу

гораздо больше, чем «свобода, равенство и братство». Иностранная одежда предпочитается не только благодаря ее истинным достоинствам. Стоимость джинсов резко возрастает в цене, если на заднем кармане есть заметная этикетка с надписью «Мустанг» или «Ли», и резко падает, если такой этикетки нет. В большой моде рубашки и майки с надписями «Кока-кола» или «Ай лав Нью-Йорк». Говорят, в Москве появились даже майки с надписью «Я выбираю Рейгана». Если нет денег или возможности достать настоящую заграничную майку, можно купить подделку (те же слова на майке советского производства). Но попробуйте продать майку, пусть даже самого высокого качества, но со словами, написанными кириллицей: «Я люблю Москву» или «Ленин», или, допустим, «Я выбираю Горбачева». Вас не только не похвалят, но вполне даже вероятно, отправят на психиатрическую экспертизу, потому что в этой надписи усмотрят злую насмешку.

Советские люди тянутся ко всему западному. Виски и кока-кола вызывают большее вождление, чем водка и квас. На какого-нибудь безголосого американского певца или малоинтересную американскую выставку попасть все равно невозможно. Конечно, это беспокоит советских пропагандистов.

В свое время один из самых правозащитных советских писателей, твердолобый сталинист Всеволод Кочетов, написал целый роман о том, как в Советский Союз приезжает по заданию ЦРУ американский джаз с совершенно возмутительной негритянской певицей, которая на сцене так вертит своим толстым задом (тоже, конечно, по заданию ЦРУ), что неустойчивая часть советской молодежи проникается этим растлевающим западным духом, перестает изучать марксизм-ленинизм и отвлекается от выполнения важных народно-хозяйственных задач. (И Кочетов был совершенно прав, молодежь отвлеклась и вместо «Широка страна моя родная» запела почему-то идейно порочную и даже кошунственную песню

Распутин, Распутин,
Грейтест рашен лав мэшин...)

А недавно в Лондоне мне удалось посмотреть программу советского телевидения. Выступал некий доктор философских наук. Он рассказывал о том, к каким аморальным и коварным методам прибегают международные империалисты для того, чтобы подорвать монолитное единство советского народа и сокрушить в конце концов несокрушимый советский строй. Во время гражданской войны они пытались сокрушить советскую власть путем прямой интервенции. Не вышло. Пытались задушить нас всякими экономическими санкциями. Не вышло. Надеялись уничтожить нас с помощью гитлеровских полчищ. Не вышло. Попробовали разложить нас, используя для этой цели диссидентов. Не вышло. Теперь они тратят миллионы долларов для отсылки нам всяких джинсов и маек, укра-

шенных буржуазной символикой. Они не гнушаются ничем и даже свой собственный американский флаг налепляют на то место на джинсах, которое прикрывает ягодицы. Этот флаг на ягодицах так возмутил доктора философии, что он посвятил ему главную часть своей речи, изливая все свое презрение и к американскому флагу, и к тому месту, на которое налепляют его коварные империалисты*.

Но все подобные выступления, как всегда, вызывают противоположную реакцию. За годы своего существования советская пропаганда полностью исчерпала кредит доверия у своих потребителей. Постоянной лживостью и беспринципностью она достигла потрясающего эффекта: ко всему, что она отвергает, советский человек относится с глубоким интересом, ко всему, что превозносит, — с не менее глубоким отвращением. Это относится ко всем сферам культурной и общественной жизни. Например, если советская печать хвалит того или иного писателя, издавать его, конечно, будут, но читать вряд ли. В свое время популярность Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына резко возросла после того, как советская пропаганда подвергла их уничтожающей критике, а Василий Гроссман, вполне заслуживший равного места в этом ряду, мало кому известен только потому, что его душили тихо, без пропагандной шумихи.

Ежедневно советские газеты, радио и телевидение проклинают Соединенные Штаты Америки, расписывая самыми черными красками безработицу, расовую дискриминацию, преступность, девальвацию и обнищание. Но именно в результате этой пропаганды огромное количество советских людей вообще считают, что в Америке нет никаких серьезных проблем, они думают, что деньги там растут на деревьях и можно, ничего не делая, жить в роскошных условиях, играть в казино и ездить на кадиллаке. По этой причине некоторые эмигранты, встречаясь с реальной, а не воображаемой жизнью, разочаровываются в Америке и ругают советскую пропаганду за то, что она их якобы дезориентировала. Это как в анекдоте: один пассажир в поезде спрашивает другого, куда тот едет. «В Жмеринку», — отвечает тот. «Зачем вы меня обманываете? — возмущается попутчик. — Вы говорите, что едете в Жмеринку, чтобы я подумал, что вы едете в Житомир, хотя вы на самом деле едете в Жмеринку!»

* Между прочим, эти борцы с западной «вещевой пропагандой» сами являются ее первыми поставщиками и распространителями. «Выездные» советские журналисты, дипломаты, депутаты, партийные деятели всех рангов не только сами предпочитают советской одежде заграничную, не только обеспечивают ею своих детей и ближайших родственников, но пользуясь своими исключительными возможностями, в огромных количествах закупают тряпки на зарубежных распродажах и вагонами, кораблями, самолетами доставляют в Советский Союз и весьма выгодно сбывают на черном рынке.

Советская коммунистическая пропаганда, потеряв ориентиры, постепенно смыкается с антикоммунистической и антисоветской. Например, антисоветская пропаганда утверждает, что Советским государством со времени его возникновения правили одни преступники. Советская пропаганда утверждает почти то же самое. Десятки высших руководителей государства от Троцкого до Хрущева объявлены и до сих пор считаются врагами народа, агентами империализма и иностранных разведок, в лучшем случае, антипартийными фракционерами и волонтеристами.

И антисоветская, и советская пропаганда утверждает, что никакого социализма с человеческим лицом нет и не может быть.

Всякие предположения западных футурологов о возможной эволюции советской системы советская пропаганда отвергает с крайним негодованием, утверждая, что никакой эволюции нет и не будет. (Это утверждение и ненаучно, потому что эволюция — объективный фактор, она в ту или иную сторону происходит всегда, и антикоммунистично, потому что в результате чего же, если не эволюции, наступит когда-нибудь коммунизм?)

С еще большей враждебностью встречаются попытки западных коммунистов спасти «научное мировоззрение» от полного краха. Советская пресса резко нападает на тех, кто такие попытки предпринимает, как это было, например, с Каррильо и Берлингуэром. Распространение их речей советскими гражданами каралось не менее жестоко, чем распространение «Архипелага ГУЛАГа». Да что там Берлингуэр и Каррильо! Распространение отдельных статей Маркса, Энгельса и Ленина тоже может кончиться очень большими неприятностями. Я уже не буду говорить о том, что ожидает распространителей документов XX съезда КПСС, разоблачающих Сталина. Но вот пример более показательный. В начале семидесятых годов на Урале, кажется, в Свердловске, была арестована группа рабочих, распространявших не листовки, нет, и не фальшивки ЦРУ, а все еще не отмененную, обещавшую скорое построение коммунизма, само собой разумеется, величественную и грандиозную

ПРОГРАММУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

НАШ ЧЕЛОВЕК В СТАМБУЛЕ

Очень важная вещь в жизни советского человека — анкета. Просто, знаете ли, вещь, достойная быть воспетой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возраста-

ет в зависимости от значения того места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но по-моему, там только спрашивали фамилию, имя-отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в пятидесятом году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то что я родился в 1932 году, т.е. через пятнадцать лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях. Ну само собой, есть ли родственники за границей и если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не заграница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного получше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» «Да какой там летчик, — говорю, — на планере я летал». «Но значит, планером управлять умеешь?» «Да уж чем-чем, — говорю, — а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя — дело нехитрое». «Ну раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехав в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я,

собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так вот меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять.

В конце пятидесятых годов уже после армии работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. И проходя однажды мимо МХАТа, я увидел объявление, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Ну вот вам анкета, — сказали мне, — вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу». Я очень удивился, почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять? «Вы сами должны понимать, — сказали мне, — наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за ней то таинственное лицо, которое будет читать анкету, внимательно сверяя ее с тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выискивая, нет ли в них противоречия и ставя после них плюс или минус. Член партии — плюс, беспартийный — минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории — плюс. Есть родственники за границей — минус. Русский — плюс. Еврей — минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей, дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием иногда преодолимым, иногда нет. То же можно сказать о крымских татарах или немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать).

Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я — нанаец».

Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяются национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиовещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» «Мама — гречанка», — быстро ответил мой знакомый. «А папа?» — «А папа инженер».

Но несмотря на то что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников того или иного учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор, на самом деле не осилил в школе и седьмого класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине шестидесятых годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил 9 лет от роду, а резидентом стал в 11. Там еще содержались всяческие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной.

Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не бывал. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз — в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и просит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вы вступили в партию в 9 лет?» На этот и на другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». — «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в 11 лет?» — «Кому надо, тот знает». — «Где же вы все-таки родились, в Багдаде или в Баку?» — «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же проявили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари в отличие от них военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование, все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились, как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей, за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более, я сам невыездной.) На этом первое заседание бюро закончилось. После этого секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро, и в том числе почему-то меня (по-моему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности), и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить как волка!» — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного скис: «Но вы, наверное, сбежите?» «Сбегу», — пообещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание

выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбара благополучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и как волка обложить его не позволили.

КОЕ-ЧТО О БЕГЛЕЦАХ

Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты! Поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты! Я-то сам, правда, никогда их не заполнял, до этого дело не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии, КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. И несмотря на это — бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал однажды поэт, быстрее лани. Да что там лань! Лань — животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко (помните?), он несколько лет назад в Японию на своем МИГе быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился: «Один МИГ — и вы в Японии».

Ну анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский туристский корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки острили, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец»*. А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка: «Что такое Малый театр? Это Большой театр после заграничных гастролей».

Но шутки шутками, а люди бегут. И какие люди! Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры, заслуженные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденосцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Ну эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель генерального секретаря Организации Объединенных наций Аркадий Шевченко, и тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел турецкую границу пешком.

Казалось бы, какие люди! Проверенные! И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно

* «Стефан Баторий» оказался верен своей традиции. 20 ноября 1984 года только в одном Гамбурге с него опять сбежали 192 пассажира.

изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение, и служебное положение. Политически выдержан, морально устойчив. Производственные задания выполняет. На собраниях выступает. В субботниках участвует. Жене не изменяет. Судимостей, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя.

И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит.

У меня вот один знакомый был. Режиссер. В документальном кино работал. Так он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста, ему говорят: «Нет, этого не надо, он нехороший». Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Так вот режиссеру говорят руководящие товарищи: «Вы этого не снимайте, он плохой, а снимайте такого-то, он — хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политических информациях регулярно присутствует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию». Ну режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажут, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего километра два пленки еще извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству.

Садятся они в темном зале. Гасится свет, играет музыка, на экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные члены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и даже в темноте видно, хмурится.

А потом и говорит:

— Это кого ж ты нам показываешь?

— Как же кого? Это же этот... — и называет фамилию. — Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета.

— А ты знаешь, что этот депутат не далее как вчера политическое убежище попросил?

— Не может, — режиссер говорит, — быть! Не могу себе даже этого представить.

— Как это ты не можешь представить? Ты что же, «Голос Америки», что ли, не слушаешь?

— Нет, нет, что вы! — говорит режиссер. — Сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого.

Это он, конечно, сказал, не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки», «Свободу» и Би-би-си. А он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато.

И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть. Режиссера от работы в кино

отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить.

Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустил, бороду отрастил, радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил, «Спидолу» свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания, по членским взносам всю задолженность уплатил и никакого радио. Только хоккей и фигурное катание по телевизору смотрит и, когда наши побеждают, кричит «ура» так, что даже соседям слышно.

Начальство видит: все-таки свой человек. Ну споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сняли с него опалу, стали работенку подкидывать. А потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам» фильм должен был называться или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню. А места эти, ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей Отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы невозвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской, и в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне.

Начальство, конечно, заколебалось немного. Все же ошибку когда-то допустил. Но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета — как стеклышко, и к спортивным нашим успехам неравнодушен, и кто секретарь французской компартии знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность. Ну объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросят про Сахарова, надо отвечать: «Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу». А про Афганистан следует говорить: «Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог».

Выдали ему в ОВИРе заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен — Цюрих — Женева — Париж — Лондон.

Так вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут.

Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он, такой-сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает, даже и к особам собственного пола неравнодушен.

Ну конечно, на все больные мозоли невозвращенца нажимают, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет,

официальные представители государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами: вернись! Родина тебе все простит и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой-сякой (тут следуют шепотом всякие сильные выражения), мы тебя все равно, где б ты ни был, достанем.

И само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия: и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен. И чего, говорят, ему не хватало? А ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость. А той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя и сбежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салями или осетрины, завернутым в серую бумагу, чтобы не кидалось в глаза? Может, ему противно было проходить унижительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый, собирающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивался сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан.

И вот еще что интересно: а почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо: и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина и вовсе бесплатная, и человек человеку — друг, товарищ и брат. Но вот приезжают в страну своей мечты то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречают не то что нашего за границей, его на длинной машине возят, в лучшей гостинице поселяют, красоты всякие показывают, черную икру на красную намазывают. А они покрутятся здесь, покрутятся, да и отправляются восвояси. Не бегут. Хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может, как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии и есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что, если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анджелесе или тетушку в Амстердаме или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации.

Ну а если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников. Внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И когда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших, их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать. Потому что, как я заметил, именно они чаще всего и бегут.

ЗЕМЛЯКИ

Вот я уже даже не помню, в каких книжках, но в каких-то во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны и особенно на иностранной территории встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» Ну и несуся из разных углов ответы: «Из Воронежа!» «Из Тамбова!» «Из Уссурийска!» Земляки. Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть косопузые, водохлебные и волкастые, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Ну это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца: «Вы откуда?» — «Я из Оклахомы». — «А я из штата Мичиган». — «Файн! Замечательно! Неужели это возможно?»

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, Московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А вот что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Ну и вот, идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Друг подлетает к нам другая пара.

— Вы русские?

— А какие же еще? Конечно, русские!

— И мы русские! Из Москвы!

— И мы из Москвы.

— Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко. А вы на какой?

— А мы жили на Черняховского.

— Ну как же, как же, знаем, это возле метро «Аэропорт». Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете?

— Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

— Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

— А теперь мы живем на улице Ханс-Кароссаштрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

— Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы, значит, извините, эмигранты?

— Вот именно что эмигранты. Отщепенцы.

— А, ну тогда извините.

И — бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане — люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин зажимались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а, даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы, покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Ну приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку и говорит: «Вы русские?» — «Русские». — «А откуда?» — «А ты откуда?» — «А я из Москвы». Ну конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее об этом, откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах».

— Прямо так вот взяли и приехали?

— Ну да. А что? Прямо так вот и приехали.

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно отходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Не считая, впрочем, моего бывшего соседа Иванько, который был тогда полковником КГБ, а теперь уже, кажется, дослужился до генерала. Вот этот Иванько, он ездит. И с женой, и с ребенком. И по служебным делам, и так, погулять. Не знаю, как сейчас, а раньше он любил проводить отпуск в Ницце. Нет чтобы, как другие, отправиться с рюкзаком по Подмоскovie или со спальным мешком на Карадаг. Дорвавшись, дослужившись, выслужившись, пользуется он самой невысказанной для советского человека привилегией и ездит куда хочет. Так же, примерно, как мы.

Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варя. Вот приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков — немецких, французских, итальянских, американских, — которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое, с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А вот эти выездные товарищи, вроде Вариных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-кола» носят, а надписью «Стройотряд № 4» брезгут.

И они же, вот эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А

заслышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Говорят, что один из клиентов знаменитого дореволюционного адвоката Федора Никифоровича Плевако, будучи очень ему признателен за то, что Плевако выручил его из какой-то беды, сказал: «Не знаю даже, как вас отблагодарить». На что адвокат ответил: «Не беспокойтесь. С тех пор как изобретены деньги, проблема выражения благодарности перестала быть чересчур затруднительной».

Всякому человеку, в том числе и Плевако, очень приятно, когда его благодарят за проделанную им работу, но кроме благодарности человек еще хочет получить и материальное вознаграждение, потому что хотя не хлебом единым он сыт, но и без хлеба жить невозможно.

Денежное вознаграждение за проделанный труд — это самое нормальное и естественное дело. Само собой разумеется, оплата должна зависеть от количества затраченного труда, от количества и качества произведенной продукции. В Советском Союзе, конечно, это все хорошо известно. В Советском Союзе уважение к труду так высоко, что за него не только деньги платят, за него и награждают еще всякими свидетельствами, дипломами, медалями и орденами. Трудовой подвиг приравнивают к ратному, а Герой Социалистического Труда имеет те же привилегии, что и Герой Советского Союза. Как сказал когда-то Александр Твардовский: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

А вот правильно ли это? Я лично глубоко сомневаюсь. Ну медаль за бой, это ладно. На войне человек рискует жизнью или даже отдает ее за свободу или Родину. Его жертву никакими деньгами оплатить невозможно, и потому были введены в разных странах разные символические награды, чтобы просто можно было видеть, что этот храбрый и самоотверженный человек совершил. Ему нельзя заплатить денег достаточно за то, что он сделал. Тогда ему дают орден, чтобы мы, не совершившие того, что он совершил, видели и почитали его.

Ну а вот труд, работа и даже тяжелая работа и работа творческая и всякая другая, заслуживают ли они орденов?

Уже стало традицией, что в Москве 9 мая перед зданием Большого театра собираются бывшие фронтовики. Собираются весьма уже пожилые люди. Военные мундиры или штатские пиджаки увешаны орденами и медалями. Ищут состарившиеся герои своих однополчан или просто гуляют по улицам, чтобы молодежь, глядя на них, все-таки вспомнила, что эти старики не даром ели свой хлеб, что-то они все-таки сделали в жизни, не зря им выдали эти награды.

Один мой знакомый, назову его Николай Степанович, тоже в этот день надевает свои награды, правда, их у него немного. В отличие от других он победный путь от Сталинграда до Берлина не прошел. Но прошел путь поражений от Кишинева до Ростова и был тяжело ранен. А остаток войны провел в Ташкенте, в госпитале. Само собой понятно, что во время отступления Советское правительство орденами разбрасывалось не так щедро, как на обратном пути. И во время войны Николай Степанович заслужил только одну награду, желтую нашивку, свидетельство тяжелого ранения. Первую награду получил уже после войны, это была медаль «За победу над Германией». Ну потом дали ему в военкомате еще какие-то юбилейные, как он сам говорит, побрякушки. Ну вот, надевает он их и тоже идет к Большому театру. И чувствует себя там неловко среди героев, у которых ордена и Ленина, и Красного Знамени, и Отечественной войны, а иной раз и Золотая Звезда Героя. Потолкается там, а что толку? Это в конце войны однополчане сговаривались где-то встречаться, а на том горьком пути отступления, когда война казалась проигранной, до договоров ли было? Да и мало кому, кто прошел путь в одну сторону, довелось совершить и обратный путь. Ну потолкается Николай Степанович среди всех этих героев, присмотрится и видит: у одного из них боевое «Знамя», а у другого трудовое, у одного «Отечественная война», а у другого «Знак почета», и тоже эти трудовые герои среди героев военных расхаживают, выпятив гордо грудь. А чего бы им не гордиться, если из одного металла льют и те и эти медали?

Так вот, у Николая Степановича военных медалей мало, и все жалкие, а трудовых и вовсе нет, не заслужил. Хотя в своем цеху был всегда лучшим токарем. И как какая-нибудь исключительно сложная работа, так начальство — к Николаю Степановичу, и он охотно за эту работу брался, потому что был настоящим мастером своего дела и любил делать что-нибудь необычное. Зарабатывал он не то, чтобы очень хорошо, но неплохо. Но насчет всяких орденов и медалей, этого не заслужил. Потому что возле начальства, в парткомах и завкомах не отирался, на собраниях отмалчивался, а во время выборов брал открепительные талоны. За что же ему ордена? Не за что.

А вот его коллега Иван Петрович, тот на фронте военным не был, а на трудовом отличился. Также начинал, как и Николай Степанович, токарем, и работал не то чтобы очень уж хорошо, но неплохо. Но помимо трудовой деятельности занимался и общественной. Он и в парткоме, он и в завкоме. На демонстрации ходит, от выборов не уклоняется, на митинге, если надо заклеить международный империализм или еще что-нибудь в этом роде, клеймит, а когда его просят сказать свое рабочее слово, допустим, о Сахарове, он и тут не отказывается. И признание Родины пришло постепенно. Сначала медаль, потом орден, потом другой, а потом и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда. Теперь его в цеху и

не увидишь. То он на сессии Верховного Совета, то на пленуме ЦК, то выступает в защиту мира, то совещается с такими же, как он, передовиками производства, то в составе рабочей делегации выезжает за рубеж. Ну и, само собой, ему почет и уважение, проезд в трамвае бесплатный, билет на поезд, на самолет или в кино вне очереди. Гостиницы для него открыты, а отдыхает он в лучших санаториях, где забивает козла с инструкторами обкомов, председателями исполкомов и отставными генералами.

Обычно не все свои ордена он носит, только Золотую Звезду. Но уж на праздник Победы все вывешивает. И ордена, и медали, и все значки, какие имеет. И выходит на улицу с сознанием того, что ему есть чем гордиться.

Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд...

Между прочим, Твардовского, написавшего эти строки, правительство наградами не обходило. И за бой, и за труд у него были и ордена, и медали, и высшие советские литературные премии. А незадолго до смерти, к своему шестидесятилетию, он должен был получить еще одну награду. Но в это время он, по мнению партийного начальства, вел себя не очень хорошо. Отстаивал позицию руководимого им журнала «Новый мир» и защищал опального Солженицына. И разочарованный его поведением секретарь Союза писателей некий Константин Воронков сказал ему примерно так: «Жаль, Александр Трифонович, что вы себя так ведете. Ведь мы хотели вам дать Героя». На что Александр Трифонович за словом в карман не полез и сказал, что никогда не слышал, чтобы звание Героя давали за трусость. Я думаю, в данном случае Твардовский слукавил. Он хорошо знал, что звание Героя не только Соцтруда, а и Советского Союза дают, когда и в самом деле за героизм, а когда и за что-то другое.

За примером далеко ходить не надо. Брежнев, например, был Героем Социалистического Труда и четырежды Героем Советского Союза. Тогда как Сталин, который тоже большой скромностью не отличался, но был, как ни крути, во время войны Верховным Главнокомандующим, званием Героя Советского Союза наградил себя лишь однажды.

Бывают, конечно, случаи, о которых в газетах пишут под заголовком «Награда нашла героя». Какому-нибудь герою дали орден, а он в это время то ли в госпитале лежал, то ли в плену находился, то ли в тюрьме сидел. И нашли его лет через двадцать-тридцать. А товарищ Брежнев находился не в лагере и не в тюрьме, а в политотделах, обкомах, в ЦК КПСС и в самом даже Президиуме Верховного Совета СССР, так что трудно предположить, что заслуженные им боевые награды не могли его разыскать вовремя. Он сам их нашел потом в своих собственных сейфах. И сам вешал их на себя и на других без всякой меры, без вкуса и без стыда.

Но все же боевые награды хотя и сильно обесценились, потому что выдавались кому попало и ни за что, а все-таки некоторые люди носят их заслуженно. А вот трудовые...

Мне сейчас трудовых героев редко приходится видеть.

Потому что здесь, на Западе, за работу никому орденов не дают. К самоотверженному труду не призывают. А крестьян, например, даже просят и даже платят им деньги, чтоб они сильно не перетружались и не производили столько товаров, сколько население съесть не может.

Здесь передовики производства не заседают на сессиях и партсобраниях, не обмениваются опытом, потому что им некогда, они работают. И за труд свой получают не правительственные награды, а деньги.

Конечно, к деньгам у многих из нас отношение неоднозначное. Я сам не люблю людей, которые никаких других ценностей в жизни не видят. Но все же деньги, заработанные честным трудом, являются не только материальным, но и моральным вознаграждением. Человек может купить ту вещь, которая ему нравится, может поехать туда, куда ему нравится, то есть не прозябать в унижительной бедности и не пользоваться постыдными привилегиями, а вести достойный образ жизни, который заслужил своим трудом.

ПРОСТАЯ ТРУЖЕНИЦА

Коммунисты... Об этой необыкновенной породе людей много написано и рассказов, и романов, и пьес, и киносценариев. На образе коммуниста воспитаны поколения. Каждый советский человек знает, что коммунисты — это люди особого склада. Из них можно делать гвозди, можно заливать глотки расплавленным свинцом, можно вырезать на спинах звезды, можно жечь в паровозных топках, а они хоть бы что. Или вообще молчат, или, если уж сильно припечет, выкрикивают какие-нибудь гордые слова о конечном торжестве своего дела или поют «Интернационал».

Однако до сих пор еще не все читатели хотят быть похожими на Павку Корчагина или Александра Матросова. Некоторым почему-то ближе какие-нибудь беспартийные типы, вроде Наташи Ростовой, Пьера Безухова или князя Мышкина. Лично я в литературе вообще предпочитаю положительных героям отрицательных. Мой, например, любимый герой — Собакевич, который говорил, что во всем городе только один прокурор хороший человек, да и тот, если разобраться, порядочная свинья. Или насчет еды: «По мне лягушку хоть сахаром облепи, я ее все равно есть не буду». Эти слова я бы отнес и к образу коммуниста, который уже скоро семьдесят лет, как сахаром облепляют, а он от этого съедобней не стал.

Коммунисты... Это, если судить по советской литературе, стойкие, непримиримые борцы за народное счастье. Им свойственны

беззаветная преданность своему делу, жертвенность и товарищеское отношение к женщине. И в труде они первые, и в бою они первые. А если случалось так, что надо за что-то отдать свою жизнь, то, как говорилось в стихах, тогда «еле слышно сказал комиссар: «Коммунисты, вперед! Коммунисты, вперед!»».

Не знаю, я, конечно, по возрасту в больших сражениях не участвовал, но в обыденной жизни мне чаще всего попадались коммунисты, имевшие мало сходства с изображенными в литературе. Или это серый чиновник с отвислыми щеками, который волком смотрит на нижестоящего и беззастенчиво лебезит перед вышестоящим, или воровато выходящий с туго набитым портфелем из распределителя, или и вовсе какой-нибудь запуганный человеечишка, который ни по какому более или менее серьезному поводу и слова никогда не скажет. «Что вы, что вы, я не могу, мне за это попадет, я же коммунист». Я уже не говорю о всяком ворье из тех, кто за казенный счет строил дачи, кто вагонами продавал за границу икру или иконы, кто устраивал притоны разврата. Такими вещами занимаются обычно коммунисты очень высокого ранга, но мне сейчас хотелось бы рассказать об одном из рядовых.

Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирному бюро на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой — дикари. Не те дикари, которые ходят в одеждах из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых с их молоткастыми и серпастыми паспортами в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо- и квартировладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказалось, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя». «А может быть, можно?» И он опять кивнул: «Ну пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал нет, километра дватри.

— Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы ежайте за мной.

— Ну почему же вы будете бежать впереди, — сказал я, — садитесь, поедем вместе.

— Да нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухабистой улице, по которой после дождя можно проехать разве что на тракторе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла женщина лет сорока могучего телосложения, в коротком и рваном сарафане. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

— Ты кого это привез? — закричала она, глядя то на мужа, то на нас, как будто мы были совсем никчемным товаром.

— Дачников, Егоровна, привез на неделю.

— Дачников? — повторила она. — На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там других не було?

— Не было, Егоровна, — испуганно отвечал Нупожалуйста. — Только эти и были.

— Ну ладно. — Она посмотрела на нас более доброжелательно. — Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

— В неделю? — спросила моя жена.

— Та не, у день.

— Десять рублей это дорого, — сказал я.

— Та не дорого, — убивая комара на ноге, сказала она.

— И к тому же у вас комары.

— Та яки комары? — сказала она и щелкнула себя по щеке. — Хиба ж это комары?

— А что же это?

— Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Нупожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжола робота, Володя. З пяти утра и до самого вечора. Така важка, така трудна робота. Но я люблю важко работать. Когда важко поработаешь, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы сняли отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись не рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не пошла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять вышел в сад и увидел: из сарая вышла хозяйка, потягиваясь, как штангист перед взятием веса.

— Вы сегодня не на работе? — спросил я. — Заболели?

— Та ни. У мене ж ото сэссия.

— Сессия? — удивился я. — Сельсовета?

— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.

— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.

— Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше нее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.

— Мэне ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, — говорит, — Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобно все же». Ну я ж ото подумала, Володя, шо як шо мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем, о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуйста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

— Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей продавали, а потом в наш магазин заходят и видят те же самые польты висят по сто двадцать.

— Та ты ничего не понимаешь, — махала она руками и просила меня: — Ты, Володя, этого не записывай, потому шо он же глупый и отсталый.

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

— Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэне ж ото орденом наградылы.

— Каким орденом? — я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.

— Та ото ж Лэнина. Меня в Краснодаре Полянский принимал, пальто подавал. Если б говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссью» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» «Ушла на виноградник», — сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели. Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано:

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА».

И на четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.

ЧЕНЧЕВАТЕЛЬ ИЗ ХЕРСОНА

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. В последнее время в Москве такие увлечения очень в моду вошли: телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, развлечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей генерального секретаря и других членов политбюро, тогда самое время удариться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата безопасное.

Ну так сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю, на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здрасьте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Несколько лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции — явление не такое уж редкое. И объясняется это не

столько нахальством или жадностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому человеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая и все-таки с его братом в одном классе учился...

Короче говоря, ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.

Ну сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку Посольской водки, в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут, понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марселя, не то Катании.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла, ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт зарубежных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет Посольскую водку скорее допить и спать идти, а потому, что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, — говорит, — я в Лас-Пальмесе сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку — девушка в купальнике, перевернешь — она без. «А это, — говорит он уже без моего вопроса, — я сченчевал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «сченчевать» я прежде никогда не слыхивал. И спросил, что оно означает.

— Чейндж! — сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. — Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, закупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря, все, что под руку попадется.

— И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

— Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге или Ван-

кувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ездим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминание об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхватил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

— Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут, знаете, надо быть очень бдительным. Если ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию «газиков»-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса поснимали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

— А как же, — спрашиваю, — те, кому вы везли «газики», они вам претензии не предъявляли?

— Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да «газики» это что! Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг — чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь — чейндж! А однажды, ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту втащили и там на куски пилили, ножовку смазывали, чтоб не пищала. А потом куски в иллюминатор кидали. А бедуины в аквалангах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но когда я спросил его, не член ли он партии, он опять востропел, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

— Да-а, коммунист.

ПАРТИЙНАЯ ЧЕСТЬ

Одного кинорежиссера как-то давным-давно, еще при старых деньгах, записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было почти никакого. И очередь двигалась ужасно медленно. Но все же двигалась, и режиссер наконец оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получат

ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но в чем дело, догадаться не может. Наконец кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты, — говорит, — будешь в этой очереди стоять до второго пришествия или до тех пор, пока кому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь». А режиссер был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет, — говорит, — ни за что! Взятки никогда не давал и давать не буду. Взятки, — говорит, — унижают и того кто берет, и того, кто дает». «Ну хорошо, — говорят ему, — тогда стой в очереди неуниженный». Ну он и стоит. Год стоит, два стоит, жена, само собой, пилит. Капризная, не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет утрам стоять в очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа, принципы его постепенно испаряются. Наконец он решился на преступление. «Ладно, — думает, — раз такое дело, один раз дам все-таки взятку, а больше уж никогда не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Арагви». Режиссер заказал того-сего: грузинский коньяк, лобио, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и наконец режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прямо так говорит: «Знаете, — говорит, — я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взятки еще никому никогда не давал и как это делать, не знаю. А вы, человек опытный, не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы оттерло и к режиссеру через стол перегнулось. «Мне, — говорит, — пять тысяч, здесь, сейчас».

Хоть и шепотом, но четко, без недомолвок.

«Хорошо», — говорит режиссер и достает из кармана бумажник. Но впрочем, тут же несколько засомневался. «А что, — говорит, — если я вам эти пять тысяч вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?»

Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком даже не подавилось. Даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты! — говорит. — Да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!»

И ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи. Пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало. Так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам к тому времени вступил в партию. Так что он знал уже точно, кому, чего, когда и где.

КАК ИСКРИВИТЬ ЛИНИЮ ПАРТИИ?

Ленин когда-то сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но в основном занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста — это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в 10-м классе вечерней школы в Крыму, мне было 23 года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме — длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе.)

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводящий — молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. А если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что ни за что его не выпустит. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой степени тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до

четвертого, ну до седьмого, а потом или его как-то выпихивают из школы или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко, будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведывал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе и тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке «смирно», и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не исказить линию партии. А как ее исказишь?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

— Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии?

Молчание.

— В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

— Правильно, — отвечал Еременко. — В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

— Ну что ж, — заключала учительница, — вы подготовились отлично, я ставлю вам пять.

С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

— Уж что-что, а историю я знаю, — говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромные свиньи по рублю пятьдесят штука на старые деньги. То есть по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов Еременко школу закончил и получил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

БЕСПЛАТНО

Советских людей, выезжающих по каким-то надобностям за рубеж, учат остерегаться провокационных вопросов и находчиво на них отвечать. Проявлять находчивость иногда очень трудно, потому что какой вопрос ни возьми, все — провокация. Жилищные условия, зарплата, продукты питания, права человека, диссиденты, Сахаров, Афганистан. От ответов на эти вопросы следует уклоняться или противопоставлять им утверждения о преимуществах социалистического строя, среди которых бесплатное образование, бесплатная медицина и почти бесплатные квартиры. Уж эти-то утверждения кажутся настолько бесспорными, что мне во время моих лекций на Западе студенты, симпатизирующие Советскому Союзу, часто и не без ехидства задают один и тот же вопрос: «Скажите, а сколько вам стоило ваше образование?» На что я охотно отвечаю, что оно мне ничего не стоило, потому что я его не получил. Мои родители, интеллигентные и уважающие образование люди, элементарно не могли меня прокормить и поэтому уже в раннем детстве я, как и миллионы моих сверстников, вынужден был бросить школу и пойти работать ради куска хлеба. В нормальной школе я окончил всего один класс — первый. Во втором и третьем я не

учился. Четвертый кончил, работая в колхозе. Пятый пропустил. В шестом и седьмом учился вечерами, после восьмичасового рабочего дня. Затем я был призван на четыре года в армию, где учиться не разрешали ни вечером, ни заочно. На все мои обращения по этому поводу к начальству я получал один и тот же ответ: «Вы сюда пришли Родину защищать, а не учиться». После армии, работая, я окончил десятый класс (восьмой и девятый пропустил), учился полтора года в пединституте, но ушел из него по той же причине — вынужден был зарабатывать деньги на жизнь.

Я принадлежу к поколению, детские годы которого пришлось на войну. Сейчас, конечно, полегче и среднее образование молодые люди, как правило, получают. Но дать им высшее образование далеко не каждым родителям по карману.

Образование бесплатное, но еда, одежда, портфели, учебники стоят денег. Школьной подготовки для поступления в более или менее приличный институт недостаточно и родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов. Репетиторы берут за уроки до десяти рублей в час, а не каждый родитель зарабатывает и пять рублей в день.

Есть много институтов, куда нельзя поступить без взятки, а это сразу несколько сот рублей.

Кроме материальных причин, есть другие, специфические. В некоторые высшие учебные заведения (например, МГУ) евреев практически не принимают. В некоторые (например, институт международных отношений) вообще могут поступить только дети партийных бюрократов, дипломатов, высших военных и кагэбэшников.

Официальное отношение властей к образованию — презрительное. Это презрение пропаганда воспитывает и в школьниках. Советская печать полна негодующих статей и фельетонов о молодых людях, которые, вместо того чтобы сразу идти к станку или в коровник, стремятся в институты и университеты. Законы ставят перед выпускником школы препятствие в виде почти обязательного двухгодичного трудового стажа. Отработав два года на заводе или в колхозе или прослужив в армии, бывший школьник забывает, чему его учили, и часто вообще теряет интерес к продолжению образования, тем более что ничего хорошего оно ему не сулит: зарплата рядового инженера, врача, бухгалтера или учителя гораздо ниже, чем заработок квалифицированного рабочего.

Конечно, даже несмотря на все эти препятствия, некоторые дети простых и малообеспеченных родителей тоже получают высшее образование, но для этого им надо проявить очень большие способности, очень сильную тягу к знаниям и готовность к самопожертвованию. Пять лет в институте они ходят полуголодные и полураздетые, подрабатывая на жизнь разгрузкой вагонов или переборкой на базах гнилых овощей. И только такой ценой получают высшее образование, которым потом их всю жизнь попрекают и требуют благодарности.

Каждый советский человек, заболев, может пойти в поликлинику, может вызвать врача на дом, может вызвать «скорую помощь», это ему ничего не стоит. Если попадет в больницу, ему счета за лечение потом не пришлют. Но...

В семидесятом году ко мне в Москву приехала из провинции моя мать. Выглядела она ужасно: худая, желтая, слабая. Я спросил, что случилось. Она сама не знала что. Какие-то боли в желудке, полная потеря аппетита, вес неудержимо падает.

А что говорят врачи? А врачи ей говорят, что у нее весенний авитаминоз, прописали какие-то витамины и сказали: «Ешьте для поднятия аппетита селедочку».

Я, конечно, в медицине не очень сведущ. Но я жил в Москве, был членом Союза писателей, у меня было много самых разнообразных, в том числе и медицинских, связей, иначе говоря, блага. Мне удалось устроить мать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген и сразу же увидели то, чего не увидеть было нельзя, — огромную опухоль в желудке. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Мать прооперировали. Она прожила еще восемь лет и умерла от сердечной недостаточности. А если бы у нее не было сына в Москве?

Ну допустим, это случайность. Допустим, в провинции попался плохой, недостаточно квалифицированный или недобросовестный врач, а вообще это нетипично. Но через два года с моим отцом случилось то же самое. За эти два года мои родители переехали из одного города в другой. И там у отца появились боли в районе шеи, с правой стороны. И небольшая опухоль. Врач посмотрел и сказал: «Лимфаденит» и прописал прогревание. Отца прогревали, опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а его все прогревали и прогревали. Наконец отец по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его посмотрел, сказал: «Рак». Потом его смотрели другие врачи, делали рентген, брали биопсию. И установили окончательный диагноз: рак корня языка четвертой стадии. То есть последней. Надо было устроить отца в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на Каширку, так в просторечье называют известный московский онкологический центр. Это целый больничный город с огромными корпусами, выглядит (тут уж ничего не поделаешь) пугающе и производит впечатление фабрики смерти. Ну приехали мы туда, пошли к какой-то даме-профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Ну записались, ну сдали анализы, ну, взяли у отца опять биопсию, вызывают меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два, выходят в слезах, иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта. Стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить, у

него вся надежда была на эту Каширку, а здесь не берут. Ни в какую. «Когда я был им нужен,— сказал он,— тогда меня от насморка лечили лучшие профессора. А теперь я не нужен. А что вы думаете,— спросил он меня,— если я упаду на улице, должна же меня «скорая помощь» доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, хотя тоже думал, что должны.

Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо. «У вашего отца,— сказал он,— рак в запущенном состоянии. Он неизлечим. Ему жить осталось месяца три-четыре от силы. Вы должны подготовиться, эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными. Мы его взять не можем. Безнадежных мы не берем. Лечить их бесполезно, а статистику они портят».

«Но что же делать? — спросил я. — Надо же его все-таки как-то лечить». Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет, но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал бумагу, в которой было написано: «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства».

Мы с женой обошли несколько московских больниц, употребили все связи, подняли на ноги всех друзей и знакомых. Наконец нашли одного врача, который работал в загородной больнице. К счастью, он оказался моим читателем и взял отца на лечение. Отца стали облучать, но не кварцевыми лучами, а радиоактивными. И произошло чудо. Опухоль стала исчезать. Через три недели отец был выписан из больницы под наблюдение врачей.

Через три года у него был рецидив болезни. Мой знакомый врач был в отпуске. Поэтому мы обошли опять несколько больниц, начиная с той же Каширки, и опять отца никуда не брали. Даже несмотря на наши сообщения о первом результате лечения. Наконец знакомый врач вернулся из отпуска, мы опять обратились к нему, отец прошел второй курс облучения. С тех пор прошло еще девять лет (всего двенадцать). Отец мой жив. Он старый и часто болеет, но от рака его тогда излечили. Если бы я не жил в Москве, не имел столько связей, не встретил в конце концов врача, который ко мне лично хорошо относился, отца давно бы уж не было.

Лечение бесплатное, поэтому каждого человека им попрекают. А если пенсионер, если отработал и уже государству не нужен, то и насчет лечения государство уже не очень-то беспокоится.

Мой дядя жил в областном городе на Украине. Когда ему стало плохо, родственники позвонили в «скорую помощь». Там спросили, а сколько ему лет. Семьдесят. Мы к таким не ездим, сказали в «скорой помощи». Правда, после устроенного им скандала, они приехали, но было уже поздно.

А вот бабушке моей повезло. Когда ей перевалило за девяносто, врачи стали уделять ей внимание. Участковый врач ей сказала: «Вы уж, пожалуйста, не болейте, а если что, вызывайте, я сразу приду. Вы у нас теперь долгожительница, вы мне нужны для статистики».

Медицина бесплатная, но лекарства — нет. Некоторые из них стоят очень и очень дорого.

А на сколько-нибудь серьезную операцию бедному человеку лучше вообще не ложиться. Под подушкой надо всегда иметь разменные рубли. Человек только что он наркоза очнулся, лезет под подушку и протягивает нянечке рубль. Губы смочить — рубль, простыню поправить — рубль, судно принести — рубль.

А в иных больницах, где персонал избалован, и трешку. А иначе никто не подойдет, и человек, перенесший сложнейшую операцию, может не перенести послеоперационного ухода.

Подавляющее большинство врачей ограничивается мизерной зарплатой и мелкими подачками от больных (например, бутылкой коньяка за серьезную операцию). Не только государство, но и пациенты труд врача оценивают крайне низко. Вот хотя бы такой пример. Полупьяный автомеханик, чиня мою машину, рассказал, что его отец тяжело болен, лежит в больнице, предстоит операция, но врачи на успех ее не надеются. Автомеханик говорил с хирургом и узнал, что тому нужно починить «запорожец» — сломалось сцепление. Не сомневаясь в своей широте, механик сказал хирургу так: «Вот вылечишь отца, я тебе сцепление поставлю по госцене» (то есть не по спекулятивной).

Некоторые врачи, видя всеобщую коррупцию, взяточничество и воровство, тоже не хотят жить как нищие и начинают брать взятки. Одни умеренно, но появились неумеренные и даже очень. Я знаю одного профессора, который в государственной больнице за операцию меньше пятисот рублей не берет. И никаких страховок против таких разбойников у советского человека нет.

Так что медицина в Советском Союзе бесплатная, но доступна не каждому.

* * *

То, что квартиры в Советском Союзе стоят дешево, это всем известно. Квартплата мизерная и чуть ли за всю историю советской власти ни разу не поднималась.

Но что это за квартиры и стоят ли они больше того, чем берет за них государство?

Сейчас, конечно, с жильем стало лучше. Вот уже лет двадцать пять, как государство стало проявлять реальную заботу о решении так называемого жилищного кризиса. Теперь в Москве большинство моих знакомых живут в отдельных благоустроенных квартирах со всеми удобствами. А вот когда-то... Впрочем, расскажу по порядку.

Я приехал в Москву в пятьдесят шестом году. Я писал стихи и надеялся, что в Москве мне легче удастся их напечатать, чем в провинции. Но что значит в Советском Союзе приехать в Москву? Надо же где-то остановиться, где-то жить. А с пропиской в Москве

и вообще — трудно. Люди, чтобы прописаться, к каким только ухищрениям ни прибегают. И взятки дают, и женятся фиктивно. А мне взятку давать было не из чего и жениться фиктивно не на ком, потому что за фикцию эту тоже деньги надо платить, и немалые. Но у меня зато другой козырь был: мои рабочие специальности. С ними я на стройку плотником или слесарем устроиться мог бы. Но, оказывается, не тут-то было. Как раз перед моим приездом Хрущев выступил с панической речью, что Москва перенаселяется, народу слишком много в нее приезжает и правдами-неправдами в ней остается. И надо от дальнейшего нашествия ее как-нибудь оградить. Правила прописки и раньше были строгие, а тут и совсем зверские стали. Ну и, понятное дело, стал я ходить от одного отдела кадров к другому. Прихожу: «Вам плотник или слесарь нужен?» Ну конечно же, нужен. Любой начальник отдела кадров меня готов, как брата родного, обнять. Но он же знает, что неспроста я пришел, не с чистыми намерениями. И спрашивает: «А прописка у вас московская есть?» А у меня вот уж чего нет, того нет. Ну и до свиданья. А в милицию пойдешь, там и вовсе волком смотрят. Справки с места работы нет? Нет. Ну и катись отсюда.

Ну и качусь.

Жил я тогда в помещении довольно обширном. Несколько тысяч квадратных метров. Я имею в виду Курский вокзал. И между прочим, за жилье это не платил ни одной копейки. Правда, были некоторые неудобства. Народу много, скамейки заняты. Ну построишься где-нибудь под стенкой на гранитном полу, только заснешь, милиционер будит и на улицу вытаскивает — без билета здесь спать нельзя. Ну если дождя нет, уйдешь куда-нибудь в скверик, чтобы на скамейке ночь провести, но и со скамейки гонят.

Промаялся я так несколько суток и вдруг однажды смотрю — объявление: «Принимаются рабочие для работы на железной дороге. Одинокие и семейные обеспечиваются общежитием. Прописка не обязательна. Адрес: станция Панки, ПМС» — путевая машинная станция, значит.

Через полчаса я был на этой самой ПМС, а через час уже числился там рабочим. Прописывали там немосквичей, потому что ПМС вообще-то числилась в Рязанской области, а под Москвой была вся целиком в командировке.

Но я не об этом. Я о жилье. Оно было очень дешевое. На нынешние деньги копеек, может быть, семьдесят. Но что за жилье?

Все, кто работал на станции, жили в вагончиках. Рабочие в теплушках, начальство — в пассажирских, старого, впрочем, может быть, даже дореволюционного образца. Начальство, надо сказать, было в общем-то небольшое. Наши вагончики были разделены по полам. В каждой половине четырехместное купе с двухъярусными полками и кухня, в которой не было ничего, кроме дровяной печки. Удобства (деревянная уборная с дырками), вода — все за углом. Надо сказать, что на этом предприятии была большая текучка

кадров. И я тоже оказался кадром очень текучим. Но начальство с этой текучкой боролось и, желая привязать к себе рабочих надолго, обеспечивало жильем не только одиноких, но и семейных и браки всячески поощряло. А жилье их, этих семейных, были те же полвагона. Я очень хорошо помню эти семейные жилища. Они отличались от наших тем, что были поаккуратнее. Занавесочки висели, герань на окошке цвела. Пеленками пахло. А теснота хуже, чем у нас. У каждого из нас всего-то имущества было, что по чемодану на брата, да и те в камере хранения. А семейные люди норовят обзавестись лишним: шкаф какой-нибудь хотят иметь, люльку для ребенка, а еще всякие тазы, кастрюли. Но поставить все это было негде. Поэтому и семейные жили без мебели, украшая свои жилища занавесками да дешевыми ковриками деревенского производства. С лебедями и пышногрудыми красавицами. Но и это жилье для некоторых было пределом мечтаний.

Я помню, у нас была одна девушка, очень хотела замуж. И вот во время перекуров она подсаживалась к кому-нибудь из нас, холостых парней, и заводила разговор о том, как трудно молодому мужчине жить одному, самому за собой ухаживать, самому стирать и готовить. А потом, заглядывая в глаза, улыбалась и вздыхала мечтательно: «А женатым-то полвагона дают!»

Я в этой железнодорожной организации проработал недолго. Москве нужны были строительные рабочие и для них правила прописки вскоре были облегчены. Я перебрался в Москву и жил в общежитии. Общежитие было неплохое. Большие, по 32 квадратных метра, комнаты на восемь человек. Просторная кухня, газ, цивилизованные туалеты. Правда, горячей воды, а тем более, ванной или душа не было. Но все-таки условия по сравнению с теми, которые мне пришлось испытать до тех пор, были вполне приличными.

Здесь начальство не только не поощряло браки между рабочими, но, напротив, всячески им препятствовало. Борьба начиналась задолго. Наши воспитательницы, две здоровые и физически развитые тетki, бегали по этажам и вокруг дома, вылавливали влюбленные пары в коридорах, на лестницах, в кустах, а некоторых вытаскивали и из постелей. Кричали на них, позорили их на собраниях и в стенгазете. Но все-таки инстинкт превозмогал и воспитательницы за всеми его проявлениями уследить не могли. Девушки и парни вступали чаще всего во временные отношения, но иногда и женились. Муж обычно поселялся у жены. Жилплощадь новой семьи ограничивалась размерами кровати. Эту кровать молодые отгораживали от остальной части комнаты простынями. Воспитательницы, а иногда и начальство врываются в эти комнаты, срывают простыни, скандалили, гнали мужей прочь. Когда молодые спрашивали, а что же им делать, начальство отвечало: «Что хотите, то и делайте. Не надо было жениться».

Надо было или не надо, но люди все же женились, производили на свет детей. Начальство в конце концов сдалось и образцовое

холостяцкое общежитие переоборудовало в так называемое семейное общежитие. Комнаты были поделены пополам. В каждую шестнадцатиметровую половину вселяли по две семьи. Одна семья у окна, другая в проходной половине — у дверей. Отгораживались друг от друга теми же самыми простынями. И так, попутно размножаясь, совершенно чужие друг другу люди жили годами.

Я в то время посещал литературное объединение, познакомился со многими москвичами-литераторами, ходил к ним в гости читать свои стихи и слушать чужие. И почти все мои новые знакомые, большинство которых родилось и выросло в Москве, жили в коммунальных квартирах. По две, по три, по четыре семьи в одной квартире, а то и побольше. Я первый раз получил комнату в квартире с коридорной системой. В нашей квартире жили двадцать пять семей. С одной кухней, с одной уборной на всех. Ну какая там была жизнь, какие скандалы внутри комнат между членами семьи и на кухне между соседями, описывать не буду. Всем жителям советских городов это все хорошо знакомо. Эти кошмарные жилищные условия, в которых существовало подавляющее большинство городского населения страны, объяснялось не только объективными трудностями, но и полным равнодушием властей. А еще и тем, что жильцов общей квартиры гораздо легче контролировать. Кто варит самогон, кто рассказывает политические анекдоты — все известно. Если не ответственный квартиросъемщик, то кто-нибудь другой непременно был стукачом.

Последнее время с жильем стало легче. Вот уже лет двадцать пять, как власти решают жилищный кризис. Построено много домов. Миллионы семей получили отдельные квартиры. Другие миллионы, впрочем, доживают свой срок в общих квартирах. Очереди на отдельную квартиру дождаться не могут, а в кооператив вступить не на что. Потому что кооперативные квартиры стоят не так уж дешево и не всякому по карману. Например, моя двухкомнатная квартира стоила семь тысяч рублей. Я ее купил, потому что одно время получал довольно приличные гонорары. А рядовому рабочему, учителю или врачу где взять такие деньги?

Конечно, в отдельной квартире жить намного лучше, чем в коммунальной. Но и отдельные, как правило, довольно-таки скромны. В Москве норма на человека — 9 квадратных метров, и райисполкомы следят, как бы кто не получил лишнего. Значит, семья из трех человек редко имеет квартиру больше двух комнат. Большинство советских квартир — одно-, двух-, трехкомнатные. Я знал одну семью, у них было четыре комнаты, но семья состояла из тринадцати человек.

Такие понятия, как гостиная, столовая, спальня, детская, в языке советских людей практически отсутствуют.

У некоторых людей есть отдельные дома. Но они уж и вовсе не всякому по карману. Дом может стоить и десять, и двадцать, и тридцать, и триста тысяч рублей. А такие деньги водятся только у

самых поощряемых властью писателей, академиков, у директоров магазинов, ресторанов и у воротил подпольного бизнеса.

Но у рядового советского человека, который не ворует, не спекулирует и живет на одну зарплату, таких денег нет.

Потому что труд в Советском Союзе — тоже почти бесплатный.

Д В С

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни — это свобода, равенство и братство. Это каждому известно. А если кто забудет — может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку будет висеть большой такой транспарант, и на нем что-нибудь такое будет написано большими буквами: СВОБОДА, например, или РАВЕНСТВО, или БРАТСТВО. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того-то. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, я вам так скажу, что привилегии — это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал — дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь.

Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной не очень большой азиатской или, может, кавказской даже республики приехал однажды в Москву по делам. Само собой, привез подарки всякие своим московским собратям по перу и всему другому. Собратья его — люди важные. Один — секретарь Союза писателей, другой — главный редактор журнала, третий — директор издательства, четвертый — в комитете по Ленинским премиям шишка. И каждому же надо привезти сувенир какой-нибудь, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер или блюдо серебряное, или еще что-нибудь недорогое, рублей, скажем так, за пятьсот-семьсот. Ну само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчхеллу или что-то подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы,

то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Ну как он там с братьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закусено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допился и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чует в груди: бу-бук, бу-бук. А потом что-то ка-ак саданет, будто сердце шампуром, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то вроде слабеет, — помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с такими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну это, как известно, наша «скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Открывается дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишут, врывается другой санитар с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь тоже заглядывает. Доктор, понятно, спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону тычет. Доктор время терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

— Ну что? — спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

— А ничего, — говорит доктор. — Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

— Да вы ничего, — говорит доктор, — вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достает из чемоданчика шприц со здоровенной иглой, и иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, дает знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются, и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в стороны. «Кто, — гово-

рит, — вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они — «скорая помощь», а тащут они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: я его выпустить не могу, ставь носилки обратно на пол. Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он — ДВС.

— Дэвэ кто? — переспрашивает доктор.

— Дэвээс, — повторяет администратор и объясняет доктору, который не понял, что ДВС — это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит, я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, и ссылается на клятву Гиппократу, которую он, между прочим, не давал, потому что у наших врачей своя есть клятва, советская.

Администратору, само собой, на Гиппократу этого с высокого дерева наплевать и на его эту клятву тоже.

Врач в конце концов сдастся и звонит в центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит, черт с ним, с этим администратором, если больного не отдает, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берет ответственность на себя. Администратор расписки не дает, больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру. «Пришли-те, — говорит, — карету специальной «скорой помощи», у меня тут ДВС загибается».

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Пошептаться кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помягчел, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою центральную, в какой из филиалов кремлевской больницы доставить больного.

Те спрашивают, а как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», потом поднимается и администратору холодно так говорит: «Что вы глупости, говорит, городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопросительно на больного, тот слегка очухивается и говорит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И говорит администратору: «Где там этот ваш врач для простых людей, пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним возиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Перехватывает доктора на самом выходе, загораживает дорогу. «Вертайтесь, — говорит, — обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они доктора кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять переключаются на больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давай сыр! Давай сыр!»

— Что это он говорит? — спрашивает обыкновенный врач необыкновенного. — Какой еще сыр? При чем тут сыр?

— Восточный человек, — говорит врач необыкновенный. — Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

— Постойте, — говорит администратор обоим врачам, — он, может быть, не про сыр говорит, а про что-то другое. — Наклоняется к больному и спрашивает его как-то непонятно: «Дэвэсээр?»

— Дывысыр, дывысыр, — хрипит больной, соглашаясь.

— Ну вот видите, — говорит администратор кремлевскому доктору. — Я же вам говорил. Он депутат верховного совета республики. Не ДВС, а ДВСР. Кладите его обратно. — И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с парусиновых носилок на кожаные.

— Стоп! Стоп! Стоп! — говорит кремлевский доктор, отрывая администратора от больного. — Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давайсыров другая «скорая» есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санитарам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождавшись обещанных ночных сосисок, сбегают.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дергается. Дергается администратор, понимая, что больной — депутат хоть и не СССР, а республики, а и за него отвечать придется. И требует администратор от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы из гостиницы. А доктор, поупивавшись, звонит снова в свою центральную и говорит: так и так. А те сначала с кем-то связались, с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили гуманность и говорят: хорошо, в порядке исключения разрешаем использовать перевозку для дэвэсээр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довезти. Если бы был простой человек — тем более. А он был ни то ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

ЭТО ЧТО ЗА РАЗДОЛБАЙ?

Утверждение, что в Советском Союзе нарушаются права человека, не совсем правильно, потому что нельзя нарушать то, чего нет.

Все провозглашенные Советской Конституцией права и свободы являются фикцией. Право на труд на самом деле является обязанностью. Человек, уклоняющийся от так называемого общественно-полезного труда, то есть от работы в колхозе, на заводе, в государственном учреждении, подлежит уголовному наказанию «с обязательным привлечением к труду». Закон о тунеядцах власти самым циничным образом используют против инакомыслящих. Их лишают работы, а потом судят за то, что они не работают. В лагерях их калечат непосильной работой, а в местах ссылки они тоже не имеют права, а обязаны заниматься неквалифицированным трудом (физик с мировым именем Юрий Орлов работает сторожем, а математик Татьяна Великанова банщицей).

В Конституции записано, что каждый человек, достигший определенного возраста, имеет право выбирать и быть избранным. Но избирают только тех, кого назначает партия. А право выбирать также является обязанностью. Ежегодно советские люди участвуют в «выборах» в верховные или в местные органы власти. Их участие состоит в том, что человек идет на избирательный участок, берет бюллетень, в котором указана только одна фамилия, и опускает его в урну. На избирательных участках стоят, правда, задернутые шторами кабинки для «тайного» голосования, куда человек может зайти, вычеркнуть эту одну фамилию, написать другую или неприличное слово, но даже сам по себе заход в эту кабинку будет кем-нибудь отмечен, и в досье совершившего этот «антиобщественный» поступок гражданина появится соответствующая отметка. Всякое уклонение от осуществления этого «права» будет также отмечено и учтено при распределении премий, квартир, путевок в дом отдыха и, без всякого сомнения, при решении вопроса о заграничной поездке. Вся эта процедура, называемая выборами, может показаться совершенно бессмысленной: 99% граждан выбирают не четверть, не половину, а все 100% назначенных партией кандидатов. На самом деле она вовсе не бессмысленна: она является регулярно проводимой всеобщей проверкой готовности советских граждан играть в эту игру, проверкой их лояльности.

То же происходит со всеми провозглашенными свободами: печати, собраний, демонстраций и т.д. Действительно свободные

собрания и демонстрации наказуемы как уголовные преступления, а на собрания и демонстрации, организуемые властями, людей гонят насильно. Уклонение от них рассматривается как проявление нелояльности.

Говоря о нарушении прав человека, мы имеем в виду обычно какие-то религиозные, национальные, социальные группы, мы говорим, что нарушаются права верующих, рабочих, писателей. Это тоже неправильно. В Советском Союзе есть много людей, обладающих теми или иными привилегиями, но неправы все, включая самых высших советских руководителей. Я бы даже сказал, что высшие руководители в некотором смысле еще бесправнее рядовых советских граждан. Они не только обязаны неукоснительно соблюдать все правила и ритуалы, принятые в их среде, не только живут в постоянном страхе друг перед другом, но и от самих привилегий отказаться не могут. Если даже представить себе, что высший партийный чиновник вдруг захотел отказаться от пользования распределителем, можно не сомневаться, что этот жест будет воспринят как протест против существующей системы и чиновник наверняка потеряет свой пост. А потеряв его, он сразу становится никем.

Расскажу такую историю.

Станция метро «Аэропорт», возле которой я жил последние свои годы в Москве, находится на Ленинградском проспекте. По этому проспекту я часто гулял. Однажды шел я по одной стороне проспекта, а затем решил перейти на другую. Приблизился к перекрестку, вижу, посреди милиционер знакомый стоит. (Я его часто встречал, гуляя.) В зубах сигарету держит, в руке — палку. На плече — приемник-передатчик «волки-толки» висит. Приближаюсь я к милиционеру, собираюсь с ним поздороваться, вдруг замечаю, что с ним происходит метаморфоза. Прикладывает он свои «волки-толки» к правому уху, потом бросает, сигарету изо рта выплевывает, вставляет вместо нее свисток и свистит, как полоумный. Тем, которые еще не выехали на шоссе, чтоб не выезжали, а тем, которые уже там, чтобы свернули в сторону. Палкой машет и кулаком грозит, и в свисток свистит. А затем слышу приближающийся воющий звук: ууу-у-у-у!

И вот несется кавалькада. Впереди немецкая БМВ канареечного цвета, за ней черная «Волга», за ней длинный и черный «Зил», за ним еще такой же с кузовом универсал, реанимационный, за ним еще «Чайка» и две «Волги» — все черные. Сирена воеет, шины шушат, мигалки мигают, а канареечная машина вылаивает:

— Граждане, воздержитесь от перехода! Водители, освободите проезжую часть!

Милиционер отскочил в сторону, вытянулся, руку к виску прилепил, пожирает глазами машины, а они летят, как снаряды, километров сто пятьдесят в час, не меньше, одна за другой.

Наконец милиционер расслабился, за сигаретами полез, перекресток оглядывает и меня видит. «А, привет», — говорит.

— Кто, — спрашиваю, — проехал? Не Брежнев ли?

— Да нет, — говорит, — не Брежнев, а Кириленко. Сам-то я его не видел, за занавесками разве углядишь?

Оказалось, у него спички кончились. Я ему дал прикурить, он сигаретой к огню тянется, а рука дрожит.

— Чего, — спрашиваю, — ты так волнуешься? Первый раз, что ли, у тебя тут такой переполох?

— Первый не первый, — говорит, — а каждый раз страшно. У нас тут один стоял тоже, пуговицу забыл застегнуть. Так этот, который за занавесками там был, на скорости сто пятьдесят километров в час углядел. Машины еще из виду не скрылись, а на столе у начальника городской ГАИ уже вертушка звонит: «Что это за раздолбай у тебя там стоит напротив «Динамо»?»

А начальник городской ГАИ не спрашивает, в чем дело, почему раздолбай. Он боится. Он начальнику нашего отделения сразу звонит и спрашивает тоже: «Что там у тебя за раздолбай стоит напротив «Динамо»? И хорошо еще, что начальник наш ничего мужик оказался. Он этого, которого раздолбаем назвали, с Ленинградского проспекта на Масловку перевел, чтоб глаза не мозолил. А мог бы и премии лишить, и звание задержать, и пойди, жалуйся кому хочешь. Какие у милиционера права? Вот у него, который за занавесками, у него права...

Это милиционер так думал. И в самом деле. Кто он, этот милиционер? Никто. А Кириленко?

Когда я жил в Москве, Кириленко был еще на вершине власти. Он занимал в партии второй пост после Брежнева. И когда Брежнев ездил за границу или принимал лечебные процедуры, Кириленко вел заседания Политбюро и вообще управлял государством. И пока находился он на своем высоком посту, пока ездил на нескольких машинах, чего у него только ни было. И квартиры, и дачи с отгороженными от людей лесами, полями, реками и километрами морских побережий. Как-то был я в Сочи и увидел там на причале корабль. Не то крейсер, не то эсминец, я в этом не очень разбираюсь. Помню только, что корабль был военный, пушки из него и пулеметы торчали, и местные жители мне сказали, что это прогулочный корабль Кириленко. Он когда сюда приезжает, на этом корабле в море выходит. Но приезжал Кириленко редко, а матросы драили палубу часто. Вдруг хозяин приедет да захочет проветриться. Короче говоря, важный был человек Кириленко, не нам с вами чета.

А вообще я о Кириленко об этом и не вспомнил бы, если б не случай один. Фатальный, между прочим, случай. Я имею в виду тот случай, когда Брежнев скончался. А я его похороны смотрел в Америке по телевизору. Смотрел, как везли его на лафете орудия, как прусским гусиным шагом вышагивали наши советские солдаты. А за лафетом процессия: члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, маршалы, вдова, дети, родственники,

прихлебатели, кагэбэшники. И вдруг в толпе этой, смотрю, бочком как-то, робко передвигается странный какой-то человек, который вроде и участвует в этой процессии, и в то же время как будто он здесь совсем чужой. Одет, правда, неплохо. Зимнее пальто, каракулевый воротник, папаха тоже каракулевая. По виду, повадкам похож на председателя колхоза, который из глубокой провинции приехал хоронить именитого родственника. «Что еще за раздолбай?» — думаю. А потом пригляделся: да это же совсем не раздолбай, а лично товарищ Андрей Павлович Кириленко.

Я даже глазам своим не поверил. Как это, второй человек в государстве, а идет так демократично, не в первых рядах и не в задних, идет как бы вместе со всеми и отделенный от всех незримой чертой, как прокаженный.

Тут, правда, все и разъяснилось: телевизионный комментатор подтвердил мою догадку, что Кириленко месяц или два тому назад на чем-то погорел и места своего в Политбюро лишился.

И стало мне интересно, о чем думает сейчас товарищ Кириленко, какие антисоветские мысли роятся под его папахой. Ведь не может же он не чувствовать себя оскорбленным! Ведь пятьдесят лет служил партии и за страх, и за совесть, сорок пять лет на руководящей работе, двадцать с лишним лет заседал в Политбюро, а по праздникам стоял рядом с Леонидом Ильичом на трибуне Мавзолея и милостиво приветствовал ликующие толпы демонстрантов, над головами которых покачивались бесчисленные его портреты. Эти самые люди, которые идут сейчас рядом с ним в похоронной процессии, встречали его появление аплодисментами, лъстивыми улыбками, сломя голову кидались выполнять любое его желание. А теперь они его не замечают, и даже тот, который зонтик над его головой держал, теперь от товарища Кириленко морду воротит.

Ну не обидно ли?

А родственникам его каково?

Ну вот умри он, скажем, вовремя. И его бы сюда привезли на лафете. И над ним бы речи произносили печальные. И родственникам было бы приятно получать потом персональные пенсии. А теперь ему-то, конечно, персональная, а им шиш. Потому что они теперь родственники не выдающегося деятеля партии и государства, а всего лишь — персонального пенсионера.

Я бы покривил душой, если бы сказал, что судьба Кириленко или его родственников меня как-то особенно заботит. Заботит меня другое: почему в этой стране даже ее руководители не имеют никаких прав? Теперь, конечно, не то, что раньше, раньше таких-то просто отстреливали. А теперь им дожить дают, но в забвении и позоре.

«Не место красит человека, а человек место» — гласит русская народная мудрость. Но как же неприложимо это к сегодняшней советской жизни. Сегодня — вообще никто ничего не красит. Не о том речь. Важно только место — за занавесками, в несущейся и

пугающей народ кавалькаде, на трибуне Мавзолея и, наконец, в Кремлевской стене...

Очень хорошо понимают это и сами руководящие работники. Рассказывали мне как-то про другого члена Политбюро, товарища Полянского Дмитрия Степановича. Приехал к нему однажды друг из Краснодара, может, они в ВПШ вместе учились, а может, какие-то другие подвиги в своей комсомольской юности совершали, этого мне, правда, не сказали, но приехал он к своему преуспевшему товарищу, пришел на квартиру с подарками, а хозяина дома нет. Жена говорит: «Митя выступает сейчас перед коллективом фабрики «Трехгорная мануфактура». Наконец приходит и сам хозяин — с отрезом сукна под мышкой. Перехватил недоуменный взгляд гостя и говорит: «Это мне работницы фабрики подарили». Гость удивился, «Митя, — говорит, — да зачем же тебе этот отрез? Ты же член Политбюро нашей партии, у тебя же есть все, чего не пожелаешь». «Да, — говорит Митя, — пока я член Политбюро, у меня есть все. А вот когда меня выгонят, тогда неизвестно, что будет. Может, еще придется этот отрез на рынок нести, чтобы прожить». И как в воду глядел, выгнали-таки его. Но все-таки судьба его столь печальной не оказалась, сначала его послом куда-то отправили, а уж потом на пенсию перевели, на персональную. Надеюсь, что на жизнь ему хватает и отрез на рынок нести пока не пришлось. Хотя и новых ему уже никто на дарит. Кому он нужен теперь, зачем?

Вот я вам скажу, смотришь здесь, на Западе, телевизор, читаешь прессу и что видишь? То бывший американский президент Никсон мемуары пишет про свой Уотергейт, то, мало ему этого, так еще по телевизору на пресс-конференции выступает, то бывший немецкий канцлер Хельмут Шмидт часовую речь по телевизору держит от своей социал-демократической партии, а другие ему, понимаете ли, еще овации устраивают, и всякие там конгрессы, митинги, дискуссии, да что же это такое?

А несправедливость, вот что. Из наших — один только Хрущев на писание мемуаров решился, а потом сам же в газете отрекался и свое собственное сочинение враждебной фальшивкой называл. Или как-то еще, я точно не помню. А другие молчат и доживают свои дни в забвении и даже напominать о том, что они живы, боятся. И мы не всегда и знаем, кто из них жив, а кто умер. Ну вот про Молотова недавно узнали, что жив и на девяносто четвертом году вернулся в родную партию. А где сейчас его боевые соратники? Где Маленков, Каганович, Шепилов, Шелепин, Шелест? В советской печати их имена не найдешь. В советских энциклопедиях упоминаются разные люди, не всегда даже советской власти приятные. Там есть и Гитлер, и Гиммлер, и Геринг, и Геббельс, но этих, наших, которых я перечислил, их нет нигде.

Хрущев в свое время пытался демократизировать партию и ввел в устав пункт о постоянной сменяемости высших партийных кад-

ров. Это и стало одной из причин его собственного падения. Свергнув Хрущева, его преемники этот неприятный им пункт из устава немедленно вычеркнули. И сами себя обрекли на то, что сойти с политической сцены с почетом можно, только умерев на посту.

Какие уж тут права человека?

Вот уж, действительно, не могу себе даже вообразить людей более бесправных, чем бывшие руководители Советского государства.

НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

Последние годы моей жизни в Москве меня время от времени навещал приезжавший из провинции начинающий писатель. Он жаловался, что его не печатают, и давал мне на отзыв свои романы и рассказы, которые он писал в большом количестве. Он был уверен, что его сочинения не печатают из-за их слишком критического содержания. Они и в самом деле содержали в себе критику советской системы, но у них был и еще один существенный недостаток — они были безнадежно бездарны. Приходя ко мне, этот человек иногда просил, а иногда просто требовал, чтобы я отправил его рукописи за границу и там их напечатал. Я отказывался. Тогда он решил пойти в КГБ и предъявить им ультиматум: или они отдадут приказ немедленно опубликовать его произведения, или он немедленно покинет Советский Союз.

Свой разговор в КГБ он пересказывал так.

Как только он вошел в здание КГБ, к нему подошел какой-то человек и сказал ему:

— Ах, здравствуйте, наконец-то вы к нам пришли!

— Разве вы меня знаете? — спросил писатель.

— Ну кто ж вас не знает, — развел руками кагэбэшник. — Садитесь. С чем пришли? Хотите сказать, что вам не нравится советская власть?

— Да, не нравится, — сказал писатель.

— А чем именно она вам не нравится?

Писатель сообщил собеседнику, что, по его мнению, в Советском Союзе нет никаких свобод, в том числе и свободы творчества. Права человека подавляются, уровень жизни неуклонно падает. Высказал и другие критические соображения, всего примерно лет на семь.

Выслушав его очень вежливо, кагэбэшник спросил:

— А зачем вы мне это рассказываете?

— Я хочу, чтобы вы это знали.

— А мы это знаем. Это все знают.

— Но если все это знают, надо же что-то делать!

— Вот в этом вы ошибаетесь, ничего делать не надо.

Удивленный таким разговором, писатель замолчал и продолжал сидеть.

— Вы мне все сказали? — вежливо спросил кагэбэшник.

— Все.

— Так чего же вы сидите?

— Я жду, когда вы меня арестуете.

— А, понятно, — сказал кагэбэшник. — К сожалению, сегодня арестовать вас никак невозможно, у нас очень много дел. Но если это желание у вас не пройдет, приходите в другой раз и мы сделаем для вас все, что сможем.

И выпроводил писателя на улицу.

Писатель этот навещал меня еще пару раз, а затем исчез. Я думаю, что в конце концов он своего добился и теперь его где-нибудь лечат от инакомыслия.

ВОРУЙ, ДА ЗНАЙ МЕРУ

Как-то ехал я на машине по шоссе. От заправки до заправки далеко, да и там не всегда найдешь то, что ищешь. К одной подъехал — бензина нет, до второй добрался — там огромная очередь, до третьей не доехал — бак опустел. Поднял руку, остановил самосвал, шофер — почему бы не заработать лишнюю пару рублей? — раскрутил длинный шланг от своего бака к моей канистре, засосал этилированный бензин, стоит, смотрит, как он, розовый, струится.

И тут как раз милиционер на мотоцикле, застал нас обоих на месте преступления. Я уже приготовился врать ему, что упросил шофера совершенно бесплатно налить мне только литр или два, доехать до ближайшей заправки, но милиционер даже слушать не стал, напустился на шофера:

— Что это ты делаешь? Создаешь мне аварийную обстановку. Мне казенного твоего бензина не жалко, воруй его сколько хочешь, но тут же поворот! Кто-нибудь выскочит, и авария.

Шофер выдернул из бака шланг, я оттащил канистру. Шофер поставил машину на обочину, милиционер, ругаясь, уехал. После этого мы уже спокойно довершили нашу торговую сделку. Обстановка не аварийная, а украсть у государства не грех, это даже и милиционеру понятно.

ПРИЛИЧНЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

Не знаю, как сейчас, а в мое время, то есть четыре года тому назад, люди изданные на Западе книги не только у себя дома на семь замков запершись читали, а где попало, в том числе и в общественном транспорте. Вот войдешь в метро, смотришь: один читает «Неделю», другой «Роман-газету», третий — просто газету. Но внимательно приглядишься и видишь, что если вагон набит, то в нем всегда есть два-три-четыре человека, которые читают что-то другое.

Обложки обернуты в газету, бумага тонкая, шрифт мелкий. Такой человек читает обычно сосредоточенно, но потом спохватится, прикроет книгу, оглянет близко стоящих внимательным взглядом и опять читает. Но некоторые до того дошли, что читают книги и не обернутые.

Мой приятель пришел ко мне как-то и рассказывает.

— Вот ехал, — говорит, — сейчас в метро. Смотрю сидит напротив меня молодой человек, книгу раскрыл, читает. Обложка красная, а на ней силуэт Ленина. Я посмотрел на него и даже расстроился. Надо же, думаю, такой симпатичный, молодой и интеллигентный на вид человек, а читает Ленина. А потом пригляделся и вижу: на обложке написано: «А. Солженицын. «Ленин в Цюрихе». И сразу мне стало перед молодым человеком немного неловко, что я про него так плохо подумал.

Рассказал мне приятель эту историю, и мы оба с ним тут же вспомнили другие времена. Когда интеллигентные молодые люди читали не солженицынского Ленина, а первоисточник. Читали, конспектировали, заучивали, цитировали. Таких молодых людей у нас уже нет. А говорят, в Советском Союзе ничего не меняется.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Все или почти все советские люди знают, что в Советском Союзе важны не писанные законы, а неписанные правила поведения, соблюдая которые человек может чувствовать себя в достаточной безопасности. Эти минимальные правила я бы сформулировал так.

Надо ходить на работу, выполнять свое дело более или менее добросовестно, но не проявлять при этом излишней инициативы, не пытаться что-то улучшить, не слишком выделяться. Иногда нужно посещать собрания, политзанятия и митинги. Если там проводится голосование по тому или иному вопросу и председательствующий спрашивает, кто за, надо поднять руку и опустить. (Если собрание многолюдное, руку можно даже не поднимать, никто не заметит.) Важно при этом никогда не голосовать против и не говорить, что вы воздерживаетесь, потому что оппозиция любому предлагаемому решению, даже если оно касается каких-нибудь мелких проблем, вроде сбора макулатуры или озеленения двора, будет воспринята как проявление политической нелояльности. Примерно раз в год необходимо участвовать в выборах в верховные или местные органы власти. Для этого надо не обязательно очень рано, но и не очень поздно (часов до двенадцати дня) явиться на избирательный участок, взять бюллетень и, не заглядывая в него, не интересуясь, чья в нем написана фамилия, аккуратно сложить и опустить в урну, купить здесь же в буфете полкило сосисок (если есть) и уйти. Распоряжения начальства, какими бы нелепыми они ни казались, принимать к исполнению, не споря, а от самого исполнения можно

уклоняться. Желательно вообще не думать о политике, не слушать иностранное радио и даже не читать советских газет, за исключением фельетонов и спортивных сообщений. Избегать каких бы то ни было контактов с иностранцами, включая граждан «братских» социалистических стран. Проявлять умеренный патриотизм и любовь к природе. Показать свою благонамеренность можно, будучи хоккейным или футбольным болельщиком, грибником, рыболовом. Даже герои многих чекистских детективов, выловив после упорных поисков банду иностранных шпионов, говорят обычно: «Ну а теперь на рыбалку!» Простой пошел чекист, свойский. Тратит свое свободное время не на изучение трудов Карла Маркса или материалов очередного исторического партийного съезда, а на простое и доступное нашему уму и сердцу занятие. Благонамеренному гражданину можно вырезать что-нибудь из дерева или на рисовом зерне, но следует избегать увлечения такими сомнительными хобби, как филателия, нумизматика или радиолюбительство (это влечет за собой интерес к контактам с иностранцами и непредсказуемые последствия).

Желательно не проявлять лишнего интереса к отечественной истории и избегать дискуссий по поводу Октябрьской революции, культа личности Сталина, коллективизации и прочих вещей, убедив себя самого, что это все дела давно минувших дней, которые к вашей сегодняшней жизни никакого отношения не имеют.

Значительная часть населения Советского Союза соблюдает эти правила только внешне, а на самом деле ведет образ жизни полу-подпольный. Такие люди ходят на работу, сидят на собраниях, голосуют за, но при этом тайком слушают радио, рассказывают антисоветские анекдоты и охотно читают, если попадается, что-нибудь запретное.

Но есть люди, которые, не бросая властям открытого вызова, тем не менее полностью отказываются от соблюдения всех принятых ритуалов, и их, если и не наказывают, то, может, лишь потому, что считают, что они не в своем уме.

ПАССИВНЫЙ СОПРОТИВЛЕНЕЦ

Сколько я его знаю, он ходит в одном и том же осеннем пальто, с одним и тем же потертым портфелем.

— Олег, — спрашиваю я его, — почему вы на этот раз не взяли деньги со своего пациента?

— Понимаете, он оказался очень интересным собеседником, — смущенно улыбается Олег. — После осмотра мы целый час проговорили, а после этого деньги брать было совершенно неудобно.

— Ну да, конечно. Зато очень удобно после целого дня работы в больнице тащиться к этому пациенту в трамвае и давиться в метро. Взяли бы за визит хотя бы десятку, как это делают другие. Ведь это же работа.

— Ну да, десятку. А если у него нет десятки?

Пациенты, к которым он ездил, всегда казались ему или бедными, или чрезвычайно приятными собеседниками, у одного из них как раз перед его визитом ушла жена, у другого были неприятности на работе. Разве можно с таких брать деньги?

— Вот попадется какой-нибудь богатый клиент, с него обязательно возьму.

Я ему говорю, что я как раз и есть богатый клиент, потому что у меня только что приняли киносценарий. Правда, тут же после принятия его зарубили, но получить деньги за него я успел.

— Если вы не будете брать деньги у меня, я у вас принципиально буду лечиться. Пойду в поликлинику и буду стоять там в длинной очереди.

— А вам вообще лечиться не надо, потому что вы здоровы как бык.

— Если я здоров, зачем же вы меня только что прослушивали?

— Я вас прослушивал, потому что на работе мне выдали новый стетоскоп и мне хотелось его проверить.

— Это очень остроумно, но когда вас приглашают пациенты, они хотят получить квалифицированную помощь, не выходя из дома, и готовы за это платить.

— А я, признаться, думал, что им интересно поговорить с умным человеком.

— Если бы вы были умным, вы бы не сидели двадцать лет на должности рядового врача, а давно защитили бы диссертацию и получали бы не сто тридцать рублей, а по крайней мере двести пятьдесят.

— Вы хорошо знаете, что никакой диссертации я защитить не могу. Для диссертации нужно иметь положительную характеристику от парткома и месткома больницы, а у меня репутация отсталого и общественно пассивного человека. Я не хожу на собрания и политзанятия, не участвовал в обсуждении книги Брежнева «Малая земля», не был на митинге солидарности с народом Чили и на субботнике в честь дня рождения товарища Ленина, а в парткоме больницы имеются сведения, что я регулярно посещаю церковь, хотя это неправда, я посещаю ее нерегулярно.

Я очень хорошо его понимаю, но мне жалко, что такой прекрасный доктор прозябает на должности рядового врача, хотя при его способностях он мог рассчитывать на гораздо большее. И я говорю ему опять то, что он уже тысячу раз слышал от других. Что все эти собрания, митинги и политзанятия не более чем идиотский ритуал, который люди исполняют, не вдумываясь, и который дал бы ему возможность успешно заниматься медициной на более высоком уровне. Если же он совершенно не может соблюдать этот ритуал, тогда он должен сосредоточиться на частной практике и зарабатывать деньги таким образом, благо в нашем обществе для врачей эта лазейка еще существует.

Он улыбается, кивает головой и даже отчасти со мной соглашается. Как-то он рассказал мне о хирурге, докторе наук, профессоре, члене бюро райкома и депутате райсовета. Делая операцию в казенной больнице, этот депутат берет за нее не меньше пятисот рублей.

— Ну вот, — говорю я, — вот видите!

— Неужели вы хотите, чтобы я стал таким же бандитом?

— Стать таким бандитом вам не грозит, но можно же быть хоть чуть-чуть попрacticalней. С какой стати вы должны ходить в этом потертом пальто и экономить каждую копейку, если вы все-таки ездите к вашим клиентам?

— Ну вот попадетсЯ действительно богатый клиент, с него уж обязательно возьму. — Этим обещанием обычно заканчивался наш разговор.

Один раз попался-таки ему генерал, который не подходил ни под одну категорию людей, с которых невозможно было взять деньги за лечение. Генерал не был беден, не выглядел слишком несчастным, его генеральша не собиралась от него уходить, и особенно приятным собеседником его, очевидно, тоже назвать было трудно. Генерала мучили какие-то странные колики, о причине которых ни военные, ни кремлевские врачи не могли никак догадаться. Посетил наш доктор этого генерала в его квартире, набитой коврами, хрусталем и старинной мебелью, определил, от чего колики, назначил лечение, собрался домой. Тут генеральша вынесла ему конверт с вложенной в него купюрой.

— Но вот тут, — рассказывал мне потом Олег, — посмотрел я еще раз на все их ковры и вазы и подумал: «А вот с вас-то, господа, я как раз и не возьму».

И не взял.

И когда я думаю об этом докторе, мне приходят на память встреченные в жизни другие люди: учителя, врачи, архивисты в засаленных пиджаках, машинистки, музейные работники, которые работают часто всю жизнь на самых низких должностях за самую низкую плату (помню даже одну старушку, которая, окончив в молодости Сорбонну, со знанием шести языков работала в санатории уборщицей). Постоянно уклоняясь от участия в общей лжи и лицемерии, они ухитряются сохранить свои души в неприкосновенности и рассеивают вокруг себя свет добра, человечности и душевного благородства. В них нет того тщеславия, которое толкает иногда людей на гражданскую деятельность, они совсем не похожи на героев, но их трудно развратить подачками, запугать угрозами и даже сломить тюрьмой. Тихие, застенчивые, незаметные, они никогда не производят никакого переворота, не возглавят никакого движения, никого никуда не призывают и ни в чем не уличают. Таких людей немного, но благодаря им не горят рукописи, не стирается память о прошлом и сохраняется атмосфера, в которой понятия чести и совести еще не утратили совсем своего значения.

СОВЕТСКИЙ АНТИСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Многие люди, попав из Советского Союза на Запад, испытывают на новом пути известные трудности, нуждаются в помощи и стараются как-то обратить на себя внимание местного общества. В этом смысле, как я заметил, выгоднее всего быть бывшим работником КГБ. Если человек, явившись в полицию, сообщает, что он служил в Комитете государственной безопасности, был там капитаном, майором или подполковником (чем выше, тем лучше), он может рассчитывать на самое благосклонное к себе внимание. К нему тут же сбегаются агенты разных спецслужб и журналисты, его возят на военных самолетах, его показывают по телевидению, а издатели шлют ему чеки с пяти-, а то и с шестизначными числами. Если человек не может представить достаточно убедительных доказательств своей службы в Комитете государственной безопасности, он может, по крайней мере, сказать, что был стукачом, то есть доносчиком, подслушивал чьи-то разговоры, а затем встречался с каким-нибудь профессионалом в шляпе где-нибудь в скверике или на частной квартире, или в отделе кадров и там сообщал кто-где-чего сказал. Таким людям на очень большое внимание публики рассчитывать не приходится, но и из этих признаний можно что-то извлечь. А кто не хочет признаться, что был стукачом, может ограничиться признанием в том, что был дураком. Я был дурак, я верил в марксизм-коммунизм, в Ленина-Сталина и так далее. Верил, а потом разуверился, стал сразу умным. Один поумнел после доклада Хрущева, другой после венгерских событий, третий после Чехословакии, четвертый дожидался Афганистана.

Мне в этом смысле похвастаться совершенно нечем. Дураком я, может, и был, но Сталина ненавидел лет примерно с четырнадцати, в Ленине сомневался, в КГБ не служил и даже стукачом, честно признаться, не был. Но встречаться и разговаривать с чекистами приходилось.

О первой встрече с ними я и хочу сейчас рассказать.

Туманным и морозным утром в январе пятьдесят девятого года я был разбужен громким и истеричным стуком. Выглянув за дверь, я увидел полуодетую хозяйку, бывшую танцовщицу Большого театра Людмилу Алексеевну.

— Володя, — сказала она ужасно встревоженным голосом, — какой-то человек ломится с черного хода и говорит, что он ваш товарищ.

Я посмотрел на часы, было половина девятого. Я вставал обычно гораздо позже, потому что очень поздно ложился.

Мои хозяйки — мать Ольга Леопольдовна Паш-Давыдова и ее дочь Людмила Алексеевна, обе в прошлом артистки Большого театра, а теперь обе пенсионерки (матери было за восемьдесят, дочери под шестьдесят) сохраняли старые привычки и раньше трех часов ночи никогда не ложились. Я тоже привык к их распорядку,

и если случайно засыпал раньше, то приходила Ольга Леопольдовна, долго стучала в дверь и, достучавшись, говорила:

— Володя, вы не спите? Я пришла пожелать вам спокойной ночи.

Покойный муж Ольги Леопольдовны был одним из первых в СССР народных артистов Республики, поэтому они были редкими среди москвичей счастливыми, обладавшими отдельной четырехкомнатной квартирой в центре Москвы. В одной комнате жили они сами и большой королевский пудель, в другой дочь Людмилы Алексеевны с мужем, новорожденным ребенком и овчаркой Нелькой, третья комната стояла пустая, если не считать маленькой и злобной собачонки (тибетский терьер), которая там сидела постоянно в углу. Четвертую комнату занимал я. Комната моя, если ее можно так назвать, была размером меньше четырех метров. Из мебели в ней были только большая от стены до стены железная кровать и стул, который между кроватью и подоконником можно было поставить лишь боком. Подоконник был глубокий и служил мне письменным столом. На нем стояла моя, купленная за бесценок, пишущая машинка и лежало наваленное грудой все собрание моих ненапечатанных сочинений. Собрание это медленно, но неуклонно росло, потому что я еще был молод, полон сил и надежд и работал каждый день, помногу и фанатично.

Я снял эту комнату совсем недавно, никто не знал моего адреса, включая самых ближайших друзей. Никакого товарища, который мог бы прийти ко мне ни с того ни сего, у меня не было.

Вместе с хозяйкой я пошел к черному ходу. Все три собаки, вырвавшись в коридор, отчаянно лаяли.

— Кто? — спросил я.

— Владимир Николаевич, — послышался смущенный голос, — откройте, пожалуйста, я к вам на минутку.

Я удивился и заподозрил неладное. Хотя мне было уже двадцать семь лет, я был всего лишь студентом и по имени-отчеству меня тогда еще не называли.

Вместо того чтобы пригласить незваного гостя пройти через нормальный подъезд, мы с Людмилой Алексеевной стали разгребать тамбур черного хода, вытаскивая из него какие-то корыта, ведра и картонные ящики. Наконец открыли дверь и увидели перед собой сравнительно молодого человека в очках, который сразу стал просить:

— Только, пожалуйста, уберите собак.

— А кто вы такой и что вам нужно?

— Я сейчас вам все объясню.

Всех трех собак убрали, Людмила Алексеевна удалилась, мы с пришедшим остались в гостиной один на один.

— Что вам нужно? — спросил я его.

— Сейчас, сейчас все объясню, — торопливо закивал он своей головой с большими залысынами. И понизив голос, быстро спросил: — Нас никто не слышит?

— Нас никто не слышит.

— А собачек убрали? Они не могут сюда ворваться?

— Нет, не могут. Они еще сами двери открывать не научились.

— А, ну да, дверь открывается в ту сторону. А нас никто не слышит?

— Я не знаю, — я повысил голос, — слышит нас кто или не слышит, я с вами шепотом разговаривать не собираюсь. Что вам нужно?

— Сейчас, сейчас. Сейчас все объясню. Так вы думаете, что нас никто не слышит?

До того я ни разу не сталкивался с работниками КГБ, не представляя себе, как они выглядят, честно говоря, в то время вообще не думал о них, но сейчас я даже не сомневался в профессии моего гостя.

— Владимир Николаевич... Нас никто не слышит?

— Нет, нас никто не слышит.

— Очень хорошо, хорошо, хорошо. Я вам верю, что нас никто не слышит. Я к вам пришел по поручению студенческого литературного общества.

— Это что еще за общество? — спросил я.

— А просто студенческое общество. При... при... при Московском университете. Мы собираемся, читаем стихи, обсуждаем. Нас никто не слышит?

— И что же вы хотите от меня?

— А ничего, ничего. Ничего особенного. Мы просто хотели бы, чтобы вы у нас выступили. Мы читали ваши стихи в «Вечерней Москве», и, кроме того, некоторые наши товарищи слушали ваше выступление в Измайловском парке. И вот мы хотели бы... Нас никто не слышит?.. вас пригласить.

— Когда? — спросил я.

— А прямо сейчас, сейчас.

— Прямо сейчас? — переспросил я. — В половине девятого утра? Ваши студенты, они, что же, по утрам не учатся?

— Ну что вы, Владимир Николаевич, конечно, учатся, учатся. Но у нас есть наши общественники, которые хотели бы поговорить с вами предварительно. Нас никто не слышит? Может, мы пройдем, это совсем рядом.

— А зачем я туда пойду?

— Ну мы договоримся. Может, вы согласитесь у нас выступить. Я надеюсь, вы не против?

Он внушал мне и какой-то непонятный страх, и отвращение, и желание как-то от него отвязаться, и неожиданно для себя я вдруг сказал, что выступаю только за деньги. Это было чистое вранье, потому что хотя я и выступал несколько раз перед публикой в составе литературного объединения «Магистраль», но денег мне за мои выступления никто никогда не предлагал.

— Как за деньги? — опешил он. — Мы же студенческое общество, у нас нет никаких денег.

— Ну раз нет, значит, нет, а я бесплатно не выступаю.

— Нет, нет, нет, Владимир Николаевич... Нас никто не слышит? Ну как же так, за деньги?

И у нас начался длинный и бессмысленный торг, во время которого он никак не мог понять, почему я, студент и всего лишь начинающий поэт, а не профессионал, проявляю такую алчность, а я тоже почему-то стоял на своем и требовал денег и, видя, что это требование смущает его, настаивал еще решительнее, на самом деле вовсе не из меркантильных соображений, а пытаясь таким иррациональным способом отстранить от себя непонятную, но ощущаемую мною опасность. Надо сказать, что мое пристрастие к деньгам как-то, видимо, сбило его с толку, он даже перестал интересоваться, слышит ли нас кто-нибудь, и долго, но невразумительно настаивал на бесплатности моего выступления, хотя мог бы и согласиться, он ничего не терял. Почему он так сбился с толку, я сказать не могу, скорее всего, потому, что разговор сошел с предусмотренной предварительной разработкой направления. Наконец мне этот разговор надоел, я встал и довольно грубо предложил ему выйти и подошел к двери, чтобы ее открыть.

— Подождите, подождите, подождите, — зашелестел он почти в истерике. — Владимир Николаевич, нас никто не слышит? Я надеюсь, нас никто не слышит. Я вам не совсем правильно представился. Сейчас я вам представлюсь иначе.

Он тут же преобразился. На его лице появилось выражение надменности и самодовольства. Царственно он сунул руку в боковой карман, где лежат документы.

— Не трудитесь, — сказал я ему, — я и так вижу, кто вы такой.

На лице его смешались выражения боли и разочарования. Ему, видимо, казалось, что он так ловко и артистично вел свою роль.

— Как вы догадались? — спросил он упавшим голосом.

— Это было нетрудно, — сказал я. — Я не очень часто, но все-таки читаю детективные книжки и в них все сыщики похожи на вас.

— Да?

Я видел, что мои слова его покоробили. Он обиделся. Впоследствии, когда я познакомился еще с несколькими его коллегами, я заметил, что кагэбэшники, как люди ущербные, в большинстве своем очень обидчивы. В этой обидчивости проявляются остатки того человеческого, что было в них заложено от рождения. Какими бы общими или личными теориями они ни руководствовались, чем бы ни оправдывали свою деятельность, они чувствуют, что она презренна. Впрочем, есть и не обидчивые, они — самые опасные.

— Ну что ж, ну что ж, — сказал мой собеседник разочарованно. — Ну догадались, так догадались. Ну тогда пойдем, — предложил он, не то прося, не то приказывая.

— Тогда пойдем, — согласился я.

Надо сказать, что хотя я и разговаривал с ним весьма непочтительно и насмешливо, я ужасно испугался. Пожалуй, я никогда

так не пугался ни до, ни после. Я был начинающим поэтом. Мне казалось, что из меня должно что-то получиться. Но в то же время во мне постоянно жило ощущение, что что-то должно произойти роковое, что помешает мне осуществиться. То ли обнаружится быстрая и неизлечимая болезнь, то ли попаду под машину, то ли что-то еще.

Между тем я был настоящим советским человеком. Советскость моя проявлялась вовсе не в том, что я любил советскую власть или верил в марксизм-ленинизм-коммунизм. Во все это я как раз совершенно не верил и всю советскую пропаганду считал пустыми словами для дураков. Как подавляющее большинство людей, которых я встречал в своей жизни, я ненавидел всю советскую словесную трескотню, презирал политзанятия, собрания, митинги, демонстрации, выборы и субботники, старался от всего этого уклоняться, но на рожон не лез. Много лет спустя я осознал, что именно в этом и проявлялась моя советскость. Я был тот пассивный член общества, от которого власть не ждет никогда для себя особенной пользы. Где бы я ни работал или ни служил, начальство административное и партийное всегда знало, что никакой идеологической активности от меня ожидать нечего. Меня никогда не приглашали вступить в партию и даже не пытались завербовать в стукачи (даже в этом случае, о котором я сейчас рассказываю), но в то же время как член общества я был совершенно безвреден. Как раз молодые люди, которые всерьез интересовались теорией коммунизма, погружались в Маркса, Ленина или Сталина, были для режима гораздо опаснее, и советская власть это в конце концов осознала. Человек, всерьез воспринимающий теорию, рано или поздно начинает ее сравнивать с практикой и в конце концов отвергает или то, или другое, а затем и то и другое. Человек же, не обольщенный теорией, к существующей практике относится как к привычному и неизменному злу, к которому, однако, можно кое-как приспособиться.

Итак, я утверждаю, что я был вполне советским человеком. Советскость моя проявлялась, кроме того, в том, что я вполне ожидал от власти чего угодно, но именно поэтому неспособен был к протесту в самом главном. Мое правосознание было равно нулю. Хотя с пришедшим ко мне человеком я говорил в несколько ироническом и неприятном ему тоне, но в главном я с ним тут же вступил в негласное соглашение.

Я испугался и вполне допускал, что меня сейчас уведут навсегда и никто никогда не узнает, куда я делся. Представления о том, что, не совершив никакого преступления, я могу против такого увода протестовать, у меня не было. Я не проверил документы пришедшего, не оспаривал его права вести меня туда, куда он хочет.

Когда мы вышли с ним в коридор, там стояла хозяйка, уже одетая.

— Володя, — спросила она меня, стараясь не глядеть на моего провожатого, — вы надолго уходите?

Я повернулся к нему и спросил громко, давая понять хозяйке, кто он:

— Я надолго уйду?

— Нет, нет, нет, что вы! — вернулся он к своей как бы смущенной манере. — Он очень, очень скоро вернется.

Я потом думал, как хитро дал я понять хозяйке, куда я уйду.

Я думал, что на улице меня ждет «черный ворон», куда меня втащут, заламывая руки. Но никакого «ворона» не было, и мой провожатый предложил мне пройти пешком. Это меня удивило, но я пошел.

Дорогой он разговаривал со мной уже не заискивающе, а снисходительно. Он спросил меня, почему я пишу такие грустные стихи, и я, понимая, что меня можно расстрелять за то, что я пишу грустно, стал возражать, что стихи мои хотя и грустны, но содержат элементы внутреннего оптимизма. По его лицу я видел, что мои утверждения не кажутся ему убедительными. И он поглядывал на меня, как на заблудшего молодого человека, которого жаль, но придется все-таки расстрелять.

Мы шли очень долго какими-то кривыми переулками и я насмешливо (во всяком случае, мне казалось, что я был насмешлив) спросил провожатого, не заблудились ли мы.

— Да, да, возможно, — сказал он с видимым беспокойством. — Может быть, заблудились. А впрочем, нет. Кажется, не заблудились. — И он указал на вывеску, на которой было написано:

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР.

— Вот видите, — сказал он еще раз, как бы гордясь своим знанием прилегающих переулков. — Все-таки не заблудились.

Совершенно не помню, через какие двери мы вошли, спрашивали ли у него или у меня документы, какие там были лифты или коридоры. Помню только, что мы вошли в какой-то кабинет, где за большим, но скромным столом сидел обыкновенный человек небольшого роста в сером костюме. Он подал мне руку, назвал себя по имени-отчеству, назвал и меня по имени-отчеству. Он предложил мне стул и сразу спросил:

— Владимир Николаевич, как вы думаете о себе, вы советский человек?

У меня немного отлегло от сердца. Если они еще не решили, советский я или не советский, значит, может, и расстреляют не сразу. Я тут же горячо заверил его, что я, конечно, советский.

— Правильно, — сказал он, — я в этом несколько не сомневался. Вы советский человек и вы нам должны помочь. Вы нам можете, мы вам поможем, а вы поможете нам и мы вам поможем. — Он потер руки и, предвкушая удовольствие, уставился на меня. — Ну рассказывайте.

— Что рассказывать? — спросил я, искренне недоумевая.

— Расскажите, что знаете.

— Я ничего не знаю.

— Ну Владимир Николаевич, — заулыбался хозяин кабинета и переглянулся с тем, который меня привел (тот сидел в углу). — Ну что-то же вы знаете!

— Что-то я, может быть, знаю, но я не знаю, что именно вас интересует.

— Нас все интересует.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Владимир Николаевич, — всплеснул он руками в некотором даже как бы отчаянии. — Ну вы же советский человек?

— Ну конечно, советский, но я не понимаю, чего вы от меня хотите.

Тогда он мне сказал, что он хочет от меня, чтобы я ему откровенно (вы нам поможете, мы вам поможем) рассказал, с кем я общаюсь и где бываю.

Я не сомневался в его праве спрашивать, но и точно знал, что надо уклоняться от ответов на любые вопросы. И сказал, что ни с кем не общаюсь и нигде не бываю.

— Но как же, как же, как же, — встрепнулся тот, который меня привел. — Но вы же были на художественной выставке и там смотрели абстрактные картины.

Ах вот оно что! Хотя это была выставка совершенно официальная и никто не предупреждал, что ходить на нее не надо, но как советский человек я должен был понимать, что на абстрактные картины лучше все-таки не смотреть. Я не спросил своих собеседников, откуда они знают, что я был на выставке и что от абстрактных картин не отворачивался, но их осведомленность вселила в меня надежду, что они знают и то, что картины эти абстрактные мне самым решительным образом не понравились. Я им и сейчас охотно сказал, что мне эти абстрактные картины не понравились.

— Да, они никакому нормальному человеку не могут понравиться, — глубокомысленно заметил старший, и младший тут же его поддержал:

— Да, да, да, это профанация искусства.

— А что вы думаете о Пастернаке? — спросил старший.

Я сказал, что о Пастернаке ничего не думаю, и это было чистой правдой, читать Пастернака и думать о нем я стал гораздо позже. А в то время из всех советских поэтов я выделял Симонова и Твардовского, а из прозаиков Шолохова, и это совпадало с их представлениями о здоровом вкусе нормального советского человека.

Но они все же были чем-то недовольны, и старший сначала вроде случайно обронил, а потом стал все чаще повторять эту фразу: «Ну смотрите, а то пеняйте на себя».

Однажды он вдруг прервал разговор и куда-то выскочил. Как только он исчез, младший подошел к его столу, взял обыкновенную деревянную линейку, вернулся на свое место и держа линейку

в виде пистолета, стал целиться в меня, загадочно ухмыляясь, но ничего не говоря.

Прибежал старший и опять началось: «Вы нам поможете, мы вам поможем, а если вы нам не поможете, пеняйте на себя».

И опять ничего конкретного.

— Ну хорошо, а с кем вы дружите?

— Я ни с кем не дружу.

— А Литовцев и Польский?*

С Литовцевым и Польским мы вместе учились в институте и читали друг другу свои стихи. Отрицать, что я с ними общаюсь, было бы глупо.

Я сказал:

— Ах да. Литовцев и Польский. Мы вместе учимся, мы все трое пишем стихи, ну и общаемся.

— А о чем вы разговариваете?

— Ну о стихах, например.

— А еще о чем?

— А больше ни о чем.

— Как это больше ни о чем? — он все чаще повышает на меня голос. — Даже о девушках не разговариваете?

— Нет, не разговариваем, — разозлился я. — Я человек женатый, у меня дочка родилась, и я ни о каких девушках не разговариваю.

— Ну, ну, ну, ну! — иронически отозвался из своего угла младший.

— Ну хорошо, — сказал старший, — оставим девушек. А о политике вы разговариваете?

— Не разговариваем, — сказал я.

— Как это вы не разговариваете? Вас что же, политика не интересует?

— Не интересует, — сказал я, и в то время это было чистой правдой.

— Как же это вы советский человек, а политика вас не интересует.

— А вот так, — сказал я, все больше выходя из себя. — Я советский человек, а политика меня не интересует.

— Ну хорошо, девушки вас не интересуют, политика не интересует. А какие у вас отношения с иностранцами?

Тут я совсем вышел из себя и закричал:

— Какие иностранцы? Что вы глупости мелете? Я вообще ни одного иностранца не знаю.

— Как же, как же, как же, — забормотал из своего угла молодой. — А израильский дипломат?

Тьфу, черт! Я даже сплюнул с досады. Или мне сейчас кажется, что я сплюнул.

* Фамилии изменены.

А история была такая.

Как-то проходя с Игорем Литовцевым по Кузнецкому мосту, мы зашли в книжный магазин, и Литовец обнаружил, что дают сборник стихов Аврама Гонтаря.

— Кто это Гонтарь? — спросил я.

— Ты разве не знаешь? Очень хороший еврейский поэт. Надо купить.

Мы стали в очередь в кассу и выбили чеки на два сборника. Но когда подошли с чеками к прилавку, оказалось, что сборник уже распродан, кучерявый гражданин перед нами взял последние четыре экземпляра.

Услышав наш разговор с продавщицей, кучерявый немедленно обернулся и сказал, что если мы интересуемся Гонтарем, он нам с удовольствием подарит по экземпляру и тут же стал эти экземпляры вручать. Мы стали отнекиваться, он пристал, вшестером (с ним были двое маленьких и тоже кучерявых от четырех до шести лет мальчишек) вышли на улицу. Книжки мы у него взяли, но он тут же насел на Литовцева и стал спрашивать его, зачем СССР проводит антисемитскую политику. Литовец начал что-то мямлить. Я, будучи действительно советским человеком и действительно не разбираясь в политике, ринулся на помощь Литовцеву и сказал, что никакой такой политики СССР не проводит. Кучерявый сказал, что как секретарь израильского посольства он точно знает, что говорит. И продолжал наседавать на Литовцева, полностью меня игнорируя. Стал стыдить Литовцева, что он не знает еврейского языка и еврейской культуры. Я ему сказал, что Литовец не еврей, а чистый русский и для русского он еврейскую культуру знает достаточно.

Не знаю, за кого принимал меня израильтянин, может быть, за комиссара, приставленного к Литовцеву, но он явно говорить со мной не хотел и все время поворачивался ко мне спиной, а Литовцева, несмотря на мои уверения, продолжал стыдить за то, что тот не признается в своем еврействе. Литовец что-то мямлил в ответ, из чего было видно, что он действительно стыдится. Дети дипломата тащили его за руки, он долго сопротивлялся, но в конце концов сдался, сел в свою машину и уехал. А мы с Литовцевым пошли дальше пешком.

Я все чаще срывался и сказал старшему:

— А зачем вы спрашиваете, вы же подслушивали и сами все знаете.

— Почему это, почему это вы думаете, что мы подслушивали? — донеслось из угла.

— А откуда же вы знаете про этого израильтянина, если не подслушивали?

— Ну ладно, — сказал старший раздраженно. — Откуда знаем, откуда знаем. А почему вы сами к нам не пришли и не рассказали?

— А почему я должен к вам приходиться?

— Как это почему? Вы же советский человек?

— Да, — сказал я гордо, — советский. Но я не думал, что если я кого встретил, то тут же немедленно должен к вам бежать.

— Как же вы не думали. Вы же видите, что это провокационная сионистская пропаганда. Ну да, вы же политикой не интересуетесь. Вы интересуетесь только стихами. А какие у вас в литобъединении «Родник» стихи читают?

— В каком литобъединении? — спросил я.

— Ну как ваше объединение в институте — «Родник» называется? — спросил старший и посмотрел на младшего.

— «Родник», «Родник», — подтвердил тот авторитетно.

И тут мне совсем стало легче. Я-то думал, что они действительно обо мне все знают, а оказывается, кое-чего все же не знают.

— А вы знаете, — сказал я злорадно, — что я на этом «Роднике» ни разу в жизни не был?

Тут я заметил, что мой ответ чем-то их сильно обескуражил. Старший строго посмотрел на младшего, тот как-то съежился, виновато, как мне показалось.

— И вы даже не знаете, кто староста этого кружка? — спросил старший.

— Понятия не имею, — ответил я совершенно чистосердечно.

— Ну хорошо, — смутился старший, — тогда скажите, а о чем говорят ваши профессора на лекциях?

— А вот на этот вопрос, — съехидил я (и до сих пор вспоминаю свой ответ с удовольствием), — мне бывает трудно ответить даже на экзамене.

— Почему? — не понял моей шутки старший.

— Потому, — сказал я злобно, — что если уж вы следили за мной, то должны были бы заметить, что в институте я бываю очень редко, да и то прихожу в основном за стипендией. И если бы вы проверили список у старосты нашей группы, то вы бы увидели, что против моей фамилии у него написано: не был, не был, не был.

На этом допрос закончился, но не совсем. Старший еще сказал мне, что, с одной стороны, он верит, что я настоящий советский человек, а с другой стороны, сомневается. И если я что-нибудь им не сказал или сказал не так, то я должен буду пенять на себя. И что я должен пойти еще и подумать и прийти к ним в следующий вторник.

— И заодно, — сказал он, — принесите ваши стихи. Мы прочитаем и мы вам поможем. Вы нам поможете, а мы вам поможем. А если вы нам не поможете, то пеняйте на себя.

После чего мне было предложено дать подписку о неразглашении, что я, как советский человек, сделал безропотно. А выйдя из КГБ, как советский человек, тут же побежал к своим приятелям и все рассказал. И уже от них узнал вот что.

Оказывается, не бывая в институте, я пропустил сенсацию. Староста нашего литобъединения «Родник» арестован за то, что писал антисоветские стихи. И я этого старосту знал, но не знал, что он

староста. И даже знал некоторые его стихи. Однажды, прижав меня в угол, он читал мне стихи, из которых я запомнил две строчки:

...И те, кто нынче нами возвеличен,
Завтра задрожат на фонарях.

Стихи эти мне не понравились.

Будучи советским человеком, я такие стихи не любил. Будучи несоветским, не люблю тоже.

Сейчас, вспоминая эту свою первую встречу с КГБ, я думаю, какой я был невежественный в правовом отношении человек! Всякий, в ком есть хоть капля правосознания, скажет мне, что я допустил кучу элементарнейших промахов. Во-первых, еще на квартире я, как только узнал, что передо мной работник КГБ, должен был проверить его документы. Во-вторых, я должен был отказаться идти в КГБ без повестки. В-третьих, на допросе я должен был потребовать сообщить мне, по какому делу я вызван, и настоять на ведении протокола. Ну и насчет подписки, я не знаю, кажется, требование ее незаконно.

Но если бы я был такой умный, продемонстрировал кагеэбэшникам знание законов и высокий уровень правосознания, они бы уже тогда взяли меня на заметку, и как бы сложилась моя судьба, никому неизвестно. Но я был самый настоящий советский человек, который не верит ни в марксизм-ленинизм, ни в законы, ни в правду, ни в право. В своих тогдашних отношениях с КГБ я выбрал самую идиотскую линию поведения и именно она оказалась самой правильной.

Прошло несколько лет. Мое положение резко изменилось. Из самого нижнего социального слоя я передвинулся не в самый высший, но все же довольно высокий: стал членом привилегированной касты советских писателей. Постепенно стало меняться мое мироощущение. Я начал осознавать, что у меня как у личности и члена общества есть какие-то обязанности и какие-то права. Я уже больше разбирался в советских законах и прибегал к их помощи в практической жизни. Но чем скрупулезнее я соблюдал эти законы, тем большими становились мои неприятности. В конце концов я из писательской касты был изгнан и лишился даже тех мизерных возможностей (например, возможности устройства хотя бы на самую низкооплачиваемую работу), которые у меня были, когда я был плотником или студентом. Меня сначала практически, а затем и официальным указом лишили звания советского человека и объявили врагом советской системы. И совершенно справедливо. Потому что дойдя умом до того, что законы в Советском Союзе все-таки существуют, я забыл то, что раньше знал инстинктивно: никаких законов в Советском Союзе нет. Важны, как я уже говорил, вовсе не писанные законы, а неписанные правила поведения.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

Сахарова я «рассекретил» раньше, чем это сделали советские власти, и вот каким образом.

Году, я думаю, в 1964-м сидел я в редакции одного московского журнала и в ожидании вышедшего куда-то редактора листал лежавший у него на столе справочник Академии наук СССР. Все действительные академики, а может быть, и члены-корреспонденты были помещены в этой книге, указывались их фамилии, имена-отчества, должности, адреса и телефоны, домашние и служебные. Помню я удивился, узнав, что у академика Шолохова есть два адреса — в станице Вешенской и московский, которого не было, например, в справочнике Союза писателей. Исключительно ради любопытства стал я выискивать разные известные мне имена и вдруг увидел, что, оказывается, адреса и телефоны не всех академиков здесь обозначены. Например, против фамилии «Микулин» не было ни одного адреса и ни одного телефона, там стояли только загадочные три буквы «ОТН». И все. Поскольку я когда-то служил в авиации и знал, что Микулин — известный авиаконструктор, я подумал, что, наверно, он так сильно засекречен, потому что имеет дело с ракетными двигателями и, значит, самые секретные академики это те, у которых нет адресов и телефонов. Для проверки я нашел Королева (все знали, что он самый секретный), против этой фамилии тоже стояли эти три загадочные буквы. Ага, сказал я себе самому, сейчас мы вычислим самых секретных. Кажется, во мне пропадает совсем неплохой детектив. Стал листать справочник дальше и дошел до неизвестного мне имени: САХАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — ОЯФ. ОЯФ показалась мне еще более загадочной аббревиатурой, чем ОТН, может быть, поэтому и сам Сахаров показался более загадочным, чем другие. Поэтому, встретив знакомого физика, я спросил его, кто такой Сахаров. Физик объяснил мне, что Сахаров изобрел водородную бомбу, что он гений и, как все гении, слегка чудаковат, например сам ходит в магазин за молоком. То есть не совсем сам, его постоянно сопровождают несколько «секретарей» (так на специальном жаргоне называют телохранителей), которые держат в карманах руки, а в руках пистолеты со снятыми предохранителями. Этим «секретарям» спокойнее было бы бегать за молоком самим, но гению, создавшему водородную бомбу, почему бы и не почудить? В рамках, допускаемых специальной инструкцией. Сразу оговорюсь, что я этого физика не проверял и за достоверность изложенных им сведений ручаться не буду.

В 1968 году имя Сахарова стало известно всему миру, после выхода его сочинения «Размышления о мире, прогрессе и мирном сосуществовании». Он вызывал любопытство многих и мое тоже.

Прошло еще лет пять, Сахаров стал уже и вовсе легендарной фигурой, некоторые из моих знакомых знали его лично, мне же встречаться с ним не приходилось, а идти знакомиться специально,

чтобы «выразить восхищение» или «пожать руку», я не умею (и не люблю, когда кто-нибудь с подобной целью приходит ко мне).

Но за тем общественным делом, которым Сахаров занимался, я следил постоянно и о нем самом думал много.

Однажды в Театре на Таганке давали премьеру чего-то. И как всегда на премьерях этого театра, было очень много важных людей (как говорят по-английски: very important people), включая члена Политбюро товарища Полянского. Одним из довольно важных был мой товарищ, известный писатель А. (беру специально первую букву алфавита, чтобы не мучить любопытных в напрасных догадках). Он стоял за каким-то высоким человеком, а когда я подошел, сказал: познакомьтесь. Мы с этим высоким пожали друг другу руки, я пробурчал свою фамилию, он свою, я, ее не расслышав, сказал пару слов о спектакле и отошел. Спектакль был утренний, потом у меня были еще какие-то дела, а вечером гости и, только ложась спать, я вспомнил театр, людей, которых там встретил, писателя А. и его собеседника. Что-то в нем было странное, чем-то он отличался ото всех остальных (включая товарища Полянского), что-то было в нем такое... Да это же Сахаров! — вдруг понял я.

А как же я догадался? Я знал, конечно, что А. знаком с Сахаровым, но мало ли с кем он знаком. А ведь Сахаров ничего мне такого особенного не сообщил, не высказал никаких гениальных мыслей, только пробурчал фамилию, которую я не расслышал. Почему же я теперь понял, что это он?

Объясняю: потому что на нем был отпечаток очень незаурядной личности.

Мне приходилось встречать в жизни нескольких выдающихся людей. И я берусь утверждать, что среди них не было ни одного с заурядным и постным лицом. Заурядные и постные лица бывают только у заурядных и постных людей.

На другой день я позвонил А., чтобы проверить свою догадку.

— Что же ты, — сказал он с упреком, — сразу повернулся и пошел. Андрей Дмитриевич был очень удивлен.

Мне стало ужасно неловко. Положение Андрея Дмитриевича уже было такое, что многие опасались с ним общаться, а мне быть в их числе не хотелось.

Короче говоря, я воспользовался первым предложением, позвонил и стал время от времени бывать в знаменитой квартире на улице Чкалова.

Не могу сказать, что я дружил с Сахаровым, и даже не уверен, что мои посещения бывали ему необходимы, но все свои выходившие уже за пределами Отечества новые книжки (благо, их было немного) приносил ему первому.

Одну из них Сахаровы дали кому-то почитать, у этого читателя она была при обыске конфискована и теперь с моей дарственной надписью хранится в архивах КГБ.

Выше я сказал, что мне пришлось встретить в жизни нескольких выдающихся людей, но людей знаменитых, и иногда на весь мир, я знал больше.

Надеюсь понятно, что знаменитый и выдающийся не всегда одно и то же. Я знал выдающихся людей, которые были известны только узкому кругу знакомых, я знал знаменитых, которые стали такими по воле случая или благодаря своим особым способностям использовать исторические или личные обстоятельства и не стеснялись, говоря словами Пастернака, «ничего не знача, быть притчей на устах у всех».

Сахаров славы специально не добивался. Я даже не знаю, кто может с ним сравниться в попытках умалить собственные заслуги. С кремлевской трибуны академик Александров говорит, что достижения Сахарова слишком преувеличены, и Сахаров говорит, что слишком преувеличены. Советские пропагандисты говорят, что Сахаров ничего интересного в науке не делает, и Сахаров говорит, что вообще-то говоря, физикой надо заниматься до тридцати пяти лет, а поскольку ему самому больше, понимайте, как хотите.

А между тем один известный физик говорил мне, что и сейчас все главные опыты управления термоядерной реакцией основаны на идеях Сахарова. И говорят, даже академическое начальство не может не признать, что и в последние годы в тесной квартирке, с ежедневными толпами ходоков, диссидентов, корреспондентов, занятый своей главной борьбой, постоянно травмируемый, он регулярно выдавал новые работы с новыми идеями. Как это ему удавалось, я лично представить себе не могу.

Я слышал рассуждения, что права человека, о которых так много говорит Сахаров, — дело второстепенное, гораздо важнее национальное или религиозное возрождение. Но ведь без прав человека никакого возрождения быть не может. Без них может быть либо загнивание, либо, в лучшем (а вернее, в худшем) случае, смена идеологии и поспешное движение масс из одного болота в другое.

Про Сахарова часто говорят: мужественный. Но этого определения, если оно не содержит в себе нравственной оценки, я не признаю. Что такое мужество? Физическая храбрость? Ею может обладать любой искатель приключений. Сахаров на искателя приключений не похож. Совесть и ясное понимание грозящей человечеству беды толкнули его на путь, на котором одного мужества мало.

Как-то мы с покойным Константином Богатыревым приехали к Андрею Дмитриевичу на дачу. Он встретил нас на перроне электрички. Вечерело. Солнце, уже краем зацепившее горизонт, было большое и красное. «Это солнце, — сказал Сахаров, — напоминает мне взрыв водородной бомбы». Я представлял себе взрыв иначе: как море огня, в котором все плавится и течет. Но мое представление было основано на моей же фантазии, а его — на том, что он видел своими глазами. Он передал свое представление мне, и теперь

всякий раз заходящее красное солнце возбуждает во мне тревогу. Я вижу его равнодушно висящим над безжизненной нашей планетой.

Сахарова выслали из Москвы, заткнули рот. Это не только жестоко по отношению к нему, это бессмысленно. Где бы Сахаров ни находился, проблемы, названные им (но поставленные не им, а историей), никуда не денутся. И чем дольше люди, держащие в руках судьбу человечества, будут избегать решения этих проблем, тем неуклоннее мы будем катиться к бездне, в которую Сахаров уже заглянул.

В МАСКЕ КРОЛИКА

Последние свои годы в Советском Союзе я жил довольно странной и для некоторых, прямо скажем, не очень понятной жизнью. Исключенный из Союза писателей, я был объявлен как бы вне закона. Люди, которые раньше общались со мной вполне охотно, теперь не только забыли номер моего телефона, но даже при случайной встрече на улице шарахались как от чумного. Не все, конечно. Далеко не все. У меня были друзья, которые не покидали меня даже в самые тревожные дни, хотя некоторым из них намекали, что если они по-прежнему будут поддерживать со мной отношения, у них могут быть очень серьезные неприятности. Они эти угрозы игнорировали вовсе не из стремления к героизму, а просто потому, что были порядочными людьми.

Но мне приходилось встречать и таких, которые, как только я попал в немилость у советских властей, сразу перестали меня узнавать. Некоторые из них пережили сталинские времена, когда даже за шапочное знакомство с кем-нибудь можно было поплатиться головой. Они, кстати, может, и выжили только потому, что умели вовремя отвернуться от своего друга или знакомого, а иногда от папы и мамы. Понять и пожалеть таких людей можно, но уважать трудно.

Помню такую встречу. Пришел я как-то в писательскую поликлинику на улице Черняховского. Из Союза писателей меня уже исключили, из Литературного фонда тоже, но в поликлинике почему-то еще держали. И врачи даже настаивали, чтобы я прошел очередную диспансеризацию, проверил свое здоровье. Я долго клонялся, но потом все же пришел.

И вот сижу перед кабинетом врача.

Идет мимо писатель Л. Увидев меня, замедляет шаг. Может быть, я плохой инженер человеческих душ, но мне кажется, что его обуревают сомнения: подойти поздороваться или, вдруг вспомнив, что где-то что-то забыл, кинуться со всех ног обратно. Но пока он раздумывает, ноги его механически делают шаг за шагом, и вот он уже совсем близко. Теперь делать вид, что он меня не заметил, глупо. Теперь на лице иные сомнения. Как поздороваться? В прежние времена он бы остановился и спросил, как дела, хотя

дела мои в прежние времена были ему совершенно неинтересны. Теперь мои дела ему интересны, но навстречу идет критик З., а сзади на стульчике сидит драматург И. Проходя мимо, Л. кивает мне головой и даже делает рукой незаметный «нопассаран», как бы мужественно выражая мне свою солидарность. Но «нопассаран» свой он делает так, чтобы критик З. и драматург И. не сомневались — это всего лишь проявление обычной вежливости, которая может существовать между людьми разных взглядов. И ничего больше.

Идет мимо в другую сторону переводчица Д., дама довольно преклонного возраста. Познакомились мы с ней в шестидесятом году, когда мне было еще под тридцать, а ей уже за шестьдесят. Я тогда дописывал свою первую повесть, главы из которой читал своей новой знакомой. А она потом в шутку говорила, что мы с ней вместе начинали наш путь в литературе.

И вот она идет мимо.

— Здравсьте! — говорю я ей.

— Здравсьте! — отвечает она мне как малознакомому, но пройдя несколько лишних шагов, останавливается и возвращается. — Ах, Володичка милый, здрасьте, здрасьте, я так плохо вижу, я вас не узнала. — И с надеждой, что говорить со мной не опасно. — А вас из Литфонда все-таки не исключили?

— Исключили. Но в поликлинике оставили. Вот даже заставляют пройти диспансеризацию, хотя я не хочу.

Она почти в ужасе.

— Неужели вы и против диспансеризации выступаете? Почему? Здесь же нет никакой политики. Здесь просто врачи. Они вас проверят, сделают кардиограмму, возьмут анализы. Я понимаю, когда вы боретесь за какие-то права, но против диспансеризации!

— Бог с вами, — говорю я, — я так далеко не зашел, чтобы бороться против диспансеризации. Мне просто лень.

— Ах, Володичка, мне семьдесят шесть лет, я хочу легкой смерти. Меня сейчас пригласили в Америку. Я бы хотела туда полететь, а потом на обратном пути... — Жестом она изображает падение самолета.

— Не надейтесь, это не так легко, — говорю я. — Самолет летит высоко и падает долго.

— Володичка, не отговаривайте меня, я все выяснила. Там сразу теряешь сознание и потом уже ничего не чувствуешь. Вы знаете, я о вас часто думаю, но никогда не звоню, не потому, что я вас забыла, а потому что меня сейчас надо беречь. Да, да, Володичка, меня надо беречь, потому что у меня выходит очень большой перевод с английского.

Идет мимо известный юморист Е. Здоровается с моей собеседницей, замечает меня и тоже здоровается.

— Здравствуйте, Толя, — говорит переводчица, — очень рада вас видеть. Мы с Володей разговариваем просто о жизни. Никакой политики, совершенно никакой. Мы с ним вместе начинали наш путь.

— Зато порознь заканчиваете, — нашелся юморист и пошел дальше.

Своим поспешным уходом он как бы напоминает старухе, что сидеть со мной не совсем безопасно, но предлога просто так подняться и уйти нет, а уйти без предлога все-таки неудобно.

— Вы знаете, Володичка, мне семьдесят шесть лет, но я еще не в маразме. Я все помню. Помню, как мы жили в Переделкине, как сидели на терраске, как вы привезли мне первые экземпляры моей гослитовской книжки. Почему вы мне никогда не позвоните? Мой телефон очень легко запомнить (говорит номер). Но меня надо беречь. Вы же знаете, я их боюсь. Я все пережила: голод, разруху. Я в политике ничего не понимаю, я никогда не читала ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина.

— Я тоже.

— Вы по вашему возрасту должны были читать. Ой, Володичка, если б вы знали, как я их боюсь! Однажды мне пришлось посидеть там у них в коридорчике, и мимо меня водили одного человека под револьвером. Это так страшно!

— Это безусловно страшно, — соглашаюсь я, — но не страшнее, чем в падающем самолете.

— Нет, нет, Володя, вы мне не говорите. В самолете, я же вам сказала, сразу теряешь сознание, а потом все просто.

— Здесь тот же эффект. На вас наводят револьвер, вы теряете сознание, а потом все просто.

— Ах, Володя, вы все шутите. Неужели у вас еще есть силы шутить?

— Нет, я без шуток. Как только на вас наставляют револьвер, вы...

— А ну вас, Володя. Вы мне обязательно позвоните. На днях ко мне придет один сумасшедший американец, он хочет вас переводить. Но не забывайте, что меня нужно беречь.

— Тогда лучше я вам не буду звонить.

— Да, пожалуй, лучше не звоните. — Переходит на шепот. — Вы приходите просто так, без звонка. Хотя да... у нас ведь лифтерши.

— Насчет лифтерши не беспокойтесь, я приду в маске.

Встревожилась.

— В какой маске?

— Ну помните, как у Высоцкого: «Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков...» Так вот у меня есть как раз маска кролика. Я дочке купил к Новому году. С такими большими ушами. Я надену ее и приду. Если у лифтерши спросят, кто приходил, она скажет: «Приходил кролик».

— Володя, не смейтесь надо мной, я старая. Вы знаете, этот американец, которого я сейчас перевожу, пишет мне, что ему постоянно приходится выступать в защиту каких-то русских, которых преследуют. А я ему написала: «Только, ради Бога, никого не защищайте, а то будет еще хуже».

— Кому это будет хуже?

— Всем, всем.

— Да, но есть люди, которым уже сейчас так плохо, что хуже, пожалуй, не будет.

— Володя, всем будет хуже, поверьте мне. Вы не забывайте, у них армия, флот, у них эти... как они называются... ядерные боеголовки.

— Да что нам с вами их боеголовки? Для нас достаточно одного револьвера или одного падающего самолета...

Я не договорил, меня позвали к врачу. Когда я вышел, старушки у дверей уже не было.

После этого я прожил в Москве еще несколько лет, но переводчицу эту больше ни разу не встретил. Из поликлиники меня все-таки исключили, а зайти к старухе или хотя бы позвонить я не решался. Тем более что она просила ее беречь. Не зашел к ней, когда ей исполнилось восемьдесят лет. И когда уезжал, не зашел проститься.

А она, между прочим, все еще жива и, как я слышал, даже побывала в Америке. И самолет, на котором она летела, не разбился. Ни по дороге туда, ни по дороге обратно. И я лично этому очень рад, потому что, как я думаю, не все пассажиры этого самолета прожили свои восемь десятков лет. Так пусть поживут, сколько еще придется. И старушке я желаю, пусть еще поживет, пусть работает. Она, между прочим, переводчица очень талантливая.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!

Министру связи СССР тов. ТАЛЫЗИНУ Н.В.

Уважаемый Николай Владимирович!

С глубочайшей тревогой довожу до Вашего сведения, что в возглавляемой Вами отрасли народного хозяйства скрывается враг разрядки международной напряженности, захвативший ответственный пост начальника Московской городской телефонной сети.

Вот как мне удалось его обнаружить.

20 сентября сего года, решив воспользоваться услугами, предоставляемыми телефонной сетью своим абонентам, я позвонил в г. Бостон (США) своему личному другу, поэту Науму КОРЖАВИНУ, и провел с ним разговор, содержание которого передаю прилжительно.

— Алло, — сказал я поэту Коржавину.

— Хеллоу, — отозвался он.

— Как живешь?

— Ничего. А ты?

— И я ничего.

В столице нашей Родины был день. Светлый день десятой пятилетки. Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые

здания, управляли различными механизмами, варили сталь и давали стране угля.

В то же самое время в городе Бостоне была, естественно, ночь. Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров, пылали факелы ку-клукс-клана, дымилась марихуана, неудержимо падал курс доллара, потерявшие надежду безработные заходя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди, какие у нас бывают только за коврами и колбасой.

Очевидно, подавленный этой гнетущей обстановкой, а может, просто спросонья, поэт Коржавин на мои вопросы отвечал вяло и невпопад.

— Как Люба? — справлялся я о здоровье его жены.

— Люба? — переспрашивал он с бестолковостью, соответствовавшей его отсталому мировоззрению. — Люба спит. А как Ира?

Думаю, Вам приятно будет узнать, что руководимая Вами система связи работала превосходно. Слышимость была такая, как будто сонный поэт Коржавин сидит не на противоположной стороне планеты, а где-то совсем рядом. Наш разговор, сам по себе не представлявший никакого интереса для постороннего уха (так мне казалось), был тем не менее красноречивым подтверждением того, что мы живем в эпоху разрядки международной напряженности, когда сближаются континенты, когда контакты и обмен информацией (пусть даже пустяковой) между людьми стали не только доступны, но и поощряются странами, подписавшими соглашения в Хельсинки.

Увы, торжество разрядки длилось недолго.

Утром следующего дня, сняв телефонную трубку, я с огорчением отметил, что она молчит, как рыба. «Что-то сломалось», — сказал я себе и пошел к ближайшему автомату.

— 151-28-53? — очаровательным женским голосом переспросило бюро ремонта. — Это ваш телефон?

— Мой.

— Выключен за хулиганство.

Я растерялся и положил трубку. Но потом позвонил опять.

— Простите, может быть, я ослышался... за что выключен?

— Это ваш телефон? — снова спросили меня.

— Нет, не мой, — ответил я на этот раз.

— Выключен за неуплату.

Вопреки репутации хулигана я старался быть вежливым.

— Только что вы назвали другую причину. Пожалуйста, подумайте и ответьте поточнее, за что выключен мой телефон.

Кажется, она была смущена. А может, и нет.

— Ваш телефон выключен по распоряжению сверху.

— С какого примерно верху?

— А то вы не знаете?

— Я не знаю.

— Странно. — Она мне явно не верила. — Тогда позвоните по телефону такому-то, там вам скажут.

Я позвонил по телефону такому-то, а потом еще по какому-то, а потом еще, еще и еще. Лица, с которыми я говорил, отказывались называть мне свои должности и фамилии, отвечали загадками и намеками на то, что я сам все хорошо понимаю (хотя я не понимаю), и вообще у меня было такое ощущение, что я звоню не на телефонный узел, а в какую-то подпольную организацию. С невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить, что телефон мой отключен по распоряжению начальника Московской городской телефонной сети Виктора Фаддеевича ВАСИЛЬЕВА. Но за что?

Вот сижу я, любезнейший Николай Владимирович, в своей отрезанной от всего мира квартире и задаю этим самым вопросом: за что?

Ну насчет неуплаты это, конечно, ложь. Услуги, оказываемые мне органами связи, я оплачиваю всегда самым аккуратнейшим образом. Мой портрет, как одного из самых примерных плательщиков, Вы могли бы смело повесить в своем кабинете или даже на улице перед зданием Вашего министерства.

Хулиганство? Но почему тогда меру наказания определяет не суд, а телефонный начальник? И что будет, если его примеру последуют начальники электричества, лифта, газа, водопровода, канализации? Это же курам на смех! Это же может просочиться в газеты. Это может стать достоянием падких на сенсации западных «голосов» и армянского радио.

И в чем выразилось мое хулиганство? Поэту Коржавину я ничего хулиганского не сказал. Вы можете позвонить ему и проверить, если, конечно, не боитесь, что и Ваш телефон после этого замолчит. (Впрочем, я думаю, у Вас есть несколько телефонов и, если даже один из них окажется отключенным, Вы сможете временно пользоваться другим.) Может быть, хулиганством считается сам факт разговора с другой страной? Для чего же тогда предоставляют абонентам подобные хулиганские услуги?

Ответ «сами знаете» также не кажется мне удовлетворительным. *Я не знаю*, Николай Владимирович.

Даже при свойственной мне самокритичности я не могу усмотреть в своих действиях ничего хулиганского. А вот то, что Ваш подчиненный Васильев подслушивает чужие разговоры, лжет сам, заставляет лгать других и лишает людей возможности общаться между собою, это и есть самое настоящее хулиганство. Ну можно пододобрать и другие определения: беззаконие, произвол, самодурство — не знаю, что Вам больше по вкусу.

Дело, однако, не в определениях. Дело в том, что существуют (может быть, Вы слышали) так называемые права человека, согласно которым человек имеет право не только, как поется в песне, «на ученье, отдых и на труд», но также и на другие мелочи. В частности, и на такие, как свободно выражать чего кому вздумается, обмениваться информацией, идеями и вступать друг с другом в контакты. Я с Вами или с поэтом Коржавиным, или Вы с поэтом

Коржавиным, или еще с кем Вам захочется, не испрашивая на то разрешения подчиненного Вам Васильева. И вот эти наши с Вами права считаются в цивилизованном мире настолько неотъемлемыми, что соблюдение их является одним из важнейших условий международной разрядки. Они упомянуты в различных международных соглашениях и торжественно провозглашены в тех самых Хельсинкских, подпись под которыми от имени Советского государства поставил лично Леонид Ильич БРЕЖНЕВ. Поэтому отключая мой телефон, Васильев не только себя позорит, как хулигана, но пытается посеять сомнения в искренности усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева.

Не мне Вам говорить, Николай Владимирович, что врагов разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же они помощничка нашли себе в нашей стране! Ведь никому из них, даже пресловутому Джорджу МИНИ, не удалось еще выключить ни одного телефона. А Васильеву удалось. Слышал я, что делает он это не впервые, что телефонный террор под его руководством достиг небывалых масштабов.

Не знаю, как Вам, Николай Владимирович, а мне положение кажется угрожающим. Захватив телефонную сеть, враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тогда... Вы сами знаете, что бывает в подобных случаях.

Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, я прошу Вас безотлагательно отстранить Васильева от занимаемой им должности, а новому начальнику МГТС приказать включить мой телефон.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Владимир Войнович

10 октября 1976 года

Москва

НО ПАЗАРИТЫ НИКОГДА...

В те годы у меня было много разнообразных неприятностей, связанных с тем, что я был исключен из Союза писателей СССР за действия, несовместимые с высоким званием советского писателя. Но действия мои оказались несовместимыми с этим высоким званием, во-первых, потому что я писал не совсем то, чего ожидали от меня партия и правительство, во-вторых, я защищал людей, которых сажали, как принято выражаться, за убеждения, или, иначе говоря, ни за что. Ну и само собой разумеется, советские власти таких преступлений мне простить никак не могли и, мало того, что исключили из Союза писателей, грозили всякими другими карами, например обвинением в тунеядстве. То есть в том, что

я нигде не работаю и живу за счет народа, который таких паразитов кормить не желает.

И вот повадился ко мне ходить наш участковый милиционер Иван Сергеевич Стрельников. Такой высокий, седой, очень вежливый, между прочим, человек. Вот, приходит он ко мне, нет, не вламывается, а вежливо звонит в дверь, вежливо спрашивает: «Можно, Владимир Николаевич?» «Ну, — говорю, — можно, конечно. Кому-нибудь другому, может быть, и нельзя, а уж вам-то всегда можно». А он человек не только вежливый, а даже застенчивый, в комнату входит, шапку снимает. «Садитесь, — говорю, — Иван Сергеевич!» «Ничего, — говорит, — я постою». Ну я тоже человек вежливый, все-таки настаиваю на своем, садится Иван Сергеевич на краешек стула и начинается у нас глупый такой разговор. «Вот, Владимир Николаевич, — мнетя участковый, — вы уж извините, я, конечно, к вам не сам пришел, меня послали, но хотелось бы узнать, вы где-нибудь работаете?» «А вот тут, — говорю, — прямо и работаю». «И как это вы тут работаете, кем это вы тут работаете, если не секрет?» «Совсем не секрет, — говорю, — Иван Сергеевич, не только для вас, но и ни для кого не секрет, писателем я здесь работаю». «Да, — говорит, — писателем? А я слышал, Владимир Николаевич, что вас, извините, из Союза писателей исключили». «Да, — говорю, — исключили, а Льва Толстого в свое время даже из церкви исключили, ну и что?» «Ну Владимир Николаевич, я не знаю, откуда там Толстого исключали, но вам надо бы трудоустроиться». «Да я, — говорю, — в общем-то трудоустроен. У нас в Конституции записано, что каждый имеет право на труд по избранной специальности, а я специальность себе избрал и как раз по ней и работаю». «Это все, — говорит, — хорошо, но если вы работаете, должно же быть какое-то доказательство». «Ну доказательств-то, — говорю, — у меня сколько хотите. Вот, — говорю, — книги, видите, и на них моя фамилия написана, книги-то, — говорю, — не работая, не напишешь». Ну он смотрит на книги, уважительно, надо сказать, смотрит, со мной в душе даже вроде согласен, что тунеядцы книги не пишут, и очень даже смущается, но все-таки говорит: «Но Владимир Николаевич, книги это, конечно, хорошо, но мне справка нужна». Ну я дальше ему объясняю, что в Конституции нашей чересчур демократической насчет справок вообще ничего не сказано, там сказано, что человек имеет право на труд, между прочим, тоже, если уж придираться, право, а не обязанность, (между понятиями *право* и *обязанность* очень большая разница), ну а насчет того, что каждый человек обязан справку иметь, там и вовсе ничего не сказано...

Разговоры эти с участковым продолжались года четыре, иногда с большими, впрочем, перерывами. И не всегда протекали так спокойно, как я описал выше. Иногда я сильно раздражался. «Иван Сергеевич, — говорил я, — а вам вот не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три десятка с

лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза! Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит, хотя бы тот факт, что я с одиннадцати лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, четыре года служил солдатом в Советской Армии. Или вам и этого недостаточно?»

Участковый смущался и сам начинал нервничать. «Но Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением. Но что я могу сделать, меня же послали».

В конце концов все эти наши разговоры кончились для меня, можно сказать, без последствий в том смысле, что власти так и не решились объявить меня официально паразитом. Но неофициально я вошел в разряд паразитов задолго до того, как лишился справки с места работы.

Когда я служил солдатом, нас довольно плохо кормили. А если мы жаловались, нам говорили, что мы паразиты, никаких материальных ценностей не производим и не заслуживаем даже тех восьми рублей (восьмидесяти копеек с шестьдесят первого года), которые народ ежедневно на каждого из нас тратит. А мы, будучи, как говорится, солдатами сознательными, с этой точкой зрения соглашались, хотя сейчас она кажется мне идиотской. Потому что если народ нуждается в солдатах для своей защиты, он должен содержать их как нормальных членов общества. А если он в них не нуждается, зачем их иметь вообще?

А уж про писателей и говорить нечего. Писателя всегда попрекают тем, что он паразит, живет за счет народа, должен быть благодарен народу и должен служить народу, должен писать книги для народа и о народе. То есть прежде всего о рабочих и крестьянах. Но все это чушь.

Я сам писал и о рабочих, и о крестьянах, но я знаю, что человек, читающий книги, оценивает их не по классовому составу героев, а по тому, интересно читать написанное или не интересно.

Нормальный читатель, независимо от того, рабочий он, колхозник или академик, лучше прочтет увлекательный роман о графе Монте-Кристо или о королеве Марго, чем что-нибудь занудное о своих братьях по классу, вроде братьев Ершовых.

Если буквально следовать логике тех, кто учит писателей, как и для кого они должны писать, что и кто должен читать, то шпионские романы должны читать только шпионы, а рассказ Чехова «Каштанка» только собаки.

Но я хотел бы сказать еще вот что. Конечно, нормальный писатель всегда живет с ощущением своих обязанностей перед народом, обществом и страной. Но эту обязанность он берет на себя добровольно. Писатель, который исполняет обязанности, спущенные ему сверху по партийной разнарядке, не писатель, а писарь.

И исполняя свои обязанности, писатель вовсе не должен быть все время кому-то благодарным за то, что его кормят. Он создает необходимые обществу духовные ценности, стоимость которых не измеряется рублями. А впрочем, измеряется и ими. Потому что книга, кроме всего, это и реальный товар, который можно взять в руки, можно купить, а можно и продать, и иногда довольно успешно. Многие книги издаются огромными тиражами и приносят их издателям огромные прибыли. Приносили бы советской стране огромные прибыли и книги некоторых изгнанных из нее тунеядцев.

Современное общество устроено сложно. Ему нужны и крестьяне, и рабочие, и инженеры, и врачи, и учителя, и ученые, и артисты, и писатели, короче говоря, ему нужны все. Жизнь показывает, что чем больше того или иного народа занято непосредственно производством продуктов питания, тем меньше в стране этих самых продуктов питания. И еще: чем больше правительство этой страны борется с искусством, тем опять же меньше в ней этих самых продуктов питания.

Повторю еще раз: современному обществу нужны все. И никто никого не кормит. Или — все кормят всех. С одним, правда, исключением. Как уже было сказано выше, есть в Советском Союзе одна категория людей, которая не производит ни материальных, ни духовных ценностей, а только сидит на собраниях, хлопает в ладоши и издает указания, как крестьянину сеять хлеб, а писателю писать книги. Вот эти-то люди, по моему непросвещенному мнению, и есть настоящие паразиты.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или это была одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили по одиночке или небольшими группами, вели себя тихо,

сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Месерером в его огромной мастерской на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приключился актер «Современника» В. Семь лет назад, когда меня исключили из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торопливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Закончился период странного и противоестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплат вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил уже к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному

транспортёру, когда меня вдруг подозвали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опубликованных книг и которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова:

— Хорошо, в таком случае, я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортёру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших.

Какой-то тип в штатском распротер руки.

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг, что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможей закончены. У таможи к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагэбэшники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Какой-то кагэбэшник в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагэбэшнику, который стоял рядом:

— И что вы суеитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим, — сказал тот злобно. Приблизился тот, который бежал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь, — сказал я, — уж ты-то при чем. Это он, — я показал на таможенника, — может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем, — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий

и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так, как говорю. И второе правило прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагэбэшников даже и шанса не было не сдать. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Но деваться было некуда...

Им тоже деваться было некуда и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унижить, а унижил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленным лицом, и я.

— Выньте все из карманов! — приказал таможенник.

Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унижить. Я это понял. Но я знал, что унижить меня он не может, потому что я к нему отношусь примерно, как к корове. Я знал, что могу сопротивляться и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил — подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь и что-то там шарил. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий отдышкой.

— Слушай, — сказал я ему нарочно на «ты», — а что ты там ищешь? Бомбу?

— Нет, — сказал он хмуро, — не бомбу.

— А что? Совість свою?

— Снимите второй сапог, — сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал, — сказал он, как мне показалось, агрессивно.

— И стыдно, что не читал, — сказал я. — И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоём месте лучше застрелился, чем делал эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — и выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверно, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Не надолго, — сказал я. — Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала: в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем, — сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не ест. А я думаю, что все-таки ест. И покуда в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И значит, еще не все потеряно.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВРАГ НАРОДА

Пару лет назад в городе Чикаго зашел я в гости к своему другу, американскому писателю. Он как раз закончил работу над очередной книгой и вносил в нее последние поправки. Причем делал это не гусиным пером, не карандашом, не авторучкой и даже не на пишущей машинке, а на компьютере — весьма незамысловатом на вид агрегате, похожем, как многие, вероятно, знают, на какой-то гибрид телевизора с пишущей машинкой. Рядом с этой штукой стоял еще какой-то ящик, размером не больше чемоданчика типа «дипломат». Друг мой нажимал на кнопки, и на экране возникала страница только что законченной рукописи. Друг исправлял опечатки прямо на экране. Где-то убрал восклицательный знак, где-то вставил запятую.

Какую-то часть текста он решил напечатать курсивом, нажал кнопку, и нормальные прямые буквы на экране немедленно превратились в наклонные. Какую-то строчку решил выкинуть, нажал кнопку — и строчка исчезла, а другие строки подтянулись, подравнялись, и как будто ничего не случилось. Захотел вставить новый абзац — вставил. И сразу текст всей его довольно большой рукописи в памяти компьютера передвинулся должным образом.

— Все, — сказал мой приятель, — хватит. Теперь пойдем попьем кофе, а он пускай пока сам поработает.

Мы пошли на веранду, попили кофе, поговорили о том, о сем, а когда вернулись, рукопись моего приятеля объемом примерно в триста страниц аккуратнейшим образом перепечатанная лежала на столе рядом с закончившим свою работу компьютером.

Я заинтересовался, стал расспрашивать приятеля, как он на этой штуке работает, не раздражает ли его необходимость видеть свои слова не на бумаге, а на экране и, конечно, спросил, сколько это примерно стоит. Он сказал, что вообще компьютеры бывают разные и стоят по-разному. Его компьютер вместе с печатным устройством обошелся ему в две тысячи долларов.

— А как ты думаешь, сколько может стоить такой компьютер в Москве? — спросил меня он.

— Ну в Москве, — сказал я, — цены, как известно, стабильные на все и на компьютеры тоже. Такой компьютер стоит, я думаю, не меньше трех и не более десяти лет заключения.

Этот разговор я припомнил сейчас, когда узнал, что в Советском Союзе принято постановление о широком внедрении компьютеров и о том, что обучать работе с ними теперь будут уже в школе. А незадолго до того я следил за дискуссией, или, вернее, псевдодискуссией, которая развернулась на страницах «Литературной газеты» на тему, что такое персональный компьютер, нужен он или не нужен советскому человеку. Участники дискуссии как будто в основном сошлись во мнении, что компьютер в общем-то нужен, и перечисляли некоторые его возможности. Все возможности тако-

го компьютера участники дискуссии не перечислили, да и не смогли бы перечислить даже при очень большом желании. Дело в том, что возможности этих маленьких ящиков поистине безграничны. С их помощью можно прокладывать курс кораблей, наводить на цель ракеты, варить сталь или борщ, производить любые математические вычисления, ловить преступников или честных людей, играть в шахматы и так далее. Кажется, нет уже теперь ни одной области человеческой деятельности, где можно было бы без них обойтись.

То есть обойтись, конечно, можно не только без компьютеров, а и без многих других достижений современной цивилизации. Можно и сейчас писать гусиным пером при сальной свече, ездить на перекладных, таскать воду из колодца и ходить до ветру. Может, так оно даже и романтичнее. Но прогресс есть прогресс, от него никуда не денешься. А поскольку советское общество — самое прогрессивное в мире, оно в достижениях современной техники очень нуждается. И в компьютерах нуждается тоже. Потому что сейчас эти электронные негодяи заняли в жизни такое место, что та страна, которая отстанет в их производстве, отстанет вообще во всем. В промышленности, в сельском хозяйстве и, что совсем обидно, в производстве самого совершенного оружия.

И поэтому людям, которые руководят Советским государством, очень хочется, чтобы в Советском Союзе было много самых совершенных компьютеров и достаточно специалистов, которые могли бы на них работать. Но с одной стороны — хочется, а с другой стороны — колется. Потому что у этих самых компьютеров, кроме очевидных достоинств, есть еще и ужасные, я бы сказал, недостатки. Дело в том, что эти компьютеры слишком много знают и своими знаниями охотно делятся. И будучи политически незрелыми, говорят только правду. Не только ту правду, которая нам нужна, а и ту, которая нам не нужна совершенно.

Я помню, еще на заре развития этих чудовищ, когда самое маленькое из них было размером с четырехэтажное здание, в ЦК КПСС обсуждались достоинства и недостатки этих волшебников. И тогда академик Митин сказал, вроде бы так: «Я слышал, что если в электронно-вычислительную машину заложить «Капитал» Маркса, то она, эта машина, может точно сказать, правильно это учение или нет. Но мы, — сказал Митин, — конечно, никогда такого эксперимента не допустим». Ну и правильно! Это говорит не только о том, что академик Митин чувствовал себя недостаточно стойким марксистом, но и о том, что машина никакого почтения перед авторитетами не испытывает и любого из них, хоть Митина, хоть самого Маркса, может вывести на чистую воду. Чем вам не диссидент?

Это было давно, машины были большие, их было мало, возле каждой можно было приставить начальника секретной службы со взводом автоматчиков.

Но положение меняется к худшему. Электронные правдолюбцы со временем становятся все совершеннее. Размеры их уменьшаются,

способности увеличиваются, а цены на них падают. Они так плодятся, что в мире их стало уже больше, чем в Австралии кроликов. И могут они не только читать или считать. Они умеют кое-что еще. И это кое-что кое-кому очень не нравится.

Вернусь опять к этой дискуссии в «Литгазете». Участники дискуссии обсудили вопрос, нужен или не нужен советскому человеку персональный компьютер. Подошли к опасной черте и задались вопросом: а можно ли пользоваться компьютером в нашем сочинительском деле? Корреспондент газеты, проявляя очень большую эрудицию, цитируя Анатоля Франса, Байрона и какого-то английского ученого, который жил за четыреста лет до появления первого компьютера, выражает свои сомнения так: «А как литератору работать в «мире быстрых мыслей»? Как поспевать за компьютерным веком с прежней мозговой мощностью? Да еще под диктовку: короче! точнее! конкретнее! Что останется от искусства в этой спешке? Не слишком ли мы торопимся?».

А собеседник — специалист по этим самым компьютерам, вместо того, чтобы спросить корреспондента, что за чушь вы, извините, плетете, тоже демонстрирует свою эрудицию, цитируя некто Козьму Пруткову и какого-то канадского журналиста. И хотя он как-то вроде бы мямлит, что персональный компьютер дело все-таки не такое ужасное, но и прямо на вопрос не отвечает.

А впрочем, прямо на этот вопрос ответить нельзя, потому что он задан неправильно, некорректно, в самом вопросе заключена попытка поставить отвечающего на ложный путь. И в самом деле, какую картину рисует эрудированный корреспондент? Он изображает несчастного литератора, который сидит перед мерцающим экраном и пытается изложить свою прозаическую или поэтическую мысль в виде логарифмов, которые он забыл еще в школе. А этот электронный нахал еще понукает: давай, мол, побыстрее, да покороче.

На самом же деле все выглядит вовсе не так трагично. Компьютер устроен сложно, в его конструкции может разобраться не каждый. Но ведь, если правду сказать, далеко не каждый из нас знает, как устроены электрический утюг или кофемолка. А еще есть всякие там стиральные машины, холодильники, телевизоры, телефоны, об их устройстве мы тоже порой имеем смутное представление. Но зато почти все мы знаем, что, если нажмешь такую-то кнопку, возникнет такой-то результат. Точно так же дело обстоит и с компьютером. Возможности его безграничны. Если вы математик, вы можете оперировать большими числами. А если вы в этом деле не самый большой специалист и хотите пользоваться им как пишущей машинкой, он и в этом вам охотно поможет. Между прочим, самого процесса творчества он не облегчает. Если вы пишете роман или поэму, компьютер ни одной строки за вас не придумает. Вам самому вашим собственным пальцем придется нажать на клавиши компьютера ровно столько раз, сколько букв и знаков содержит ваша поэма или роман. Его возможности велики, но вам

с ним соревноваться вовсе не обязательно. Если вы можете написать в день тысячу страниц, он вам охотно перепишет всю тысячу. Но если вы по совету Юрия Олеши пишете только одну строчку в день, он вам перепечатает одну эту строчку. А если вы вообще писать ничего не хотите, он и в этом случае от вас ничего не потребует. Стоит, молчит, каши не просит.

Возможно, когда-нибудь компьютеры сами будут писать романы. Но пока что, к счастью, до этого они не дошли. Они не писатели, они переписчики. Но переписчики идеальные.

И в самом деле. Не будем вспоминать времена, когда, скажем, сидел монах в своей келье и годами переписывал один экземпляр «Слова о полку Игореве». После изобретения Гутенберга в такой работе необходимость отпала. Но все-таки и сейчас, прежде чем сдать рукопись в печать, надо перепечатать ее на машинке раз-другой-третий. Я сам пишу свои книги на машинке и могу сказать, что дело это тоже достаточно хлопотное. Написал один раз, вычитал, почеркал, что-то вставил, что-то выбросил, опять перепечатал. Потом еще раз и еще. Нет, тут не может быть двух мнений: компьютер — наш идеальный помощник. Вы вносите исправления, подтягиваете строчки, меняете имена и, нажав кнопку, печатаете столько экземпляров, сколько вам нужно. Что можно сказать плохого об этом замечательном изобретении? Если бы меня пригласили на эту дискуссию, я бы так просто все и сказал. Но в том-то и дело, что не так просто.

Конечно, в любой нормальной стране от этих чудо-переписчиков никакого вреда нет. Если не жалко денег на бумагу, перепечатывай все, что тебе вздумается. Но как быть с ними в стране, где за листовку, написанную на листке ученической тетради, можно получить срок, где пишущие машинки конфискуются и где большинство населения никогда не видело простой копировальной машины? Как в такой стране можно мириться с появлением подобных машин? Пока они, как я сказал, имеются только в самых секретных заведениях и охраняются самым строжайшим образом. Но, повторяю, их становится все больше и больше. А размеры их уменьшаются, а в изготовлении они все проще и проще. Недавно я видел электронное печатное устройство размером не больше коробки сигарет. И стоит оно не так уж дорого. А работает так тихо, что если даже у вас за стенкой живет очень чуткий стукач, то и он ничего не услышит. И в связи со всем этим вот что я думаю.

Советское общество, как известно, построено на строго научной основе. Науку оно всегда ценило превыше всего. А также научный прогресс. И вот этот самый научный прогресс прогрессирует. Происходит пресловутая научно-техническая революция. И бороться с ней становится все трудней и трудней.

Новые средства информации все больше и больше вступают в вопиющее противоречие со всей советской системой. Вот уже лет двадцать советские люди, не дожидаясь разрешения цензоров, «издают» на своих магнитофонах миллионными тиражами песни

Окуджавы, Высоцкого, Галича. Вот уже появились и все больше плодятся новые распространители идеологической заразы — видеомагнитофоны (но о них полна тревожных и лирических раздумий советская пресса). Уже жители Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии и даже советских Прибалтийских республик смотрят западное телевидение, которое тоже развивается. Уже сегодня и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Париже, и в Нью-Йорке можно, присоединив довольно-таки нехитрую, но пока еще дорогую антенну, смотреть Москву. А значит, и в Москве можно, при некоторых усилиях, смотреть Мюнхен, Лондон, Париж и Нью-Йорк. Скоро все так и будет, потому что все эти средства коммуникации развиваются бурно, не по дням, а по часам. Ничего не скажешь, хоть только научно-техническая, а все-таки революция.

Нет слов, Советское государство выдержало много испытаний.

Оно устояло перед натиском стран Антанты, разгромило белогвардейские полчища, сокрушило гитлеровский вермахт. О внутренних врагах и говорить нечего — с ними Советское государство справлялось всегда. Кулаков, троцкистов, художников-абстракционистов, ученых вейсманистов-морганистов, генетиков и кибернетиков, которые, кстати, и придумали вот эти зловредные компьютеры, полчища так называемых диссидентов, вооруженных автоматическими ручками и пишущими машинками, — всех разгромила советская власть.

Но этот новый враг, по моему мнению, гораздо страшнее всех предыдущих. Я имею в виду все эти достижения в области радио, телевидения и, конечно, этих маленьких негодяев, эти компьютеры. Они отвечают на самые провокационные вопросы. Они готовы распространять любую информацию, независимо от того, нравится она кому-нибудь или не нравится. Причем они не робеют перед следователями и прокурорами. Они не боятся ни пытки, ни расстрела. Их становится все больше и больше, они подступили вплотную к границам Советского Союза, а некоторые даже сквозь нее уже и проникли.

Я помню расцвет эпохи «самиздата». Когда самоотверженные люди отбарабанивали на пишущих машинках романы Солженицына, книги Сахарова, Джиласа, Авторханова, «Хронику текущих событий».

Сколько они могли напечатать? Четыре, пять, шесть копий за раз. Даже при тех скромных возможностях Москва, Ленинград, Киев и другие большие города наводнялись ходившими по рукам рукописями, которые не мог выловить весь личный состав КГБ. Но что будет, когда по всей стране распространятся маленькие компьютеры с еще меньшими печатающими приставками к ним? Там уже дело несколькими копиями не ограничится.

Компьютер — слово иностранное. Советские ревнители русского языка, избегая этого слова, заменяют его тремя своими, из которых два тоже нерусских. Они называют его электронно-вычисли-

тельной машиной, или сокращенно ЭВМ. А я бы лично его назвал совсем иначе. Учитывая его зловредную сущность и склонность к изготовлению и бесконтрольному распространению опасной информации, я бы его назвал ЭВН, то есть Электронный Враг Народа. Так, мне кажется, было бы намного точнее. И поближе к русскому языку. Все-таки из трех слов остается только одно иностранное: электронный.

Повторяю, за время своего существования Советское государство успешно справилось со многими врагами, а с этим, электронным врагом, боюсь, не справится.

1986

ЧЕШИРСКИЙ КОТ В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ

В середине июля мне в Мюнхен пришел пакет. Обратного адреса нет, почтовый штемпель размазан, марки на конверте английские, но бумаги внутри написаны по-русски и составлены в Москве. То, что сочинено в одном месте, а пришло из другого, раньше меня бы не удивило. В застойные времена люди опасались, что послание попадет не по адресу, и официальной почте не доверяли. Некоторые, привыкнув к подпольному существованию, и сейчас не очень-то доверяют. Недоверчивыми оказались и отправители пакета, хотя люди они вроде совсем не подпольные и пишут от имени не кого-нибудь, а Верховного Совета России. В таком случае, как мне кажется, посылать бумаги не прямо, а с какой-то левой оказией даже и некрасиво.

Хорошо. Стал разбирать я эти бумаги, вижу: приглашение. На конгресс соотечественников, который состоится через месяц в Москве. Вообще-то, следовало бы известить меня об этом пораньше. Потому что у меня могут быть другие планы. Но попрекать, кажется, некого.

Приглашение начинается: «Уважаемый господин Войнович»... Честно говоря, меня такое обращение всегда немного коробит. Ну почему бы, шлю я мысленный вопрос безымянным организаторам конгресса, почему бы вам, если вы действительно желаете видеть меня среди вас, не выбрать эпитет потеплее? По неписаным правилам обращения одних лиц к другим, «уважаемый» обычно выдавливают сквозь зубы. В пределах минимального лимита вежливости для тех, кого на самом деле уважают не очень. (Раньше так бывало, если хотели пренебрежительно кого-нибудь окликнуть, употребляли: «Эй, уважаемый!»)

Я часто из многих стран получаю приглашения быть гостем чего-нибудь и на всех языках приглашающие пишут «многоуважаемый», «глубокоуважаемый», «очень уважаемый», а на английском обязательно «дорогой». Причем в русской традиции вежливые люди обращаются к адресату не по фамилии, а по имени-отчеству. А тут

авторы словно боятся, как бы не переборщить, как бы не слишком расщедриться на слова и не разориться душевно. Как начали, так и закончили. Ни «до свиданья», ни «до скорой встречи», не говоря уже о более сердечной форме, вроде как «с уважением» (глубоким, искренним или каким-то еще). Или как было принято у наших предков: «с совершеннейшим к Вам почтением». Или как пишут и сегодня американцы: «Предвкушаю удовольствие от встречи с Вами». Право, напиши приглашающие как-нибудь в этом духе, рука не отсохла б.

Куда там! Даже подписи никакой человеческой нет, даже и закорючки собственной своею рукой никто не потрудился поставить. Зато потрудились насчет другого.

Приглашая меня на конгресс, анонимные устроители сожалеют, что не могут оплатить дорогу. Я тоже сожалею, но понимаю. Соотечественников у нас за пределами Отечества благодаря многолетним усилиям партии и правительства очень много, а дорога стоит недешево. Но зато все остальные расходы, гостиница, питание, театры, церкви, музеи, стадионы и поездка в один из семи городов, кроме Москвы, организаторы конгресса берут на себя.

Я хотел бы уже сказать «большое спасибо», но читаю дальше и вижу, что мне предлагается за бесплатные удовольствия в Москве заплатить 300 долларов. А если привезу с собою жену, то полторы сотни добавить и на нее. И указывается отделение банка, куда я должен направить эти самые доллары. Доллары американские, банк английский, а отделение его находится почему-то в графстве Чешир, которое для меня ассоциируется не столько с твердой валютой, сколько с мягким чеширским говорящим котом из сказки «Алиса в Стране чудес». Доллары я должен послать в это графство, а на что они будут потрачены — на покупку чеширского кота в мешке или на что другое, устроители конгресса меня не информируют: это, видать, не мое дело. А я желал бы все-таки знать. Потому что эти зеленые листики долларов, они на дереве у меня не растут. А хоть бы и росли...

Однажды в столице восточной страны, не успел я свернуть с главной улицы, как был окружен ватагой малолетних оборванцев, которые тащили меня за штаны и кричали: «Дядя, дай доллар!» Не то ли происходит в Советском Союзе? Третий год, как я стал вездным в собственное Отечество и охотно этой возможностью пользуюсь, но с первого въезда и доньше, ни разу ни от кого не услышав «извините», все время слышу: «Дай доллар!» То за гостиницу, то за железнодорожный билет, то за билет театральный, а теперь вот и за конгресс.

Мне и раньше приходилось бывать на разного рода конгрессах, конференциях или симпозиумах. Там мне иногда платили гонорар за участие, иногда не платили, бывало, я отказывался от него добровольно, из благотворительных соображений, но чтобы я платил за удовольствие быть вашим гостем, это уж, как говорится, изви-

ните, подвиньтесь. Я в этом вижу попытку меня унижить и поставить в неравное положение с вами. Я буду платить за то, что я вас увижу, а вы будете смотреть на меня бесплатно.

Дальше неравенство углубляется. Из полученных бумаг я узнаю, что зачислен в список участников «круглого стола» «Литература и искусство России XX века и российского зарубежья». В списке четыре группы имен: советские участники, участники-эмигранты (я среди них), иностранные ученые и почетные председатели в количестве шести человек. Почему именно они, я не знаю. В составе шестерки есть одно лицо, которое я весьма почитаю, другое, которое не почитаю совсем, третье, которого я не знаю, оставшихся трех уважаю, но не больше, чем многих других.

Если бы кто-то поинтересовался моим мнением, я бы сказал: «круглый стол» потому и круглый, что за ним все равны, все одинаково почитаемы. Быть почитаемым ниже или даже выше других я не согласен.

Открытие конгресса состоится в Колонном зале, или, как указано в скобках, но не без намека — в Дворянском собрании. Перед фамилиями некоторых участников конгресса обозначены их дворянские титулы. Два Толстых своих титулов не указали, хотя могли бы. А вот как остальные? Простолудины, что ли? Если так, то откуда взялись? Я вижу, многие люди с тем же усердием, с каким раньше подбирали себе пролетарское прошлое, теперь бродят по архивным дебрям в поисках своих родословных деревьев, а не найдя, рисуют их по воображению. По воображению же удлиняют корни и протягивая их поближе к Рюрику. По прочтении некоторых теперешних изысканий, мне уже порой кажется, что все российское население до нашествия большевиков состояло сплошь из родовитых дворян.

А на самом деле какие уж мы дворяне, если друг к другу даже обращаться с достаточным почтением не умеем! Никаких дворян у нас давно уже нет. А есть советские люди. Которые то крушат церкви, то расшибают лбы в молитвах, то делают партийную карьеру, то из партии картинно выходят и выходят из грязи в князи. Понятие «дворянство» в нашем представлении связано не только с благородностью происхождения, но и с благородством души. А некоторые нынешние дворяне (те самые, с хорошими пролетарскими анкетами*) еще недавно вели себя так гнусно, что по достоинству своим заслужили место не в Дворянском собрании, а на конюшне.

Поедем дальше. В полученных мною бумагах нашим конгрессменам обещана обширная религиозная программа с богослужениями в храмах всех конфессий. В конкретном же расписании никаких синагог, мечетей, костелов, баптистских или буддистских молелен нет. Зато основной, как сказали бы некоторые, корневой, религией программа весьма и весьма насыщена. Или даже перенасыщена.

* Например, Сергей Михалков.

Вот как расписаны два дня накануне открытия конгресса: «18 августа (воскресенье). 8.00 — Завтрак. 8.30 — Религиозная программа: Отъезд в Троице-Сергиевскую Лавру: в программе присутствие при богослужении в Успенском соборе, осмотр Московской Духовной академии и семинарии, церковно-археологического кабинета, просмотр церковных фильмов. 9.30 — Присутствие при богослужении в храмах: Патриарший Богоявленский собор, Троицкий собор Данилова монастыря, храм Воскресения Словоущего в Брюсовском пер., Троицкий храм на Ленинских горах, Преображенский храм на Ордынке, Николо-Кузнецкий и Николо-Хамовнический храмы. 10.00 — Посещение воздушного парада в Тушине...»

Не понимаю, что это значит. В течение одного часа махнуть за семьдесят километров от Москвы, отстоять службу в соборе, осмотреть два учебных и одно научное учреждения и просмотреть кинофильмы — неужто это возможно? Или, может, наших богомольных конгрессменов в Загорск будут доставлять на реактивных самолетах и там катапультировать? А затем бегом в собор, вприпрыжку по академии, галопом по семинарии, на повышенной скорости прокрутили церковные фильмы, и, быстрее звука, назад, в Москву. В Москве: за полчаса — шесть богослужений, и тоже бегом, потому что ровно в десять нам уже в Тушине будут показывать мертвые петли и затяжные прыжки.

Ну ладно, может, со временем в программе второпях как-то кто-то что-то напутал. Но все остальное — смешение несовместимого до пошлости. Бесконечные богослужения (даже для самого набожного человека чересчур), цыганский хор, казачья поэзия (что это такое?), показательные выступления парадной казачьей полусотни, дворянское собрание, почти переименованный Ленинград, совсем переименованный Театр имени Ленинского комсомола и сохранивший свое название теплоход «Михаил Шолохов» с немецким пивом опять же за американские доллары. В этой мешанине названий, символов ценностей, понятий и попыток не упустить своего, мне кажется, слишком много безвкусыя и бесстыдства.

Я считаю, что конгресс соотечественников — дело исключительно важное. И именно поэтому проводить его надо с умом и тактом. Программу его надо было сочинять не келейно, а посоветовавшись со всеми будущими участниками. Выяснить их пожелания, какое именно участие, в чем и в какой форме они хотят принять. Проявить по отношению к ним не минимальную вежливость, а максимальную. И не пытаться содрать с них доллары, которых у них может не быть. Я понимаю, что государство наше поиздержалось на том, что нас же давило. Ну если уж просить деньги, так у каких-нибудь американских, японских, немецких финансовых воротил или у чеширского банка. Или опять же продать на валюту нефть, иконы, алмазы, золото, икру, Курильские острова. Но обирать эмигрантов и нехорошо и бессмысленно: много ли с них возьмешь?

Почти одновременно с приглашением дошло до меня интервью Михаила Толстого (от 7.7.91), где он цитирует какое-то задевшее его замечание парижской газеты «Русская мысль» и говорит, что «как не доверяло российское зарубежье всем реформам, проводимым свыше в нашей стране, так и продолжает не доверять». Вот уж не понимаю, на чем строится такое обобщение. По-моему, оно от привычки мыслить объединяющими местоимениями «мы» и «они». На самом же деле российское зарубежье — это не страна, не народ, не класс, не партия, это люди, как правило, ничем не объединенные (только в некоторых случаях общими смутными воспоминаниями), люди очень разные: умные, глупые, хорошие и негодяи, недоверчивые и слишком доверчивые. Если какой-то Фома не верит в реформы, ну и что с того? Проведите реформы и оставьте Фому в дураках. Но нет, от Фомы требуют, чтобы он обязательно повесил вперед.

В Советском Союзе в некоторых кругах я вижу сейчас большую нацеленность на эмигрантов, которых можно назвать денежными мешками. Им наибольшее внимание, почтение и соблазны (вроде кризиса на «Михаиле Шолохове»). Михаил Толстой в том же своем интервью говорит об этих людях: «Многие из них имеют высокий авторитет в мире бизнеса. Возможно, им предоставят двойное гражданство, чтобы они так же нормально чувствовали себя на родине предков, как и в той стране, где стали полноправными гражданами».

Значит, гражданство в первую очередь нужным людям? А ненужным как-нибудь попозже или вовсе не обязательно? Это меркантильное отношение к своим соотечественникам многим, правда, не нравится. И деловым людям тоже. Потому что деловые эти люди точно знают, что не стоит иметь дело с партнером, который, норовя у вас что-то урвать, сам при этом даже на вежливое слово скупится.

Деловые люди недоверчивы, но вовсе не в результате вредного влияния на них «Русской мысли». Они читают не «Русскую мысль», а *The Wall Street Journal* и *Financial Times*. И кроме того, они больше всего верят своим глазам. Они, конечно, могут приехать на конгресс. Могут потратить триста долларов за то, чтобы посидеть между Львом Копелевым и Виктором Тростниковым за «круглым столом», а вот насчет того, чтобы спустить три тысячи на речную прогулку на «Михаиле Шолохове», это уже как сказать. Деловые люди тем и отличаются от неделовых, что они попусту деньги и время не тратят. Поэтому на теплоходе роль делового человека, скорее всего, будет играть обыкновенный спекулянт и мошенник. Который, если вы ему для чего-то нужны, купит вам банку немецкого пива и всучит свою визитную карточку, где он будет обозначен, как президент или генеральный директор какой-нибудь мифической совместной корпорации по продаже рогов и копыт.

А истинно деловые, возможно, отстоят службу в соборе, полюбуются аллюром с гиканьем казачьей полусотни и посетят Театр

имени Ленинского комсомола, может, слезу уронят, а может, раздраженно махнут рукой и отправятся восвояси. Видя, что здесь все еще слишком много гикают и с большим перебором тратят время на всякие церемонии и ритуалы, а дела, в которое можно поверить, пока что нет.

Впрочем, за деловых людей отвечать не буду, а сам я на конгресс не поеду. Я поеду тогда, когда меня пригласят заранее, приветливо и сердечно, с приложением достаточно уважительных приглаательных к моему имени-отчеству. Когда мне будет гарантирован почет не больший, но и не меньший, чем другим. Когда меня не будут считать дураком и вымогать деньги, которые я никому не задолжал. И вообще, когда на подобных конгрессах в своей стране я буду хозяином, а не гостем. Тем более что вот уже год, как мне возвращено мое советское гражданство, я его принял и с того дня эмигрантом себя не считаю. Впрочем, в своем безусловном праве на свое Отечество я не сомневался и до того.

Я заканчивал эту статью, когда дошли до меня публичные отклики критиков конгресса с другой стороны. Эти критики выражаются словоблудно, но из блуда вычленяется очень простая мысль, что среди участников конгресса слишком много не русских, а русскоязычных, то есть евреев. А из русских все — сплошные непатриоты, то есть еврейским вопросом не озабоченные.

В газете «Литературная Россия» приводится список неприглашенных, озабоченных. На что тот же Михаил Толстой в одном из следующих номеров «Литературной России» поспешно возражает, что приглашения им давно посланы. Среди перечисленных лиц и мюнхенский булочник, и бывший советский шпион (служил сначала в ГРУ, потом в НТС), и участник Великой Отечественной войны, который доказал свою верность Отечеству, сражаясь на русской земле, но в немецком мундире.

Я должен сказать, что если скликать россиян со всего света, то в некоторых случаях можно подбирать и таких. Учитывая сложность обстановки, в какой им приходилось делать свой жестокий выбор между двумя тоталитарными монстрами и за давностью лет, я бы простил им их заблуждения и даже некоторые (но не все) преступления. Но если они и сейчас проповедуют расистские бредни — это значит, давний их выбор был совсем не случаен и их покойный фюрер Адольф Шикльгрубер мог бы ими гордиться. Эти люди сеют ненависть и в то же время лицемерно призывают к согласию, которое на самом деле невозможно. Ни с той, ни с другой стороны. Лично я ни с одним фашистом ни к какому согласию приходить не намерен. С такого рода персонажами порядочные люди любой национальности не участвуют в одних и тех же конгрессах, не сидят за общими столами и даже не здороваются. В лучшем случае им протягивают два пальца и говорят: «Эй, уважаемый!»

1991

КОМУ КОГО ЧЕМУ УЧИТЬ

Как-то лет восемь тому назад в Бостоне случилось мне быть участником международной конференции по правам человека. Были там в основном американские советологи и политические эмигранты из СССР. Некоторые из эмигрантов, выступая перед аборигенами, учили их, как жить, ссылаясь на свой печальный исторический и личный опыт. Поучения в основном сводились к тому, что американцы перед лицом советской экспансии ведут себя крайне беспечно и злоупотребляют свободой, которая досталась им по наследству.

Выступив на той конференции, я предположил, что американцы, очевидно, умеют решать свои дела без отказа от демократии, и нам надо не учить их, а самим кое-чему у них поучиться.

В перерыве конференции ко мне подошел один из участников и спросил: «А почему вы думаете, что я, например, не имею права их учить?» «А чему вы можете их научить?» — поинтересовался я. «Я могу научить их многому, у меня большой жизненный опыт. Я 17 лет провел в лагере». — «Вы хотите научить их, как жить в лагере?» — «Нет, я хочу научить их, как избежать лагеря». — «Но вы ведь лагера не избежали? Как же вы можете научить их тому, чему сами не научились?»

Давно замечено, что чем больше человек любит учить, тем меньше любит учиться. К советским людям (в том числе и к советским с приставкой «анти») это относится больше, чем к кому бы то ни было.

Уча Запад тому и сему, советские люди с порога отвергают встречные поползновения. «Не вам вас учить» — эту гордую фразу западные политики, экономисты, ученые, военные и писатели много раз слышали от своих советских партнеров.

Два года тому назад среди отвергнутых «ихних» учителей оказался и я. Я тогда приехал в СССР впервые после долгого отсутствия. Выступая там и сям, я рассказывал, где побывал, что видел и какие соображения извлек из увиденного. Публика, с которой мне приходилось встречаться, принимала меня, в общем, благожелательно. А коллеги писатели — по-разному. Одни отметили мой приезд враждебно. Другие — с ограниченным дружелюбием. Один из этих других написал, что он не против того, чтобы такие типы, как я, приезжали сюда и даже, куда ни шло, печатались, но *нам*, заметил он между прочим, смешны *их* попытки учить нас жить.

Прочтя такое, я, честно говоря, несколько удивился: а что тут смешного? Я лично никогда не соблазнялся миссией учителя, но все же, проведя 10 лет там, где люди живут по законам здравого смысла, нет-нет да и порываюсь сказать: братцы, да почему же вы так живете?

Я давно уже заслужил репутацию злостного антисоветчика, поэтому не надо мне говорить про то, в чем виноваты партия, прави-

тельство или система, но вы-то (мы-то) разве не виноваты ни в чем?

Вчера я ехал на «леваке». Водитель рассказывал о шофере из их автопарка, который 16 лет назад уехал в Америку и, видно, там помешался. Был человек как человек, а теперь приехал, пришел в гараж: ребята, говорит, пить вредно, курить вредно, в машине надо пассажира пристегивать и самому пристегиваться. Рассказывая о своем об американившемся друге, водитель громко смеялся, а я в ответ улыбался натужно, потому что был не пристегнут. И упирался ногами в пол, и вытягивал вперед руки, и вцеплялся в держалку над боковым стеклом, когда водитель, огибая выбоины, кидал свой «Москвич» то влево, то вправо или резко тормозил перед заглохшим внезапно грузовиком. Водитель мне, еще когда я садился, сказал «накиньте», и я накинул ремень на плечо, чтобы обмануть милиционеров, которые стояли на перекрестках по одному, по два и по четыре (наверное, потому постольку, чтобы сразу как можно большее их количество обмануть).

Там, где я пребывал 10 лет, люди ездят на машинах с исправными тормозами, по ровным дорогам без ям, с четкой разметкой, с ограждениями и «мигалками» на поврежденных участках.

И всегда все до единого человека пристегиваются. Каждый знает, что у пристегнутого в случае чего намного больше шансов остаться живым, а может быть, и не калекой. А здесь вот не припомню и случая, чтобы кто-нибудь хоть раз предложил мне не «накинуть», а пристегнуться. И я, стесняясь изображать из себя немца или американца, которому его жизнь для чего-то еще нужна, «накидываю». Хотя бывает довольно страшно.

Во всех странах за пределами нашего Отечества машины в ночное время даже по хорошо освещенным улицам или днем в пасмурную погоду ездят с ближним светом фар. В Швеции с фарами ездят даже при ярком солнце, так, говорят, машина больше обращает на себя внимание. А здесь при наших колдобинах, ямах, неогражденных открытых колодцах, оставленных на проезжей части асфальтовых катках, лихие шоферы возят непривязанных нас на «лысых» шинах, резко виляя впотьмах и нажимая на тормоза, которые не держат.

Заметьте, я никого ничему не учу. Но если вы хотите знать, почему у *них* дела идут хорошо, а у *нас* совсем наоборот, следует обратить внимание на то, что у *них* никто не держит четырех полицейских на пустом месте, где нет потребности ни в одном.

У *них* там почти все поголовно пристегиваются, а многие даже бросают пить и курить, ибо знают, что человеческая жизнь во всех смыслах (в самом прямом смысле тоже) стоит исключительно дорого. И ее берегут не для того, чтобы обмануть полицейского.

1991

КОМУ ВО ЧТО СМОРКАТЬСЯ

Некоторые мои соотечественники, желая как-нибудь ущучить, да побольнее, автора этих строк, говорят: ах, он, такой-сякой, будет нас еще учить, как нам жить, как держать себя за столом и в какой руке держать вилку. При этом даже, как в прежние добрые застойные и дозастойные времена, доносят устно и пишут куда нужно письменно, что своими поучениями автор занимается, сидя на чужой шее. К чему автору, прямо скажем, не привыкать. Раньше он сидел на шее наших колхозников и рабочих, а теперь, по утверждению одного бойкого желтого доносителя, перелез на шею американского конгресса. Доверия которого, естественно, никак не заслужил. Как не оправдал в свое время доверия партии и правительства.

Впрочем, насчет того, кто на чьей шее сидит, эту тему мы отложим на другой раз, а по поводу поучений замечу, что в реальной жизни, увы, попадают некоторые невоспитанные люди, которые вилку и в самом деле держать не умеют. Думают, что изготовлена она на каком-нибудь алюминиево-оловянно-литейном заводе исключительно для того, чтобы причесываться или ковырять ею в зубах. И хотя автор данного текста на самом-то деле особо заметной страстью к поучительству, по его мнению, не страдает, иной раз поневоле воскликнешь: «Эй, товарищ... или как вас по-нынешнему господин, сударь, да что же ты такое, мил-человек, делаешь? Ты же зуб ломаешь».

Я имею в виду зуб у вилки. И как же об этом можно не говорить, когда еще недавно в предприятиях общественного питания, то есть в те времена, когда и предприятие было и питание тоже... Так вот там, бывало, вилки не найдешь нормальной, а какую ни возьмешь, у одной один зуб сломан, у другой два, а та и вообще с одним-единственным зубом осталась, как баба Яга. В таком случае даже бесполезно учить человека, в какой ему руке такую дрянь держать, может, лучше даже вообще ни в какой. А взять кость, ежели она имеется, в руки и вгрызаться в нее с подобающим слухом урчанием.

Впрочем, ладно, об этом не буду, а то некоторые особо бдительные особы скажут, что американский конгресс меня нанял за СКВ со специальной целью: советского бывшего и нынешнего человека сбить с панталыку, чтобы он и вовсе, забыв про вилку, щи хлебал, как и прежде, лаптем, а лапшу с ушей через нос протягивал.

Хотя я на самом-то деле, заметьте себе, никого ничему не учу.

Но в жизни сплошь и рядом случаются разные поучительные истории, из которых каждый может сделать для себя определенные выводы.

Одна такая история приключилась давным-давно, в незапамятные времена еще первой мировой войны.

Некий немецкий генерал попал в плен к русским. Фамилия его была, допустим, фон Айзеншток. То есть в переводе на русский

язык — железная палка. Что, впрочем, в нашей истории роли никакой не играет. Тут важнее обратить внимание не на фамилию, а на приставку к ней «фон», означающую высокородное происхождение.

Попал этот фон Айзеншток в плен на Западе, но отправлен был в края не столь отдаленные восточные, а именно в Сибирь, где возбуждал собою всеобщее любопытство.

Потому что Сибирь хотя и большая земля и многое повидала, но немецких генералов даже там водилось очень немного. А именно два. Сам фон Айзеншток и еще некий, назовем его Шмидт, который тоже попал в Сибирь через плен.

Оба генерала друг о друге чего-то слышали, но не встречались, поскольку Сибирь — земля и в самом деле столь велика, что два генерала вполне могут всю жизнь по ней туда-сюда ходить и ни разу не сойтись в одной точке.

Так что жили они поврозь и в новом быту совершенно погрязли.

Не знаю, как Шмидт, а генерал фон Айзеншток даже женился. Забывши про оставшуюся в стародавничестве саксонскую красотку Хайди, связал он свою судьбу с крупной сибирской женщиной Лукерьей Сикиной, которая родила ему за это двух близнецов.

Привык наш фон Железная Палка к новому житью-бытью, опростился, на местном сибирском диалекте говорил, как на своем родном матершпрахе, а генеральство свое прошлое стал забывать, иной раз даже сомневаясь, было ли оно в самом деле или просто прибрелось.

Так бы оно шло и дальше, не случись в городе по-тогдашнему Петрограде катавасия, названная впоследствии Великой Октябрьской социалистической.

Пока катавасия случилась, пока слухи о ней докатились до сибирских далей, пока народ действительно понял, что катавасия эта в самом деле великая, и пока дошло это до сознания генерала фон Айзенштока, протекло определенно неопределенное время.

А потом слухи дополнительные поступили, что и в генеральском хаймате также имеют место отдельные перемены к лучшему, и, короче говоря, на фоне полного переворота жизни решил наш фон направиться в сторону родимого фатерланда. Чем показал положительный пример нашим вчерашним соотечественникам. Которые, несмотря на теперешнюю тоже довольно великую катавасию, возвращаться в свой хаймат не торопятся.

А генерал наш заторопился. Но при этом забеспокоился: а кто ему даст разрешение на проезд или проход в нужную сторону. Время поскольку суровое. Повсюду, в том числе и в Сибири, гражданская война, власти меняются, попросишь нужные документы, и неизвестно наперед, какая будет на то резолюция: разрешить, отказать или приставить к стенке.

Короче говоря, решил генерал пробираться на Запад, никого не спросив, кроме Лукерьи Сикиной, в замужестве Лукерьи фон Айзеншток. Отпусти, мол, майн штатц (то есть мое сокровище),

доберусь до родимого фатерланда, как ни то обустроюсь, а там и тебя заберу с нашими маленькими будущими немецкими генеральчиками и на тебя тоже паспорт немецкий выпишу.

Ну баронесса наша, Лукерья фон, услышав такие слова, ненаглядному для начала пару тяжелых плюх отвесила. За то, что ему какая-то там Германия дороже оказалась ее, Лукерьи. Но потом все же поняла, что родина есть родина, и, маленько поплакав, напекла беляшей да шанег, подштопала запасные исподники, положила все это в котомку, прижала мужа к груди, перекрестила и сказала: «Ну что ж, иди!»

Чтобы тех людей, которые, возможно, встретятся ему по пути, красных, белых, зеленых и прочих, не искушать, порешили генерал с Лукерьей, что в дороге прикинется он простым русским мужичком, неграмотным и дураковатым.

Сказано — сделано. Генерал онучи на ноги накрутил, лапти на них насунул, армяк на себя напялил, бечевкою обмотался, а котомку с шаньгами, да беляшами, да сменой исподнего за спину закинул и отправился в путь-дорогу, в одиночный такой дранг нах Вестен.

День идет, два идет, все лесом, все тайгой, открытые места огибая и к жилью никакому не приближаясь. Направление он то по солнцу, то по звездам, то по моху на деревьях определял, как его в академии генерального штаба в свое время учили, но все же на каком-то отрезке показалось ему, что с дороги маленько сбился.

Но ему повезло, что встретил он лошадку, везущую хворосту воз. А на возу, само собою, возница, здоровый такой мужчина, борода рыжая с сединой, брови густые, глаза пытливые. Наш генерал спрашивает: ты, мол, мужик, откедова будешь? А я, говорит, оттедова. А ты? А наш фон Айзеншток вымышленное название называет и говорит: вот, мол, пробираюсь поближе к родным местам в Самарской, предположим, губернии.

А рыжебородый смотрит и говорит:

— А ведь ты, милоч, я вижу не из мужиков будешь, не из наших.

— А с чего такое мнение имеешь? — удивился Айзеншток.

— А с того имею мнение, — говорит рыжебородый, — что сморкаешься больно уж не по-нашему. Наш мужик он в таком разе делает как? Он одну ноздрю большим пальцем зажимает, а в другую дует, а ты в платочек соплю свою выдуваешь по-культурному и потом так ее бережно, как локон любимой, вовнутрь заворачиваешь.

Смутился тут генерал наш и от смущения немедленно, говоря теперешним языком, раскололся.

— Да, — говорит, — отец, ты исключительно прав, не ваш я мужик, а немецкий генерал фон Айзеншток, по-вашему то есть железная палка.

Мужик как услышал такие слова, посмотрел на нашего генерала внимательно и начал так хохотать, что сперва с телеги свалился, да и потом еще долго катался по траве, держась за живот. А

потом встал на ноги, но успокоиться никак не мог, все искал, пробовал что-то сказать, да обратно впадал в истерику.

— Да что ж тут такого смешного? — спросил его наш генерал, немного даже обидевшись.

— А смешного тут то, ваше превосходительство, — сказал ему мужик на чистом немецком языке с легким померанским акцентом, — что я, позвольте представиться, тоже немецкий генерал Дитер Шмидт.

При этом он вытянулся и щелкнул как бы каблуками, которых у его лаптей, конечно же, не было.

Что случилось потом с их превосходительствами, добрались ли они оба или хотя бы один из них до берегов Одера или Рейна, этого я, признаться, совсем не знаю. И как сложилась их дальнейшая жизнь или никак не сложилась, тоже неизвестно, но в любом случае осталась от них легенда о том, как немец немца узнал, и из этой легенды можно делать далеко идущие выводы.

А именно, что некоторые наши привычки сидят в нас так глубоко, что, как бы нас потом жизнь ни ломала, мы от них ну никак не можем избавиться. Если генерала нашего в детстве, может быть, бонна учила пользоваться носовым платком или потом в юнкерском училище ему линейкой по рукам давали, когда он пытался обойтись одним пальцем, то привычка к носовому платку въелась в него на всю жизнь и даже перешла в генетический код.

А у нас картина совершенно обратная.

У нас иных человек, воспитанных детским садом, пионерским лагерем и комсомольскими зорьками, легче застрелить, чем приучить сморкаться в платок, правильно держать вилку и не писать доносы. (Правда, как же их не писать, когда есть и не закрыто учреждение, где их принимают, как встарь, круглосуточно?)

И тоже, как от привычки употребления большого пальца в сморкательных целях, не можем отказаться от стадных местоимений. Привыкли мы на мы себя называть и без этого ну никак. Несмотря на всякие едкие замечания по этому поводу и даже на специально Евгением Замятиным написанный роман «Мы». То гордо: «Мы советские люди». То самоуничижительно: «Мы совки». То, опять же впадая в большую спесь: не вам нас учить. Кому вам, кого нас? Нас, которые семьдесят лет строили, семь лет перестраивают и по семь часов стоят в очереди за «гуманитарной» помощью от них, кого сами всегда учили?

Иной такой Мыкин, пожелтевший, может быть, от перенесенного в юности комсомольского гепатита, выискивая пытливыми возможностями, как бы слинять на Запад, своего бывшего соотечественника тем попрекает, что тот не линяет в спешном порядке с Запада на Восток.

Впрочем, Мыкины разные, а вопрос все один и тот же и даже в одной редакции. Мы их так ждали, а они к нам не едут, вообще-то в них ничего хорошего нет, а мы тем не менее вымыли шеи и раски-

нули для объятий руки, а они, сволочи, к нам не едут и это значит что? Это значит, что они не политическая эмиграция, а экономическая. Они туда на Запад умотали за колбасой и за джинсами.

Одни и те же стенания, в одних и тех же выражениях, даже с тем же сопливым всхлипом. Несмотря на то что уже тысячу раз было оговорено и объяснено, почему одни они к нам не едут, а другие они от нас ежедневно тикают. Но стенания продолжают и настолько совпадают в подробностях, что невольно наводят автора данных слов на определенные мысли. На мысли, что хотя и говорят, что нет, мол, нынче кабинетов, где нас учат, кому чего говорить, а они на самом деле, может быть, есть и, может быть, находятся именно там, где заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Потому что по простоте своей, по-прежнему опыту и, конечно же, по тому же советско-совковому воспитанию, автор никак не может себе представить, чтобы совершенно как бы разные люди сами по себе одну и ту же глупую мысль выражали столь одинаково и без всякого инструктажа.

Нет, что ни говорите, а привычки наши глубоко в нас сидят и ничего с ними не поделаешь.

Одна, например, независимая очень газета при своем основании попросила у меня тысячу рублей для первоначальной поддержки своего существования. Я дал. Газета стала выходить. И время от времени поминать мое скромное имя. Но все в каком-то таком не очень-то лестном для меня смысле. Что вот, мол, этот пустой имярек, живя на Западе, совершеннейшим образом исписался. Но если скажете правду, то и раньше ничего хорошего не писал. Да и в будущем вряд ли чего напишет. Надо сказать, что такое отношение печатного органа к своему скромному спонсору меня несколько обескуражило, но, с другой стороны, я думаю, газета-то принципиальная и что же она меня за мою тысячу рублей, если я ей не нравлюсь, хвалить, что ли, должна? Но все же свое недоумение одному из работников этой редакции высказал. А он за голову схватился: «Ой, говорит, извините, а мы совсем забыли, что вы нам деньги давали». Теперь вспомнили, и можно ожидать, напишут обо мне что-нибудь положительное. Что я еще не исписался и раньше тоже писал не так уж и плохо. А если им еще добавить определенную сумму, да с учетом инфляции и индексации, они, может, и вообще воспарят к панегирику. Потому что есть у нас привычка ко взаимному услужению: ты мне, я тебе.

Еще привычка распространенная: ждать от начальства указаний.

К моему знакомому американскому фермеру Дэвиду Орру (штат Индиана) приехала в гости не в период расцвета колхозного строительства, а всего лишь два года тому назад делегация кубанских хлеборобов. Которые сами нацелились на свободное фермерство. Ходили по полям Дэвида, осмотрели его четыре трактора, три комбайна и два элеватора, все данные в блокнотик запротоколировали, сколько чего на скольких акрах произрастает, а потом спрашивают:

«А кто у вас принимает решения?» Он не понял: «Какие такие решения?» «Ну кто у вас решает, когда, например, начинать посевную кампанию?» Он сначала подумал, что переводчик, может, чего напутал. Попросил повторить вопрос. А потом объяснил, что, во-первых, никаких таких кампаний, или сражений, или битв за урожай он вообще не проводит, а когда сеять или убирать, решает сам. Иногда посоветовавшись, впрочем, с женой. И поступивши, естественно, наоборот. В соответствии, разумеется, с местным климатом, временем года и общими природными закономерностями.

Кубанские хлеборобы между собою понимающе переглянулись, фермеру сочувственно головой покивали. Они же люди умные и понимают, что правду он им сказать не может. О том, как вызывают его в индианский обком и стучат кулаком по столу: ты, мол, мать твою перемать, если ко дню рождения Джорджа Вашингтона кукурузу не посеешь, то мы тебя к именинам Гэса Холла посадим.

Что ни говорите, а привычки играют в нашей жизни очень большую роль. И если человек привык обходиться без вилки или носового платка, то так и будет пользоваться одним пальцем или всей пятерней.

1992

ДВА МИРА, ДВА ШАПИРО

Вот давняя история или легенда.

Однажды в 40-х годах корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапиро, проходя мимо здания ТАСС, увидел валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по телефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапиро.

— У вас пожар, — сказал ему Генри.

— А кто это говорит? — спросил Соломон.

— Шапиро.

Советский Шапиро решил, что его разыгрывают и бросил трубку. Американский Шапиро сообщил по телефону в Нью-Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телеграфу принято советским Шапиро. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая американская пресса не врёт — коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем сохранилась в шутке: два мира, два Шапиро.

Шутка эта приходит на ум мне всякий раз, когда я вижу разницу в образе жизни двух миров. Разница была и осталась огромной. Несмотря на перестройку, конверсию, приватизацию, частное предпринимательство и прочие подобные вещи. Советская система рухнула, но советский человек остался советским человеком, он живет и действует по-советски. Переходя к рыночным отношениям, он надеется на то, что скоро станет миллионером, но не понимает то-

го, что для достижения подобной цели надо работать и жить не так, как раньше.

Как-то пришел ко мне один новоиспеченный частный издатель. Раньше он работал в большом государственном издательстве и меня, как диссидента, не печатал. А теперь, став начинающим капиталистом, явился с улыбкой до ушей и надеждой заработать на мне кучу денег. Разумеется, я от него услышал, что он мой давний и страстный поклонник и ночи не спит, мечтая, чтобы моя книга в самое ближайшее время массовым тиражом вышла в его издательстве. Мы быстро обговорили условия, ударили по рукам и он удалился, сказав, что завтра ровно в десять утра явится ко мне с договором. Завтра он не явился. Послезавтра тоже. На следующей неделе я сам позвонил ему. Секретарша ответила: «Его нет» — и бросила трубку. Я набрал тот же номер в третий раз: «А когда завтра?» Секретарша: «В четыре часа» — и бросила трубку. Мне пришлось пять раз звонить, а ей пять отвечать, чтобы выдать информацию, укладываемую всего в одну фразу. Завтра я четырежды соединялся с той же секретаршей, чтобы услышать, что ее шеф еще не пришел, и дважды, чтобы узнать, что он уже ушел. Я думал, что он пропал совсем, но через месяц он явился, как обещал, с договором. И был очень удивлен, что я уже отдал книгу другому издателю, который обещал мне напечатать ее к концу прошлого года. Впрочем, с тем, другим, тоже ничего не вышло. В начале этого года выяснилось, что у него нет бумаги, картона, клея, краски и чего-то еще, из чего делаются книги. Теперь появился третий издатель, который обещает меня издать к концу текущего года. Мой приятель, опытный человек, советует на столь длительный срок не соглашаться, требовать издания в течение двух месяцев. «Тем более, — сказал приятель, — что он тебя все равно не издаст никогда. Но зато ты узнаешь об этом через два месяца, а не через восемь».

Отвыкнув от советского образа жизни, к нему трудно приспособиться снова. И трудно понять, почему, несмотря на переход к рыночным отношениям, свободное такси не останавливается, официант уговаривает вас пойти в другой ресторан, в билете на поезд вам отказывают, а он отходит от станции полупустой. Всюду нечеткость, необязательность и нелюбезность, очень большое желание иметь деньги и очень большое нежелание их зарабатывать. От клиента, несущего деньги, все отбиваются, как от врага.

Пришла мне пора постричься. Зашел в парикмахерскую, только что приватизированную. Ну думаю, частный бизнес, тут уж меня обслужат по высшему разряду. В коридоре за столиком сидит дама в очках и решает кроссворд. Иду мимо. Она меня останавливает: «Вы куда?» «Постричься». — «Мужской зал не там, а там». Иду туда. Там под портретом Сильвестра Сталлоне в единственном кресле для клиентуры молодая парикмахерша старательно красит

губы. Мне кажется, от этого процесса женщины обычно получают удовольствие, но на ее лице удовольствия не видно. Поворачивается ко мне и, не отрывая помады от губ, смотрит вопросительно.

— Здравствуйте, — говорю я ей.

— Здравствуйте, — печально отвечает она, предчувствуя нехорошее. — Что вы хотите?

Слегка удивившись вопросу, я объяснил, что в парикмахерскую прихожу обычно, чтобы постричься, а не для чего-то еще. Выслушала без улыбки.

— А у вас талончик есть?

— Какой талончик?

— Талончик на обслуживание.

— А разве нужен талончик?

— Да, нужен.

— А где его взять?

— В коридоре, у кассирши.

Возвращаюсь в коридор, к даме в очках.

— Оказывается, там нужен талончик.

— Да, нужен.

— А почему же вы мне сразу не сказали?

— А вы меня не спросили.

— Ну хорошо. Дайте мне талончик.

— А какой именно?

— А какие у вас есть?

— Это зависит от того, как вы хотите постричься, хорошо или плохо.

— Вы знаете, я еще не видел ни одного человека, который хотел бы постричься плохо.

— Если вы хотите хорошую стрижку, это будет стоить сорок два рубля.

Называя столь высокую для советского человека цену, она надеется, что я заахаю и уйду. Но не на того напала. Сорок два рубля по нынешнему курсу — это не больше одной дойче-марки, а в Мюнхене за такую же процедуру я плачу в пятьдесят раз больше.

Я заплатил за талон и вернулся в мужской зал. Парикмахерша, накрасив губы, приступила к ресницам. И в этот как раз момент опять появился я. Предъявленный ей талон она изучала долго, надеясь, очевидно, что он окажется поддельным. Потом с глубоким и откровенным вздохом уступила мне место в кресле, медленно оборачивала меня простыней и долго подбирала инструменты.

Наконец принялась за работу. Работала медленно и неохотно. В глазах — тоска и отвращение к обрабатываемой голове. Я тоже стал постепенно впадать в уныние. Я понимаю, что мне далеко до Сильвестра Сталлоне, но и не столь же я отвратителен, чтобы смотреть на меня как на лягушку.

Последний раз перед тем я стригся в Мюнхене. Там была точно такая же парикмахерша, но она выросла в другой среде и знала,

что клиентов надо привлекать. И она делала это весело и естественно. Она со мной весело поздоровалась, поинтересовалась, кто я и откуда, расспросила меня о моих родителях, о моих детях и о внуках, которых у меня нет. Она выразила восхищение густотой моих волос (а если бы их не было, то восхитилась бы лысиной). В конце с помощью двух зеркал она показала мне мой затылок, спросила, доволен ли я ее работой, и содрала с меня пятьдесят марок. Несмотря на цену, я ушел с желанием прийти сюда снова. От московской ее коллеги я ушел с надеждой никогда к ней не возвращаться.

Московская парикмахерша тоже хочет иметь много денег. Но она не думает, что для этого надо работать с охотой, надо нравиться клиентам, надо вызывать в них желание прийти опять сюда, а не куда-нибудь в другое место. Не зная этого, она работала так, как будто с ней случилось большое несчастье. Как девушка из хорошей семьи, отданная насильно в публичный дом. Потом быстро и с явным облегчением отложила в сторону инструменты и стала стягивать с меня простыню, не поинтересовавшись моим мнением о ее работе.

— Вы уже закончили? — спросил я.

— Да, конечно.

— А вы не видите, что левый висок вы подстригли меньше, чем правый?

— Это вам кажется, — сказала она, почти не разжимая губ.

Ее состояние передалось мне настолько, что даже лень было злиться.

Но все-таки я сказал:

— Мне не кажется. Я смотрю в зеркало и правое ухо вижу, а левое нет, потому что оно закрыто волосами.

— Оно не закрыто, — возразила она.

— Но почему же я его не вижу? — спросил я.

— Наверное, потому что у вас плохое зрение.

— Но почему же я тогда вижу правое ухо?

— Ой, — сказала она не выдержав. — Надо же, какой вы капризный! Ну хорошо, хорошо.

Она опять накинула на меня простыню, сделала символический взмах ножницами и отложила их в сторону. Бороться дальше было выше моих сил.

Пришла пора мне ехать в Мюнхен. Недалеко от меня на улице Большая Спасская — немецкое райзедьбуо. Недавно оно еще принадлежало Германской Демократической Республике, а теперь там написано «Федеративная Республика Германия».

Пошел я туда. Надеюсь, что родные немцы обслужат меня по-немецки.

В бюро полная дама говорит с кем-то по телефону. По-русски.

— Люсь, ты представляешь, мясо. Двести рублей кило. Двести рублей кило. Это ж офигеть можно.

При моем появлении отрывается от телефона с большой неохотой.

— Здравствуйте, вам чего?

Объясняю, что пришел не стричься, а за билетом. Я понимаю, что говорить по телефону гораздо приятнее, чем работать. Делать, однако, нечего (все же немецкое райзебюро, а не российское), она кладет трубку и идет в другую комнату. Но на полпути остановилась.

— А вы знаете, мы здесь торгуем только за валюту.

— Я знаю.

Жаль, конечно. Идет дальше. Опять остановилась.

— А мы, между прочим, продаем билеты только иностранцам.

Она собралась уже вернуться к столу, позвонить опять своей подруге и обсудить цены на молоко, но я сказал ей, что я и есть иностранец. Мое сообщение настолько ее удивило, что она даже не рассердилась.

— Вы иностранец? Надо же! А так чисто говорите, что я бы никогда не подумала. Правда иностранец?

— Правда. Немец я.

— Да? А здорово как говорите! Небось долго учились?

— Очень долго.

Ради иностранца можно и пошевелиться. Она ушла в соседнюю комнату, оттуда некоторое время доносился до меня возбужденный и неразборчивый шепот, наконец дама вернулась, а с ней еще две, немка и русская, обе растерянные, как будто они никогда не видели человека, желающего обрести билет. Они меня напряженно выслушали и сначала неуверенно, а потом с возрастающей страстью стали по-русски и по-немецки уговаривать, чтобы я билеты купил не у них, а непосредственно у компании «Люфтганза», чей офис расположился в отеле «Пента».

— Зачем же вам зависеть от нас? Нам для того, чтобы принять ваш заказ, надо выяснить, есть ли у Люфтганзы билеты. А вы сами туда пойдете и сразу все узнаете.

Ну ладно. Отправился я в «Пенту». И вы, читатель этих замечаний, думаете, что там-то, в капиталистическом учреждении, сразу стало все на свои места? Как бы не так! Там, господа, работают гордые советские люди, выросшие в условиях социализма. Получая зарплату в свободно конвертируемой валюте, они дорожат каждым своим словом и лишнего не говорят. С одной из них состоялся у меня примерно такой разговор.

— Мне нужен билет на Мюнхен.

— Дешевых билетов нет.

— А какие есть?

— Есть дорогие.

— А сколько стоят дорогие?

— Дорого.

— Меня интересуют конкретные цифры.

Она вздохнула.

— Семьсот шестьдесят пять долларов.

И посмотрела на меня с упреком. Зачем, мол, спрашиваешь, если все равно не купишь?

— А дешевые билеты сколько стоят?

— А дешевые проданы.

— Ну все-таки сколько?

— Пятьсот долларов.

— Чем отличаются билеты за пятьсот долларов от билетов за семьсот шестьдесят пять? Они что, разного класса?

— Нет. И те и другие — экономический класс. Но дешевые билеты надо заказывать не меньше, чем за семь дней.

— А я к вам пришел за девять.

— Ну и что?

Да, действительно, ну и что? Я должен был прийти за семь дней, а пришел на два дня раньше, и это ничего не значит. Я пытаюсь рассуждать вслух и логически:

— Раз я пришел к вам раньше, чем за семь дней, значит, вы мне должны продать эти билеты по льготной цене.

— Нет, — возразила она, — вы неправильно рассуждаете. Те билеты, которые продаются дешево за семь дней, проданы за двадцать дней.

— А еще через неделю есть льготные билеты?

Она постучала по клавишам компьютера и радостно сообщила мне, что и через шестнадцать дней тех билетов, которые продаются за семь дней, тоже не будет.

Конечно, будь я настоящим немцем, я бы ей поверил. Но будучи не немцем, я знал, что с настоящим немцем она разговаривала бы иначе. Поэтому вернувшись домой, я позвонил своей знакомой настоящей немке и сказал ей: «Барбара, пожалуйста, позвони в «Люфтганзу» и на твоём хорошем немецком языке спроси, как там в действительности дела обстоят с билетами». Барбара позвонила и ей сказали, что билетов на ближайшее воскресенье действительно нет. Но есть на субботу перед воскресеньем. И на всю неделю после воскресенья, на любой день, кроме, может быть, следующего воскресенья. Я понял, что действовал неправильно. Надо было спрашивать так: «У вас есть дешевые билеты на воскресенье?» И если нет, то выяснять насчет каждого дня. А на понедельник? А на вторник? И так далее, до тех пор, пока какой-нибудь день не совпадет с наличием билетов. А еще я понял, что в стране, где люди повсеместно тратят столько сил, чтобы не работать, положение улучшится еще очень нескоро.

Между прочим, вернувшись в Мюнхен, я немедленно пошел поправлять прическу. Знакомая парикмахерша, принявшись за работу, деликатно спросила: «А где это вас так интересно стригли?» Не желая подрывать репутацию русских парикмахеров, я ей сказал, что время от времени меня стрижет моя жена.

— Оно и видно, — сказала парикмахерша и вздохнула. — Сейчас многие вроде вас стригутся у жен. А как же нам быть? Нам же тоже на что-то надо жить.

Я с ней согласился, но спросил, читает ли она книги.

— Нет, — сказала она, — работа, дети, муж, кино, телевизор, на книги времени не остается.

— В этом-то все и дело, — сказал я. — Вы книги не читаете и не покупаете и лишаете меня гонорара, на который я мог бы постричься.

Мы с ней посмеялись и посетовали на то, что наши профессии скоро никому не будут нужны. После чего я заплатил ей пятьдесят марок, на которые она могла бы купить две мои книги, но она этого, конечно, не сделала. Потому что у нее семья, большие расходы и стоит ли тратить деньги на ерунду.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИТЕРАТУРА

*Но успехи управляемой,
поощряемой, улажаемой и
награждаемой литературы не
больше, чем успехи управляемого
сельского хозяйства*

МЕТРО «АЭРОПОРТ»

Почти в центре Москвы, недалеко от метро «Аэропорт», стоят несколько восьми- и десятиэтажных домов высшей категории, то есть сложенных не из железобетонных панелей, а из кирпича. И квартиры здесь не малогабаритные «хрущобы», а попросторнее, с большими комнатами и кухнями, с широкими коридорами и высокими потолками. У каждого подъезда сидит и вяжет носок лифтерша. Всякого незнакомого ей человека она непременно остановит вопросом: «А вы к кому?». А потом проверит, действительно ли вы идете к тому, кого назвали, или к кому-то другому.

Начиная с послеобеденного времени или чуть раньше можно увидеть и обитателей этих домов. Вот идут два пожилых полнощеких гражданина в джинсах, в голубых водолазках, в темных очках, в каких раньше обычно изображали иностранных шпионов. Идут неспеша, заложив руки за спину, снисходительно поглядывая на окружающую их местность, которая как бы существует благодаря им.

— Вы не читали мой последний роман? — спрашивает один гражданин другого.

— Нет, еще не успел, — виновато отвечает другой.

— Напрасно. Прочтите, получите огромное удовольствие. Между прочим, я там их разнес в пух и прах, сказал все, что я о них думаю.

— О ком? О них? — шепотом переспрашивает собеседник.

— Именно о них, — громко настаивает первый. — Я имею в виду американских империалистов.

И судя по его самодовольному виду, не сомневается, что, прочтя его роман, американские империалисты придут в ужасное смятение.

По их разговорам нетрудно понять, что это писатели. Но опытный глаз отличит писателей от прочих людей без всяких разговоров. По их самодовольному и в то же время испуганному виду, по очкам, джинсам и водолазкам, по их женам, собакам и автомобилям. Есть тысячи неуловимых примет, по которым советского писателя можно отличить от советского человека любой другой профессии.

В СССР восемь тысяч членов Союза писателей. Половина из них живет в Москве. Три четверти этой половины прописаны в

кооперативных домах у метро «Аэропорт». Здесь живут в основном рядовые писатели. Правда, не самые бедные, а те, у кого есть или были когда-то деньги. Те, у кого денег не было никогда, живут в казенных квартирах похуже. Выдающиеся писатели, то есть секретари Союза писателей, живут в казенных квартирах получше. А здесь... Впрочем, и здесь попадаются важные люди, которые ездят на службу на государственных «волгах», а то и на «чайках», но это большая редкость. В основном здесь живут все-таки рядовые. Которые ездят на своих «Жигулях» или вовсе на метро. Например, вот эти два старичка, что сидят на лавочке перед домом. О чем они говорят? Тоже о своих романах или поэмах? Нет, они никаких романов или поэм давно не пишут. Они живут на пенсию — сто двадцать рублей в месяц, кое-что подрабатывают по мелочам на внутренних рецензиях для какого-нибудь издательства или журнала, ну, и наверное, — кто же сейчас этим не занимается? — пишут втихомолку мемуары о своих встречах в прошлом с выдающимися людьми. Однако, пожалуй, и мемуарами не злоупотребляют и уже с двенадцати часов сидят здесь на лавочке, разговаривают вполголоса, поглядывая по сторонам, не сел ли рядом кто-нибудь подозрительный с тонким слухом.

Они говорят о том, что вчера услышали от знакомых или по Биби-си. Говорят, новый секретарь парткома сделал то же, что в свое время сделал старый, то есть украл партийную кассу. И теперь нового ожидают те же неприятности, которые постигли когда-то старого, то есть ему объявят какой-нибудь выговор. А на его место поставят опять старого, с которого выговор за это время уже сняли. А Марков пытался похоронить свою племянницу за счет Литфонда, но какой-то правдолюбец ему помешал. А Вознесенский после скандала с «Метрополем» опять улетел в Америку. Говорят, Союз писателей был против и товарищ Верченко лично в ярости топал личными своими ногами, но Вознесенский все равно улетел. Потому что сенатор Кеннеди его личный друг. И Артур Миллер тоже его личный друг. Но ни сенатор Кеннеди, ни Артур Миллер не могут приказать товарищу Верченко, чтобы он не топал ногами. Значит, у Вознесенского и в Москве есть какой-то влиятельный друг, который поважнее, а может, и пострашнее товарища Верченко.

Сидят старички, чешут языки, переливают из пустого в порожнее, судачат о чем ни попадя, и нет, кажется, такой темы, важной или неважной, которой бы они не уделили внимания. Говорят о Польше, о диссидентах, об отъезжающих евреях, об остающихся антисемитах, которые теперь вошли в моду настолько, что одна поэтесса в Доме литераторов спросила известного поэта: «Евгений Михайлович, а почему вы против антисемитизма?»

А вчера в Литфонде распределяли шапки. Выдающимся писателям — пьжиковые, известным — ондатровые, видным — лисьи, а рядовым — из кролика. Один считал себя известным и требовал ондатру. А ему говорят: «Товарищ, ваше место в литературе

определяется не вами, а секретариатом, идите жалуйтесь». Он пошел в секретариат, а там ему сказали: «Нам ондатры, конечно, не жалко, но вы слишком мало принимаете участия в общественной жизни». Он хотел возразить, но ему стало плохо, и его увезли в больницу. Теперь ему не до шапки. А по радио передавали, Солженицын сказал, что в Советском Союзе есть семь писателей, которые о деревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. Кого же он имел в виду? Абрамова, Белова, Распутина, Можая... Кого еще? Солоухина? Нет, Залыгина. А скорее всего, и того и другого. «Как вы думаете, — спрашивают они подошедшего к ним пьяного человека, — кого имел в виду Солженицын — Солоухина или Залыгина?»

Пьяный смотрит на них печальными глазами, ему их спор вовсе не интересен, у него большое несчастье. Он надеялся, что к его шестидесятилетию «Литературная газета» даст о нем полсотни строк с портретом, а теперь выяснилось, что заметка будет только в «Московском литераторе», и не сто строк, а восемь, и без портрета. А в Литфонде ему предложили шапку из кролика, но он отказался.

Так и не ответив на заданный ему вопрос, он идет дальше, домой, и пишет заявление «самоу Маркову»: «С сего числа прошу не считать меня более членом Союза советских писателей...»

Жена в ужасе. Опомнись, что ты делаешь! Ведь у тебя дочка. Ее выгонят из института. У тебя книжка, над которой ты работал четыре года. Теперь ее не напечатают. Ничего, пошлю в «Ардис» или в «Посев», там напечатают! Он выталкивает жену из своей комнаты, звонит по телефону своему другу и с выражением читает свое заявление: «С сего числа прошу не считать меня более...» Врывается жена. «Петя, что ты делаешь? Ведь телефон прослушивается!» Он замахивается на нее трубкой. Вон отсюда! Не смей входить в эту комнату. Здесь живут мои прекрасные героини! Жена с плачем вылетает за дверь. Он прерывает разговор с другом. Ладно, я позвоню тебе завтра. Завтра, проснувшись с больной головой, он своего заявления не находит, жена давно изорвала и спустила в канализацию. Ну что ж, может быть, она и права. Дочка еще не получила диплома. И над книжкой он работал четыре года. А в «Ардисе» то ли напечатают, то ли нет. А если напечатают, то что делать потом? И все-таки «Московский литератор» его юбилей отметил. А товарищ Кобенко, которого писатели зовут Кагбенко, все-таки прислал телеграмму. В общем, жить можно. Конечно, вчера он наболтал по телефону лишнего, но он же сказал это не на собрании и не иностранным корреспондентам. Раньше бы и за это голову сняли, а теперь ничего, теперь времена либеральные, теперь все все понимают. Ну обиделся человек, ну напился, ну побил жену, ну сболтнул лишнее, ну не любит он советскую власть, а кто же ее любит?

Говорят, как-то за обедом малолетний сын Муссолини спросил своего отца: «Папа, а что такое фашизм?» На что папа буркнул нахмурысь: «Жри и молчи!»

Жри и молчи! Да это же разгул либерализма!

В прошлые времена сидишь бывало на собрании, помалкиваешь, никому ничего плохого не делаешь. И вдруг слышишь, председательствующий произносит твое имя. «А теперь послушаем, о чем молчит товарищ Такой-то». И ослабевшие ноги несут товарища Такого-то к трибуне и коснеющий язык лепечет что-то о преданности партии и правительству и лично товарищу Сталину... А ему говорят, нет, что-то мы вам не верим, что-то вы ваши слова неохотно говорите, как бы по принуждению, а мы вас вовсе не принуждаем, ну что ж, не любите вы советскую власть, так так и скажите, советская власть и без вас обойдется, мы вас выкинем и ваш труп будем гнить на мусорной свалке истории.

Перед отъездом своим из Москвы попал я как-то на Новодевичье кладбище. Сначала был на старой половине, где Гоголь, Чехов, Булгаков, потом перешел на новую, где, по выражению Владимира Корнилова, «стоят, словно попки на вышке, маршала, маршала, маршала...» Мне эти маршалы показались не попками на вышке, а окаменевшим почетным президиумом во главе с лично дорогим Никитой Сергеевичем Хрущевым. Громоздятся одни выше другого безвкусные памятники. С натуралистически вырубленными или отлитыми морщинами, бровями, ресницами, орденами, погонами, петлицами, пуговицами, с надписями, перечисляющими чины и должности усопшего. Есть здесь писатели, которые остались в литературе и нашей памяти. Твардовский, Эренбург, Смеляков... Но в основном... Лежит под собственным громоздким изваянием бывший литературный маршал, посмертно разжалованный временем в неизвестные солдаты.

А ведь когда-то заседал в президиумах, громил своих неудачливых собратьев, требовал их крови, издавался огромными тиражами, сыпался на него золотой дождь наград, денег и привилегий, и сам он, должно быть, поверил, что заслужил это своим выдающимся вкладом в литературу. А теперь остановится возле памятника пара случайных зевак...

— Кто это?

— Писатель какой-то.

— А-а.

Если в рамках обязательной программы им не пичкают насильно школьников, кто его знает теперь?

Никто, исключая отдельных знатоков вроде меня.

Я ходил и думал: вот она и есть, мусорная свалка истории.

Теперь и на собраниях в Союзе писателей, как на кладбище, тихо и скучно. Займут свои места в зале рядовые писатели, сядут за стол президиума литературные генералы, выйдет на трибуну товарищ Кузнецов и начнет жевать свою жвачку.

За отчетный период писатели, окрыленные решениями такого-то съезда партии и указаниями лично товарища... трудились плодотворно и вдохновенно. За это время вышли из печати... Пере-

числяются книги, качество которых оценивается в соответствии с должностью, занимаемой автором. Значительно пополнилась наша Лениниана, получил дальнейшее развитие образ коммуниста, к сожалению, наши писатели еще мало уделяют внимания рабочей теме. Однако есть сдвиги и в этой области. Руководство Союза постоянно заботится об укреплении связей писателей с жизнью. Писательские бригады посетили строителей Байкало-Амурской магистрали, читали свои произведения в чумах оленеводов, принимали участие в коммунистическом субботнике на заводе имени Лихачева. И все дальше от литературы, все о каких-то поездках, митингах, борьбе за мир и прочей чепухе, которая большинства сидящих в зале никак не касается, большинство к борьбе за мир, связанной с заграничными поездками и привозимыми оттуда тряпками, магнитофонами или кухонными комбайнами, не допускается. Но и для большинства у товарища Кузнецова есть кое-что утешительное. Секретариат и партийная организация постоянно заботятся о быте и здоровье писателей. За отчетный период построен новый дом творчества, улучшено медицинское обслуживание, намечается строительство дачного кооператива, расширены льготы инвалидам войны, столько-то писателей получили безвозвратные денежные пособия.

Посидишь, послушаешь, кладбище не кладбище, но и не Союз писателей, а какая-то богадельня.

Подтекст этой речи каждому ясен. Веди себя тихо, смирно, слушайся начальников, не умеешь писать про секретарей обкомов, райкомов, директоров заводов и председателей колхозов, пиши что-нибудь про комсомольцев, пионеров, про природу, про милицию, про рабочий класс, в нужном духе, скучно и оптимистично, и все у тебя будет в порядке, и книжку когда-нибудь напечатаем, и дадим бесплатную путевку в дом творчества, и по больничному что-нибудь заплатим, а там, глядишь, и до пенсии дожил.

Жри и молчи!

Собрания заканчиваются выборами. Выборы происходят так. Председательствующий объявляет, что теперь пора выбрать новое правление. Секретариат, партийный комитет и московский городской комитет партии рекомендует следующих товарищей. Кто за? Поднимаются руки. Дальше скороговоркой: кто против, кто воздержался? Никто не против, никто не воздержался. Раньше такие попадались, но теперь либо осознали прошлые ошибки, либо исключены из Союза писателей и считаются нигде не работающими паразитами, либо, как я, живут за границей.

Но ведь писатели не только заседают, не только занимаются распределением шапок или машин, они еще, наверное, пишут книги. Ну, строго говоря, это вообще-то не обязательно. И среди руководителей Союза есть такие люди, которые ничего не пишут. Но почему бы и не написать книгу, если за нее много платят?

Как нужно писать книгу, чтобы получить за нее много денег?

«Я своему Толику, — говорит жена одного писателя, — еще когда он только начинал, сказала: «Толик, пиши как можно скучнее. Чем скучнее ты будешь писать, тем меньше у тебя будет завистников, тем легче тебя будут печатать».

Мудрая женщина. И муж тоже не дурак. Послушался совета жены, пишет что-то то ли про геологов, то ли про рыбаков, пишет скучно, на общем фоне не выделяясь, никого не раздражая, и без особой борьбы с редакторами и цензурой издает в год по книге. А книга в Советском Союзе не то, что здесь. Там за нее платят деньги независимо от того, читает ее кто-нибудь или нет. Деньги платят за толщину и тираж. При определении тиража начальство учитывает, насколько книга правильна с партийной точки зрения. Чем она правильной, тем скучнее и тем больше ее тираж. Самые толстые и самые скучные книги пишет Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.

Живя в Москве среди образованных и следящих за литературой людей, я однажды решил провести небольшое социологическое исследование и всех своих знакомых стал спрашивать, прочел ли кто-нибудь из них хоть одну книгу Маркова. Я опросил не меньше ста человек и оказалось, что никто из них не прочел ни одной строчки Маркова. Первого человека, прочитавшего одну книгу Маркова, я встретил в Мюнхене.

Чем писатель интереснее, чем большим успехом пользуется он у читателей, тем с большей осторожностью его печатают.

Если же писатель вообще резко отличается от других индивидуальной манерой письма и глубиной содержания, то есть талантом, с ним редакторы много работают, стараясь довести его книги до общего среднего уровня. Чем меньше это удастся, тем меньшим тиражом будет издана книга. Если это не удастся совсем, книгу совсем не печатают. Писателю это, конечно, не нравится, он начинает жаловаться и протестовать. Чем больше он протестует, тем большее недовольство на себя навлекает, и его шансы на то, чтоб напечататься, становятся все меньше и меньше. Если он на этом остановится и будет сидеть тихо, ему в конце концов предоставят возможность полугодного существования, то есть дадут какую-нибудь черную работу, например рецензировать рукописи начинающих авторов или переводить с подстрочника какой-нибудь туркменский, якутский или монгольский роман. Если же он будет протестовать дальше, а хуже того, отдаст в конце концов свою рукопись за границу, тогда его объявят врагом советской власти, поджигателем войны, агентом ЦРУ, фашистом, контрабандистом, гомосексуалистом, выкинут из Союза писателей и тогда им вплотную займется другая организация — Комитет государственной безопасности.

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СП РСФСР

20 февраля 1974 года

1. *Персональное дело В.Н. Войновича*

Г.Г. Радов
В.П. Тельпугов
М.Н. Алексеев
А.Е. Режемчук
А.М. Медников
А.А. Самсония
Н.В. Томан
А.А. Михайлов
В.Л. Разумневич
Ю.Ф. Стрехнин

2. *Прием в члены Союза*

- 1) Горенштейна Ф.Н.
- 2) Камянова В.И.
- 3) Копыловой Л.В.
- 4) Кузнецова А.А.
- 5) Леоновича В.Н.
- 6) Прудникова М.С.

3. *О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии*

Председательствует Ю.Ф. Стрехнин

Ю.Ф. Стрехнин: Товарищи! Сегодня у нас в повестке дня предлагается следующее:

1. Персональное дело Войновича. Докладывает т. Радов.
2. Прием в члены Союза писателей. Докладывает т. Михайлов.
3. Отчет о проделанной работе Бюро творческого объединения прозы за 1973 год и об основных мероприятиях, намечаемых на 1974 год. Докладывает т. Амлинский.
4. О проведении отчетно-выборной конференции московских писателей по выбору Правления и Ревизионной комиссии. Докладывает т. Ильин.

5. Разное. Докладывает т. Ильин.

Поступило предложение — ввиду серьезности вопроса о проведении конференции поставить его первым после приема в Союз.

Возражений нет?

По первому вопросу должен сообщить следующее.

Войнович В.Н. был приглашен на заседание секретариата заблаговременно письменно и устно, но сообщил письмом, что он болен, но что, если бы даже и был здоров, он все равно на заседание Секретариата не намерен являться, просит решать вопрос без него, так как считает, что в Союзе ему находиться незачем.

Это письмо будет прочитано в порядке обсуждения вопроса.

Я думаю, что все-таки в порядке хронологии сначала мы заслушаем т. Радова, который доложит о том, как рассматривалось это дело на Бюро творческого объединения прозаиков, затем В.Н. Ильин прочтает нам письмо Войновича, после чего мы приступим к обсуждению.

Пожалуйста, Георгий Георгиевич.

Г.Г. Радов: Бюро творческого объединения прозаиков совместно с активом, точнее с членами Правления Московской писательской организации, рассмотрело поступки члена Союза В.Н. Войновича.

Перед нами был документ, напечатанный в 11-м номере антисоветского журнальчика «Посев», — письмо Войновича председателю Всесоюзного агентства авторских прав Панкину, письмо, которое было нами расценено, мягко говоря, как политическое хулиганство, а если говорить серьезнее, — явная антисоветская выходка, направленная, естественно, не против этого агентства, не против Панкина, а против всей советской литературы. Это письмо клеветническое.

Мы имели в виду, рассматривая это заявление, и предыдущие поступки Войновича. Во-первых, тот факт, что он в 1967 году имел выговор за подписание коллективных писем в защиту антисоветчиков, а в 1970 году состоялось два решения Секретариата в связи с опубликованием за границей его произведения, которое называлось «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Как вам известно, это произведение рассматривалось по существу его и было признано антинародным и клеветническим. Было сказано в Секретариате, что за это он заслуживает исключения из Союза писателей.

В связи с тем, что Войнович В.Н. выступил в «Литературной газете» с письмом, в котором отказывался от причастности к факту публикации его за границей, он получил только выговор. Но мы обратили внимание на то, что Войнович в этом письме в «Литературную газету» никакого отношения к самому роману своему не высказал, не осудил, не дал оценки. В «Литературной газете» он только протестовал против того факта, что его незавершенное произведение публикуется за границей.

Несмотря на это, удовлетворившись только полумерой, Секретариат снизошел к Войновичу и оставил его в рядах Союза писателей. После этого роман появился в журнале «Посев».

На Бюро отделения, несмотря на очевидность проступка Войновича, несмотря на то, что этот проступок не имеет ничего общего

с пребыванием в Союзе, со всем терпением, которым располагали, мы давали Войновичу возможность высказать свое отношение к этому факту, оценить, взывали к его благоразумию, говорили, что он зарвался, недостаточно ясно представляет себе положение, в котором он очутился, недостаточно ясно представляет себе, с кем он рвет и к кому присоединяется... Тем не менее Войнович вел себя непримиримо, никакие увещания товарищей, членов Бюро на него не действовали, он отстаивал свои позиции, несколько раз пытался выступить с провокационными выступлениями, провоцируя нас на скандал. Мы этого не позволили.

После этого обсуждения, в котором активно участвовали члены Бюро, которые единодушно осудили позицию Войновича, мы дали ему последнее слово, в котором он сказал следующее: что много говорили о Солженицыне, многие из здесь присутствующих и сидящих в ресторане ЦДЛ не так давно говорили иначе, когда обсуждали его первые произведения, Солженицыну создали все условия для того, чтобы сделать его несоветским писателем, Солженицын пытался сотрудничать, взывал к разуму и совести, сейчас говорят об «Архипелаге ГУЛАГе», я отвечаю: я не читал этого романа, но верю Солженицыну, верю, что это писатель честный, патриотичный, смелый, я знаю, что он боевой офицер, заслуженный человек, и за все, что вы здесь говорите, — постыдитесь, побойтесь Бога... — вот заключительное слово Войновича, свидетельствующее, что он ничего не осознал, действовал обдуманно, хотя сначала он говорил, что не собирался печатать это открытое письмо за границей. Мы спрашивали, давал ли он это письмо в нашу печать, он отвечал, что, конечно, это письмо не могло быть там напечатано.

Вопрос совершенно ясен. Никакие наши попытки склонить его к тому, чтобы он серьезно обдумал свое положение, не привели ни к чему. Он был непримиримым и, в сущности, определил сам вопрос о пребывании своем в Союзе писателей. Поэтому было единодушно решение Бюро творческого объединения. Бюро творческого объединения просит исключить Войновича в связи с несовместимостью пребывания его в Союзе писателей.

В. Ильин (зачитывает письмо Войновича).

Ю. Ф. Стрехнин: Будут вопросы к докладчикам?

Г. Г. Радов: Должен дать одну справку. Несмотря на его поведение в 1967–1970 годах, после выступления в «Литературной газете» стараниями Союза писателей ему было устроено переиздание его повестей. В прошлом году вышли его две книги: одна новая и одно переиздание.

Так что жаловаться на материальный зажим он не имеет права.

В. П. Тельпугов: Когда обсуждалось в тот раз дело Войновича, моя позиция была такой. Он тогда присутствовал, и я ему прямо сказал: «Для меня лично не имеет никакого значения, напечатано ваше сочинение в «Гранях» или в «Посеве» или не напечатано, передавали вы его или они сами его разыскали, — для меня существенным и

самым главным является факт, что из-под пера советского писателя вышло антисоветское сочинение. Вот это для меня важно. А где оно после этого было напечатано — по воле автора или без его какого бы то ни было участия — это вопрос второй, если не десятый...

Я читал повесть «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина»* и говорил об этом конкретно и со знанием дела.

Что это за повесть? Это повесть о Советской Армии, в которой армия оболгана снизу доверху и сверху донизу. Все командиры — идиоты, кретины, тупицы, и такие же их подчиненные. Это проходит через всю эту повесть — единственный мотив, самый главный и единственный.

Есть один положительный персонаж — это дворовая собачка, в которой что-то человеческое иногда вдруг проявляется.

Вот такое это сочинение.

Тогда Войнович все-таки упорствовал в своей позиции, защищаясь, говоря: «Я это не передал зарубежным издателям, и если это было напечатано, то без моей санкции», — и даже тогда такого рода письмо появилось в нашей литературной печати.

Я считаю, что мы были в тот раз слишком мягкосердечны и недостаточно последовательны.

Я выступаю с тем, чтобы еще раз подтвердить свою позицию по отношению к Войновичу. Он, будучи членом Союза писателей, поступил не как советский писатель, не как советский гражданин, идейно нам с ним не по дороге. Он для меня уже с того момента перестал быть членом Союза писателей.

Что изменилось за время, которое прошло с тех пор? Никаких улучшений в его позициях я не вижу, наоборот — он становится еще более ожесточенным, непримиримым, нахальным противником всего того, что мы будем считать всегда достойным в нашей советской жизни и литературе.

Я считаю, что Войнович поставил себя сам вне рядов Союза советских писателей.

М.Н. Алексеев: Настолько все ясно, что распространяться особенно нет необходимости и желания. В высшей степени наивно было бы предполагать, что Солженицын в течение многих лет действовал в некоем вакууме, у него была благоприятная духовная питательная среда, ярчайшим представителем которой является Войнович. Трудно было и тогда рассчитывать после «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина», который он написал, что он пересмотрит что-то в своих взглядах: уж больно была гнусна та штука. А теперь... ну что же.

Я не хочу быть предсказателем, но в течение нескольких лет нам, очевидно, придется иметь дело с такими явлениями. Эта среда бу-

* Оратор путает название повести, равно как и все остальное. (Прим. ред.)

дет давать себя знать, к этому нужно быть готовыми, мужественными и стойкими перед лицом таких совершенно наглых, распоясавшихся так называемых членов Союза советских писателей.

Вы посмотрите: в каждом его сочинении, я имею в виду заявления, сколько самомнения, это пишет прямо Лев Толстой, убежденный в своем величии, непоколебимый, а все вокруг него, кто стоит на позициях советской власти, — пигмеи, а он — гигант. Если бы было время и место заглянуть в собственное его творчество, то там гигантом-то и не пахнет, это гипертрофированное мнение о себе самом у него налицо. Тщеславие.

Мне кажется, очень спокойно мы должны исключить его из Союза писателей и раз и навсегда отделить его от нашей среды. Да! И сам он себя отделил самым убедительным образом.

А.Е. Рекемчук: Я имел возможность ознакомиться с протоколом стенограммы Бюро прозаиков и хочу на нашем секретариате отметить очень зрелый партийный уровень разговора, который Бюро прозаиков провел с Войновичем. Несмотря на все хулиганские заявления, которые он позволил себе на Бюро, товарищи не вышли из рамок присущей писателям корректности, дали должную оценку его поведению и его поступкам и приняли верное решение, которое я считаю необходимым поддержать.

По существу вопроса. Вот эти потуги кучки людей, литераторов во главе с Солженицыным, поставить себя над советской литературой, — я уже не говорю о том, что Солженицын Горького объявил вне литературы в своем «Архипелаге ГУЛАГ», не больше и не меньше, Маяковского...

(М.Н. Алексеев: Горького, перед которым преклонялся весь просвещенный мир!)

И преклоняется.

Но эта позиция и Войновича и Максимова. Задает Радов на Бюро совершенно справедливый вопрос Войновичу по поводу письма к Панкину:

— Почему вас особенно беспокоит вопрос учреждения всесоюзного агентства по охране авторских прав?

— Потому что за границей печатают Солженицына, Сахарова.

Ему говорят:

— За границей печатают Ленина, Шолохова — вот что дает статистика.

А у него уже такая позиция — Сахаров уже оказался писателем.

В своем заявлении, тоже хулиганском, которое сегодня нам зачитал Виктор Николаевич, он еще раз показал — хочу подчеркнуть — абсолютную нетерпимость этой маленькой кучки людей к советским писателям и к Союзу писателей. Это объединяет и то, что Максимов нам сказал на прощание, и это письмо.

Никаких колебаний по отношению к Войновичу, к людям, которые сейчас — прямо скажем — в довольно острый идеологический момент ринулись на нас, пользуясь теми же солженицынскими тру-

дами, мы проявить не можем, и вышвырнуть надо Войновича из рядов Союза.

А насчет того, что мы его тогда не исключили, — это будет опытом для нас, для секретариата. Мы Максимова, например, исключили — он с политическими заявлениями выступает после исключения. Войнович это делает перед исключением.

А.М. Медников: Может показаться на первый взгляд, что у нас идут литературные споры, но я думаю, что литература тут давно кончилась и речь идет совсем о другом. Это политические споры, это самая острая, самая непримиримая политическая борьба. Послушайте, что писал Максимов, что писала Чуковская, — ведь это атака не только на литературные принципы, на социалистический реализм, это атака на все, чем мы живы: на наш образ жизни, на нашу государственность и, главным образом, на руководство партией и литературой. Он даже в этом письме пишет: «Не стойте между нами», — то есть между ними и читателями. Уберите наши государственные институты, и тогда Войнович будет общаться с читателями...

И совершенно естественна вспышка антисоветских писаний наших диссидентов — этого зарубежного фронта, который смыкается с такими людьми. Это борьба не стилей, а борьба идеологий, самая откровенная, самая неприкрытая классовая борьба.

Войнович в этой обстановке, когда разоблачен Солженицын действительно как чудовищный власовец, опоздавший родиться белогвардеец, как сказал правильно о нем Сурков, враг революции, в нашей писательской среде имеет наглость заявить, что это величайший гражданин русской земли и т.д.

Все, что делают Войнович, Максимов, Чуковская, — это самые откровенные спекуляции, самая откровенная, самая жестокая идейная борьба. Причем я обратил внимание, очевидно, в силу своей специальности, что все они любят рядиться в тогу рабочего, представителя рабочего класса. Максимов говорил, что он тоже, хотя было известно, что он жулик, трижды менявший фамилию, уголовник и психопат, Войнович тоже, оказывается, представитель рабочего класса... Они пытаются представлять чуть ли не рабочий класс нашей страны, хотя фактически они представляют жалкую кучку людей с гипертрофированным самолюбием, кучку людей, которые настроились покинуть нашу Родину и смотрят на то, как они будут устраиваться на Западе, тем более что пример есть. Три года мы уже имеем опыт, и уже вырисовывается групповой портрет.

Я вспоминаю: в этой комнате сидел Галич, Максимов здесь махал руками и кричал, здесь была Чуковская. Интересно, что эта оголтелая злоба лишила их творческой индивидуальности: одни и те же приемы, одни и те же оскорбления. Когда люди теряют разум и пускаются по волнам ненависти, она стирает с них даже признаки художественной индивидуальности, если можно так сказать, они говорят одно и то же, одни и те же упреки, одни и те же мнимые обиды.

Михаил Николаевич (Алексеев) прав: очевидно, нам придется еще расхлебывать кашу, это не последний случай. Но относиться к этому нужно спокойно. Это есть проявление классовой идеологической борьбы, которая идет в мире.

Ясно, что нам нужно исключить Войновича из Союза, выгнать с позором из наших рядов.

А.А. Самсония: Я тоже хочу вспомнить наше заседание в 1968 году, разделяя все положительные высказывания, это было действительно очень показательно для биографии — эти два секретариата, в том числе сегодняшнее, мы сидели очень долго, и при всем том, что он написал эти дрянные, скверные и преступные для человека, который живет на этой земле, ест ее хлеб, заявления, было проявлено максимальное терпение, максимальная выдержка, и каждый из нас, и Виктор Петрович (Тельпугов) в своем выступлении старался помочь человеку вылезти из этого, мы убеждали его, долго бились. Заседание тянулось долго, мы надеялись, что капля рационального добра в этом человеке сохранилась и мы не вправе, соблюдая советские гуманистические принципы отношения к людям, не правы будем, если ему не будет дано возможности исправиться. И он как будто внешне поддался...

Теперь — это делает еще более честной позицию секретариата и еще более бесчестной позицию Войновича, потому что такое разнужданное его письмо, ничего не давшее, кроме того же зла в поведении за последние годы, — только подтверждает, что он действительно является врагом и человеком, который не может оставаться в составе нашего Союза писателей, в составе честных людей нашей страны.

Мы должны очень иронически относиться к этой группе людей. В прошлый раз я говорил, что это жалкая кучка людей, жалких маленьких людей, которые около громады света и тепла ничтожны. Их удел — это презрение. Их потуги на величественную позицию смешны и забавны.

Тут нужно очень спокойно и четко обсудить и решить.

Н.В. Томан: Трудно добавить что-нибудь к тому, что было сказано, но мне вспоминается то заседание секретариата, которое было шесть лет назад. Для меня это было совершенно ясно, что его надо исключить, потому что его ссылки на то, что напечатали его гнусную повесть в «Посеве» без его ведома, несостоятельны, потому что такую вещь можно было написать, только находясь в полном презрении ко всему, чем живет советский народ. Он только оклеветал Советскую Армию, оклеветал колхозы. Один председатель колхоза, спивающийся и кончающий самоубийством, написал только одно слово: «Эх!» И агроном, представитель интеллигенции, его опыты, которые он проводит, — все это пропитано ненавистью и презрением. Это было трудно читать, это все зловонно.

Надо сказать, что эти люди умеют найти гнусные слова, которые даже на порядочного человека производят впечатление, и это,

конечно, не такое безобидное писание, и здесь я не согласен, что нужно относиться иронически, — здесь с презрением нужно относиться, и сомнений никаких не может быть, и, конечно, может быть только одно решение: исключение. И отсюда — какой-то у нас должен быть опыт.

Сколько я помню наше либеральное и многотерпимое отношение к делам такого рода — финал был такой: исключали. И все отсрочки, наши пожелания, надежды на то, что они поймут, не оправдывались. Уже была ясна сложившаяся идеология антисоветчиков, и нам, очевидно, нужно решать не с такими большими интервалами, а в более решительных случаях, когда это просматривается довольно свободно, без каких-то подтекстов — что это за деятельность этих людей. Надо не тянуть с такими резкими, не очень приятными решениями, но проявить такую хирургию.

Я — за то, чтобы исключить Войновича из членов Союза.

А.А. Михайлов: Я прочитал стенограмму обсуждения этого вопроса на Бюро творческого объединения прозаиков и очень согласен с Рекемчуком, что это было проведено на достойном уровне, без крика, без истерики, с желанием помочь человеку осознать, что он делает что-то не то, противопоставляет себя не отдельным лицам, а целому творческому союзу, который объединяет тысячи людей. Ведь все обвинения, которыми он костит секретариат, я хотел бы так понимать, что это нам, нескольким человекам, адресовано, потому что мы не будем друг друга оценивать и говорить комплименты, все мы люди небезгрешные и в отличие от Войновича никто себя не считает Львом Толстым, но наши товарищи нам доверили это дело, и у меня впечатление, что никто из здесь сидящих не рвался занять место за этим столом на заседаниях секретариата.

Письмо его по сути своей, содержанию тоже очень знакомо. На одной международной встрече летом прошедшего года после моего доклада меня забросали всякими каверзными вопросами, и среди прочих такой: скажите, господин Михайлов, зачем ваша страна вступила в Женевскую конвенцию по охране прав и не хотите ли вы ужесточить вашу цензуру по ряду писателей? Поскольку мне пришлось слышать разные вопросы, я ответил, что не совсем их понимаю: неоднократно приходится слышать вопросы, почему мы не вступаем в эту конвенцию, примерно в таком же духе, с такой же долей непонимания, и, не успели мы вступить, не прошло еще и месяца, 27 мая мы вступили, встреча, о которой я говорю, состоялась в июне, как задается вопрос уже этот, где же логика? Такой мой ответ вызвал аплодисменты и смех, углубляться я не стал. Примерно то же самое было у нас, когда мы не вступали в конвенцию, оппозиционные голоса раздавались, что нам, мол, не разрешают, локализируют... а после вступления мы встречаемся с такого рода заявлениями, вызванными явно личной ущемленностью, хотя особых поводов для ущемленности нет. То, что я читал Войновича,

не представляет никакого события в нашей прозе и литературе, чтобы он мог чувствовать себя на пьедестале выше всех остальных и разговаривать в таком тоне с товарищами по профессии.

Что касается конкретных выводов, я считаю, что эти выводы за нас сделал сам Войнович, противопоставив себя народу, противопоставив себя большому коллективу московских писателей, — заявив свое нежелание сотрудничать с Союзом, он предрешил вопрос о своем пребывании, а его позиция воинствующего, озлобленного противостояния дает правовое и моральное обоснование нашему решению об исключении его из Союза.

В.Л. Разумневич: Вопрос, по-моему, ясен. Все товарищи говорили о невозможности дальше жить в одном Союзе с человеком, по сути дела продающим наше государство и нашу литературу. Даже письмо, которое здесь было зачитано, адресовано не нам, сидящим здесь, оно адресовано по своей тональности для радиостанции «Свобода» и журнала «Посев», и я ощущаю там желание как можно лучше угодить им и заплевать тех, кто здесь сидит. Он, как сказал Медников, под рабочего себя рисует, но спросите у любого рабочего, кто знает его и кто знает Катаева, Рекемчука, Алексева. Он как литератор ничтожество, мелочь по сравнению с теми, кого хотел здесь оплевать. Нужно показывать этих людей не с иронией, — Самсония неточно выразился, — нужно показывать, что они к людям честным не имеют отношения. Они рисуют из себя наполеончиков в литературе, а если присмотреться — это пигмей литературный.

И мне особенно хочется, говоря о том, как проходит обсуждение, особо хочется отметить зрелость партбюро в единодушии, смелости, стойкости, я не могу здесь ничего высказать, — но как показали себя беспартийные и как мудро вел Радов собрание, — это надо подчеркнуть, потому что, как сказал М. Алексеев, нам придется еще иметь дело с такими пигмеями. Некоторые из них вполне очевидны, и, когда мы обсуждали Чуковскую, некоторые сплывали вокруг себя группу незрелых людей и требовали права присутствовать на секретариате. И чем раньше мы покончим с пребыванием этих людей в нашем Союзе, тем незначительнее будет их влияние на писательские массы. В нашем коллективе им делать нечего, потому что они сами себя вычеркнули. И я считаю, что беспартийным нужно продолжать это дело. Поэтам нужно заняться Владимиром Корниловым, который делает заявления, недостойные советского поэта. Копелев тоже сколачивал вокруг себя группу давным-давно. Его бы тоже нужно было вызвать на собрание, чтобы все почувствовали, что эти люди чужды нам. Каждый день приходят в партком коммунисты и говорят: «До каких пор мы будем терпеть выходки Евтушенко? Он является членом правления Союза писателей, и к нему тоже нужно меры принять».

Нам нужно быстрее реагировать на вещи, которые мы замечаем внутри нашей организации.

Ю.Ф. Стрехнин: Я думаю, что высказано довольно единодушное мнение, которое подтверждает, что очень хорошо, что мы подобные вопросы, в частности вопрос с Войновичем, решаем демократическим путем, начиная с творческих объединений. Это говорит о том, что мы уверены в наших товарищах в смысле того, как они смогут разобраться в таких явлениях, как творчество Войновича. Хорош бы был Войнович, если бы его действительно поставить перед лицом рабочего коллектива на Красной Пресне, как он требует в письме! Я представляю себе, как бы ему долго приходилось очищаться после такого собрания там, где люди читают советскую литературу и понимают, что к чему и кто является настоящим писателем.

Перед нами не наполеоны, а голые короли, которые очень активно самораздеваются, и мы видим это самораздевание Войновича, в котором — явное желание выйти из Союза. Что же нам здесь особенно выговаривать?..

Я не совсем согласен с тем, что это жалкая кучка... Капля дегтя много портит вокруг себя, и, когда эту каплю вычищаешь, приходится много меду выбросить. Может быть, нам сейчас приходится слушать последнее такое дело, но вряд ли...

Я считаю, что дальше обсуждать этот вопрос не стоит. Войнович заявил о своем несогласии быть в Союзе, исходя из политических убеждений. Даже если бы он не заявил об этом, мы должны были бы поддержать предложение Бюро объединения прозаиков.

Поэтому во всех выступлениях ставится одно предложение: поддержать решение Бюро объединения прозаиков и исключить Войновича из Союза писателей за те проступки, которые довольно точно сформулированы в решении Бюро и в выступлении товарищей, которые были сделаны сейчас.

Наша точка зрения — исключить Войновича. У нас есть соответствующий проект резолюции.

В.Н. Ильин: На основе выступлений, которые были застенографированы, будет дано развернутое политическое решение. Сейчас стоит вопрос так: исключаем мы или нет, выносим зыскание, откладываем рассмотрение вопроса до его выздоровления... Если решили исключить, то решение будет сформулировано.

А. Барто, Катаев и Наровчатов присоединяют свой голос за исключение Войновича.

А.Е. Рекемчук: Есть просьба, чтобы в решении по Войновичу, которое мы принимаем сегодня, был включен пункт о его попытках защищать Солженицына. Это в его письме есть, и не единственный раз. Солженицын настолько политически сфокусировал в себе антисоветские силы, что выступление в поддержку Солженицына есть проступок, причем недостойный. Просьба включить такой пункт в решение.

Ю.Ф. Стрехнин: Не только поддерживает, но прославляет: «величайший гражданин»...

Поскольку Войнович прислал заявление, что он просит рассматривать вопрос без него и фактически его письмо можно рассматривать как заявление о выходе из Союза, мы должны принять решение.

Есть предложение исключить Войновича из Союза писателей. Других предложений нет? Нет.

Кто за это предложение? Есть ли против? Нет. Кто воздерживается? Нет.

Решение принято единогласно.

1974

ТОВАРИЩ ВОЙНОВИЧ, ВЕРНИТЕСЬ!

Из Союза писателей СССР я был исключен, вероятно, 20 февраля 1974 года. Я употребляю слово «вероятно», потому что на 20 февраля было назначено заседание секретариата Московской писательской организации, но состоялось оно в тот день или в другой, кто на нем выступал, что говорили, как сформулировано было решение, мне до сих пор неизвестно.

Руководители Союза писателей не только не сообщили о моем исключении в печати, как это бывало в подобных случаях прежде, но создали новый прецедент: не уведомили об исключении даже самого исключенного. Даже не потребовали, как это делали обычно с другими, возвращения членского билета, и этот драгоценный документ я до сих пор храню в своем архиве. Через некоторое время я узнал, что моя фамилия исчезла и из списка членов Литфонда, но кто меня исключал, когда и на каком уровне было принято это решение, для меня тоже осталось тайной.

Впоследствии я понял, что по отношению ко мне власти применили тактику полного замалчивания: с момента исключения и до самого моего отъезда в декабре 1980 года ни в одной советской газете мое имя не было упомянуто ни разу. Больше того, чиновники из Союза писателей делали вид, что они о таком писателе даже не слышали, и на вопрос иностранных гостей этой организации обо мне спрашивали: «А кто это?» или, порывшись в справочнике Союза писателей, объявляли, что там такой фамилии нет.

Если же на каких-то собраниях или так называемых лекциях о международном положении кто-нибудь из советских людей интересовался мною, то им обычно тут же объясняли, что я давно покинул Советский Союз и живу... назывались самые разные страны: Израиль, США и даже Югославия, откуда в России появились мои предки по отцовской линии. Эти сведения внедрялись так упорно, что живший в соседнем доме со мной известный советский критик, встретив меня однажды на улице, сначала изменился в лице, приняв меня за привидение, а затем долго допытывался, когда и каким образом мне удалось вернуться из-за границы. И в ответ на мои уверения, что я за границу никогда не уезжал, недоверчиво

усмехался, как бы понимая серьезность причин, по которым я не могу выдать ему этой важной тайны.

Но так или иначе, в один прекрасный день (думаю, что это было все-таки 20 февраля) секретари Московского отделения Союза писателей РСФСР собрались в одной из комнат на втором этаже Центрального Дома литераторов, выключили телефоны и в обстановке строжайшей секретности, какой американский Пентагон мог бы лишь позавидовать, произнесли свои гневные речи, призвали друг друга к усилению бдительности, проголосовали (единогласно) и составили сугубо секретный протокол, окончательно лишивший меня высокого звания советского писателя.

Но этому последнему акту драмы или, если хотите, комедии, которую Лидия Чуковская назвала «процессом исключения», предшествовали три предварительных акта или, точнее, два акта и одна интермедия.

Первый акт начался за шесть лет до того, весной 1968 года, после подписания мною письма в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского. Выпущенное вскоре всем известное секретное постановление Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам предписывало всем редакторам и цензорам Советского Союза не только прекратить немедленно публикацию книг, статей, стихотворений, то есть всех, как говорилось в постановлении, «произведений литературы и искусства и других произведений» провинившихся авторов, но и вообще не допускать в печати никаких упоминаний об этих людях, словно их вообще больше не существует. Дело, конечно, непростое, но в условиях тоталитарного государства с большим опытом осуществимое. Изъять старые книги писателя из библиотек, не издавать новые, не упоминать его фамилии в печати — и он сразу как бы перестает существовать. Мой случай в этом смысле казался одним из простейших. Одну тоненькую книжку, изданную за несколько лет до того маленьким тиражом, изъять ничего не стоило. Запретить издание двух лежавших в издательствах рукописей проще простого. Запретить шесть киносценариев, дошедших до режиссерской разработки, — и того легче. Но я работал еще в двух жанрах, справиться с которыми оказалось гораздо сложнее. Несколько песен, написанных на мои слова известными композиторами, стали настолько популярными, что исполнялись ежедневно не только по радио и телевидению, но входили в тысячи эстрадных программ, звучали в ресторанах и поездах. Больше того, одна из них вообще стала чуть ли не гимном советских космонавтов, ни одно связанное с космическими полетами торжество не обходилось без ее исполнения. С этой песней власти вообще долго не могли решить, что делать. То ее исполняли без упоминания имени автора, то вовсе без слов, но совсем отказаться от нее не могли.

Не менее трудно оказалось справиться с двумя моими пьесами «Хочу быть честным» и «Два товарища» (я инсценировал свои по-

вести). Эти пьесы были поставлены полусотней профессиональных и бесчисленным множеством так называемых «народных» театров. Запретить все эти спектакли означало наказать не только автора, но и несколько тысяч участников этих спектаклей, которые перед советской властью ни в чем не провинились. Проблема эта оказалась довольно сложной даже для советских властей, и наиболее простым и удобным выходом для них был бы мой отказ от подписи под письмом в защиту осужденных. Этого требовали и от других «подписантов», но, пожалуй, самые мощные и массивные атаки были направлены на меня. Меня вызывали к себе чиновники Союза писателей, Министерства культуры, Моссовета, Политуправления Советской Армии, МГК и ЦК КПСС. В бесчисленных кабинетах меня уговаривали, умоляли снять свою подпись, мне льстили, мне угрожали, обещали стереть меня в порошок. Особенно усердствовала секретарь МГК КПСС Алла Шапошникова, злобная дамочка, о невежестве которой ходили легенды. В ее глазах я вообще был исчадием ада. «А вы знаете, кого вы защищаете? — сказала она одному из вступившихся за меня режиссеров. — Вы знаете, что он говорит? Он говорит про нас: «Они». Она лично следила за всеми моими попытками найти хоть какую-то лазейку и заработать на кусок хлеба. Себя она называла на «мы». «Мы его выведем из Союза писателей. Мы ему не дадим заработать ни одной копейки. Мы знаем, что он пишет под чужими фамилиями, но мы и до этого доберемся». Не знаю, чем я вызвал столь бурную страсть этой хищницы, но она преследовала меня не просто по долгу службы, а вкладывала в это много личных эмоций. Не могу сказать, была ли она допущена к моему досье в КГБ или у нее была личная агентура, но все мои высказывания не только по телефону, но даже дома тут же становились ей известны, чего она и не пыталась скрывать. Справедливости ради следует сказать, что действительно мои высказывания о ней были настолько нелестны, что я даже сейчас не решаюсь их повторить. Она меня преследовала постоянно и неутомимо до тех пор, пока ее не перевели на другую работу. (Потом это существо занимало должность заместителя министра высшего образования.)

К началу 1969 года власти, видимо, решив, что наказали «подписантов» достаточно, слегка разжали кулак. Запрещенные имена вновь стали появляться на страницах газет и журналов. В издательстве «Советский писатель» снова заговорили об издании моей книги. В нескольких (но уже не в пятидесяти) театрах вновь пошли мои пьесы. В Союзе писателей мне был объявлен строгий выговор. Так закончился первый акт моего «процесса исключения».

Однако антракт длился недолго, месяца полтора-два. Весной 1969 года в журнале «Грани», несколько неожиданно для меня, появилась до того ходившая в «самиздате» первая часть «Чонкина». Шапошникова и ее подручные такого шанса упустить не могли, и начался новый акт, который продолжался в общей сложности

около четырех лет. В течение первой половины этого срока мной занимались секретари Московского отделения Союза писателей группой и в одиночку, специально созданная для этого комиссия (Сергей Болдырев, Михаил Брагин, Виктор Тельпугов), та же Шапошникова, работники ЦК КПСС Альберт Беляев и Юрий Кузьменко и действовавшие как бы частным образом и из «дружеских» побуждений Александр Рекемчук и Феликс Кузнецов. От меня требовали, чтобы я признал «честно и откровенно», что написанное мною произведение является не только антисоветским, но что еще хуже (странно, что для них это было хуже), антинародным, клеветническим и вообще написано чуть ли не по заданию ЦРУ. (В то же время Сергей Михалков на общем собрании писателей назвал меня специальным корреспондентом «Посева» и сказал, что я клоп, которого танком не раздавишь, но другими средствами уничтожить можно.)

По этому поводу состоялись два заседания секретариата МО СП РСФСР. На первом, которое вел мой постоянный следователь, секретарь МО и генерал КГБ Виктор Ильин, писатель Тельпугов сказал, что это неважно, как повесть (вопреки моим протестам они называли часть романа повестью, чтобы считать ее законченным антисоветским произведением) попала за границу, неважно, кем она была напечатана, важно то, что она вообще была написана. «Если бы я даже знал, — сказал Тельпугов, — что эта повесть нигде не напечатана, а просто лежит в столе у автора или даже только задумана, я и тогда считал бы, что автором должны заниматься не мы, а те, кто профессионально борется с врагами нашего строя. И я сам буду ходатайствовать перед компетентными органами, чтобы автор понес заслуженное наказание».

После Тельпугова выступил писатель Михаил Брагин, полковник. (Как я заметил, среди членов Союза писателей полковников и генералов сконцентрировано не меньше, чем в Генеральном штабе. Причем сами о себе они часто говорят: «я генерал» или «я полковник», но никогда не говорят «в отставке» и никогда не говорят, к какому роду войск принадлежат. Я думаю, что в основном к КГБ.)

Так вот, этот полковник выступил очень взволнованно и сказал, что таких ужасных, так оскорбляющих его любимую армию людей он еще не встречал и спросил, действительно ли мне в его любимой армии приходилось видеть что-нибудь подобное мною описанному. Я сказал: «Да, видел кое-что и похлеще». Эти мои слова так оскорбили святые чувства полковника, что он вскочил, покраснел, стал сучить ногами и кричать: «Это ложь! Ложь! Наглая ложь!»

На что я, уважая седины и звание этого человека, сказал, что, если он припадочный, ему следует как можно чаще посещать доктора и как можно реже участвовать в столь нервных мероприятиях вроде этого.

«Но ведь вы же говорите ложь!» — не успокаивался Брагин. «Я предупреждаю вас, — сказал я, — и предупреждаю всех, кто здесь есть. Если я еще раз услышу слово «ложь», я немедленно отсюда уйду».

Слово это, однако, было произнесено снова, и я ушел, сопровождаемый страстными призывами присутствовавших (как в греческом хоре): «Товарищ Войнович, вернитесь!»

В совершенно секретном коммюнике, которое было выпущено по поводу вышеописанной встречи, было сказано, что участники внеочередного заседания секретариата с активом, обеспокоенные судьбой своего товарища, собрались и дружески указывали ему на недостойность его поведения, которое фактически привело его в лагерь наших врагов, но товарищ вел себя вызывающе и высокомерно, отрицая идейно порочную сущность своего так называемого «произведения», создал конфликтную ситуацию и, воспользовавшись ею, ушел. И дальше следовала заключительная фраза, которую, как мне кажется, я привожу дословно: «Только отсутствие кворума помешало членам секретариата вынести окончательное решение о дальнейшем пребывании В.Н. Войновича в составе Союза писателей СССР».

На самом деле это было вранье, кворум, когда он им для чего-то нужен, они без труда создают искусственно. Они меня не исключили, потому что намеревались еще поработать со мною, духовное уничтожение писателя для них всегда заманчивее уничтожения физического.

Осенью того же года я написал журналу «Грани» протест, которым некоторые люди попрекают меня до сих пор. Что и говорить, писать подобные протесты под давлением властей — дело довольно унижительное, но будь я в то время свободным человеком, мой протест был бы гораздо резче. Эта публикация выбила меня из колеи и помешала закончить работу над романом (он не закончен до сих пор). Текст «протеста» утверждался и редактировался в секретариате Союза писателей и в ЦК КПСС и был опубликован с добавками, истинным автором которых является генерал Ильин.

В декабре 1970 года состоялось второе заседание секретариата, на котором мне был объявлен еще один строгий выговор с «последним» предупреждением. После чего в моем положении ничто не изменилось.

Руководители Союза писателей считали, что одного протеста «Граням» недостаточно, и призывали меня найти «удобную форму», чтобы осудить свое недостойное поведение и свою идейно порочную повесть. Поскольку ни одна из возможных форм мне не казалась удобной, меня не печатали и лишали куска хлеба еще два года (до конца 1972 г.), после чего власти, полагая, что я уже прочно стою на коленях, решили меня простить и даже издали одновременно две мои книги. И это была их большая идеологическая ошибка, потому что за прошедшее время я как раз с колен поднялся,

властям ничего не простил и собирался предпринять новые действия, совершенно «несовместимые с высоким званием советского писателя».

На жизненной сцене, однако, события не всегда развиваются по плану, намеченному автором. Только я стал разворачиваться для нанесения давно задуманного удара, как под руку мне подвернулся полковник КГБ Иванько. Ничего не зная о моих враждебных намерениях, он всего-то хотел отнять у меня квартиру, чтобы поставить в ней свой заморский унитаз*. И начался третий акт драмы или, может быть, интермедии, которую я подробно описал в своей книге «Иванькиада».

Мне никак не хотелось связываться с Иванько, я предпочел бы даже и до сих пор не знать, кто он такой. Но он продолжал упорствовать в порочном своем заблуждении, и мне пришлось весь запас накопленной ярости обрушить на него. Выставив против меня превосходящие силы, Иванько утверждал, что, выступая против него, я тем самым выступаю против советской власти. Должен сказать, что он был совершенно прав. Иванько это и есть советская власть. Тем не менее он на данном этапе потерпел сокрушительное поражение и, прикрываясь дипломатическим иммунитетом, позорно бежал в Соединенные Штаты. (Впрочем, потом вернулся, разоблаченный одним из бывших советских агентов.)

А я уже не останавливался. В том же семьдесят третьем году я на этот раз сам передал тем же «Граням» свою повесть «Путем взаимной переписки». Потом подписал письмо (вместе с Сахаровым, Максимовым, Галичем) в защиту Солженицына. Потом передал на Запад продолжение «Чонкина». Потом стал следить за действиями советской власти, ища, к чему бы еще придраться. И придрался к созданию ВААПа. Когда мое сатирическое письмо шефу этой организации было передано западными радиостанциями, моей жене позвонил генерал Ильин и осторожно поинтересовался, не повредился ли я в уме.

Затем меня вызвал к себе другой секретарь Союза писателей Юрий Стрехнин (всего лишь полковник) и, не зная, что сказать, спрашивал меня, понимаю ли я, что делаю.

В декабре 1973 года для разбора моего «персонального дела» было объявлено, но не состоялось заседание Бюро объединения прозаиков. Члены Бюро сказывались большими, удирали из Москвы или просто не подходили к телефону. Наконец кого-то удалось все же собрать. Это было уже в январе 1974 года между исключением Чуковской из Союза писателей и исключением Солженицына из Советского Союза. Большая комната, где проходило это событие, была набита битком людьми, из которых три четверти были мне

* Я подозреваю, что Иванько не очень добросовестно выполнял задания своего командования, когда вместо технологических секретов тащил из Америки унитазы.

незнакомы ни по лицам, ни по именам. Председательствовал Георгий Радов, почему-то ненавидевший меня с моего первого появления в литературе. Члены Бюро Павел Нилин и Юрий Трифонов не явились. На фоне собравшихся ничтожные Березко и Амлинский блистали как звезды первой величины.

Надо сказать, что я пришел на это заседание с весьма агрессивными намерениями. Я собирался сказать «им», имея в виду грозных представителей грозной власти, что я о них думаю. А передо мной сидели жалкие запуганные людишки. Где-то в заднем ряду ежился от страха, что я его замечу, Герой Советского Союза Иван Парфентьев, который передо мной еще недавно заискивал. Некий Андрей Старков, всего лишь несколько дней назад подбежал ко мне в метро, оглядываясь по сторонам, тряс руку и быстро шептал: «Я восхищен вашим мужеством». Григорий Бровман, жалкий критик, сам в свое время битый-перебитый. Только что его сын попал под машину, еще похоронить не успели, а он прибежал. Что их всех сюда привело? Ну одни хотят отличиться перед начальством. А другие даже не отличиться, а избежать гнева или косога взгляда. Чтобы начальство не подумало, что они не свои. Только Радов не скрывал своего удовольствия от предстоящей расправы. (Радов вскоре умер, а года три спустя его сын сказал мне: «Мой отец был честный человек, но мне жаль, что он перед смертью совершил такой нехороший поступок».) Радов сообщил, что враждебные радиостанции передают такое-то письмо. Автор сидит здесь. «Что вы думаете по этому поводу?» «Этот вопрос неинтересный, — сказал я, — давайте дальше». «Когда вас спрашивают, вы должны отвечать», — тоном педагога сказал Радов. «Я вам вообще ничего не должен, — сказал я. — Если бы я пришел вступать в Союз писателей, тогда был бы должен. А я пришел с вами прощаться». Это их как-то сбilo с толку, потому что они приготовились припираться к стенке, а я вроде сам себя к ней припирал. Радов прочел какую-то выписку из устава Союза писателей, что членами этого Союза могут быть только единомышленники. Я сказал, что, когда я вступал в Союз, мне никто этой выписки не читал, иначе я, может быть, не вступил бы. Потом Радов несколько раз, очевидно, ожидая каких-то моих возражений, сказал, что здесь собрались члены Бюро с активом и членов достаточно для кворума. Я сказал, что меня процедурные вопросы не интересуют, мне все равно, будут меня душить с полным соблюдением формальных правил или с неполным. Тогда они стали выкрикивать кто во что горазд, иногда отклоняясь от темы.

Березко: Войнович, вы не должны писать вашего ужасного Чонкина! Это очень плохая книга.

Лидия Фоменко: Я не понимаю, почему вы говорите о каких-то правах? Зачем вам права? Мне, например, не нужны никакие права!

Бровман: Мы должны понять, что перед нами наш идейный противник. И мы должны разговаривать с ним, как с противником.

Вы Моська, которая лает из-под полы. Вы с презрением относитесь к нам, вы недооцениваете наши таланты.

Тут я не удержался и сказал, что его, Бровмана, талант я переоцениваю.

Радов: Почему же вы его оскорбляете?

Я: А вы думаете, что здесь можно оскорблять только одну сторону?

Радов (поспешно): А вас никто не оскорбляет.

Я: Ну да. Он меня называет Моськой, и это не оскорбление.

Бровман: Он на меня сердится потому, что я его когда-то критиковал.

Я: У вас мания величия. Неужели вы думаете, что я вашу писанину хоть когда-то читал?

Критик Станислав Лесневский стал говорить, что в своем письме я оскорбил Верченко, а Верченко — это такой же прекрасный человек, как Ильин, а Ильин — это человек чести, рыцарь чести, рыцарь кодекса чести.

Амлинский, как я и предполагал, начал лирически: «Я знал Володю Войновича как хорошего писателя. А теперь я увидел. Я не понимаю, что с ним случилось. Мы должны разобраться, почему он оказался на стороне наших врагов».

Трое из присутствующих начинали свои речи почти слово в слово: «Мне по роду моей службы приходится постоянно читать антисоветскую литературу...» Но даже в этой литературе им редко приходилось читать такие злобные выпады, как те, что содержатся в моем письме.

Это дало мне повод съязвить: «Я думал, что я пришел на собрание своих коллег, а здесь собрались какие-то странные люди, которые постоянно читают антисоветскую литературу и до сих пор ходят на свободе».

Цирк этот закончился голосованием (единогласным, конечно): рекомендовать секретариату исключить такого-то из членов Союза писателей.

Секретариат был назначен на 20 февраля. Но за несколько дней до него я заболел воспалением легких, 20-го утром мне позвонил Ильин. «Я хотел бы, чтобы вы пришли до секретариата, нужно поговорить. Мы помним, что вы хороший писатель, мы не хотим с вами расставаться, никто не желает вашей крови, приходите, пожалуйста, я вас очень прошу».

Это были новые ноты, раньше он разговаривал со мной не так.

Я сказал: «До заседания нам встретиться не удастся, потому что я к вам не приду. У меня две причины. Первая — неуважительная — я болен...»

«Очень хорошо, — радостно прервал Ильин, — в таком случае я отменю заседание».

«Не нужно отменять, — сказал я. — Я когда выздоровею, тоже не приду. У меня есть еще одна причина, уважительная: нам не о чем говорить».

Ильин продолжал меня уговаривать. Я должен прийти. Со мной поговорят, исключать не будут. В крайнем случае, объявят еще один выговор.

Я спросил, какой же выговор, когда у меня уже два строгих, причем второй с последним предупреждением.

«Пусть вас это не волнует, это процедурный вопрос, мы с ним как-нибудь справимся».

«Меня ваши процедуры больше не интересуют, — сказал я. — Выговоров ваших я больше не признаю. Я сам объявляю вам выговор».

«Вот очень хорошо, — сказал Ильин. — Приходите. Вы нас прокритикуете, мы вас прокритикуем».

Я еще раз сказал, что не приду, а свою критику сегодня же пришлю в письменном виде.

К началу заседания моя жена отвезла в секретариат письмо, которое начиналось словами:

«Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю».

В тот день жизнь моя круто переменялась. Я физически почувствовал, что теперь я свободен. Меня можно убить, раздавить, но душа моя уже вырвалась из их когтей и им неподвластна больше.

В два часа ночи меня разбудил звонок московского корреспондента агентства Рейтер. Ему только что звонили из Лондона и просили проверить сообщение, правда ли, что я арестован. Я сказал, что, может быть, я арестован, но мне об этом пока еще ничего не известно. Повернулся на другой бок и спокойно заснул.

ГЛАВНЫЙ ЦЕНЗОР

Летом 1980 года, незадолго до моей эмиграции, по Москве разнесся слух, что на телевизионных экранах скоро появится только что снятый многосерийный фильм по книге Конан Дойля «Записки о Шерлоке Холмсе». Но тут же распространился и второй слух, что фильм запрещен и положен «на полку», а создателям его объявлены выговоры за то, что они пытались протащить на экраны это идейно порочное произведение. Это было странно, потому что «Записки о Шерлоке Холмсе» в Советском Союзе уже десятки раз издавались и переиздавались, трудно было даже представить, к чему там можно придраться. Вскоре, однако, все прояснилось.

Крамола содержалась уже в первых кадрах первой серии. Встретились впервые Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

— О, — говорит Шерлок Холмс, — я вижу, что вы были в Афганистане.

И в ответ на изумленный вопрос доктора, как он догадался, знаменитый сыщик отвечает:

— Ход моих размышлений был такой. В этом докторе заметна военная выправка. Судя по загару, он только что вернулся из тропиков. Он прошел через большие испытания и болезнь, что ясно видно по его изможденному лицу. Его левая рука повреждена. Он держит ее в неестественном положении. Где в тропиках английский военный доктор мог получить такую рану? Конечно, в Афганистане.

Так сочинение давно умершего английского классика стало вдруг злободневным и совершенно непроходимым с точки зрения советской цензуры.

Через некоторое время, однако, начальство от гнева остыло и разрешило создателям фильма переозвучить крамольное место, в котором Шерлок Холмс теперь говорил: «Я вижу, что вы приехали из одной восточной страны».

Но чисто политическая поправка отразилась и на художественном уровне произведения. Шерлок Холмс поражает нас абсолютной точностью своих умозаключений. А до таких приблизительных догадок, как «одной восточной страны», мы при некотором напряжении интеллекта могли бы и сами додуматься. Это маленький, но характерный пример того, как цензура, изымая из текста неугодную ей информацию, разрушает художественный образ.

Когда говорят о цензуре, то имеют в виду прежде всего специальное учреждение, Главлит, в задачу которого входит не допускать разглашение военной и государственной тайны органами печати, радио и телевидения, а также в художественной литературе, кино и театре. У цензоров Главлита есть длиннейший и с годами все удлиняющийся список воинских частей, географических точек, промышленных объектов, стихийных бедствий, катастроф и несчастных случаев, произошедших на территории СССР, научных открытий, а также фамилий, которые или вовсе запрещено упоминать в печати, или разрешено упоминать частично, по особому распоряжению партийных или карательных органов. В него входят фамилии деятелей самой коммунистической партии (от Троцкого до Хрущева), фамилии некоторых писателей, диссидентов и ученых, занятых особо секретной работой. Например, имя Сахарова было запрещено упоминать в печати, когда он активно работал в советской науке и получал самые высшие советские награды. Потом его имя стало запретным, потому что он стал диссидентом; теперь его поминают довольно часто, но всегда только с одобрения самых высших партийных инстанций. Список запрещенных фамилий достиг таких катастрофических размеров, что цензоры все хуже справляются со своей работой, что они и продемонстрировали недавно, пропустив в печать научно-фантастическую повесть Артура Кларка, в которой все советские космонавты были названы запрещенными именами советских диссидентов.

Подобные ошибки, допущенные цензорами или редакторами, на советском редакционном жаргоне называются «ляпами», и такие ляпы проскальзывают на страницы советской печати не первый

и, надеюсь, не последний раз. Лет десять тому назад математик Юрий Гастев выпустил «хулиганскую» книгу по математической логике. В предисловии к книге он выражал особую благодарность за помощь в работе над книгой докторам Чейну и Стоксу. Чейн и Стокс не были ни математиками, ни логиками и никак не могли помочь доктору Гастеву в работе над его книгой. Но они были врачами, и их именем было названо Чейнстоксово дыхание, которое появляется у людей в предсмертной агонии. Такое дыхание было перед смертью у Сталина, на что и намекал Юрий Гастев в своем предисловии. В сталинские годы Гастев был арестован, и только смерть вождя позволила ему продолжить и закончить свое образование. Но на этом Гастев не остановился и в списке использованных материалов указал работы по крайней мере десятка диссидентов, также в большинстве случаев не имевших к его теме никакого отношения.

Примерно в то же время подобный же «ляп» был пропущен цензорами и в журнале «Аврора». В одной из статей был помещен положительный отзыв о Сахарове, за что, как это всегда бывает в таких случаях, в первую очередь попало главному редактору.

Надо сказать, что Главлит — это только одна из инстанций, осуществляющих цензуру, да и то только на последней стадии подготовки того или иного издания, кинофильма или спектакля в свет. Первым цензором произведения, еще находящегося в процессе работы, является, как известно, сам автор. На следующем этапе произведения попадает к рецензентам, потом его редактируют несколько человек (младший редактор, просто редактор, старший редактор и главный редактор). В задачу этих людей входит довести рукопись до того, чтобы она отвечала определенным идейно-художественным требованиям, хотя требования *идейные и художественные* почти во всех без исключения случаях друг другу явно противоречат. Вот примерный круг обязанностей первого редактора рукописи, которая принята к печати и включена в план: 1) Сделать ее более или менее удобочитаемой, если нужно поправить сюжетное построение, стиль, язык, исправить грамматические ошибки (среди признанных советских писателей большой процент элементарно неграмотных людей), в некоторых случаях даже полностью переписать рукопись. 2) Проследить за тем, чтобы рукопись отвечала основным канонам социалистического реализма, то есть чтобы в ней обязательно был положительный герой, чтобы добро (с коммунистической точки зрения) побеждало зло, чтобы общий тон будущего произведения был непременно оптимистическим. 3) Не пропустить не только критики существующей системы, но даже намек на нее, советская действительность в целом должна описываться в светлых тонах, капиталистическая действительность, наоборот, в самых мрачных. Последнее требование соблюдается даже более строго, чем первое, поэтому почти все путевые заметки людей, побывавших за границей, если в них не упоминаются безработица, инфляция, преступ-

ность и другие пороки капитализма, подвергаются, как правило, разностной критике. Кроме того, редактор дублирует цензора и так же, как цензор, обязан бдительно следить за тем, чтобы в книге не появилось какое бы то ни было упоминание не подлежащих разглашению тайн и нежелательных фамилий. Само собой, если фамилия самого автора состоит в списке запрещенных к упоминанию, то о публикации его книги, какого бы содержания она ни была, не может быть и речи.

Редактор является первым ответчиком за любые ошибки, допущенные в изданной книге. В большинстве случаев, когда книга вызывает недовольство партийных органов, автора просто критикуют в печати или на каких-нибудь (часто закрытых) собраниях, но редактору достается гораздо больше, ему объявляют выговор, а то и вообще снимают с работы.

Причем, конечно, самым страшным грехом редактора является политическая ошибка, которой может быть признано все что угодно: изображение того или иного неугодного партии лица или явления в положительном свете, намек на те или иные события (как в случае с упоминанием войны в Афганистане), даже похвала или недостаточная критика того или иного направления в искусстве.

Иногда политической становится обыкновенная грамматическая ошибка. Во время и после войны во всех газетах печатались приказы Верховного Главнокомандующего Сталина. Было несколько случаев, когда в слове «главнокомандующий» по недосмотру была пропущена буква «л». При Сталине такие ошибки приравнивались к саботажу. Мне лично известен случай, когда, допустив эту ошибку, ответственный редактор областной газеты «Большевик Запорожья» (на Украине) немедленно застрелился. Лидия Корнеевна Чуковская рассказывала мне о редакторе газеты, которому во время войны по ночам снились кошмары. Ему снилось, что в свежем номере его газеты напечатано И.В. Ленин и В.И. Сталин (перепутаны инициалы).

Страх перед ошибками подобного рода настолько велик, что в редакциях больших газет всегда выделяется специальный дежурный сотрудник (его называют «Свежая Голова»), который после всех редакторов и корректоров еще раз внимательно вычитывает всю газету.

Наказания, как я уже сказал, в сталинские времена были особенно крутыми, но и теперь за подобные ошибки наказывают весьма строго. Например, герой моей книги «Иванькиада» Сергей Иванько еще во времена дружбы с Китаем, будучи «Свежей Головой» газеты «Литература и жизнь», был уволен с работы после того, как газета сообщила читателям, что «большого подъема достигла экономика США и Китая» (надеюсь, понятно, что вместо США должен был быть СССР).

Такие ошибки чаще всего случаются в газетах, которые делаются в спешке.

Но в журналах и книгах редакторы больше всего беспокоятся о подтексте, то есть о сознательно протаскиваемых автором намеках или ассоциациях, которых автор не предвидел. По этой причине даже немецкие концлагеря являются темой почти постоянно запретной (некоторые книги вышли по специальному разрешению), потому что безусловно напоминали читателю о лагерях отечественных. По этой же причине находится почти под полным запретом тема фашизма и гитлеризма. В шестидесятых годах подвергся партийному разносу документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», потому что искусство третьего рейха, показанное в этом фильме, слишком напоминало советское.

Вообще редакторы заслуживают более полного изображения (что я и постараюсь когда-нибудь сделать). Пока скажу только, что, будучи запуганными и бесправными, они ищут намеки даже там, где их нет. Например, в свое время одно из обвинений, предъявленных кинорежиссеру Андрею Тарковскому по поводу его фильма «Андрей Рублев», было, что крестьяне в его фильме слишком плохо одеты и напоминают советских колхозников. А как же эти крестьяне должны были быть одеты в России XIV века?

В 1968 году на экраны вышел довольно глупый детский фильм «Внимание, черепаха». Центральный эпизод фильма: черепаха, за которой ухаживали ученики одной из московских школ, убежала и оказалась на дороге. А по дороге как раз в это время проходила колонна советских танков. Увидев черепаху, головной танк остановился. За ним остановилась вся колонна. Командир колонны (он находился где-то сзади) запросил по радио головного танкиста, в чем дело. Тот ответил, что на дороге черепаха. Переговоры по радио ведутся очень долго и затем командир передает благородный приказ: сойти с дороги и обогнуть черепаху (вместо того чтобы, скажем, кому-нибудь из танкистов выскочить и отбросить черепаху в сторону). При обсуждении фильма один из редакторов, хитро поглядывая на сценаристов и режиссера, сказал: «Значит, вы имеете в виду черепаху? Че?» «Че?» — переспросил один из сценаристов. «Ну да, маленькая Че и большой советский танк». То есть он считал, что под черепахой создатели фильма имели в виду Чехословакию, хотя в фильме советские танки «маленькую Че» обогнули, а в жизни случилось, как известно, совсем обратное.

Инструкции устные и письменные предписывают редакторам и цензорам выискивать не только обыкновенный, но и «неконтролируемый подтекст». Кроме того, они должны бороться с так называемыми аллюзиями, то есть с возможностью возникновения у читателя мыслей, вообще никак не связанных ни с текстом, ни с подтекстом. На вопрос, что такое аллюзии, один известный советский режиссер сказал так: «Это когда вы, например, сидите в кино, смотрите какой-нибудь видовой фильм, видите какие-нибудь, скажем, Кавказские горы, вершины, покрытые снегом, облака и думаете: «А все-таки Брежнев сволочь».

Помимо профессиональных цензоров и редакторов цензурные функции осуществляют самые различные ведомства, как бы далеки они ни были от литературы и искусства.

Так, прежде чем выпустить в свет книгу о геологах (пусть это будет даже роман), издательство направляет его в геологическое ведомство, о пограничниках — в КГБ, о революционерах — в Институт марксизма-ленинизма и т.д. Причем все эти учреждения не только следят за тем, чтобы не было допущено фактических ошибок, но и делают замечания (часто очень грубые и невежественные) по поводу художественных достоинств сочинения, которые автор должен принять (или сделать вид, что принял).

Самой собой, цензурные функции осуществляют руководящие органы Союза писателей, партийные органы (от райкома до ЦК КПСС), районные, городские, областные управления культуры, министерства культуры республик и СССР, многие другие организации, а в некоторых случаях и отдельные «заслуженные люди», то есть передовики производства, космонавты, генералы (меня «редактировали» все три категории) и многие, многие другие.

Но самым главным цензором в Советском Союзе является страх.

Каждый советский писатель, принимаясь за новое сочинение, всегда помнит, что вознаграждением за его работу могут быть не только слава и гонорары, но и запрещение части книги, запрещение всей книги, запрещение всех его книг, исключение его из Союза писателей и как крайняя мера заключение его в тюрьму.

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Как сказано выше, я когда-то писал стихи. Начал писать их во время последнего года службы в армии и писал лет пять после того, пока постепенно не перешел на прозу.

После публикации в шестьдесят первом году моей первой повести «Мы здесь живем» я, по выражению одного поэта, стал широко известен в узких кругах. Но некоторые мои стихи были известны гораздо шире. Я имею в виду стихи, которые были положены на музыку и стали песнями. Одну из этих песен — «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана) — знали все советские люди от младенческого до преклонного возраста. Ее пели по радио, телевидению, в театрах, ресторанах и даже, как известно, в космосе. А после того как в 1962 году во время встречи космонавтов Николаева и Поповича припев этой песни с трибуны Мавзолея пропел или, вернее, провыл сам Хрущев, многие редакции газет и журналов стали обращаться ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, печатать их не хотел, но газете «Московский комсомолец» дал два старых стихотворения.

Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их охотно напечатали.

И разразился скандал. Стихи попали на глаза... даже и сейчас страшно сказать... министру обороны СССР Маршалу Советского Союза лично товарищу Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стишки. То ли в душе его разыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбеленился, надел штаны с лампасами, сел в «Чайку» или бронетранспортер, не знаю уж, во что именно, поехал в Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота и всем заседавшим там маршалам и адмиралам прочел мои стихи с выражением. После чего высказался весьма зловеще:

— Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской Армии.

Надо же! Я и сейчас, когда вспоминаю, думаю, неужели у министра обороны Советского Союза не было более важного дела, как выискивать в какой-то захудалой газетенке стишки (хорошие или плохие — неважно) и разбирать их на заседании маршалов и адмиралов?

Министр не успел сказать, в «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла другая газета напечатать такую пошлость. И в качестве примера привела последнюю строфу, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской Армии. То есть сама «Красная звезда», которую читает вся Советская Армия, выстрелила этими стихами второй раз, уже покрепче.

Ну а после выступления такой важной газеты бывает что? Конечно, оргвыводы. В «Московском комсомольце» кое-кому дали по шапке. Кого уволили, кому выговор по партийной, кому по служебной линии.

А мне что? А мне ничего. Мое дело написать и по возможности напечатать. А за партийную линию я ответственности не несу, я беспартийный.

Несколько месяцев спустя призвали меня в армию на два месяца, чтобы сделать из бывшего солдата офицера, не знаю, зачем им нужен был такой офицер. Поехал я в прославленный Дальневосточный военный округ, которым наш поэт (я имею в виду товарища Малиновского) до того, как стать министром, командовал. Ну служба была — не бей лежачего. Ездил я по воинским частям, читал солдатам свои старые стихи. И получал даже за это деньги. Рублей семь за вечер.

Надо сказать, командование частей к выступлениям готовилось хорошо. Как же, командель из Москвы приехал, это у них там не часто случалось. В гарнизонный клуб набивалось солдат, ну так примерно дивизия. А на сцене трибуна, стол, покрытый красной материей, и графин с водой для докладчика. На трибуне я, за столом замполит, полковник, иногда подполковник.

Говорил я примерно так.

— Я, товарищи солдаты, вообще-то говоря прозаик. Но читать прозу не буду, боюсь, вам покажется скучно. Я вам лучше почи-

таю свои стихи. Я еще сравнительно недавно был таким же, как вы, солдатом и о своей службе написал стихи. Стихам моим повезло больше, чем моей прозе. Одно из них, которое стало песней, пропел с трибуны Мавзолея Никита Сергеевич Хрущев, а другое отметил в своем выступлении ваш главный начальник. Министр обороны Маршал Советского Союза товарищ Малиновский.

Как отметил, я, конечно, не говорил.

После такого вступления в зале устанавливалась полная тишина, солдаты открывали рты, а замполит приосанивался, вот, мол, какую птицу удалось ему заманить в этот отдаленный гарнизон.

Я читал стихи разные, но последними, на закуску, как раз те, которые маршал отметил.

В сельском клубе разгорались танцы.
Требовал у входа сторож-дед
Корешки бухгалтерских квитанций
С карандашной надписью «билет».

Не остыв от бешеной кадрили,
Танцевали, утирая пот,
Офицеры нашей эскадрильи
С девушками местными фокстрот.

В клубе поднимались клубы пыли,
Оседая на сырой стене...
Иногда солдаты приходили
И стояли молча в стороне.

На плечах погоны цвета неба...
Но на приглашения солдат
Говорили девушки: «Не треба.
Бачь який охочий до дивчат».

Был закон взаимных отношений
В клубе до предела прям и прост:
Относились девушки с презреньем
К небесам, которые без звезд.

Ночь, пройдя по всем окрестным селам,
Припадала к потному окну.
Видевшая виды радиола
Выла, как собака, на луну.

После танцев лампочки гасились...
Девичьих ладоней не пожав,
Рядовые молча торопились
На поверку, словно на пожар.

Шли с несостоявшихся свиданий,
Зная, что воздастся им сполна,
Что применит к ним за опозданье
Уставные нормы старшина.

Над селом притихшим ночь стояла...
Ничего не зная про устав,
Целовали девушки устало
У плетней женатый комсостав.

Строгие ревнители поэзии найдут (и справедливо) в этом стихотворении массу недостатков. Но солдатам оно нравилось. Солдаты били в ладоши, стучали сапогами в пол и даже кричали «бис». А замполит, которому стихотворение чем-то не нравилось, тоже хлопал, да и как ему было не хлопать, если сам маршал Малиновский отметил. А я, признаюсь, каждый раз удивлялся: неужели никто из этих замполитов, не говоря уже о прочих военнослужащих, не читает «Красную звезду»?

Один осведомленный все же нашелся. Но это было уже в самом конце моей двухмесячной службы. Он тоже сначала хлопал, потом перестал, потом посмотрел на меня с испугом и не очень уверенно сказал:

— Мне кажется, я эти стихи где-то читал.

— Это возможно, — сказал я, — они же опубликованы.

— Да, да, — сказал он и написал в моей лекторской путевке: «Лектор образно и ярко говорил о трудностях и лишениях воинской службы. Лекция прошла успешно».

А потом написал на меня донос в политуправление округа, что лектор в своем выступлении протаскивал чуждые нам идеи.

Вот ведь какой двурушник. А еще замполит!

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Его Высокопревосходительство Николай Федоренко — крупный государственный и общественный деятель и писатель. Был когда-то заместителем министра иностранных дел, затем представителем СССР в Организации Объединенных наций, а теперь секретарь Союза писателей СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, главный редактор журнала «Иностранная литература».

Я назвал его высокопревосходительством, потому что он сам требует такого к себе обращения. Напыщенный и чванливый бюрократ, он в кругу своих друзей любит утверждать, что его звание посла Советского Союза приравнено к званию маршала. Один западный дипломат рассказывал мне в Москве, что Федоренко однажды гневно отверг приглашение на прием в одно из посольств, потому что в приглашении было написано «Ваше Превосходитель-

ство», в то время как, по его мнению, его следовало называть «Ваше Высокопревосходительство». Этот многолетний представитель пролетарского государства привык жить на широкую ногу и широтой своих замашек превзошел даже западных буржуев. На дипломатических приемах и званых обедах в Нью-Йорке супруга Его Высокопревосходительства неизменно занимала первое место по стоимости мехов, на нее надетых. Поскольку скромной зарплаты, получаемой на высоких постах, для такого высокого уровня жизни нашему Маршалу всегда не хватало, Ее Высокопревосходительство вынуждено было заниматься еще и частной торговлей, распространяя среди московской невывездной элиты тряпье, беспощинно доставляемое Его Высокопревосходительством из-за океана. (Мне рассказывали забавный случай, что, когда маршальская чета вместе с общественностью столицы прошалась с народной артисткой СССР Любовью Орловой, Ее Высокопревосходительство, приблизившись к гробу, невольно воскликнуло: «Ой, она лежит в моем платье!») Набравшись в свое время американского духа, наш Маршал раньше подписывал свои глубокомысленные статьи не иначе, как Николай Т. Федоренко. От этой манеры отучил его, вероятно, я. После того как я высмеял Маршала в своей книге «Иванькиада», он стал подписываться более скромно: «Н. Федоренко, член-корреспондент АН СССР».

С литературным творчеством Федоренко я знаком лишь поверхностно. Будучи по профессии востоковедом, он в свое время издал какие-то книжки о культуре Китая и Японии, но злые языки говорят, что эти книги написаны за Маршала его верным ординарцем профессором Львом Эйдлиным. Впрочем, с одним давнишним произведением Маршала я ознакомился внимательно. Это горячее и восторженное предисловие к советскому изданию восемнадцати избранных стихотворений величайшего китайского поэта, правда, ныне в Советском Союзе, а отчасти даже и в самом Китае запрещенного. Имя поэта — Мао Цзэдун.

Покинув (наверное, не без горечи) дипломатическое поприще, Его Высокопревосходительство сосредоточилось на литературной деятельности и неизменно возглавляет советскую команду на регулярных встречах советских и американских писателей, которые происходили в Москве, Нью-Йорке, Батуми, Лос-Анджелесе, Киеве и последняя в калифорнийском местечке Малибу. В газетных отчетах об этих встречах Федоренко перечисляет всех американских и советских участников, забыв, Впрочем, упомянуть участника первой московской встречи Василия Аксенова. Зато в список американских крупных писателей он включил действительно очень знаменитую на Западе королеву, я бы сказал, порнографического жанра Эрику Джонг. Сексуальные похождения героини ее романов написаны с таким знанием дела и с такими подробностями, что при знакомстве с ними неподготовленный советский читатель мог бы повредиться в рассудке. Причем писательница никакими много-

точиями не пользуется, а пишет все как есть, употребляя все известные ей слова и выражения, существующие в современном английском языке. Если бы главный редактор «Иностранной литературы» действительно хотел дать читателям своего журнала полное представление о сегодняшней американской литературе, ему следовало бы опубликовать хотя бы самый безобидный из романов этой писательницы.

Впрочем, в своем отчете автор пишет: «Мы решительно отвергаем сочинения, в которых проповедуются идеи войны, насилия, расовой и национальной розни, порнография, пошлое мелкотемье». «И цензура, — пишет он дальше, — осуществляется не какими-то таинственными силами, а нами самими...» И хотя я бы никогда не заподозрил Федоренко в излишнем стремлении к правде, эти его слова полностью соответствуют действительности. Ими самими, Федоренко и другими прилитературными надсмотрщиками, и осуществляется цензура, удушающая каждое живое слово в нашей уже почти совершенно затоптанной отечественной литературе.

Само собой разумеется, что господин Маршал много говорит об озабоченности писателей судьбами мира и человечества — их тревоге по поводу милитаристского курса Вашингтонской администрации и цитирует мудрые и миролюбивые высказывания очередного главы московской администрации, рассуждает об ответственности писателя и призывает к взаимопониманию, и повторяет, как много сделано в этом направлении советской стороной и как мало американской. И как всегда, приводит длинный список американских классиков и современных писателей, книги которых опубликованы в Советском Союзе и, конечно, не может привести подобного же списка советских писателей, опубликованных в Соединенных Штатах. Но я ему помогу. Правда, вначале оговорюсь, что понятия американский и советский неоднозначны. Первое понятие — географическое, а второе — идеологическое. Американский писатель — это всякий американец, который писал или пишет книги в Америке или вне ее, а советский — это только тот, который писал при советской власти и был ею признан. Но если мы возьмем всех русских писателей, классиков и современных, не разделяя их по принципу угодности или неугодности господину Федоренко, то картина получится более оптимистичной. Ну возьмем для начала классиков. В Америке много раз издавались и широко известны Толстой, Гоголь, Чехов. Достоевский в Америке и вообще на Западе относится к числу самых читаемых и почитаемых писателей. Горький издавался много раз и был популярен. Потом его популярность упала не только в Америке, но и в Советском Союзе. Из писателей советского периода широко печатались Шолохов, Маяковский, Леонов, Симонов, Зощенко, Замятин, Булгаков, Пастернак, Цветаева, Осип Мандельштам, Надежда Мандельштам, Солженицын, Шаламов, Евгения Гинзбург, Аксенов, Лидия Чуковская, Ахматова, Бродский, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Вениамин

Ерофеев. Список этот можно было бы продолжать и продолжать. Я включил в этот список писателей, которых Федоренко отвергает как не советских. Но его самого нельзя назвать никаким писателем: ни советским, ни несоветским, ни антисоветским. Пожалуй, единственное звание с прилагательным «советский», которое можно к нему приложить, это — советский антиписатель.

Я слышал, что в Москве кто-то из американских писателей заявил протест против присутствия среди них литературного ремесленника Артура Хейли. Если бы американцы имели хотя бы малейшее представление, каких «художников» выставляет советская сторона, если бы они могли вообразить уровень сочинений Ивана Стаднюка, Михаила Алексеева или Анатолия Иванова, Артур Хейли, автор известных в Советском Союзе романов (может быть, и не блестящих талантом, но написанных, во всяком случае, со знанием дела) «Аэропорт», «Гостиница», «Колеса», показался бы им гигантом.

Больше того, американским писателям, которые встречаются, обсуждают проблемы мира и литературы с представителями Союза писателей СССР, я должен прямо сказать, что примерно половина их собеседников — самые настоящие уголовники. Они не только воруют, мошенничают, берут и дают взятки и спекулируют, но еще пишут тайные и явные доносы, клевету и политические обвинения против честных писателей, на основании которых писателей преследуют, лишают возможности печататься, лишают буквально куска хлеба и высылают за границу, а в прежние времена сажали в тюрьму и даже расстреливали.

А что касается самого господина Федоренко, то его деятельность можно сравнить только с деятельностью доктора Геббельса (впрочем, на это сравнение претендуют еще некоторые начальники советской литературы). И, откровенно говоря, я совсем не понимаю, зачем американским писателям встречаться и обсуждать какие бы то ни было проблемы с Федоренко и ему подобными. В литературе он разбирается не больше тюремного надзирателя, а бороться с ним за мир тоже глупо.

Конечно, в Советском Союзе издано довольно много книг американских писателей. Но большинство из них издано именно потому, что их авторы критически описывают американскую жизнь.

Но если представить себе на минуту, что в Америке вдруг восторжествовало советское отношение к литературе, если бы писателей вдруг стали ценить по их преданности существующему в Америке строю, правящей партии и лично правящему президенту, а также чиновникам, управляющим литературой, если бы из несогласных — пару писателей расстрелять, десяток посадить, другой десяток выгнать навсегда из Америки, да пара десятков еще бы и сама после всего этого сбежала, и всех вместе этих писателей считать неамериканскими, вот тогда можно было бы на равных сопоставить достижения обеих сторон в области культурного обмена.

А впрочем, есть и другой путь, более естественный. Вот если бы Его Высокопревосходительство отошло от руководства литературой и занялось каким-нибудь более подходящим ему делом — торговлей джинсами, дубленками или подтяжками, тогда культурный обмен между двумя великими странами не представлял бы, возможно, никакой проблемы.

ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...

Пятьдесят лет тому назад, в августе 1934 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялось грандиозное двухнедельное представление, которое называлось Первым Всесоюзным съездом советских писателей. Съезд торжественно объявил об объединении всех писателей, «поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве».

Один за другим поднимались на трибуну представители новой, дотоле невиданной в мире литературы. Писатели, которые взяли на себя роль коллективного Господа Бога и в кратчайшие сроки обещали создать нового человека. Время от времени под бой барабанов врываются в зал заседания делегации передовых рабочих, колхозников, красноармейцев и пионеров. Они торжественно докладывают о своих небывалых успехах на трудовом фронте и призывают писателей немедленно отразить их подвиги и тем самым создать величайшую литературу, которая по своим достижениям могла бы сравниться с достижениями рабочего класса и трудового крестьянства. (Забегая вперед скажу, что, если опустить все превосходные эпитеты, литература эту историческую задачу полностью выполнила и ее успехи вполне сравнимы с успехами советской промышленности и сельского хозяйства.)

Патока славословий густым потоком лилась на головы лидеров правящей партии во главе с лично вождем всего советского народа, всего мирового пролетариата, всего прогрессивного человечества, лучшим другом советских писателей товарищем Сталиным. Писатели в самых возвышенных и поэтических выражениях славили свое ныне узаконенное положение, задолго до Орвелла объявив рабство высшей степенью творческой свободы.

Съезд вынес много замечательных решений, одним из которых было, что отныне и навсегда все без исключения писатели в своей работе должны пользоваться методом социалистического реализма.

Что это такое?

Официальная формулировка гласит, что социалистический реализм — это правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.

Были и другие формулировки. Один из партийных организаторов съезда на вопрос, что такое социалистический реализм, ответил примерно так: социалистический реализм — это Шекспир, Ремб-

рандт и Бетховен, поставленные на службу пролетариату. Некоторое время спустя классик и теоретик соцреализма Фадеев на вопрос, что это такое, ответил: а черт его знает! И уже, вероятно, в наши дни появилась неофициальная, но вполне исчерпывающая формулировка: социалистический реализм — это воспевание вышестоящего начальства в доступной ему форме.

Председательствовал на съезде основоположник нового реализма Алексей Максимович Горький. Великий пролетарский писатель ронял слезы умиления, видя, как под одной крышей мирно собрались и не грызут друг друга пролетарские писатели, попутчики, представители малых наций, народные акыны, которые, еще не овладев грамотой, уже научились уверенно ставить отпечатки большого пальца в гонорарных ведомостях.

Но пока Горький утирал слезы, смущенно просил не называть его слишком часто великим, бывший аптекарь Генрих Ягода уже составлял для него смесь смертоносных ядов, уже испытывал их на лабораторных крысах, а может быть, и на подобранных с научными целями малых писателях.

На сцене Колонного зала Горький доигрывал свою последнюю роль. История больше в нем не нуждалась. Ну и в самом деле, все что мог, он уже совершил. Образец для подражания следующим поколениям соцреалистов — роман «Мать» — уже написал. Ленина и Сталина прославил. И свою знаменитую фразу: «Если враг не сдастся — его уничтожают» уже пустил в обращение. Что с него еще взять? Как живой организм, который может разьесть по каналам, колхозам, колониям малолетних преступников, произносить речи, умиляться и ронять старческие слезы, он был больше не нужен. Нужно было его имя на вывеске. Улицы Горького, колхозы, заводы, театры, пароходы имени Горького. Ну и город Горький, в котором уничтожался не сдающийся враг — Андрей Сахаров.

Съезд закончил свою работу, делегаты с гостинцами для родственников разъехались по своим городам и аулам, и началась будничная, кропотливая работа по уничтожению литературы и ее создателей.

Говоря о писателях — жертвах советского режима, мы обычно перечисляем одни и те же имена: Бабель, Мандельштам, Булгаков, Платонов, Зощенко, Цветаева, Ахматова, Пастернак...

Одни поминают эти имена с горечью, другие с гордостью. Вот, мол, всегда настоящая русская литература жила, существовала, развивалась, несмотря ни на что. На самом деле, не смотря ни на что, а благодаря партии и лично товарищу Сталину. Потому что товарищ Сталин мог это развитие прекратить в один день и сразу со всеми вышепоименованными писателями покончить. Но он терпел и проявлял индивидуальный подход и даже известную деликатность. Даже Мандельштама, который написал, что его толстые пальцы, как черви жирны, он на полную гибель не сразу отправил. Он дал ему еще возможность в ссылке пожить, написать еще

кое-что дал возможность. Он дал возможность Мандельштаму исправиться. Но Мандельштам и вышешпоименованные не исправлялись. Советскую власть до конца не полюбили. Нет, они, конечно, против нее не выступали, они соглашались считаться социалистическими реалистами. В трудные для себя времена они даже пытались сочинить что-нибудь панегирическое о Ленине и Сталине. Но справедливости ради надо сказать, делали они это неохотно, неумело, не от души. Не было в их сочинениях о Сталине такого неподдельного восторга, как, например, позднее у Исаковского: «Оно пришло, не ожидая зова, пришло само и не сдержат его... Позвольте ж мне сказать Вам это слово, простое слово сердца моего». Как бы высоко ни ценил я перечисленных мною писателей, но льстя Сталину, такой проникновенности никто из них достичь не мог. На самом деле, сердцем они новой власти не приняли, от политики партии и правительства в области литературы и искусства воротили нос, а сами еще что-то писали в стол или старались удержать написанное в памяти и, не сдаваясь до конца, делали вид, что сдались. Поэтому их травили, не печатали, морили голодом, сажали и доводили кого до сумасшествия, кого до самоубийства. Если враг не сдастся — его уничтожают.

А если сдастся?

На этот риторический вопрос однозначно ответить нельзя. Сначала нужно определить, что считать сдачей.

Маяковский начал сдаваться задолго до самоубийства, когда начал наступать «на горло собственной песне». Горький, приняв советскую власть, еще не понял, что надо полностью, а не частично принять и новые правила поведения. Он все еще вмешивался не в свои дела: защищал чьи-то книги, кого-то вызволял из тюрьмы, кому-то выхлопывал квартиру, лекарства или дрова и даже что-то еще писал. То есть сдался процентов на девяносто девять, а один процент своей души пытался от партии утаить и потому оказался достоин уничтожения. Говорят, после его смерти у него были найдены некие записи, прочтя которые, то ли Сталин, то ли кто-то еще сказал: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». На самом деле этот волк в лес уже не смотрел, а так, косился немного.

Я думаю, что некоторые цели советская власть не сразу зловеще вынашивала, а приходила к ним инстинктивно. И то, что литература в целом и всякий существующий в ней отдельный талант являются ее врагами, власть осознала не сразу, а в результате длинной серии проб и ошибок. Ну например, в самом начале некоторые писатели (Бунин, Куприн, Мережковский, Аверченко) новой власти не приняли, плевались, проклинали, эти, ясно — враги. Колебавшихся она стремилась привлечь на свою сторону. Тех, которые приняли ее, но не избавившись от пережитков прошлого, соразмеряли описываемое с реальной действительностью, она надеялась перевоспитать. Но были писатели, которые сразу без коле-

баний стали на сторону власти, честно и самоотверженно пытались приспособить свои книги к вновь выдвинутым требованиям. Оказалось, что и такой писатель, пока в нем остается сколько-нибудь таланта, — тоже враг, достойный уничтожения, причем вовсе не обязательно уничтожать самого человека, достаточно уничтожить заложенный в нем талант.

Всякое художественное дарование оказалось врагом советской власти. Некоторые дальновидные писатели это поняли сразу. Одни просто замолчали, другие ударились в пьянство, Катаев, по-моему, сознательно тридцать лет притворялся бездарным, но некоторые настолько хорошо притворились, что стали бездарными навсегда.

Накануне 1967 года главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский дал интервью «Литературной газете». Перечислив имена авторов, сочинения которых журнал намерен опубликовать в текущем году, Твардовский выразил особое удовольствие, что один из старейших советских писателей, крупный мастер прозы Константин Федин согласился дать журналу новые главы из своего романа «Костер».

За несколько дней до выхода номера с произведением выдающегося мастера в отдел прозы «Нового мира» пришел сотрудник «Недели» (приложение к газете «Известия») и попросил порекомендовать ему для его еженедельника какой-нибудь отрывок из «Костра». Сотрудники отдела прозы переглянулись и затем смущенно признались, что романа они не читали и поэтому никакого отрывка порекомендовать не могут. Сотрудник «Недели» пошел на второй этаж, где располагались в отдельных кабинетах члены редколлегии и главный редактор. Выяснилось, что никто из них тоже не читал печатаемого ими романа. Роман читали только корректоры, в обязанности которых входит исправлять грамматические ошибки. Но даже и они содержания романа не помнили, а одна из корректорш сказала гостю, что он может взять отрывок любой, потому что весь роман одинаково бессмыслен и скучен.

Само собой разумеется, что как только новые главы были опубликованы, чуть ли не все центральные газеты и журналы разразились огромными статьями ведущих критиков о новом большом событии, происшедшем в советской литературе.

А ведь Федин, в отличие от некоторых своих коллег, не был изначально бездарным. Когда-то в двадцатых годах его романы «Города и годы», «Братья» были популярны. Их читали, о них спорили, кто-то их отвергал, кто-то превозносил, но они, так или иначе, возбуждали читательский интерес. Но вот однажды он, может быть, после долгих колебаний решил стать образцовым советским писателем. Начал сочинять книги в соответствии с установленными литературными рецептами. И чем толще были эти книги, чем скучнее, чем большим убожеством отличалось их содержание, тем хвалебнее были рецензии, тем выше были правительственные награды.

К концу своей жизни Федин был академиком, председателем Союза писателей СССР, депутатом Верховного Совета СССР, лауреатом всех высших литературных премий, Героем Социалистического Труда. Все эти награды он получил, лишь многократно доказав, что как писатель он полностью кончился и из-под его пера никогда не выйдет ни одной живой строчки. «Федин похож на чучело орла», — сказал о нем однажды Маршак.

У советской литературы есть свои классики не только мертвые, но и живые, или, точнее сказать, как бы живые. То есть они существуют, они участвуют в бесчисленных торжественных заседаниях, они произносят длинные и скучные речи, время от времени они издают книги, толстые, как кирпичи. Книги этих авторов уже никто не читает. Даже редакторы, даже цензоры. Все заранее знают, что эта книга не будет иметь никакого существенного содержания, что она будет изготовлена в точном соответствии с существующими рецептами, что в ней не будет ни одного живого слова, ни одной свежей мысли. Именно поэтому она будет напечатана немедленно без каких бы то ни было задержек, советская критика встретит ее потоком панегириков, а Советское правительство отметит ее появление высокой наградой. Среди авторов этой категории есть бездарные от рождения, а есть и такие, которые когда-то подавали надежды. К этим вторым правительство даже больше благоволит, чем к первым, и щедро им платит за то, что они добровольно удушили в себе то многое или немногое, чем их наделила природа.

Деградацией личности и таланта платили за благодеяния советской власти все признанные ею корифеи, включая Алексея Толстого, Фадеева, Шолохова.

Падение последнего вообще катастрофично, если поверить, что он является истинным автором «Тихого Дона».

Сначала ошеломительный взлет: в двадцать три года — первый том эпопеи, в двадцать четыре — второй. Когда он закончил последний том, ему было только тридцать пять лет. По существу, еще молодой писатель. Некоторые в этом возрасте только начинают. А он, оказывается, уже закончил свое развитие и дальше пошло неуклонное скольжение вниз. Неуклюжее сооружение — «Поднятая целина», посредственный рассказ «Судьба человека», а потом уже что-то и вовсе беспомощное. Даже в советской литературе найти сочинение, равное по бездарности роману «Они сражались за Родину», не так-то просто.

Чем больше он спивался, чем бездарнее писал, тем неумнее становились официальные почести и восхваления. Только в последние годы, когда он уже вообще ничего не писал, его дважды наградили званием Героя Социалистического Труда.

Талант Шолохова уничтожался многие годы, настойчиво и планомерно. В конце концов он задолго до своей физической смерти умер духовно, превратился в спившееся, растрепанное, злобное и глупое существо.

Если враг не сдается — его уничтожают. Если сдается — его уничтожают тем более.

ЦЕНЗУРА И РЕЦЕПТУРА

Что в Советском Союзе цензура весьма свирепа, известно всем. Она беспощадно вычеркивает из книг художественных и документальных упоминания о фактах или событиях, сыгравших иногда очень важную роль в советской истории. В длиннейший список запрещенных имен внесены вожди Октябрьской революции, гражданской войны, Советского государства, писатели, художники, артисты, философы, диссиденты. Но кроме всех запретов, постоянных и временных, существуют хорошо разработанные рецепты, придерживаясь которых писатель всегда может рассчитывать на благосклонность начальства и официальный успех.

Идеальное произведение социалистического реализма должно подводить читателя к мысли, что советская власть лучше всех.

В центре книги должен быть положительный герой. В прежние времена это был революционный фанатик, как Павка Корчагин, а сегодня законченный идиот, вроде кочетковского секретаря обкома, или сознательный рабочий, утверждающий, что настоящий революционер это тот, кто перевыполняет производственные задания и слушается начальства. Положительный герой — это хорошо сложенный человек нордической расы (русые волосы, голубые глаза, простая русская фамилия, простое имя). Он всегда готов пожертвовать собой ради спасения Родины, знамени, социалистического имущества, ради выплавки стали или сбора урожая. Он много работает, много курит и мало спит. Его отношения с женщинами загадочны. Читает от только Маркса, Ленина и ныне живущего генерального секретаря. Он всегда уверен в правоте своего дела, говорит негромко, но уверенно, руку жмет крепко, смотрит прямо в глаза. В редкие свободные минуты любимое развлечение — рыбалка.

Положительному герою противостоит отрицательный. Он обычно хилый интеллигент, и если даже не прямой вредитель, то Родину спасти не хочет, знамя спасти не хочет, от выполнения планов уклоняется. Руки у него потные, глаза бегают, изо рта пахнет гнилыми зубами. На рыбалку не ходит, вместо этого читает заумные стихи. Фамилия у него обычно смахивает на польскую, хотя совершенно ясно, что он — еврей. Само собой, он настроен антипатриотически, падок на все иностранное (виски, джинсы, джаз). Отрицательно изображаются иностранцы и верующие. (Я читал один антирелигиозный роман, в котором изображалась жизнь секты скопцов. Автор настолько увлекся очернением своих персонажей, что изобразил главу секты очень активным и успешным соблазнителем женщин.)

В образцовом произведении социалистического реализма должны быть обязательно так называемые «приметы нового». Скажем, если положительный герой объясняется в любви положительной героине, она в самый патетический момент прерывает его таким, например, возгласом: «Ой, спутник летит!»

Образцовый советский писатель должен проявлять особую чуткость в национальном вопросе. Если в произведении действуют русский и таджик, таджик должен быть обязательно хорошим, но русский должен быть чуть-чуть лучше.

Все эти рецепты примитивны и выглядят так же идиотично, как выглядело бы, скажем, требование строить космическую ракету в виде серпа или молота.

ПРАВДА ФАКТА И ПРАВДА ЭПОХИ

«Пишите правду», — сказал как-то Сталин советским писателям. Неужели правду?..

А что такое правда? — спрашивает образцовый советский критик. И объясняет: нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. Есть правда факта и есть правда эпохи. Сталинские лагеря, разорение крестьян, скудная жизнь рабочих, коммунальные квартиры, очереди, повальное пьянство, презрение людей к официальной идеологии — все это — правда факта. Цветущие колхозы, рабочие, которые думают только о перевыполнении планов, массовый трудовой героизм, баснословно растущее благосостояние, беззаветная преданность народа идеям коммунизма — это правда эпохи.

Опять-таки вроде по Орвеллу, но на самом деле задолго до Орвелла утверждено: правда — это ложь, а ложь — это правда.

Считается, что литература должна служить народу. А как служить?

Это определяет партия. Точнее, ее верховные руководители. Сами они книг, как правило, не читали и не читают. На родном языке изъясняются косноязычно. Иноязычные слова вроде социалистический, коммунистический, империалистический, повторяя в течение всей своей затянувшейся жизни изо дня в день, не могут правильно выговорить, не вспотев. Они искренне не понимают, для чего нужна литература и зачем тратить на нее государственные деньги. Они и того не понимают, что на литературу и денег тратить не нужно, что книга не только духовная (им непонятная) ценность, но и товар, который можно купить-продать иногда даже выгоднее, чем мешок картошки. Поэтому в конце концов они приходят к естественной для них мысли, что литература нужна для восхваления. А кого восхвалять? Ну конечно же, в первую очередь их самих. Они говорят писателю иногда более, иногда менее завуалированно: восхваляй нас и ты получишь все. Если писатель уклоняется

от восхваления, они его просто не понимают, они искренне думают, что он или дурак, или сумасшедший.

Некоторые люди попроще думают так же. Один мой родственник, узнав о моих невзгодах, специально приехал из провинции ко мне, чтобы научить меня, как выйти из положения. «Пиши про Брежнева», — сказал он, считая, что я, как человек не от мира сего, сам додуматься до этой нехитрой мысли не мог.

Впрочем, среди партийных начальников есть и такие, которые готовы допустить, что литература нужна не только для восхваления, но для чего-то еще. «Литература, — говорят они, — должна способствовать нашему движению вперед». Ну например, способствовать выполнению производственных заданий по выплавке чугуна, производству автомобилей или уборки урожая. Подобно герою твенновского «Янки при дворе короля Артура», они хотели бы использовать писателя, привязав к его пишущей руке хотя бы маленькую динамо-машину для производства электроэнергии.

В свое время у меня был один знакомый секретарь сельского райкома КПСС. Он меня очень уважал и интересовался тем, что я пишу. Однажды я дал ему почитать свою повесть, которая кончалась тем, что герой сгорел в избе, случайно подожженной сумасшедшей старухой. Секретарю повесть понравилась. Он даже сказал мне, что, читая повесть, он плакал. Но ему захотелось тут же ее улучшить и приспособить к текущим нуждам. Он сказал мне примерно так: «Ты знаешь, повесть хорошая. Но зачем эта сумасшедшая старуха? Она никому не нужна. А вот к нам в колхозы приходят калориферы с дефектами. И из-за них на полевых станах бывают пожары». Искренне желая мне помочь, он предложил мне переделать конец повести, чтобы пожар случился из-за дефектного калорифера. Дал адрес калориферного завода и назвал фамилию директора, чтобы я указал ее в своей повести. И очень огорчился, когда я отверг его предложение. Этот секретарь райкома занимался сельским хозяйством. Его советы были от чистого сердца и практических последствий для меня не имели. Но его вполне могли перебросить с сельского хозяйства на литературу, и тогда разговор был бы другим.

Впрочем, и переброшенным быть не обязательно. Вмешиваться в литературу, поправлять писателей, исправлять или даже запрещать ими сочиненное могут все кому не лень, независимо от уровня их компетенции. Например, одна моя пьеса была запрещена потому, что не понравилась председателю Президиума Верховного Совета СССР Подгорному, который обычно всем видам интеллектуальных развлечений предпочитал домино. Редактор молодежной газеты получил выговор, напечатав мое стихотворение, которое не понравилось министру обороны СССР маршалу Малиновскому. В песне на мои слова одна строчка была исправлена по указанию космонавта Поповича. После разносной статьи одного маляра в газете «Известия» из моей книги был выброшен лучший рассказ.

ЛИТЕРАТУРА ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ПОБОЧНАЯ

Среди специалистов, изучающих русскую литературу советского периода, есть такие, которые достижения этой литературы оценивают весьма благосклонно. Они указывают, что даже в самые тяжелые времена литература не прекращала своего существования, в ней жили и работали... дальше идет уже приведенный мною список: Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак... Это, конечно, так. Но нельзя забывать следующее: среди писателей, состоявших в Союзе писателей и издававшихся в советских издательствах, всегда существовали две категории, которые были так же похожи друг на друга, как волк на овцу.

Первую категорию можно назвать государственной. Это писатели, которые прочно завоевали доверие советской власти, занимают или высшие должности в Союзе писателей или являются главными редакторами толстых журналов. Кроме того, они бывают депутатами Верховного Совета СССР или РСФСР, членами или кандидатами в члены ЦК КПСС. Сочиняемое ими рассматривается как дело государственной важности. Никакой редактор не может отвергнуть их рукописи по собственному усмотрению. Если ему в рукописи что-то не нравится, он может поговорить с автором или обратиться в ЦК, а там уже решат окончательно, как быть. После выхода книги государственного писателя никакой критик, никакая газета не имеют права отзываться о ней негативно, если только на это не последует специальной команды сверху. Если все же оказывалось, что государственный писатель совершил ошибку, его поправляли только на уровне ЦК или сам Сталин. Ошибка могла быть только одна: государственный писатель недостаточно отразил роль партии. Такие ошибки в свое время совершили Фадеев в «Молодой гвардии» и Шолохов в «Тихом Доне». Партия их поправила, они свои труды переработали (Шолохов многократно), после чего книги их были приняты и навечно зачислены в список классических.

Теперь государственные писатели уже полностью созрели, подобных ошибок не совершают, роль партии отражают сверх всякой меры и Центральному комитету больше нет нужды не только поправлять, но даже читать их.

Вторая категория — это писатели побочные, идущие не по столбовой дорожке советской литературы, а где-то в стороне от нее. И пишут они обычно не о передовиках производства, не о тружениках полей, не о секретарях обкомов-райкомов, а о каких-то чертях, заключенных, самоубийцах, пьяницах и жителях коммунальных квартир, которые бьют друг друга сковородкой по голове.

С побочным писателем можно обращаться как угодно. Его можно печатать, можно не печатать, можно хвалить, можно ругать, можно и вовсе не замечать, пока кто-нибудь не обратит внимание, что побочный писатель приобрел непредусмотренную популярность у читателей, которым почему-то все эти черти, пьяницы и самоубийцы нра-

вятся больше, чем секретари обкомов и передовики производства.

К литературе, которую я называю побочной, относятся самые лучшие писатели советского периода. Среди них нет ни одного, который бы прожил свою жизнь благополучно. Их убивали, сажали, травили, поливали помоями, обещали им место на свалке истории, от официальной советской литературы их отлучали. Поэтому они к ней не принадлежат.

Через некоторое время после смерти их иногда печатают, но неохотно. Почитают все же не их, а их палачей. В Советском Союзе есть улицы имени Павленко, есть дом творчества имени Серафимовича, дом литераторов имени Фадеева, библиотека имени Федина, музей Николая Островского и город Горький.

Но никакие библиотеки, музеи, улицы и теплоходы не названы именами Булгакова, Платонова, Зощенко, Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой и Пастернака.

И правильно. Я бы лично очень не хотел, чтобы эти два ряда имен смешивались.

Истинной советской литературой является то, что Советским государством всегда поощрялось, признавалось и награждалось, что было создано в полном соответствии с научно разработанным методом социалистического реализма. В оценке достижений этой литературы я полностью согласен с самыми ортодоксальными советскими критиками и на вершину ее охотно ставлю «Мать» Горького и поэму Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Без сожалений отдаю «Разгром» Фадеева и «Чапаева» Фурманова. Парализованный Николай Островский сам втащил на эту вершину свой роман «Как закалялась сталь». «Тихий Дон» в литературу социалистического реализма не вписывается, он для нее слишком человечен и даже после многократного уродования не отвечает ее основным требованиям. (Дикий казак Мелехов, который успешно рубает большевиков, вряд ли может считаться образцовым положительным героем советской литературы.) А вот «Поднятая целина» или «Они сражались за Родину» вписываются в литературу соцреализма очень естественно. С удовольствием уступаю этой литературе «Железный поток» Серафимовича, «Цемент» Гладкова, «Бруски» Панферова, «Костер» Федина, все романы Кочетова, Маркова, Сартакова, Бондарева, Стаднюка, Закруткина и еще тысячи книг-кирпичей, которые по отдельности можно подкладывать под шкафы, а из всех вместе можно сложить Вавилонскую башню как памятник этой мертворожденной литературе.

Из книг, написанных побочными писателями, башню не возведешь. Их может быть, даже не хватит, чтобы заполнить одну книжную полку. Но они пережили своих создателей и уничтожителей. Эти книги нельзя ни расстрелять, ни утопить в помоях клеветы, ни упразднить постановлениями верховной власти, ни удушить замалчиванием. Горький был не прав. Если враг сдастся, его уничтожат. Если он не сдастся, его уничтожить нельзя.

ДЕТИ ОТТЕПЕЛИ

Период советской истории, называемый оттепелью, достоин более подробного рассмотрения, но я коснусь его мимоходом. Некоторые люди утверждают, что вообще никакой оттепели не было. Другие относятся к ней более благосклонно. Я пойду еще дальше, сказав, что оттепель вообще была поворотным пунктом в истории Советского государства. Какими бы робкими и непоследовательными ни были хрущевские разоблачения Сталина, они независимо от истинных намерений Хрущева подорвали идеологическую основу государства, последствия чего государство еще не изжило и не изживет никогда. Когда оно рухнет или в корне изменится (а если не окажется способным измениться, то непременно рухнет), истории неизбежно вернуться к оттепели как к источнику, с которого все началось.

Оттепель есть оттепель. Это еще не весна. Но лед тает, превращается в еще холодную воду, а в воде возрождается какая-то жизнь.

Во время оттепели кое-что оттаяло в Советском Союзе, и в первую очередь это сказалось на литературе. Она стала оживать. В ней ожили старые организмы и появились новые. В литературу стали просачиваться писатели, существование которых еще недавно было немислимо. В конце концов составила довольно большая группа, которую нынешний надзиратель при литературе Феликс Кузнецов назвал четвертым поколением. Принадлежа к этому поколению, я могу сказать, что все мы независимо от наших взглядов, вкусов и способностей были вроде как новые попутчики. Советскую власть формально признавали. Формально признавали и социалистический реализм. Но практически всю литературу, созданную с помощью этого метода, отрицали, к старшим своим коллегам относились с презрением, учились кто у Бунина, кто у Чехова, кто у Хемингуэя или Сэлинджера, но ни в коем случае ни у Федина, ни у Гладкова. Этот процесс расширялся и вовлек в себя писателей старших поколений, которые, отмерзнув, ожили и тоже побежали вдогонку за молодыми. Родилась и как-то существовала, лезла во все дырки литература, которую по установленным ранее признакам можно было бы смело назвать если не антисоветской, то очернительской. Власти время от времени спохватывались, затыкали одни дырки, но открывались другие. Процесс завершился приходом в литературу Солженицына, который уже даже и не выдавал себя за попутчика. Повесть «Один день Ивана Денисовича», в которой не было совсем ничего советского, была не только напечатана, но и выдвинута на Ленинскую премию.

Власти очень скоро спохватились, но было уже поздно: джинн из бутылки вылез. (Не будь оттепели, учитель на пенсии Солженицын в лучшем случае жил бы сейчас в Рязани, тайком переписывая свои «узлы» или «крохотки».)

Короче говоря, в результате «оттепели» родилась литература, с которой власти борются до сих пор.

Сегодняшние сколько-нибудь заметные писатели — «деревенщики», «горожане» и эмигранты — это все дети оттепели.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА НОВОМ ЭТАПЕ

В процессе уничтожения литературы советская власть совершила много ошибок. Желая затмить Шекспира, она брала талантливого писателя и ломала его. Сломленного духовно производила в государственные писатели, несломленного сживала со света физически. Вся эта большая и напряженная работа оказалась совсем бессмысленной. Выяснилось, что книги физически уничтожавшихся писателей живут, а книги уничтожителей превращаются в макулатуру. Писатель, сломленный духовно, бездарел на глазах и начинал писать на уровне, доступном самому заурядному партийному номенклатурщику. Так зачем же тратить столько усилий на превращение писателя в номенклатурщика, если гораздо проще номенклатурщика произвести в писатели? Если номенклатурщик может руководить литературой, то почему бы ему ее не производить?

Литература всегда обновляется. На смену старым поколениям приходят новые. Когда-то по полуофициальной советской хронологии поколения считались приблизительно так: первое — после-революционное, второе — предвоенное, третье — послевоенное, четвертое — оттепельное, постсталинское. Пятое поколение в советской литературе не появилось до сих пор. Вместо него на литературную сцену вышла новая порода писателей.

КРУПНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И БОЛЬШОЙ ПИСАТЕЛЬ

В самом конце шестидесятых годов я был не только членом Союза писателей, но и членом Бюро объединения прозы. Однажды шло очередное заседание Бюро. Сначала обсуждались какие-то второстепенные вопросы, потом дошли до приема новых членов.

Как раз в это время в комнату вошли два секретаря Московского отделения Союза писателей Лазарь Карелин и Виктор Ильин, бывший генерал КГБ.

— Товарищи, — объявил Карелин, — у нас сегодня радостный день. К нам поступило заявление от Николая Трофимовича Сизова о приеме его в члены Союза писателей. Товарищ Сизов — крупный государственный деятель и большой писатель...

Литературная карьера товарища Сизова началась почти на моих глазах. Когда-то я работал на радио, где Сизов был моим прямым начальником. Должность его называлась начальник главка полит-

вещания Всесоюзного радио. Поскольку он был номенклатурным работником, партия его кидала, куда хотела. В один прекрасный день он вдруг был переведен из радиокомитета на должность начальника московской милиции и получил звание генерал-майора. Потом стал заместителем председателя Моссовета. Потом генеральным директором киностудии «Мосфильм», где работает, кажется, и сейчас.

Когда он был начальником милиции, к нему обратился главный редактор журнала «Октябрь», классик советской литературы Кочетов с просьбой прописать кого-то из его родственников в Москве. Начальник милиции не отказал. А главный редактор «Октября» напечатал роман начальника милиции. Потом пошли в печать другие романы, повести и рассказы. Героем одного из романов Сизова был секретарь обкома с деталями биографии Хрущева. Так родился еще один советский писатель. Справедливости ради надо сказать, что Сизов пишет не хуже того же Карелина и не хуже большинства секретарей Союза писателей, потому что хуже некуда.

При Сталине партийные чиновники, приставленные к Союзу писателей, оставались партийными чиновниками и называть писателями себя опасались. Сталину, который, между прочим, запретил печатать свои собственные юношеские стихи, это могло не понравиться. В хрущевские либеральные времена чиновники стали просачиваться в литературу, а при Брежневе повалили в нее валом. Сейчас в советской литературе коррупция процветает не хуже, чем в торговой системе.

Быть писателем почетно: сразу попадаешь в одну компанию с Пушкиным и Толстым. Быть писателем выгодно, потому что толщина книг, тиражи, а соответственно и гонорары зависят не от качества и не от читательского спроса, а исключительно от места в советской иерархии. Быть писателем безопасно, потому что взятки здесь дают не из руки в руку, а из кассы в кассу. Ты меня напечатал, я тебя напечатал, оба пошли и получили гонорар самым законным образом. Гонорары, между прочим, в отличие от зарплат не ограничены. Коррупция развивается и совершенствуется. Раньше один главный редактор печатал другого, а тот наоборот. А теперь еще приходится печатать тех, от кого зависят другие жизненные блага. И пошли в литературу милиционеры, кагэбэшники, директора магазинов и финских бань, начальники жилуправлений и председатели дачных кооперативов. И все с солидными рекомендациями. Генерала Сизова рекомендовал Леонид Леонов. Полковника КГБ Иванько — Виктор Шкловский. Восторженное предисловие к книге генерала армии от КГБ Цвигуна писал Вадим Кожевников. (Тут еще одна тема возникает попутная: растление литературы дошло до того, что совершенно стерлись всякие грани между профессиональным писателем и пришедшим по блату. Кагэбэшник Цвигун на самом деле писал не хуже «профессионала» Кожевникова, а Кожевников не лучше директора магазина.)

А уж когда маршал Брежнев начал издавать свою трехтомную мифологию, все советские классики, секретари Союза писателей, герои Социалистического Труда и лауреаты в один голос устно и печатно объявили книги маршала неподражаемыми шедеврами, сравнимыми лишь с лучшими (а не любимыми) страницами «Войны и мира».

ОРДЕН БЕЗ СПРАВКИ

Просматривая «Литературную газету» от 16 декабря минувшего, 1987 года, наткнулся на статью «Если говорить о чести», подписанную Михаилом Алексеевым, Егором Исаевым и Иваном Стаднюком. И заинтересовался. Я всегда знал, что подписавшие статью имеют о чести весьма своеобразное представление, и вот теперь мне представилась возможность ознакомиться, что же они все-таки в это понятие вкладывают.

Прочел. Оказывается, авторы защищают своего коллегу писателя Ивана Падерина от необоснованных обвинений. Обвинения были высказаны в газете «Труд» от 16 сентября 1987 года ветераном Отечественной войны полковником Дунаевым и специальным корреспондентом этой газеты Дмитриевым. Статья в «Труде» называлась «Чужой орден», и в ней речь шла о том, что член Союза писателей Иван Григорьевич Падерин в течение сорока с лишним лет вместе с другими своими заслуженными или незаслуженными наградами носил орден Красного Знамени, который принадлежал не ему, а убитому в марте 1945 года на подступах к Берлину гвардии сержанту Николаю Кривоносову. Падерин носил этот орден, не имея на него никаких прав и никакого необходимого в подобном случае документа. С этим отличием, как говорится в «Труде», наш орденосец ходил на демонстрации, сидел в президиуме и даже фотографировался для своего личного дела. Когда дошло до разбирательства личного дела, Падерин стал утверждать, что этот орден он сам с убитого сержанта не снимал. Орден был вручен ему в конце войны командующим армией Василием Ивановичем Чуйковым, будущим Маршалом Советского Союза. Орден Чуйков Падерину дал, а никакой справки на награду не оформил. Сорок лет носил наш герой орден, выпятив грудь и умалчивал об отсутствии справки, а тут вдруг дело почему-то раскрылось. Какие-то недоброжелатели стали требовать справку и, не получив ее, стали опрашивать боевых соратников орденосца, полезли в архивы и в личное дело Падерина. Личное дело Ивана Григорьевича тоже, оказалось, изобилует сообщением о подвигах, которых наш герой никогда не совершал. Не водил он в бой за Москву четыреста замечательных сибирских парней, потому что упомянутые парни сформировались в батальон уже после того, как битва за Москву была окончена, а сам писатель служил уже не там и не комиссаром, как сообщал в своих вдохновенных воспоминаниях, а информатором в политотделе

62-й армии. Информатором — это значит не стукачом, как некоторые прожженные и циничные читатели могут подумать, а инструктором по информации. Впрочем, эти две роли некоторые люди успешно совмещали: то есть информировали своих сослуживцев о том, что происходит на фронте и в тылу, а затем информировали особый отдел, кто и как реагировал на информацию. В воспоминаниях Падерина рассказывается и еще о многих подвигах, которых не было. Не падала возле его блиндажа на Мамаевом кургане авиационная бомба, не заменял он на Зееловских высотах раненого командира полка, не вылезал первым из траншеи, не увлекал в бой солдат и не бежал впереди всех с развернутым знаменем. И вообще, по мнению того же самого командира, который ранен не был и в замену не нуждался, Падерин на поле брани вел себя так, что «его не за что было награждать». А что касается конкретного ордена Красного Знамени, то в тот день, когда этот орден якобы был вручен, наш герой и будущий писатель получил не орден, а партийное взыскание.

Через сорок с лишним лет пришлось нашему орденоносцу вернуть свою высокую награду в тряпицу и принести ее в военкомат по месту жительства. Такая вот славная история в изложении авторов газеты «Труд».

И вот Михаил Алексеев, Егор Исаев, Иван Стаднюк, сами за свои ратные, литературные и околотрудовые подвиги очень щедро осыпанные всякими орденами, званиями и премиями, три месяца терпели, а потом не выдержали и обрушились на авторов «Труда» со всей мощью своих незаурядных талантов. О возвращении героем ордена пишут так: «Полковник в отставке Падерин, человек дисциплинированный, отнес награду в военкомат. И принес его не в тряпице, а в колодке всех своих военных и мирных наград. На место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов, которого он был удостоен за писательский труд, и медаль «За боевые заслуги», которая раньше ему не была вручена».

Я хочу отклониться немного от сути дела и обратить внимание на стиль наших признанных мастеров слова, соединивших воедино свои таланты. Падерин отнес награду, а принес «его». Кого-чего? Награда всегда была словом женского рода, а у них перешла в мужской. Падерин ее-его доставил в колодке, в которой на место снятого ордена был укреплен орден Дружбы народов. Это, как говорится, нескладушки-нелладушки. Если он орден Красного Знамени нес в колодке, то как же на место этого ордена был прикручен другой? Причем на это самое место он прикрутил и орден, и полученную тут же медаль. Кстати сказать, медаль весьма малоценную. Так что вроде как бы получил сдачу.

Но вернемся к статье наших писателей-адвокатов. Защищая попавшего в беду собрата, они не только не развеивают, а, напротив, весьма усугубляют наши сомнения в моральных качествах подзащитного. Например, говорят, что Падерин обвинялся в незакон-

ном ношении еще одного ордена, что на Зееловских высотах он не нес знамя, а сопровождал несущих (при этом всегда интересно знать, сопровождал на каком расстоянии).

В этой полемике есть еще кое-что интересное.

Авторы обеих статей в «Литературке» и в «Труде» подкрепляют свои доводы ссылкой на письменные свидетельства сослуживцев Падерина. Один из них в «Труде» пишет так:

«...откуда и от кого взято, что Иван Падерин является активным участником сталинградских боев. Как мне известно, он все три месяца ожесточенных боев (сентябрь, октябрь, ноябрь 42-го года) находился на левом берегу Волги при втором эшелоне штаба 62-й армии, в 5–7 километрах от Волги, не имея в руках ни винтовки, ни автомата. Может быть, сам Падерин скажет, в какой роте, батальоне или полку он состоял в боевом расчете? Я уверен, на этот вопрос он не ответит».

Другой в «Литгазете» ему решительно возражает: «Ивана Падерина я лично знаю с сентябрьских дней 1942 года, с тяжелых боев за Сталинград. На моих глазах он, комиссар батальона, поднимал солдат в атаку, останавливал панику, рассеивал страх и растерянность... В последнем штурме Берлина он вел солдат на штурм имперской канцелярии, где располагалась ставка Гитлера...»

Этот второй свидетель очень авторитетный — тот же самый маршал Чуйков, герой Сталинградской битвы. Именно он упомянутой 62-й армией и командовал.

Значит, вопрос «от кого взято, что Падерин был активным участником сталинградских боев» отпадает? Он и мог бы отпасть, но дело в том, что первое свидетельство написано позже второго (я поменял их местами), причем оба они принадлежат Чуйкову.

Как это получилось? Авторам опровержения не хотелось бы вдаваться в объяснения, но — гласность, так гласность! — они объясняют, послушайте:

«Фронтная дружба надолго связала писателя с прославленным командиром Чуйковым. Когда маршал, по горло занятый важнейшими оборонными обязанностями, задумал поделиться своим жизненным и боевым опытом, то о помощи он попросил Ивана Падерина. Мог ли отказать своему любимому командиру бывший комиссар!» — задают авторы патетический вопрос и ставят восклицательный знак. «И писатель, — продолжают они, — засел за работу. В издательской практике существует такой вид работы: литературная запись».

И вот в записи Ивана Падерина появляются книги Василия Ивановича Чуйкова «Начало пути» («Сражение века»), «Закалялась молодость в боях», «Конец третьего рейха». Объем написанного составил более 70 печатных листов.

Незнающим объясню, что печатный лист — это приблизительно 24 страницы машинописного текста. То есть примерно 1700 страниц печатного текста наката наш орденосец за любимого маршала.

Можно произвести и еще один подсчет. По установленным в Советском Союзе ставкам писатель за обыкновенное по своим достоинствам произведение и при тираже до 15 тысяч экземпляров получает 300 рублей гонорара за печатный лист. Выдающиеся произведения (а произведения маршалов всегда бывают выдающимися) оцениваются в 400 рублей за лист, при двойном тираже до 30 тысяч экземпляров оплата удваивается, а за двойным тиражом следует оплата за массовый тираж (маршалы иначе как массово не издаются). Короче говоря, по самым скромным расчетам, за свои книги без учета переизданий маршал получил по крайней мере 70 000 рублей. А Падерин, имевший право на половину гонорара, не получил от маршала ничего. Но не возражал. Потому что в те годы, как сообщают нам те же авторы, отношения маршала и писателя отличали «взаимная приязнь, дружелюбие, взаимопомощь». В чем проявлялась помощь Падерина маршалу, ясно. А чем маршал помогал Падерину, не говорится. Уж не сочинением ли свидетельств о подвигах сочинителя? Или, точнее, только их подписанием. Сочинить себе лучшие характеристики, набивши руку на маршальских мемуарах, Падерин мог и сам. Но почему за сорок лет дружбы маршал так и не выдал писателю справки на орден, непонятно. Он, конечно, мог и не помнить, что Бог знает когда выдал кому-то орден, а справку не дал. Но судя по дальнейшему развитию событий, он это почему-то помнил.

Трогательная дружба между маршалом и писателем кончилась, не выдержав первого испытания. Видимо, восхищенные сочинениями маршала издательские работники предложили ему к его 80-летию написать еще одну книгу. Ну у маршала был уже немалый литературный опыт, и он знал, как это делается. Он снял телефонную трубку: «Иван, тебе уже все знакомо. Садись за работу».

Иван к тому времени перенес три операции, почти совсем ослеп и потому своих собственных книг уже почти не писал. Но любимому маршалу отказать не посмел и накатал еще 41 печатный лист (больше тысячи страниц!) под названием «От Сталинграда до Берлина». Всего, значит, написал наш писатель за маршала около трех тысяч страниц. Если эти страницы помножить на тиражи, то от Сталинграда до Берлина можно всю дорогу застелить. Написавши последнюю книгу, осмелел Падерин и потребовал у маршала полгонорара. Маршалу это не понравилось. Он стал отбиваться. Тем более, человек с опытом. Он даже от фельдмаршала Паулюса в свое время отбилась. А уж от своего Ивана отбиться легче.

И вот, лишенный литературной помощи, маршал сам стал писать по инстанциям, что под Сталинградом Падерина вообще никто даже не видел, а под Берлином орден Красного Знамени ему никто не вручал. А Падерину и крыть нечем, вручал маршал или не вручал, а справки-то нет. И пришлось нашему орденоносцу нести в военкомат свой орден завернутым в тряпицу или в колодке других орденов, в чем именно, не так уж важно.

А важно вот что. Защищая своего сотоварища, Михаил Алексеев, Егор Исаев и Иван Стаднюк сами не понимают, что пишут. А казалось бы, должны понимать, что искусство слова не прямо действует, а как-то иначе. Если, например, Гоголь пишет: «Хороший человек Иван Иванович», то это еще не значит, что Иван Иванович и нам очень понравится. Так вот и в сочинении наших писателей и Иван Григорьевич Падерин, и Василий Иванович Чуйков выглядят весьма отвратительно. Легендарный маршал, оказывается, снимает с убитых ордена и дает их кому попало без справки, эксплуатирует беззащитного и слепого писателя, деньги заживает и пишет об одном и том же человеке сначала одно, а потом совсем другое.

Но и писатель хорош. Ни чести, ни чувства собственного достоинства. Барин командует: «Иван, пиши!» Иван садится и хоть слепнет, а пишет. Три тысячи страниц. Да на такую каторгу не то что за орден Красного Знамени, а и за Золотую Звезду Героя не каждый согласится. Тем более что орден этот — снятый с убитого, да еще без справки.

Надо сказать, что и встающие из текста образы авторов симпатии не вызывают. Видно, что демагоги. Чувствуя, видимо, что их доказательства недостаточно убедительны, украшают образ бедного Ивана положительными анкетными данными. Из рабочей семьи, с детских лет «тянул семьюшу» из семи человек, женился на осиротевшей девочке-комсомолке, а потом совершал подвиги, а потом бескорыстно трудился. И одновременно бьют на жалость, сообщая о бессоннице, сердечных приступах и слепоте своего подзащитного. Это уже прием откровенно спекулятивный. Падерин находится в том возрасте, когда «люди часто болеют, слепнут и глохнут». Но и в таком состоянии носить чужие ордена все же не следует.

Тем более что ценность орденов со временем падает. Людей, получавших их за настоящие боевые подвиги, становится все меньше и меньше, а количество орденов не уменьшается. У меня есть один знакомый молодой человек, немец. Он коллекционирует советские ордена, покупая их в магазине для нумизматов. Там — своя иерархия ценностей. Чем реже орден, тем выше цена. Так вот, орден Красного Знамени там относится к категории недорогих. А уж орден Ленина, который вообще дают кому и за что попало, тот и вовсе стоит всего ничего. Марок, если не ошибаюсь, тридцать. Это по официальному советскому курсу немного больше десяти рублей. Так что если Падерин после всей этой истории не занесен в число невыездных, он может приехать сюда и на сэкономленные деньги вместо джинсов или магнитофона купить себе высший советский орден. При этом ему обязательно выдадут справку, что указанный орден куплен там-то и там-то за столько-то марок. То есть приобретен на вполне законных основаниях.

1988

ЧЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ МОЛЧАНЬЕ...

Советская литература приблизилась к идеалу, к которому она с самого своего зарождения инстинктивно стремилась. Разработаны и доведены до абсурда писанные и неписанные правила поведения для писателей и правила, по которым сочиняются книги. Все регламентировано. Существует иерархия положительных героев. Формально главным положительным героем советской литературы является, конечно, Ленин. Ежегодно сотни советских писателей пополняют так называемую Лениниану написанными на языках всех народов СССР романами, рассказами, поэмами, пьесами, киносценариями о самом Ленине и его ближайших родственниках. (Само собой разумеется, в большинстве этих сочинений вождь мирового пролетариата выглядит, как и полагается идеальному герою соцреализма, человеком довольно придурковатым.)

Фактически же главным положительным героем советской литературы является не Ленин, а здравствующий ныне вождь. При Сталине это был Сталин, при Хрущеве — Хрущев, при Брежневе — Брежнев. Андропов и Черненко правили слишком коротко и литературными героями стать не успели. Но появление нового главного героя предугадать нетрудно. Это будет секретарь какого-нибудь южного обкома, молодой, энергичный, демократичный (встречается с народом на улицах) и образованный (с двумя дипломами — юридическим и агрономическим). Фамилия у него будет вначале вымышленная. Но когда культ личности нового генсека окончательно сформируется, тогда его можно будет выводить и под собственным именем.

Само собой разумеется, не только герои, но и писатели строго расставлены по ранжиру. Секретарь Союза писателей СССР считается писателем лучшим, чем секретарь Союза писателей РСФСР, а тот, в свою очередь, ценится выше секретаря областной или городской писательской организации.

В строгом соответствии с должностью распределяются эпитеты: выдающийся, известный, видный. Чем выше должность, тем обильнее юбилейные славословия и пышнее похороны (кстати, и места на кладбище тоже — по чину).

Высшие писатели примыкают к партийной номенклатуре. Продукты получают из партийных распределителей, отдыхают в цеховских санаториях, лечатся в кремлевских больницах.

Тиражи книг — огромные, гонорары — фантастические.

Критиковать этих небожителей категорически запрещено.

Живая литература была врагом нового строя, теперь этот враг повержен, растоптан и почти уничтожен.

От той литературы, которую я называю побочной (последнего поколения), в России тоже уже почти ничего не осталось. Одни эмигрировали, другие (Шукшин, Казаков, Трифонов) умерли. Всех сколько-нибудь серьезных писателей, существующих еще (побочно) в официальной литературе, можно пересчитать по пальцам.

Но все они, как я уже сказал, — дети оттепели. Самым младшим из них — под пятьдесят. У большинства из них их главные книги уже позади. Будущее литературы принадлежит литературной молодежи. А где она?

В пределах официальной литературы ее не видно. Молодые писатели, как правило, не заведуют ни банями, ни магазинами, взять с них нечего, кто же их будет печатать и для чего?

В одном американском университете меня как-то спросили, а что, собственно, нужно молодому писателю, кроме бумаги и карандаша? Я ответил тогда и сейчас повторяю: еще ему нужны издатель и читатель. Для того чтобы развиваться, нужно печататься, получать читательские отклики, поддержку, одобрение и критику старших писателей. Без всего этого молодой писатель, как правило, теряет ощущение, что кому-то его работа нужна, гложет, задыхается, озлобляется и может никогда не состояться.

Я говорю в основном о прозе, потому что поэзия более неприхотлива, легче распространяется (стихотворение легко переписать или запомнить) и живет в самых трудных условиях. А с прозой плохо. И уж, во всяком случае, в пределах официальной советской литературы, при существующих в ней сегодня порядках я никаких новых открытий и достижений в этом жанре не жду.

Но все-таки до конца литературу уничтожить нельзя. В периоды вынужденного молчания питающая ее энергия накапливается. Когда спадет или хотя бы ослабнет гнет (а это когда-нибудь да случится), накопленная энергия вырвется наружу и родится новая, большая, а может быть, даже и великая литература.

Как сказал Николай Ушаков:

Я приучился слов звучанье
Хранить в подвалах и беречь.
Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь.

ГЕРОИ И КАВАЛЕРЫ

Публикация в журнале «Юность» первой книги моего романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» вызвала, как говорится, довольно оживленный поток читательских откликов.

Отклики самые разные. Есть весьма для меня лестные, есть так-сяк, а есть, не скрою, и очень ругательные. Чтобы не радовать ругателей, скажу сразу, что они все-таки проигрывают в количестве со счетом примерно один к десяти. Ну о тех, которые хвалят Чонкина, я сейчас говорить не буду, хотя это несправедливо; поговорим о тех, кто ругает или, например, недоумевает.

Один читатель написал мне так: «Мои дети говорят, что ваша книга смешная, а я этого не понимаю, а они надо мной смеются.

Нельзя ли в следующих ваших книгах юмор выделить жирным шрифтом или курсивом, чтобы сразу было понятно, что к этому месту серьезно относиться не надо». Я ответил этому человеку, что не знаю, как отнестись к его совету, поскольку сам совет ни жирным шрифтом, ни курсивом из текста никак выделен не был.

Отсутствие чувства юмора или литературного вкуса — недостаток распространенный, но прощительный до тех пор, пока носитель недостатка не начинает учить, над чем нельзя смеяться и о чем можно писать. Между прочим, такой учитель — это, по-моему, чисто советский продукт. Нигде за пределами СССР я не видел, чтобы люди, не читающие книг, давали указания, как их надо писать. А наш продукт указания дает и точно знает, что именно литература ему задолжала и что задолжал писатель. Писатель, с точки зрения продукта, есть паразит, которого продукт кормит обильно и обычно зазря. Кормя паразита, продукт вправе ожидать, что тот, накушавшись, воспевает продукта всякие подвиги — трудовые и ратные, изобразит продукту его самого в самом лучшем виде и представит ему пример для подражания, списанный с него же. Вообще идеальное изображение продукта — это памятник на Новодевичьем кладбище, где изображенный, в мундире с выбитыми один к одному звездами, орденами и пуговицами, а в одном случае даже с гранитной телефонной трубкой, приложенной к гранитному уху, смотрит вдаль окаменевшим орлиным взором. Как будто он и с того света продолжает давать указания, где сосредоточить основные силы, куда подтянуть резервы и как писать книги. Продукт может еще сомневаться в своей компетенции, когда речь идет о математике, астрономии или музыке. Он готов допустить, что можно сбить сотню вражеских самолетов, но не понимать Бетховена, можно надойти от одной коровы цистерну молока, не уметь извлечь квадратный корень из четырех. Но уж в литературе этот продукт разбирается, даже ее не читая. В литературе он готов всегда навести порядок, установить нормы качества, нормы выработки, поощрить отличившихся и сурово наказать провинившихся.

На такие вот мысли навели меня гневные письма моих новых читателей. Причем гнев выражается почти во всех случаях по одному и тому же стандарту. Как смеет автор глумиться над страданиями народа, потерявшего 20 миллионов? Кто он, этот автор? Сколько гонорару отхватил за свою писанину? В некоторых случаях есть даже попытка сурово наказать автора (при этом желающие наказать, видимо, даже недооценивают масштабов моей отдаленности от государственных границ СССР). Один читатель написал, что «нам небезразлично, кто написал «Чонкина», какую пользу принес автор обществу, служил ли он в армии, а если увельнул (через «е»), то по какой причине». И дальше вопрос совсем уже «на засыпку»: «Не относится ли автор к той нации, которая не выговаривает букву «р»?

Вот такие отзывы. Но особенно пикантным показалось мне письмо, которое помещается ниже. Письмо это, насколько мне извест-

но, кочевало по многим центральным редакциям, в конце концов оно было напечатано в № 18 еженедельника «Ветеран» и перепечатано в газете «Правда Украины» от 5 мая. Этих двух публикаций было бы достаточно, но, к сожалению, авторский текст в них был приглажен до неузнаваемости. А мне кажется, что текст этот заслуживает того, чтобы быть воспроизведенным в первоизданном виде.

Вот он.

КОЩУНСТВО

Открытое письмо редакторам журналов «Юность»

А. Дементьеву и «Огонек» В. Коротичу

Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь — сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кощунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналистов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение.

Что же привлекло наших редакторов?

Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?

Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это — кадровые командиры, политработники, бойцы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, это — колхозники и колхозницы, периода мая-июня 1941 года.

Мы, ветераны, войны. Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, члены клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» при Доме офицеров ОдВо, начавшие службу в РККА еще в довоенное время, выражаем свое глубокое возмущение публикацией этого кощунственного клеветнического измышления и свидетельствуем:

— Первый день Великой Отечественной войны остался в нашей памяти и в памяти всего советского народа как самый трагический день нашей 70-летней истории, как начало самой кровопролитной войны за всю историю человечества. В этот день бомбили наши города, в этот день вступили в бой передовые наши части, в этот день появились первые тысячи жертв, первые тысячи раненых и искалеченных. У всех нас, свидетелей того времени, в памяти рыдания и плач по всей стране матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну своих сынов, мужей, братьев, отцов, женихов. У всех у нас в памяти громадные очереди добровольцев в военкоматах.

И этот день всенародной скорби взят западно-германским господинчиком под осмеяние, под сочинение анекдота?!!

Где предел цинизму и издевательствам?!!

Неужели нашим редакторам непонятно это?!!

Клеветнически «описана» и осмеяна Красная Армия периода 1941 года. В самом неприглядном свете выставлено поколение бойцов, командиров и политработников 1941 года, тех самых бойцов, которые приняли на себя первый, самый страшный удар самой мощной в истории войны армии, тех самых бойцов, которые прошли всю войну и от которых к концу войны осталось в живых только три процента. Это те самые командиры и политработники, которые первыми поднимались в атаку и первыми гибли, те самые командиры и политработники, которые стояли насмерть у стен Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя и других городов. Это они остановили мутный коричневый поток фашистской чумы, грозившей захлестнуть весь мир. Это они освободили Европу и разбили вдребезги многомиллионный вермахт.

Можно ли смеяться над павшими Героями? Над защитниками Родины? «Мертвые сраму не имут».

Советские граждане Коротич и Дементьев, неужели Вы не отдадите себе отчета в этом кощунстве?

Вот уж действительно подтверждение туркменской пословицы: «Если друг плачет, то враг хохочет».

Примитивизм мышления и поступков, животные чувства, плоская похабщина, умственная отсталость — вот что «приписал» деревенским женщинам и всем жителям деревни КРАСНОЕ «писатель» из ФРГ, все это пронизано злобой ко всему советскому, ко всему русскому, в духе геббельсовских «русише швейне». Издевательство, брезгливость элитарного господина к «черной кости» свидетельствуют об отсутствии у автора элементарной порядочности.

Ну а вы, граждане редакторы?

Где ваша гражданственность? Где ваша гордость?

Вы в трех миллионах экземплярах распространили злобную клевету на Красную Армию, вы оскорбили память народа, память павших героев.

Мы, оставшиеся в живых, требуем прекратить глумление над самым святым в народной памяти — павшими ее защитниками — и требуем дать нам слово опровержения кощунственной и злобной клеветы, на страницах тех журналов, которые ее опубликовали.

Это будет только справедливо.

От имени собрания клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», объединяющего 72 Героев Советского Союза и 16 полных кавалеров-ордена Славы, настоящее опровержение подписали:

Председатель совета клуба

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

Герой Советского Союза, полковник

В.А. ЗАВЕРТЯЕВ

Члены совета клуба:

*Дважды Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант*

В.А. АЛЕКСЕЕНКО

Герой Советского Союза, генерал-майор

П.А. ГНИДО

Герой Советского Союза, генерал-майор
Полный кавалер ордена Славы, старшина
Секретарь клуба «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»,
подполковник

Г.А. ШАДРИН
Л. БУЖАК

Г. КАРГОПОЛЬЦЕВ

Наш адрес: 270044, г. Одесса, ул. Пироговская, д. 7/9, Дом офицеров ОдВо, клуб «Золотая Звезда», секретарю Каргопольцеву Георгию Васильевичу.

25 февраля 1989 г.

А это мой ответ авторам.

Ваши превосходительства, господа герои и кавалеры!

Откровенно говоря, прочитав ваше письмо, я в его подлинность не сразу поверил, подумал — розыгрыш. Письмо-то из Одессы, а Одесса, все знают, город шутников. Там Юморина проводится, там Ильф и Петров развивались, там сам Жванецкий живет. Не Жванецкий ли и написал? Потом думаю, нет, это не Жванецкий, а Чехов. Потому что написанное вами больно уж смахивает на чеховское «Письмо ученому соседу», автор которого, войска Донского отставной урядник и дворянин Василий Семи-Булатов, критиковал своего адресата за предположение, будто человек произошел от «обезьянских племен». Отставной урядник с такой теорией не был согласен, но при этом скромно оговаривался: «Извините меня неуча за то, что вмешиваюсь в Ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе, чем в голове».

В письме же «Кошунство» мысли и идеи высказываются столь аляповатые, что они даже и в животе не помещаются, вылезают наружу. Причем изложено все таким дикообразным языком, как будто писали письмо какие-то неучи, а не советские генералы, из которых по крайней мере двое — Гнидо и Алексеенко (об остальных не знаю) — окончили по две академии. А по стилю письма кажется, что писали его, может быть, вояки времен гражданской войны, которые не только что академий, а и полного курса церковно-приходской школы не одолели.

Вот взять хотя бы первый абзац.

«Сбежавший, — пишете вы, — в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис» господин В. Войнович сочинил клеветническое и кошунственное измышление под названием «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», а наши советские журналы «Юность» и «Огонек» с любезного разрешения западно-германского издательства «Ардис» опубликовали его.

Сам факт такого расстилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом уже вызывает возмущение...»

Здорово! Словам тесно, а мыслям просторно. Нет, в самом деле, давайте разберем. Повторю еще раз: «Сбежавший в ФРГ бывший советский журналист, а теперь сотрудник западно-германского издательства «Ардис»... Обрываю цитату, потому что не могу сдержаться. Всего полторы строки, а сколько фантазии! И насколько изображенная картина богаче убогой реальности. Потому что в реальности я, во-первых, никуда не бежал, во-вторых, журналистом никогда не был, в-третьих, издательство «Ардис» не западно-германское, а американское, в-четвертых, слово «западно-германское» пишется не через черточку, а слитно, в-пятых, я вообще не являюсь сотрудником какою бы то ни было издательства.

Вы скажете, ну подумаешь, немного ошиблись. Для вас, может, и немного, а для меня много, ваши превосходительства. Для меня это так, как было бы для вас, если бы я о вас написал, например, что группа сотрудников мордовской газеты «Правда Белоруссии», приобретя свои награды на барахолке, окопалась в клубе имени «Золотого теленка» при одесском кичмане.

Между прочим, господа генералы, я в ФРГ уехал легально, а затем нелегально, то есть незаконно, был лишен советского гражданства указом вашего любимого писателя, выдающегося соратника, Маршала Советского Союза и четырежды Героя (интересно узнать, не был ли он почетным членом вашего клуба?).

Однако возвращаясь к вашему тексту. Прочитрованный мною первый абзац вашего письма заканчивается замечательным перлом (повторяю): «Сам факт расстилающегося пресмыкания советских журналов перед иностранным журналом...» Прекрасно! Факт расстилающегося пресмыкания, это даже хочется заучить наизусть. Но интересно и вот что. Вы называете журналом то, что всего одной строкой выше называли издательством. Как это понимать? Ваши превосходительства, прикажите меня расстрелять, но я не могу поверить, что в столь представительной группе героев и кавалеров, где четверо из шести носят каракулевые папахи, никто не знает, что издательство и журнал это не одно и то же. Спросите любого ефрейтора, он знает.

Когда я читал ваше письмо в оригинале и сравнивал его с опубликованным текстом, мне было, право, жаль, что в «Ветеране» и в «Правде Украины» вас так сильно поправили. Хотя в некоторых случаях поправили не зря. Например, в печатном варианте было опущено, и правильно, ваше сравнение меня с Геббельсом. Я на Геббельса не похож. Геббельс был хромой, а я нет. А вот с Герингом у некоторых из вас сходство есть. Он тоже летал на самолете и совершил много подвигов. И в искусстве разбирался, правда, в основном ударял по живописи.

Геббельса советские редакторы из вашего текста вычеркнули, но оставили ваши слова о брезгливости элитарного господина к «черной кости». Интересно, это кто же элитарный? Побойтесь Бога! Это вы, генералы, говорите рядовому солдату? Да я, ваши превосходитель-

тельства, за четыре года своей службы в армии живого генерала видел не чаще, чем хвостатую комету. Для меня в те годы даже старшина Бужак был бы заметной шишкой. И я же элитарный! Хотя почему бы и нет? Я ваших рентгеновских снимков не смотрел и какая у вас кость, черная или зеленая, не знаю. Я только знаю, что для суждения о том или ином предмете надо иметь о нем какое-то представление. Вот вам такой пример. Во времена, когда Туполев был заключенным и работал в шарашке, генеральным конструктором его самолетов был некий человек, который в технике вообще ни уха, ни рыла не смыслил. Так вот он, когда поступило предложение поставить на новый самолет не четырехтактный, а двухтактный двигатель, засомневался, не слишком ли смело. А может быть, говорит, для начала трехтактный поставим? Как, ваши превосходительства, заслуживает такой человек брезгливой ухмылки? По-моему, да. А вы думаете, вы далеко от него ушли? По-моему, нет. Если человек дает указания о деле, которого он не знает, то будь он хоть рядовым, хоть маршалом, хоть даже семижды героем, ему следует напомнить пушкинские слова: «Суди, дружок, не выше сапога».

Теперь давайте оставим в стороне тонкости, грамматику и стилистику. Перейдем к вашей критике по существу. Вы мое сочинение называете не романом, а «кошунством и клеветническим измышлением». Это, конечно, сильно. Вы задаетесь вопросом: «Над чем смеется господин Войнович, что им взято под осмеяние и глумление?» И сами же себе отвечаете: «Прежде всего — это первый день Великой Отечественной войны, это кадровые командиры, политработники, бойцы Рабочей-Крестьянской Красной Армии, это колхозники и колхозницы периода мая-июня 1941 года». Вы перечисляете факты, которые и без вас всем известны: о бомбах, боях, раненых и убитых, о рыданиях матерей, жен, сестер, невест, детей, провожавших на войну «сынов, мужьев, братьев, отцов, женихов».

Что из этих скорбных воспоминаний следует? Из них следует, ваши превосходительства, что, не усвоив грамматики, вы достигли высшего пилотажа в области демагогии. Не критикуя роман по существу (а скорее всего даже и не прочтя), вы создаете картину, в которой неискушенный читатель эмоционально воспримет меня как чуть ли не виновника описанной вами народной трагедии. А если не виновника, то хотя бы выродка, который, глядя, как одни уходят на фронт, а другие рыдают, сам стоит в стороне и, потирая потные ручки, хихикает.

Извините, господа генералы-демагоги, но я созданный вами образ слегка поправлю.

Я в боях не участвовал, потому что к началу войны успел только окончить первый класс (а наше гуманнейшее правительство на фронт, спасибо, первоклашек не посылало). Но я относился к тем детям, которые плакали, когда провожали отцов. Мой отец в мае вышел из лагеря, в июне ушел на фронт, а в декабре был тяжело ранен. За что получил не золотую звезду, а золотистую ленточку. А потом на ста-

рости лет еще и прибавку к пенсии — пятнадцать рублей в месяц. Сам же западногерманский господин, как вы меня изволите называть, пережил бомбежки, две эвакуации, голод, холод, детский труд, колхоз, ремесленное училище и так далее.

Так что, ваши превосходительства, смеяться над народом я вряд ли стал бы. Я смеюсь и издеваюсь, но, увы, бессильно, над теми, кто разорил страну, обезглавил командование Красной Армии, оставил на произвол судьбы миллионы пленных: потом перегнал их из немецких лагерей в советские, создавал штрафные роты, заградительные отряды, переселял народы, превратил страну в огромный концлагерь и вывел такую породу людей, которые, не читая книг, всегда знают, как их надо писать.

Кстати, перечисленных мною примет Великой Отечественной войны вы, судя по вашему письму, совсем не заметили. И после войны, летая на штурмовиках или бомбардировщиках, не заметили под своими краснозвездными крыльями заборов с колючей проволокой, вышек с автоматчиками и растянувшихся по всем дорогам колонн заключенных. А перечисленных вами жен, сестер, матерей (можно продолжить список родственных отношений) в очередях к тюремным окошкам вы сверху тоже не видели?

Напоминаю вам, герои и кавалеры, что кроме односторонне обрисованной вами войны до нее, во время и после шла и сейчас еще не закончилась другая война, по количеству жертв превзошедшая даже ту, на которой вы отличились. Одним из постоянных объектов нападения в этой другой войне всегда была литература. Она на протяжении многих лет подвергалась варварским бомбардировкам, как Дрезден и Хиросима.

Опомнитесь, господа генералы, и посмотрите: под вами дымящиеся руины. Выходите из боя! Займитесь чем-нибудь мирным. Если вам в отставке нечего делать, ловите кефаль, выращивайте баклажаны и тащите все на Привоз, торгуйте, обогащайтесь. Сейчас это очень поощряется.

В заключение хочу выразить два сомнения. Вы говорите, что выступаете от имени 88 членов вашего клуба. А почему же подписались только шесть человек? Другие что, постеснялись?

Второе сомнение вот в чем. В своем сочинении, которое вы называете то письмом, то опровержением, вы говорите, что выступаете от имени павших. А я сомневаюсь, что вы имеете на это право. Как бы героически ни вели вы себя сорок с лишним лет тому назад, вы все же остались в живых. Ваши жены не стали вдовами, ваши дети сиротами, и сами вы благополучно дожили до преклонного возраста. Больше того, вам за все ваши подвиги заплатили сполна и чинами, и орденами, и привилегиями. Недавно, будучи в Москве, заглянул я в кооперативный, извините за выражение, писсуар. Входная плата двадцать копеек. Там была надпись, которую я хотел (но передумал) взять эпиграфом к этому моему письму: «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы обслуживаются бесплатно».

Кстати, а вы не знаете, почему слово «Герой» пишется с большой буквы, а «кавалеры» с маленькой? Хотя даже в вашем клубе героев в четыре с половиной раза больше, чем кавалеров.

В заключение хочу вам открыть небольшую военную тайну. Вот меня часто спрашивают, где я нахожу героев для моих измышлений, из какого пальца я их высасываю. Посмотрите, ваши превосходительства, друг на друга и подумайте, зачем мне истощать свои пальцы, когда природа изготовила столь замечательных, живых и готовых позировать персонажей.

У ВЫМЕНИ МЕРТВОЙ КОРОВЫ

Под недавно опубликованным манифестом о создании независимого Союза писателей стоит и моя подпись. Я подписал этот документ потому, что считаю своевременным созданием Союза писателей, который не зависит от властей, партий и всяких прочих указующих и карающих инстанций. Мне необходимо знать и то, что, поскольку это не независимый союз, а союз независимых, то каждый вошедший имеет право быть независимым и от самого этого союза.

Хорошо, что писатели из разных республик войдут в новый союз не как представители каких-то сил, а как личности. Я надеюсь, что присутствие этих личностей в Союзе будет способствовать сохранению контактов между литературами разных народов распадающегося нашего Союза ССР. Я надеюсь на взаимовлияния этих личностей и литератур, на то, что это взаимовлияние будет способствовать атмосфере взаимной приязни между народами и личностями, как бы они ни отличались друг от друга образом жизни, религией, языком, цветом глаз или волос. И что мы будем встречаться друг с другом как друзья и коллеги, а не как каждый для каждого жукаки.

С большой надеждой ожидаю я, что новый Союз в самом деле станет прибежищем новых дарований. Есть очень много молодых людей, талантливых и неприкаянных, которым надо помочь стать на ноги, но дальше не вести их за ручку, а — пусть идут сами.

Прочтя манифест, я обратил внимание на пункты, которыми я, скажем прямо, не дорожу. Но понимая, что большинство подписавших хочет видеть манифест именно таким, каким он получился, я решил, что потом выскажу свое независимое мнение по частностям. Именно мнение, а не призыв.

Мое мнение такое. Союз писателей СССР умирает. Его отход похож на агонию крестного отца мафии. Вокруг постели папаши столпились члены клана, из которых одни ожидают того мига, когда можно будет вступить в поножовщину за наследство, а другие уже вступили.

Впрочем, такому многоголовому чудовищу, каким является умирающий Союз, может быть, больше подходит сравнение не с крест-

ным отцом, а с самой мафией. Он и был (и еще есть) мафия. То есть организация, которую можно назвать преступной. Разумеется, не все члены Союза были преступниками, но преступные элементы создавали и направляли организацию, и в конце концов вся организация достигала преступных целей преступными средствами. В манифесте об этом кое-что сказано, но там же есть и попытка установить некий баланс с помощью слов «...несправедливо огульно отрицать все, что сделано...»

Может, и несправедливо, но добрые дела Союза писателей не стоит преувеличивать. Силами некоторых активистов при молчании подавляющего большинства и от имени всех поголовно писателей преступления против литературы и ее создателей (чаще всего самых лучших) совершались на протяжении всей доперестроечной истории этого Союза: и в ужасные сталинские времена, и в либеральные хрущевские, и в застойные брежневские. Союзом писателей столько погублено душ и книг, что на фоне этих злодеяний все добрые дела данного заведения стоят не больше, чем пятикопеечная свечка, поставленная убицей за упокой души убиенного. Даже и того меньше, потому что свечка — это признак раскаяния, а в деятельности СП, его лидеров и участников расправ над писателями, за редчайшими исключениями, никаких признаков раскаяния незаметно.

В манифесте есть пункт, что писатель, входя в новый Союз, может не выходить из старого. Боязнь покинуть Союз писателей СССР напоминает мне картину из военного детства: теленок сосет убитую корову.

Я понимаю писателей, которые не хотят выходить из старого Союза, разделяю все их опасения и никого не осуждаю, но не надо выдавать стремление сохранить оба членства за следование каким-то принципам. Это что-то другое. Это все-таки вид конформизма. Притом конформизма, по-моему, бесполезного. Это как бы попытка стоять одной ногой в спасательной шлюпке, оставляя другую на тонущем корабле в безумной надежде (или в страхе), что вдруг он совсем не утонет.

Не знаю, согласится ли кто с этими моими соображениями или нет, но вот по следующему пункту, насчет Литфонда, я, наверное, и вовсе не найду единомышленников.

Дело в том, что я вообще против Литфонда как такового. Потому что наличие его создает в литературной жизни атмосферу богательни. Писатель стремится достичь материального благополучия не своим трудом, а попрошайничеством: стоит с протянутой рукой и ждет, что в нее кто-то что-то положит. А когда одному кладут больше, другому меньше, это вызывает недовольство тех, кому положили меньше, и недостаточное довольство тех, кому досталось больше, потому что им и этого мало. Разумеется, допущенные к кассе (или дорвавшиеся до нее) кладут прежде всего и больше всего себе самим. Само по себе наличие общей кассы создает, я разрешу себе так выразиться, коррупциогенную обстановку.

Защитники Литфонда вспоминают, кто его создавал и для чего. Поминают все имена Тургенева и Толстого. И напрасно. Советский Литературный фонд, рожденный в 1934 году, не имеет ничего общего с «Обществом для пособия нуждающимся литераторам», основанным в 1859 году. И сравнивать нечего.

Советский Литфонд, как остроумные люди заметили, это благотворительная организация, которая помогает не бедным, а богатым. А для небогатых это просто приманка, и чаще всего пустая.

Помню, когда в 1974 году я собирался прощаться с Союзом писателей, многие люди пугали меня не столько нечленством в СП, сколько тем, что я перестану быть членом Литфонда (мне и другим исключенным в застойные времена пастернаковской привилегии оставаться членами Литфонда не предоставляли). Снявши голову, я по волосам плакать не собирался, но любопытства ради прикинул, что мне было дано за двенадцать лет моего пребывания в Союзе писателей и Литфонде и что отнято, кроме справки о роде занятий.

За эти годы я неоднократно наказывался всячески, в том числе материально: набор моих книг рассыпался, пьесы снимались с постановки, киносценарии клались на полку и песни исполнялись без слов. Мои общие убытки в результате всех этих акций исчислялись по крайней мере десятками тысяч рублей. А как мне помогал в это время Литфонд? Когда я болел, мне платили больничные. Но каждому работающему человеку с достаточным производственным стажем больничные полагаются без всякого Литфонда. Еще что? Путевки в Дом творчества? Один раз, кажется, я получил бесплатную путевку, а остальные разы за свои денежки, и не такие уж маленькие. За такие же деньги я снимал где-нибудь дачу и чувствовал себя там не хуже, чем в Доме творчества. Ну еще ссуду дважды, может быть, я получил безвозвратную, рублей по двести. Так что за двенадцать лет всех литфондовских благодеяний, вместе взятых, было мне оказано рублей на шестьсот. Но если правда, что из каждого авторского гонорара государство вычитает 15% в пользу Литфонда, то это значит, что Литфонд отщипнул мне кроху от куска, у меня же отнятого. Ну а что касается пошива в этом заведении разных кожаных и трикотажных изделий, то к этому я выразил свое отношение в повести «Шапка» и повторяться не буду.

В том-то и дело, что Литфонд бедным писателям помогал очень редко, неохотно и нещедро, всегда сопровождая подачки свои различными унижительными условиями. А вот богатые получали практически бесплатно дорогие дачи, им давались и списывались многозначные суммы, постоянными должниками Литфонда были и Шолохов, и Фадеев, и Федин и прочие, прочие, прочие, вплоть и до наших нынешних отцов-основателей независимого Союза, которые тоже люди небедные. Согласны ли они изменить ситуацию, чтобы Литфонд помогал не им, а кому-то другому?

Вообще-то (это мое убеждение), писатель, как всякий работающий человек, должен жить самостоятельно и питаться плодами

своего труда. В начале пути, или во время болезни, или в какие-то особо трудные минуты ему можно помочь. Но, как правило, деньги на жизнь писатель должен не получать, а зарабатывать. Это, может быть, не всегда под силу поэту или критику, но для прозаика или драматурга в такой огромной стране, как Россия, с многомиллионным читателем, все еще тратящим деньги на книжки, существование на литературные гонорары должно быть естественным. (В маленькой стране — другое дело. Там мало народа, мало читателей, мало покупателей). Да, конечно, в условиях рынка на первое место по тиражам выйдут сочинители детективов или секс-романов, но и серьезный писатель на этом рынке найдет себе достаточное количество покупателей.

Мы знаем много примеров, когда очень хороший писатель нуждался в помощи, но его к этой нужде приводили насильно. Допустим, Булгаков, Платонов, Зощенко много бедствовали (а Литфонд безмолвствовал), но только потому, что их в эти бедствия ввергали. Если бы их книги не запрещались, они никогда не нуждались бы ни в чьей помощи и очень хорошо обходились бы без Литфонда.

Всегда могут найтись единицы (но не тысячи), которым на каком-то этапе стоит помочь, но для этого на Западе, например, существуют не один, а разные фонды. Разные и — что важно — не зависящие от тех, кому они чего-то дают. А кроме того, есть газеты и журналы, с которыми писатель может сотрудничать, есть университеты, где он может что-нибудь преподавать или получить место *writer in residence* (не знаю, как перевести на русский — писатель на жительство, что ли). Занимая такое место, писатель ведет семинары (примерно, как в Литинституте) и за эту непыльную, но полезную работу получает очень недурную зарплату. И это нормально. Из 10 000 членов СП есть тысяч девять с половиной, которым вовсе не обязательно быть свободными художниками, они ничем такой привилегии не заслужили.

Есть и еще одно соображение. Конечно, Литфонд за время своего существования накопил большие богатства и неплохо бы ими как-нибудь по совести распорядиться (лучше всего напасть на него ночью в масках, все захватить и поделить поровну). Но сейчас, в период развала всех структур, естественно желание стоящих поближе к кормушке урвать от нее как можно больше и убежать.

Я думаю, что в процессе борьбы за Литфонд разные силы раздерут его на части и от него ничего не останется. И чтобы ему оставаться богатым, нужны новые поступления. А откуда они возьмутся? Раньше государство сколько хотело, столько из нашего кармана вынимало, нас о том не спрашивая. А теперь если будет рыночная экономика, то мы, наверное, сами начнем решать, куда деньги вкладывать, куда нет. А с нас отовсюду будут тянуть. Члену Союза писателей надо заплатить взносы. Если он в двух союзах, то двойные. Если он еще член Пен-клуба, то и туда. А в Литфонд?

Если эта организация существует в самом деле для помощи немущим, то должно быть так. Богатые люди туда платят много, но оттуда не берут ничего. А бедные ничего не платят, но кое-что берут. Так вот я спрашиваю богатых: вы согласны платить и не брать?

Теперь перехожу к сути моего предложения, которое никем принято, конечно, не будет.

Рынок, как известно, наступает. Хорошо это или плохо, но его уже никто не удержит. Он создает новую систему ценностей и общественных отношений. Кто был никем, может быть, и не станет всем, но кто был всем, вполне рискует стать никем. Это касается в первую очередь партийных боссов, преподавателей марксизма-ленинизма, секретарей Союза писателей СССР и, увы, большинства рядовых писателей тоже.

Рынок — дело жестокое. Правда, не такое все же жестокое, как социалистический образ жизни. На рынке писателя не убивают, не сажают, не ссылают, не выгоняют за границу и не заставляют придерживаться единственно правильного художественного метода, благодаря при этом партию, которая его этим методом вооружила. На рынке закон простой: пиши, что хочешь, хоть про секретарей обкомов, хоть про коров. А дальше — найдешь покупателей, будешь сыт, не найдешь, останешься голодный. И даже если партия и правительство тебя провозгласят величайшим и навешают на тебя всяких золотых знаков отличия, то и это потенциального покупателя твоей книги не соблазнит.

Как мы привыкли жить? Каждый писатель (не секретарь и не член парткома, а рядовой), если он никого не трогает и никому не мешает, время от времени должен издавать свои книги. Не потому, что они кому-то в самом деле нужны, а потому, что он член Союза писателей, ему скоро исполнится пятьдесят лет, у него большая жена, его два года не издавали и вообще товарищу надо помочь. Помочь — это значит много тысяч рублей потратить на издание его книги и, ничего за них не выручив, несколько тысяч заплатить автору. А саму книгу подержать на каких-то полках, а потом сдать в макулатуру. На рынке, который живет по законам здравого смысла, такой номер не проходит. На рынке, если уж какие-то благодетели пожелают помочь человеку, то они ему лучше заплатят в два раза больше, ничего не издавая. И это правильно. Издавать книгу, которая никому не нужна, не только коммерчески глупо, но и безнравственно.

Короче говоря, неизбежное наступление рынка — это для большинства членов Союза советских писателей полная и неожиданная катастрофа. Моральная и материальная. Их писания коммерческой ценности не представляют, а художественной тем более. И что им теперь делать? Те из них, кто помоложе, возможно, переквалифицируется по примеру Остапа Бендера в управдомы. Но есть такие, кто до пенсии пока не дожил, а возраст, в котором еще можно

овладеть другой профессией, уже перешли. Допустим, те, кому сейчас лет пятьдесят с лишком. Им без помощи просто не выжить. Но помогать им надо не изданием их не имеющих спроса книг, а просто деньгами. В какой форме, не знаю. Может быть, в виде пенсий: или в связи с потерей кормильца, или как инвалидам идеологической войны. А лучше всего до достижения пенсионного возраста выдавать им обыкновенное и распространенное в странах с рыночной экономикой пособие для неимущих. Конечно, такого пособия не заслужили секретари СП и другие, приближенные к литфондовой кассе люди, которые высосали из нее все, что смогли, да и сейчас досасывают остатки, вроде того теленка, что припал к вымени мертвой коровы.

1992

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ

Не знаю, как насчет других искусств, а в литературе молодому дарованию очень важно, делая первые шаги, встретить поклонников, поощрителей, которым можно читать написанное днем и ночью, при встрече и по телефону и рассчитывать на их искреннее щедрое восхищение. У меня в начале моего писательства таких поклонников было два. Один — Камил Икрамов, о нем разговор когда-нибудь отдельно, и второй, о ком расскажу сейчас.

В литературном объединении «Магистраль» я читал что-то из своих первых стихов, а когда обсуждение кончилось, ко мне подошел человек в красном пальто с желтым шарфом и протянул руку:

— Меня зовут Владимир Лейбсон.

— Вы тоже член «Магистрали»?

— Нет, просто любитель. Давай перейдем на «ты». Возьми мой телефон, звони, заходи.

У меня когда-то была исключительная память на телефоны. Я их никогда не записывал. Просто совсем никогда. Но всегда запоминал. Впрочем, не все надолго. Некоторые телефоны как входили в голову, так и выходили. А телефон Лейбсона застрял в памяти навсегда, и сейчас я его помню: К-9-44-11. Кстати, он практически никогда не менялся. Просто буква «К» была заменена на соответствующую цифру, а потом ко всему номеру спереди приставили двойку. Получилось 299-44-11.

Так и оставалось до самой смерти Владимира Ильича. Сочетание его имени и отчества было причиной многих нехитрых шуток и розыгрышей. Я ему, бывало, звонил и говорил с грузинским акцентом что-нибудь вроде: «Владимир Ильич, с вами говорит начинающий поэт Сосо Джугашвили, хотелось бы посоветоваться по поводу...»

Повод был обычно один: написав очередной опус, я хотел его немедленно прочесть и услышать, что это здорово, потрясающе

или даже гениально. Просто гениально, и все. И получал предвкушаемое.

Лейбсон жил с родителями в старом доме на Патриарших прудах, как раз почти на том самом углу, где трамвай отрезал голову булгаковскому Берлиозу. Отец Володи был старый большевик, с какими-то заслугами перед советской властью, за что сын его не уважал, а власть поощрила разнообразно, в том числе и отдельной трехкомнатной квартирой, что тогда было крайней редкостью. Подавляющее большинство моих тогдашних московских знакомых жили в коммуналках, одна комната на семью любого размера. Сейчас это трудно бывает представить, а тогда казалось нормальным, что в комнате человек, скажем, на шесть каким-то волшебным способом разместились диваны, кровати (часто кресла-кровати), раскладушка с каким-нибудь кактусом или фикусом. А тут три комнаты на троих. Причем средняя — самая большая гостиная — всегда пуста, родители, которых я редко видел, в своей комнате, а Володя — в своей со стенами ярко-красного цвета.

— Как ты думаешь, по какому принципу подобрана моя библиотека? — спросил он меня при первом моем посещении.

Я стал рассматривать книги, пытаясь по авторам понять принцип. Русская классика? Советская? Западная?

— По цвету, — сказал Лейбсон. — Я покупаю книги только трех цветов: красного, желтого и зеленого. Остальные цвета не признаю.

— А если какая-то очень нужная книга будет синяя?

— Значит, для меня она будет ненужной.

И в подтверждение своих слов подарил мне полное собрание сочинений Пушкина старинного издания только потому, что переплет был серого цвета. Только тогда я сообразил, что и одежду он себе не покупает готовую, а шьет, и задорого, именно ввиду цветových пристрастий. Костюм у него был зеленый, пальто красное с оранжевой подкладкой, ботинки желтые.

Его цветовая прихотливость и видимое безразличие к противоположному полу были причиной всяческих предположений относительно его сексуальной ориентации, но интереса такого рода к мужчинам он тоже не проявлял. Впрочем, выпивши, он мне однажды признался, что постельные отношения с одной женщиной у него когда-то были, но они его травмировали и шокировали своей очевидной бессмысленностью (если не для производства детей).

— Очень глупое занятие, — сказал он и этим исповедь свою завершил.

Высоко ценя мои тогдашние (надо признаться, скромные) достижения в поэзии, он все-таки в некоторых моих способностях сомневался. Я, как большинство начинающих стихотворцев, относился с некоторым презрением и даже с высокомерием к поэтам-песенникам, считая, что их работа к настоящей поэзии отношения не имеет.

— Ты так говоришь, — сказал Лейбсон, — потому что так принято говорить. А на самом деле написать песню, такую, чтобы ее вообще пели люди, не так-то просто. Любой поэт, который ругает песенников, был бы счастлив написать хотя бы одну песню, чтобы ее запели. Но не каждый это умеет. И ты вряд ли сможешь.

— Смогу, — сказал я.

Но доказать, что смогу, никакой возможности не было. Для доказательств надо было не только написать текст, но найти еще подходящего композитора. Композиторов знакомых у меня не было, и наш спор несколько лет оставался нерешенным.

1960 год я встретил в своей новой комнате в большой коммунальной квартире так называемой коридорной системы. То есть главной ее особенностью был именно коридор, по обеим сторонам которого располагались 25 комнат, с проживавшими в них двадцатью пятью семьями.

На всех жильцов — одна кухня (четыре плиты) и одна уборная (три «толчка»). Ванной, конечно, не было, был умывальник на кухне, с несколькими кранами и длинным цинковым корытом под ними. На стене у входа на кухню висел телефон, из-за которого между соседями велись бесконечные споры по поводу платы за него, кстати сказать, не очень большой. Поскольку никакого закона по этому поводу не было, жильцы пытались установить собственные правила. Одни предлагали платить посемейно. Но семьи были побольше и поменьше, и возникал спор, как же так, вас четверо, а я одна, почему же я должна платить столько, сколько вы четверо? Хорошо, говорили другие, тогда будем брать плату по количеству членов семьи. Ну уж нет, возражали третьи, у нас грудной ребенок, он по телефону не говорит. Тогда будем брать плату, начиная с детей школьного возраста. Однако в процессе спора выяснилось, что возраст у детей бывает один, а рост разный, и не все дети школьного возраста могут дотянуться до телефона. Было внесено предложение ввести плату за каждый звонок, после каждого звонка честно расписываться на стенке, когда кто звонил. Этот вариант тоже не прошел, потому что встал вопрос, как считать звонки, они бывают короткие и длинные. Споры эти велись бесконечно, иногда вяло, а иногда страстно, но до драк все же не доходило.

В те годы я писал очень много, упорно и фанатически. Писал, когда работал на стройке и когда ушел с нее, писал, когда поступил учиться в институт, в общем, писал все время, когда оно у меня было. Но часто писал лежа. Наша соседка пенсионерка Полина Степановна всегда все подмечала, а потом сообщала на кухне:

— Этот-то все лежит. Больной, что ли?

И она же иронизировала по поводу жалоб моей тогдашней жены:

— Клопы, говорит, замучили. И откуда у них клопы? Это у мене клопы, у мене ж мебель.

Лежал я все-таки не всегда. Иногда вставал и перепечатывал написанное на дряхлой машинке, у которой не было вопроситель-

ного и восклицательного знака, что, как считал Лейбсон, влияло на мой стиль, делало его спокойным и уравновешенным, без лишних вопросов и неуместных восклицаний. Перепечатав написанное, я разносил свои сочинения по редакциям, из которых потом на красивых бланках приходили вежливые ответы, что тему я затронул интересную и значительную, но исполнение, к сожалению, не достигло уровня замысла. И в конце следовали советы трудиться, учиться у мастеров, читать статью Маяковского «Как делать стихи» и книгу Исаковского «О поэтическом мастерстве». (Я впоследствии советовал самодеятельным стихотворцам то же самое).

Однажды я шел в очередную редакцию со своим тогдашним приятелем Костей Семеновым и в каком-то из переходов метро встретился нам приятель Семенова Ян Полищук, известный в те годы писатель-юморист. Он работал заместителем главного редактора редакции сатиры и юмора всесоюзного радио. (Не представляю, как сказать это короче.) Редакция выпускала в эфир юмористические программы «Веселый спутник» и «С добрым утром».

— Слушайте, ребята, — сказал Полищук, — мне нужен срочно младший редактор. Нет ли у вас хорошего молодого человека, но без больших претензий?

— А вот, — отреагировал Костя, показывая на меня, — вот хороший молодой человек без больших претензий.

— Ты бы пошел младшим редактором? — Полищук смотрел на меня с недоверием.

Боясь упустить возможность, но в то же время не уронить себя, я сказал лениво, что в общем мог бы поработать.

— Да, — сказал он, — но зарплата, к сожалению, только тысяча рублей. Потом, может быть, прибавим. А пока только тысяча.

Тысяча рублей! Каждый месяц тысяча рублей! Этот человек даже не представлял, какой баснословной казалась мне тогда эта сумма. (Это было накануне денежной реформы, после которой тысяча превратилась в сто).

На следующий день чуть в начале одиннадцатого утра я вошел в новое, только что построенное здание радиокомитета у метро «Новокузнецкая». У входа милиционер проверял пропуска.

— Ты что опаздываешь, — накинулся на меня Полищук, нетерпеливо вышагивавший по коридору этажа, на котором мы условились встретиться. — Я тебе сказал в десять, значит, в десять. Ладно, пошли.

Я не успел пробормотать что-то в свое оправдание, как он распахнул обитую черной кожей дверь, на которой было написано: «Н.Т. Сизов».

Мы оказались сначала в большой приемной, а потом еще через две черные двери попали в кабинет, в каких я до того никогда в жизни не бывал.

Самый большой кабинет, в котором не приходилось бывать, был кабинет председателя Приморского райисполкома в Крыму,

но разве можно сравнить то помещение с тем, которое я увидел сейчас?

Паркет, старинная мебель, хрустальная люстра, за широченным столом сидит какой-то, видимо, очень важный начальник и пишет что-то, наверное, тоже безумно важное.

— Здравствуйте, Николай Трофимович! — радостно приветствовал начальника Полишук. — Вот, пришли.

Я оробел и невольно скосил глаза на свою одежду. Пиджак у меня был в общем более или менее еще ничего, но брюки, брюки... Даже сейчас страшно вспомнить. Внизу бахрома, колени пузываются. Ботинки стоптаны. Подобно герою одного из рассказов О'Генри, я быстро пересек широченное пространство кабинета и стал перед начальником, загородив свою нижнюю часть столом, готовый перегнуться через крышку и пожать руку, если она мне будет протянута. Впрочем, я бы не удивился, если бы сидящий за столом просто кивнул мне головой, как это делали другие начальники, например тот же председатель райисполкома.

Но этот повел себя совсем неожиданно. Что-то там дописав, он отложил ручку и, цветя дружелюбнейшей улыбкой, поднялся и стал медленно огибать стол, чтобы приблизиться ко мне. Демонстрируя свою демократичность, он при этом выглядел очень внушительно и даже показался мне немного похожим на Сталина, хотя был без усов и без трубки.

— Ну здравствуйте, — сказал он, сердечно пожимая мне руку. — Мне о вас уже говорили. Значит, вы согласны у нас работать?

— Ну да, — сказал я, — мне это было бы интересно.

— Но вы знаете, что зарплата у нас небольшая?

— Да, я слышал, но меня зарплата не интересует, — сказал я, давая понять, что явился сюда исключительно ради высших идейных соображений.

Кажется, я попал немного впросак. Услышав мои слова, он слегка нахмурился и посмотрел на меня внимательно.

— Ну почему же не интересует? — сказал он. — Мы материалисты, и нам незачем лицемерить.

Я смутился. Мы, конечно, материалисты, но когда я, работая на стройке, выражал (очень редко) недовольство оплатой труда, меня попрекали отсутствием коммунистической сознательности и говорили, что мы, советские люди, Родине служим не за деньги.

Я попытался переориентироваться и сказал, что зарплата меня, конечно, интересует, но и творческая сторона дела мне тоже не безразлична, тем более что я сам склонен к сатире и юмору, и тут я выложил на стол два своих весьма убогих стишка, у которых были, однако, те достоинства, что одно из них было опубликовано в «Юности», а другое в «самой» «Правде».

Тот факт, что я печатался в главной партийной газете (это было один раз в подборке «Стихи рабочих поэтов»), убедил Сизова в том, что он имеет дело с «нашим» человеком, он опять заулыбался

и вопросов анкетного характера почти не задавал. Только спросил, кто мои родители. Я сказал, мать — учительница, отец — журналист, работает в городской газете в Керчи.

— Коммунист? — спросил Сизов.

Я замялся.

Мой отец когда-то был коммунистом, но только до тридцать шестого года, когда его перед арестом и посадкой в тюрьму исключили из партии за преступление, заключавшееся в том, что он не верил в построение полного коммунизма в одной отдельно взятой стране, считая, что это может случиться только во всех странах одновременно после мировой революции.

— Ну это вовсе не обязательно вашему отцу быть членом партии, — заметив мои колебания, опять демократично улыбнулся Сизов.

— Владимир Николаевич имеет в виду, — пришел мне на помощь мой Полищук, — что если его отец работает в газете, то, конечно же, он коммунист.

— Да, да, да, — торопливо подтвердил я, хотя, конечно, это была неправда.

На этом прием был окончен.

Мое дальнейшее оформление на работу прошло почти гладко, если не считать, что начальник отдела кадров пытался выяснить у моих будущих сослуживцев происхождение моей фамилии, которая имела подозрительное окончание на «ич». Ему объяснили, что на «ич» оканчиваются не только еврейские фамилии, но и нееврейские, например Пуришкевич. «А кто этот Пуришкевич?» — заинтересовался кадровик. «Известный дореволюционный антисемит», — объяснили ему. Кадровик успокоился, и на следующий день я приступил к своей новой работе.

Хотя евреев принимали на радио неохотно, тем не менее (правильно замечали бдительные товарищи) они там были. В нашей редакции сатиры и юмора из десяти примерно человек не меньше чем половину составляли евреи и, как принято было тогда выражаться, полукровки вроде меня. У меня мама еврейка, но фамилия была папина.

Один из полукровок, сейчас известный писатель и режиссер Марк Розовский, при поступлении на работу тоже принимался высоким начальством. На вопрос о национальности родителей Розовский ответил, что его мама — гречанка.

— А папа? — спросило начальство.

— А папа инженер.

Так что позднейшее сообщение Жириновского о том, что у него мама русская, а папа юрист, некоторым образом является плагиатом.

Само собой разумеется, мое поступление на работу было всесторонне обсуждено на нашей коммунальной кухне.

— Нет, — сказала Полина Степановна, — этот долго работать не будет. Зачем ему работать? Лежать-то лучше.

Ее скептицизм был основан не на пустом месте. Дело в том, что незадолго до того я уже поступал на работу в газету «Московский водопроводчик» — орган трестов Мосводопровод и Москанализация. Редактором газеты был алкоголик (фамилию не помню), которому зарплаты на пьянство и на семью не хватало, поэтому он не только редактировал газету, но еще шил модельную обувь. Запирался в своем кабинете, пил водку и шил обувь, как ни странно, довольно хорошую и имевшую спрос. Газетой же он практически не занимался, все дела передоверил ответственному секретарю Всеволоду Абрамовичу Лившицу. А тот дал большую свободу мне. А я писал фельетоны на местные темы. О том, что где-то кому-то недопоставили трубы. Или поставили, но ржавые. Или не запасли дров на зиму. Или оставили на дороге открытый колодец. Или выпили спирт, отпущенный на лабораторные цели.

Писал я, между прочим, под разными псевдонимами. Иногда под псевдонимом В. Нович. Порой в качестве псевдонима брал фамилию кого-нибудь из своих реальных друзей. Одним из моих псевдонимов был О. Чухонцев. (С ныне знаменитым поэтом Олегом Чухонцевым я учился вместе в педагогическом институте).

Иногда на мои фельетоны поступали опровержения (напрасные, потому что факты я всегда тщательно проверял), что товарищ Чухонцев не понял, товарищ Чухонцев не разобрался. Эти опровержения я пересылал Чухонцеву с сопроводительным письмом на редакционном бланке, в котором предупреждал, что, если товарищ Чухонцев и дальше намерен писать, не разобравшись, редакция будет вынуждена рассмотреть вопрос об отказе от услуг товарища Чухонцева. Конечно, это было с моей стороны некоторым хулиганством, но меня уволили не поэтому. А потому, что управляющему треста Мосводопровод понадобилось устроить в газету племянника, а редактор газеты управляющему, естественно, отказать не посмел. Как всякий регулярный пьяница, он был трусоват, пил и знал, что его самого чуть что, если не будет покладистым, выгонят. Поэтому он выгнал меня, как не выдержавшего испытательный срок, несмотря на сопротивление Лившица, который советовал мне жаловаться, а потом, когда слышал по радио мои песни, говорил редактору: «Видишь, пьяная рожа, кого ты выгнал». И редактор терпел, зная, что если выгонит Лившица, то и сам вряд ли долго в газете удержится.

На радио я тоже был взят с испытательным сроком и тоже волновался, что больше месяца не продержусь.

Юмористические передачи нашей редакции составлялись из сочинений авторов, писавших в основном скетчи, фельетоны и юморески для эстрады и цирка. Материалов было очень много, но трудность для меня заключалась в том, что мои коллеги одни материалы выбрасывали в корзинку, а над другими хохотали, как сумасшедшие. Мне же все эти тексты казались одинаково ужасными, и я никак не мог понять, в чем состоит разница между пло-

хим и хорошим. Готовя первую передачу «Веселого спутника», я пытался ориентироваться на господствующий в редакции вкус и выбрал из кучи материалов то, что, как я думал, должно понравиться другим редакторам и начальству.

— Какой кошмар! — сказал, прочтя этот текст, мой ближайший начальник. — У тебя, что, совсем нет чувства юмора?

Одна из наших редакторов Наташа Ростовцева готовила в это время передачу из стихов африканских поэтов и предложила мне написать вступление. Я взял стихи, прочел их и приуныл. Это была просто какая-то абракадабра, во всей подборке я не нашел ни одной живой строчки. Что хорошего мог я об этом написать? Тем не менее я отнесся к заданию очень ответственно, трудился два дня и в конце концов выдал из себя полстраницы текста, который по бездарности мог вполне соперничать с этими самыми стихами. «Черная Африка, спящая Африка пробуждается от вечного сна» — так, помню, начиналось это мое творение.

Испытательный срок подходил к концу, и я с тревогой ожидал момента, когда мне объявят, что в моих услугах редакция сатиры и юмора больше не нуждается. Судьба, однако, на этот раз оказалась ко мне более благосклонной, чем раньше.

Как-то к концу рабочего дня я заметил, что другая наша Наташа — Сухаревич — обзванивает подряд всех известных поэтов-песенников и просит их написать песню на «космическую тему». На вопрос, через какое время нужна эта песня, Наташа отвечала: «Через две недели».

Поэты были возмущены. Очевидно, что к этому жанру наша редакция относится несерьезно. Настоящая песня впопыхах не пишется, она должна быть задумана, выношена, выстрадана. После того как ее обругал последний из знаменитостей поэт Лев Ошанин, Наташа совсем расстроилась и продолжала листать справочную телефонную книгу Союза писателей уже почти без всякого смысла. И тут я решился сказать ей, что если у нее под рукой все равно никаких поэтов нет, то я могу попробовать написать эту песню.

— Ты? — Она посмотрела на меня с недоверием. — А ты что, пишешь стихи?

— Пописываю, — признался я.

— Но ведь песни ты никогда не писал?

— Не писал, — согласился я, — но могу попробовать.

Она смотрела на меня, долго молчала, думала.

— Ну, хорошо, — произнесла наконец. — А сколько времени тебе нужно?

— Завтра принесу, — сказал я.

— Завтра? — не поверила она.

— Если тебе нужно, могу постараться сегодня.

— Сегодня не надо, — сказала она, — а завтра... Неужели к утру напишешь?

— Но ты же все равно ничего не теряешь, — резонно заметил я.

— Ну да, ты прав. Ну что ж, дерзай.

И я дерзнул. Не только в надежде удержаться на работе и убедить в чем-то Лейбсона. Мне было важно доказать самому себе, что не зря я взялся вообще за перо, что люди, не принявшие меня в литературный институт и отвергавшие мои стихи в журналах, не правы, я не графоман, я поэт и могу работать в этом жанре на достаточно высоком профессиональном уровне.

Утром следующего дня я принес обещанный текст и, пока Наташа читала, следил за ее реакцией со страхом. А реакции никакой не было. Она читала текст словно проходную газетную заметку, без всякого выражения. А потом придвинула к себе телефон и набрала номер:

— Оскар Борисович, у меня для вас есть потрясающий текст. Пишите: «Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Записали? Диктую припев: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды...» Что? Рифма? У вас, Оскар Борисович, испорченное воображение. Наши слушатели люди чистые, им такое и в голову не придет. «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Оскар Борисович, следы, а не то, что вы думаете.

Оскар Борисович Фельцман был уже очень известный к тому времени композитор, автор шлягеров, распеваемых в кино, на улицах, в поездах и ресторанах. Неужели он в самом деле напишет музыку и превратит мои слова в настоящую песню? Я настолько привык к неудачам, что еще одну принял бы со смирением...

К концу дня Фельцман позвонил: музыка готова, кто будет петь? Я сказал:

— Предложите Бернесу.

Бернеса не нашли, нашли Владимира Трошина. Песню записали на пленку, пустили в эфир и она сразу стала знаменитой.

Мое материальное положение резко переменялось.

Я потом имел повод шутить, что денежная реформа 1961 года, когда стоимость рубля возросла в десять раз, меня никак не коснулась. Я как зарабатывал пятьсот-шестьсот рублей до реформы, так продолжал зарабатывать и после нее. А потом и побольше.

Стремительный рост моего материального благополучия на нашей кухне незамеченным не остался.

— Интересно, — говорила Полина Степановна, обращаясь к своей постоянной аудитории, — как люди исхитряются на одну зарплату столько всего покупать. Ну пусть он даже сто пятьдесят получает. Так все равно ж столько не купишь. А он себе пальто купил, жене пальто купил, вчера телевизор пронес, как сундук.

Когда же я купил и для начала поставил в коридоре смазанный тавотом мотоцикл (впрочем, довольно скромный — «ковровец»), Полина Степановна замолчала и пренебрегать мною уже не

решалась. Наоборот, при каждом моем появлении заискивающе улыбалась и торопилась поздороваться первой. И другие соседи тоже, воспринимая меня теперь как большого начальника, вели себя не без подобоострастия, особенно если моему отражению удавалось мелькнуть в телевизоре. Когда я (обычно поздно и в некотором подпитии) возвращался домой и шел по нашему длинному коридору, двери на моем пути поочередно приоткрывались и из них шелестело почтительное «здравствуйте». А я, не замедляя движения, кивал налево и направо и отвечал:

—...ссте, ...ссте, ...ссте.

И так было до самого того момента, когда в газете «Известия» появилась разгромная статья по поводу моей повести «Хочу быть честным». Статья называлась «Точка и кочка зрения». Она была подписана каким-то инженером из города Горького, но соседи правильно поняли (все-таки советские были люди), что этикие статьи простые инженеры по своей воле не пишут, а значит, есть определенному указание сверху. Статья была внимательно прочтена и всесторонне обсуждена. Итог обсуждению подвела Полина Степановна.

— Ничего, — сказала она с таким чувством, словно мой ошеломительный и незаконный успех приносил лично ей крупные неприятности. — Ничего. Скоро Хрущев погонит его из писателей.

Но времена, как мы помним, были либеральные, оттепель, меня из писателей пока еще не погнажи (через десять лет еще как погонят!), моя фамилия где-то продолжала мелькать. Полина Степановна примирилась с суровой реальностью и однажды, приблизившись ко мне в коридоре, утешила:

— Ничего. Хрущев тоже напустился на Жукова. И что? Ничего. Хрущев злобится, а тот себе ходит, побряхтывает, попердывает, живет.

Но это она мне скажет года через четыре после описываемых событий, а тогда, осенью 1960 года, у меня все шло хорошо. Можно сказать, был год сплошного везения. В сентябре я написал первую песню, стал очень хорошо зарабатывать и тогда же в «Новом мире» у меня приняли (и можно сказать, на ура) мою первую повесть «Мы здесь живем». На радио я уже не боялся, что меня выгонят с работы, к своим редакторским обязанностям относился чем дальше, тем безответственной и, по существу, скоро вообще от исполнения их отказался. Я писал тексты песен и в этом качестве оказался очень удобным кадром. Любой редактор нашего отдела, составляя ту или иную программу, мог всегда заказать мне песню на нужную ему тему и мог не сомневаться, что она будет готова в нужный срок. Если надо завтра. Если надо, даже сегодня. В день, когда был запущен в космос Юрий Гагарин, мне позвонили через несколько минут после старта. Когда Гагарин спустя девяносто минут вернулся на Землю, Оскар Фельцман уже писал музыку к моим словам, посвященным этому событию.

Я проработал на радио около полугода и за это время написал десятка четыре песен. Были среди них однодневки, были и широко известные. Но сам я, едва начав работать в этом жанре, сразу же потерял к нему интерес. Я доказал себе, что могу писать и так, и теперь меня волновало другое.

Однако история моей «космической» песни на этом не кончилась. Несмотря на то что она действительно очень быстро стала популярной и скоро ее стали даже называть «Гимном космонавтов», многие люди продолжали ее редактировать и переделывать.

С самого начала один редактор заменил в песне эпитет, вместо «планета голубая» написал «планета дорогая». На вопрос, почему он это сделал, он сухо ответил, что так лучше. Потом мне позволили из музыкальной редакции.

— Владимир Николаевич, мы хотим вашу песню про космонавтов записать на пластинку.

— Очень хорошо, — сказал я. — Давно пора.

— Но у нас к тексту есть одна претензия. Там у вас написано: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Почему эти тропинки пыльные?

— Видите ли, — взялся я объяснять. — На этих планетах дворников нет, а пыль оседает. Космическая пыль.

— Ну да. Может быть, оно и так, но вы как-то этим снижаете романтический образ. Давайте лучше напишем «на новых тропинках».

— Нет, — возразил я. — Это никак не годится. На новых можно написать, только если имеется в виду, что там еще были и старые.

— Ну хорошо, тогда напишите «на первых тропинках».

— Не напишу я «на первых тропинках».

— Почему?

— Потому что на пыльных тропинках это хорошо, а на первых это никак.

Советские редакторы удивляли меня всегда не своей политической бдительностью, а способностью находить в тексте и убирать из него как раз те слова, строки и абзацы, которые делают его выразительным.

Я отказался менять эпитет, музыкальная редакция отказалась издавать пластинку. Но потом, летом 1962 года, песню дуэтом спели в космосе космонавты Николаев и Попович. А Никита Сергеевич Хрущев устроил им грандиозную встречу и, размахивая руками, прочитал с выражением с трибуны Мавзолея:

— На пыльных тропинках далеких планет останутся... — Тут он запнулся, подумал и исправил ударение: — Оста́нутся наши следы.

Быть процитированным советским вождем — это больше, чем получить самую высокую премию.

Вокруг песни и ее авторов начался ажиотаж. «Правда» напечатала песню в двух номерах подряд. Сначала красным шрифтом в ве-

черном экстренном выпуске и затем будничным черным шрифтом в утреннем номере. После этого мне позвонила та же дама из музыкальной редакции: «Владимир Николаевич, мы немедленно выпускаем вашу пластинку».

— Что значит немедленно выпускаем? — сказал я. — А вы спросили разрешения у автора?

— А вы можете не разрешить? — удивилась она.

— Нет, почему же. Я разрешаю, но у меня есть поправка.

— Какая поправка? — спросила она настороженно.

— Небольшая, — сказал я. — Там есть строчки насчет пыльных тропинок, так я бы хотел их как-нибудь переделать.

— Вы смеетесь! — закричала она. — Вы знаете, кто цитировал эти строки?

— Я знаю, кто их цитировал. Но я также знаю, кто их написал. Так вот написавшему кажется...

Конечно, я над ней издевался. Но поиздевавшись, разумеется, уступил. Пластинка была выпущена, но покушения на текст на этом не кончились. После встречи на Красной площади и в Кремле Николаеву и Поповичу было устроено чествование и на телевидении. Героев приветствовала толпа, состоявшая из так называемых передовиков производства, артистов, военных, поэтов, композиторов и секретаря Чувашского (Николаев — чуваш) обкома КПСС. Космонавты совсем ошалели от свалившихся на них почестей. Но вели себя по-разному. Николаев как будто даже стеснялся, а Попович в упоении славой выпячивал грудь, принимал импозантные позы и строил глазки актрисе Алле Ларионовой. А когда Владимир Трошин спел теперь уже специально для них песню о пыльных тропинках, он решил показать, что и в этом деле тоже кое-что понимает.

— Вот у вас там поется «закурим перед стартом», — сказал он, — а мы, космонавты, не курим.

— Это мы исправим! — закричал кто-то.

И исправили.

Хотя я доказывал исправителям, что писал вовсе не о Поповиче, который до пыльных тропинок не долетел, а о космонавтах отдаленного будущего, для кого полеты в космос станут делом обычным, будничным. Покурил, растоптал окурочок, полетел. Тут уж меня никто не послушал, потому что космонавты тогда заживо причислялись к лику святых. Их критиковать было нельзя, а они могли себе позволить многое, в том числе, естественно, могли и сколько угодно вмешиваться в литературу и давать указания авторам, что, впрочем, позволялось делать всем кому не лень — партийным функционерам, кагэбэшникам, сварщикам, банщикам, токарям, пекарям и дояркам. Песню исправили и вместо «Давайте-ка, ребята, закурим» пели «споемте перед стартом».

Как-то, будучи в Доме литераторов, я услышал, что в одном из залов перед писателями выступают Николаев и Попович.

Я пошел туда и у ведущего Евгения Рябчикова попросил разрешения сказать кое-что. Тот, думая, что я, очевидно, пришел сказать гостям что-то приятное, охотно предоставил мне слово. Я выступил и сказал, что когда-то учился в аэроклубе и умею летать на самолете По-2 (знаменитом «кукурузнике»).

— Так что,— сказал я космонавтам,— я в вашем деле понимаю примерно столько же, сколько вы в моем. Но я же вас не учу, как надо летать на космических аппаратах, а вы меня учите, что и как я должен писать.

Разумеется, космонавтам мое замечание не понравилось, и песня продолжала звучать в исправленном виде.

За полгода своих усилий в песенном жанре я был весьма продуктивен, но из всех сочиненных мной песен самой знаменитой оказалась самая первая. Успех ее меня немного смущал, но это продолжалось недолго. Когда меня начали наказывать за плохое поведение, то мои книги, пьесы и киносценарии сразу запретили. А песни разные, но эту дольше других, продолжали исполнять. Правда, без упоминания имени автора текста. А потом и вовсе убрали слова, оставили только музыку. Лет через двадцать, когда я стал опять разрешенным писателем, на песню эту тоже опала окончилась. Но уже наступили новые времена. И народ запел новые песни.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОЛИТИКА

Можно даже сказать, что «брежневизация» общества была по-своему не менее ужасна, чем «ленинизация» и «сталинизация»...

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Как только советский народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем или неподходящем месте.

— Рони, — скажу я ему (или, допустим, Джон), — давайте наконец поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и откровенно, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе. (Правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирового конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга.)

Но если говорить по-честному, во всякой затяжной войне (а война без ядерного оружия будет обязательно затяжная) имеет значение не только военный, но и экономический потенциал. Насчет последнего даже буржуазная пропаганда не может утверждать, будто мы воспользовались разрядкой или еще чем и достигли превосходства над Западом.

Как раз наоборот. Придерживаясь миролюбивой внешней политики, наше государство с самого своего возникновения постоянно, неуклонно и в одностороннем порядке снижало свой экономический потенциал, в то время как капиталистические страны его наращивали.

Наш потенциал мы уже сейчас довели почти до нулевого решения. Я говорю «почти», потому что кое-что у нас еще есть. В некоторых магазинах даже можно еще купить кусок колбасы.

Это объясняется тем, что мы были первыми. Мы шли неизведанным путем. Кроме того, у нас, к несчастью, оказалось слишком много природных ресурсов, которые мы полностью исчерпать пока не успели. Но и в этом деле наши достижения грандиозны. Вы со мной легко согласитесь, если Ваши советники представят Вам правдивую справку, сколько золота, нефти, мехов и икры мы ежегодно продаем за границу. А вот проложим газопровод, так и газ весь на Запад перекачаем. Насчет валюты, которую мы от Запада при этом получим, беспокоиться тоже не стоит. Мы на нее ка-

кого-нибудь сложнейшего оборудования накупим, в чистом поле сложим, пусть себе там ржавеет.

До круглого нуля нам уже осталось совсем недалеко. Вот еще Продовольственную программу выполним, дисциплину поукрепляем и останемся совсем без штанов.

Мы Америку много раз догоняли и перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. Доведите вашу экономику до нашего уровня, чтобы равенство было не только в вооружениях, а и во всем остальном.

Я не утопист и вовсе не думаю, что подорвать экономику такой богатой страны, как Ваша, можно немедленно. Но все-таки это возможно, если разработать разумную и долгосрочную программу действий. Мы с удовольствием Вам поможем. На всякий случай, я составил строго научные рекомендации, основанные на нашем собственном историческом опыте. Если Вы последуете этим рекомендациям, полный успех обеспечен. Разумеется, рекомендации носят лишь общий характер, в процессе внедрения их можно будет дополнить и разнообразить.

Итак, для достижения экономического паритета с Советским Союзом Вам необходимо:

1). Произвести политический переворот, объявить Вашу партию единственной ведущей и направляющей силой американского общества во главе лично с Вами.

2). Остальные партии запретить, наиболее активных членов арестовать, лидеров сослать в Советский Союз или даже лучше расстрелять.

3). Арестовать членов Вашей собственной партии, которые будут противиться переменам, устроить над некоторыми из них показательные процессы и тоже расстрелять.

4). Конфисковать у частных владельцев банки, заводы, фабрики, магазины, рестораны, корабли, самолеты, автомобили, лошадей, коров, коз, овец и свиней.

5). Все отдельные квартиры превратить в коммунальные, а в особенно больших устроить музеи, общественные уборные, загонны для скота и что-нибудь еще, полезное обществу.

6). Капитолий взорвать, на его месте построить плавательный бассейн для трудящихся.

7). Всех фермеров отправить на Аляску для строительства Транс-Аляскаинской стратегической железной дороги, а на их фермах создать колхозы, а также местные органы правящей партии и органы государственной безопасности, преобразованные из ФБР и ЦРУ. В колхозы привлечь людей, неспособных к производительному труду, решив таким образом раз и навсегда проблему безработицы.

8). Объявить какую-нибудь науку (например, ботанику) коммунистической лженаукой.

9). Принять меры по гигантскому преобразованию природы Соединенных Штатов и с этой целью повернуть реку Миссисипи в пустыню Невада, где впоследствии можно будет выращивать хлопок

и рис. Бывший бассейн реки Миссисипи, само собой, со временем превратится в пустыню, где можно будет добывать песок.

10). Население Гавайских островов переселить в штат Мэн в целях использования на лесоповале.

11). Вам самому взять на себя непосредственное руководство всеми сферами политической, экономической и общественной жизни и постоянно давать указания, как доить коров, строить дома, развивать квантовую механику, разводить кроликов, писать книги, сочинять музыку и так далее.

12). Всем средствам массовой информации, включая газеты, радио и телевидение, ежедневно передавать и печатать целиком Ваши длинные и скучные речи.

13). Назвать Вашим именем города, поселки, заводы, колхозы, различные средства передвижения, улицы и дома.

14). Во всех городах, деревнях и поселках установить Ваши скульптурные изображения и развесить Ваши портреты.

15). Учредить пару сотен новых орденов за военную и трудовую доблесть и прежде всего наградить ими Вас лично. Разумеется, церемонии награждения должны самым широким образом освещаться органами печати и передаваться по радио и телевидению.

16). Ваши книги, статьи, заметки и отдельные высказывания должны изучаться во всех учебных заведениях, трудовых коллективах и воинских подразделениях.

Я мог бы, конечно, предложить Вам еще ряд полезных мероприятий, но если даже Вы ограничитесь исполнением вышеизложенных рекомендаций, то в течение довольно короткого исторического периода лет в шестьдесят-семьдесят экономика Вашей страны будет близка к нулевому решению.

Правда, останется еще проблема геостратегического равновесия, потому что в отличие от Америки мы окружены враждебными братскими странами, которые в случае мирового конфликта могут повести себя самым коварным способом. Но эту проблему решить совсем просто. Надо только половину китайцев поселить в Мексике, а половину поляков, чехов, болгар, румын, венгров и восточных немцев — в Канаде. Переселить их лучше во сне, чтобы они продолжали думать, что их старший брат Советский Союз по-прежнему живет рядом с ними.

Когда Вы все это сделаете, мы смогли бы опять встретиться и плотную приступить к переговорам о нулевом решении в вопросе ракетно-ядерных вооружений.

НА ПЕРЕГОВОРАХ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

Меня давно интересует, что именно происходит на советско-американских переговорах в Женеве. О чем представители обеих сторон так долго говорят и почему не могут договориться?

Этого не знает никто, потому что заседания проходят всегда при закрытых дверях. Но стоило мне напрячь воображение, как я сразу увидел участников совещания и услышал, о чем они говорят.

Правда, это случилось не сегодня и не вчера. А еще во время первого раунда переговоров, до того, как один из участников попал в московскую больницу на улице Радио, где проходит курс лечения от алкоголизма.

Американец: Хало, Юрий. Найс ту си ю эгейн. Очен рад тебя видеть опять.

Советский: Я тоже рад тебя видеть, старик. Как поживаешь?

Американец: О, фajn. Прекрасно поживаю.

Советский: Я и вижу, что прекрасно. А чего тебе не прекрасно? Ты себе здесь сидишь, доллары капают, время идет. Не жизнь, а малина, старик.

Американец: Ну я тоже делаю надежда, что и у тебя дела идут замечательно.

Советский: Да что ты, да куда там, да откуда замечательно! Башка, старик, болит, сейчас лопнет. Вчера, понимаешь, с послом две бутылки вашего виски раздавили, а потом еще пивом залили. О-о!

Американец (сочувственно): О-о! Виски и пиво! Это не можно, Юрий. Виски и пиво не совместительно. Это не прекрасно. Виски и содовая вода — это хорошо, а виски и пиво... Нет, только виски и сода.

Советский (с отвращением): Брррр! Ты что, старик, какая сода! Сода это когда изжога, тогда, конечно, да. А так нет, старик. Мы по-вашему пить не будем. Это вы думаете — американский образ жизни это что-то такое. Виски, сода, горячие собаки, хау ар ю, фajn. Скучно живете, старик. Скучно. Вот мы с послом вчера выпили, закусили, песни попели. *(Поет.)* «Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера...» Знаешь эту песню? Нет, старик, нет, не могу петь, башка трещит. Ох, зачем же я столько пил! Зачем гробил здоровье! Это ж вредно, старик, вредно пить столько. У меня же печенка болит, у меня цирроз начинается. Нет, нет, нет. Все, старик, хватит, завязываю раз и навсегда. Никогда больше пить не буду, в рот не возьму. Ой! Хотя, конечно, похмелиться неплохо бы. У тебя с собой нет случайно?

Американец (испуганно): Что ты имеешь в виду, Юрий?

Советский: Ну что я имею в виду? Ты что, маленький, не понимаешь? Я говорю, нет ли у тебя с собой чего выпить? Водка, джин, виски. Мне немного, грамм сто пятьдесят — двести и я в порядке.

Американец: К сожалению, здесь алкоголь я имею нет, Юрий. Я с собой никогда не носить алкоголь. Я утром никогда не пить алкоголь. Утром надо не пить алкоголь, а делать хороший джогинг. Вот так *(начинает бегать по комнате трусцой)*. Давай вместе делать хороший джогинг.

Советский: Ну давай, давай... *(Бежит вместе с американцем.)*

Американец: Вот так. Не надо делать спешка. Надо ровно дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох... Надо бегай ровно, не надо догоняй, не надо перегоняй, надо бегай ровно и релаксировать. Вдох-выдох...

Советский: Вдох-выдох, вдох-выдох... Ну хватит, хватит. Что у тебе, нанялся? Вы, американцы, всегда хотите, чтоб все по-вашему. А мы за равенство. Немножко по-вашему, немножко по-нашему. Я с тобой побегал, а ты мне за это налей.

Американец: Я не могу налей, потому что я не имею.

Советский: О-о! А для чего же ты с собой такой здоровый портфель носишь? Чем он у тебя набит? Предложениями, что ли, вашими? Насчет ракет? О-о, старик, нет, мне сейчас не до ракет. Мне эти ракеты сейчас до фени. Мне бы вот похмелиться. Или хотя бы рассольчику тяпнуть. Ты когда-нибудь рассол пил? Да нет, я вижу, не пил. Зря, старик, хорошая вещь. Особенно, если холодный, из погреба. Ну конечно, сейчас какие погреба. Погребов нет, одни холодильники. У тебя какой холодильник?

Американец: Холодильник?

Советский: Ну холодильник, холодильник. Рефрижерейтор, по-вашему.

Американец: Ай си. Рефрижерейтор. Холодилнык. Я не помню. Я думаю, что я имею болшой холодилнык.

Советский: Я понимаю, что большой. У вас все большое. Машины, дома, холодильники. Я тебя спрашиваю, какой марки? Фирма какая?

Американец: Фирма? Я не помню. Я думаю, может быть, «Дженерал электрик», или, может быть, что-нибудь в этом роде.

Советский (с грустью): А у меня «Розенлев». Финский. Это тебе, конечно, не «Дженерал электрик» и не «Сименс», но тоже ничего. Конечно, я мог бы отсюда приволочь и «Сименс», мне никто ничего не скажет, начальник таможи мой друг. Личный. Да валюту жалко. Это же здесь такой холодильник сколько стоит, если на доллары? Полтыщи. А на полтыщи долларов, знаешь, сколько джинсов можно купить? Двадцать пять пар, не меньше. А если эти джинсы толкнуть в Москве? Ну уж две сотни я за пару возьму, как пить дать. *(Поет.)* «Если б знали вы, как мне дороги...» Представляешь, двадцать пять умножить на двести. Значит, так. Два умножаем на два... Два на два... Два на два сколько будет?

Американец: О'кей. Два на два... Два на два... Момент, я имею карманный калькулятор. Вот, два... умножить на два. Четыре.

Советский: Ага, четыре. Что? Четыре рубля? Двадцать пять пар фирменных джинсов за четыре рубля? Смеешься, что ли? Вот так вы и ракеты считаете. Два на два. Дай-ка мне твою машинку, я сам посчитаю. Так, нажимаем два, нажимаем умножить, нажимаем опять два, нажимаем равно. Опять четыре. Гм. На, выкинь ты эту машинку. Выкинь. Это же дрянь. Американская техника, называется. Э, подожди, подожди, не выкидывай. Ты мне голову заморо-

чил. Не так же надо считать, не два на два, а двадцать пять на двести. Вот. Теперь другое дело. Пять тысяч получается. Нет, ничего, работает машинка. Пять тысяч. Тоже я тебе скажу, по нашим временам, что это за деньги? И к тому же здесь джинсов можно купить сколько хочешь. А когда привезешь, этому дай и этому дай. Начальник таможни, он мне, конечно, друг, а уж пару джинсов ему отвали. Сам он носить не будет, но у него же сын, у него дочь. А в министерстве народ тоже чего-то ждет. Я же им обещал, я же честный человек, я — коммунист. Я понимаю: хочешь жить сам, дай жить другим. Но ведь когда придешь, каждый тебе в руки смотрит, чего привез. А я им не папа и не Дед Мороз. А попробуй не дай.

Американец: Юрий, я, может быть, думаю, что нам все-таки необходимо поговорить о ракетах.

Советский: Да подожди ты со своими ракетами! Вот, понимаешь, есть люди и люди. Одному привезешь вот такой калькулятор или часы электронные за пятерку, и он доволен. А другой...

Американец: О'кей, Юрий, я с тобой очень согласен. Однако нам надо поговорить о ракетах. Наше правительство предлагает...

Советский (с отвлечением): У-у! Ваше правительство, наше правительство. Ты что, в самом деле хочешь, чтобы мы с тобой обо всем договорились и закончили?

Американец: Шур, конечно, хочу. Это все хотят. Весь мир хочет.

Советский: О-хо-хо! Весь мир хочет. Ты мне пропаганду свою не толкай. Я и сам на этом деле собаку съел. Давай говорить по существу.

Американец: Давай.

Советский: А если по существу, то давай так. Искренне и откровенно. Ты что, хочешь вернуться в Вашингтон? А чего там хорошего? Ну был я в этом Вашингтоне, был. Жара, влага, дышать нечем. А здесь воздух, горы, озера. Здесь даже Ленин жил. А он не дурак, он знал, где жить надо. И вообще — это ж Европа, здесь каждый дом это история. Ну и магазины неплохие. И все такое прочее. И допустим, мы закончим эти переговоры. Тебе-то хорошо, ты домой поедешь и дома будешь доллары получать. А меня в министерстве посадят. За стол. Платить зарплату будут рублями. Нет, я не согласен.

Американец: Но наше правительство предлагает...

Советский: Что ваше правительство предлагает? Что предлагает? Что оно может мне предложить? Чтоб я в этом вонючем министерстве штаны прогирал? Чтоб на локтях дырки были? Я с предложениями вашего правительства не согласен. И с предложениями нашего правительства не согласен! Но-но-но, ты это не записывай, я с нашим правительством всегда согласен, я внешнюю политику нашей партии целиком и полностью одобряю, а с вашим правительством... запиши это, запиши... я два раза не согласен. Все. На сегодня наши переговоры окончены! Сейчас сто пятьдесят с прицепом и порядок! А... господа журналисты. Вы нас ждете. Ну

что ж, могу вам сказать, что сегодняшние переговоры опять ни к чему не привели. Американская сторона намеренно затягивает переговоры с целью добиться односторонних преимуществ. «Если бы знали вы, как мне дороги...» (*собирает портфель и уходит, продолжая петь «Подмосковные вечера»*).

КАК Я ЕЗДИЛ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Или еще вот задумал я тут недавно опять в Соединенные Штаты съездить. Делишки свои кой-какие обтяпать и вообще посмотреть, где чего дают. Тем более что путь мне знакомый, я в эту цитадель капитализма за три с лишним года пребывания своего на Западе уже пять раз летал, а теперь задумал слетать шестой. Собрался, купил билет, уложил чемодан, пора уже хлопотать о документах. Дело в том, что моя прошлая виза с течением времени исчерпалась, и надо было новую брать. Я ее, конечно, брал и раньше. Но раньше у меня все пять раз официальные приглашения были. На официальных бланках и с подписями официальных лиц. На этот раз приглашение тоже было, но устное. Никакими печатями не заверенное. Конечно, можно было и письменное попросить, но как-то я вовремя не догадался, ладно, думаю, поеду и так. А если там в консульстве спросят, зачем я хочу в их страну проникнуть... И тут я задумался и стал в уме сочинять всякие такие причины повесомее, что, мол, еду по приглашению важного одного лица. А лицо, которое меня пригласило, оно, как на него посмотреть. То есть для меня оно даже очень важное, а для консульства, может, и вовсе никто. Допустим, оно, лицо это, и для консульства важное, но в этом случае оно, консульство, может меня спросить: «Если лицо это вас действительно приглашало, то у вас на руках должно быть от него какое-то приглашение, то есть бумага должна быть хоть какая-никакая». А я думаю, я им скажу, я не знал, что она, то есть бумага эта, нужна обязательно. А оно, то есть консульство, еще чего доброго разобидится: «Да что ж это вы, — скажет, — нашу страну уже совсем ни за что не считаете, что к нам прямо вот так — безо всяких бумаг по телефонным звонкам кто попало и ездить будет». Короче говоря, сильно я разволновался. Если в визе откажут, прямо не знаю, что делать, потому что о сроке прилета уже договорился и деньги за билет заплачены, а времени на то, чтобы из-за океана бумагу просить, нет совершенно. Совсем не знаю, что делать, лег спать и мысли лезут в голову самые дикие.

А когда уж совсем засыпать стал и в голове стало все путаться, не поймешь, где сон, где явь, мне и вовсе стало мерещиться что-то несообразное. Ну ладно, стал думать я, ну с американцами-то я, может, как-то договорюсь, а ведь у немцев я тоже никакого разрешения не просил, ни в какие выездные комиссии не обращался. И вроде помнится мне, что никаких тут таких комиссий нет, что

если хочешь, катись на все четыре, никому ты тут не нужен. Так вот я думаю себе, засыпая. А советский человек в это время как раз во мне просыпается и возражает: «Как это, мол, так, никому не нужен? Да что же, тут и властей никаких, что ли, нет? И как же это, каждый едет куда хочет? А что если вдруг не вернется?»

Короче говоря, на почве всех этих размышлений, пришедших на ночь, приснился мне какой-то не то, что бы кошмар, но сон, прямо скажем, совсем даже не очень приятный. Приснилось мне, будто вызывают меня в здешний мюнхенский то ли горком, то ли обком, то ли в какую комиссию. А там заседает группа важных каких-то лиц и передовиков здешнего частного производства, все такие упитанные в темно-синих костюмах и в ордене. Я туда, значит, вхожу, а они как раз мою анкету читают, не то, чтобы очень подробную, но километра так примерно на полтора. А анкета у меня, прямо скажем, хвастаться не буду, совсем неплохая. Родился, учился, трудился, в Белой армии не служил, под судом не состоял, на оккупированной территории не был. Ничего себе анкета, каждому бы такую. Я вижу, и члены этой комиссии мною в общем довольны. «Хотите, стало быть, — спрашивают, — в Соединенные Штаты податься?» — «Так точно, — говорю, — в общем хочу». «А зачем?» — говорят. «Ну как, — говорю, — ну как же это зачем? Просто, — говорю, — из интереса, для познания тамошней жизни». Старички тут из этой важной комиссии опять мною довольны, головами своими пушистыми охотно кивают. «Правильно, — говорят, — стремление к познанию, вещь, — говорят, — очень похвальная, но вы собираетесь ехать сами по себе без всяких руководителей, а международная обстановка сейчас, сами понимаете, очень сложная, могут вам встретиться всякие экстремисты, вопросы могут задать какие-нибудь провокационные, могут, допустим, спросить, а правда ли, что у нас существуют безработица, наркомания и преступность?» «Ну насчет, — говорю, — провокационных вопросов вам даже и беспокоиться нечего, я в этом деле, можно сказать, мастак. Частичная безработица, скажу, отчасти имеется, но мы ее успешно преодолеваем, а что касается всего остального, то вы бы чем вопросы такие задавать, лучше бы по своему Гарлему прогулялись, часов эдак в двенадцать ночи и без охраны». Вижу, члены комиссии моей сознательностью очень довольны. «Ну хорошо, — говорят, — ладно, мы видим, к поездке вы хорошо подготовлены и в политическом отношении подкованы правильно. А не могли бы вы нам сказать, кто именно является генеральным секретарем капиталистической партии Америки?» «Ну зачем же вы мне, — говорю, — такие вот детские вопросы, — говорю, — задаете? Да это, — говорю, — и грудному ребенку известно, что генеральным секретарем капиталистической партии Америки является стойкий капиталист и выдающийся борец за мир лично товарищ, — говорю, — Рональд Рейган». «Правильно, — говорят, — правильно». И я бы легко эту комиссию чертову бы прошел, но тут встает одна такая грудастая

дамочка, герой, между прочим, Капиталистического труда, в дело вмешивается и спрашивает, нет ли у меня родственников за границей. Ну на это у меня простой ответ: нет. Тут они все между собой переглянулись. «Да? — говорят, — а вы подумайте». Подумал. Говорю: «Нету никаких родственников». «А что же в Советском Союзе у вас никого не осталось?» «В Советском-то Союзе, — говорю, — конечно, кое-кто есть, а вот за границей нету, — говорю, — никого совсем». Тут у нас началась перепалка, я бы сказал, очень глупая. Они мне говорят: «Но Советский-то Союз, — говорят, — находится за границей. Значит, и родственники ваши тоже за границей находятся». «Насчет Советского Союза спорить не буду, а насчет родственников точно вам говорю, они даже в анкетах пишут: «Был за границей?» — «Не был». Что же они, по-вашему, что ли, врут?» Тут один старичок из комиссии на ноги на свои больные вскочил. «И что это, — говорит, — нам за фрукт за такой попался! Да что это он нам головы тут морочит!» Ну я тут тоже уже не стерпел. Черт с ней думаю, с этой Америкой, да пусть она вовсе провалится, чтобы я такие измышательства над своим человеческим-то достоинством здесь терпел. «Да вы, — говорю, — дедушка, в этой вашей комиссии совсем уже тронулись, да вы подумайте своей головой, вы рассудите логически. Я-то в свое время за границу уехал, а мои родственники за нее в жизни не уезжали. Ну сами, — говорю, — посудите. Ведь даже в ваших буржуазных газетах пишут про каких-то советских людей, что они будто бы добиваются выезда за границу».

Тут меня кто-то сильно потрянул, я проснулся. Жена надо мной склонилась. «Что это, — говорит, — с тобой, что ты кричишь и что ты руками машешь?» «Да как же мне, — говорю, — не махать, когда такие глупые вопросы задают». И рассказал ей, какие мне дураки приснились. Ну успокойся, говорит, это же все-таки не настоящие дураки, а приснившиеся. А мне, говорю, все равно, я что настоящих дураков, что приснившихся ненавижу.

Но потом постепенно пришел в себя и успокоился. Потому что дураков здесь, конечно, много тоже, но в таких комиссиях они состоят и такие вопросы дурацкие задают только во сне. А в жизни, если кто хочет куда-то ехать, то он у здешних, у немецких, властей вообще никакого разрешения не спрашивает. Только, идя к самолету, паспорт показывает полицейскому. А тот в паспорт смотрит и в какой-то там свой список заглядывает. Нет ли такого-то гражданина в списке разыскиваемых преступников. А если нету, то битте, говорит, проходите, пожалуйста.

А вот в страны, в которые едешь (не во все страны, только в некоторые) виза бывает нужна. Например, в те же Соединенные Штаты. И насчет приглашения бумажного я действительно волновался. Но никто у меня его не спросил. Мне только дали анкету, в которой было несколько вопросов, среди которых: «Был ли когда-нибудь коммунистом?». На что я с удовольствием отвечаю:

«Никогда не был». А еще там был вопрос, с какой целью еду я в Соединенные штаты. А я подумал и написал: «Джаст фор фан». То есть, говоря по-нашему, просто для удовольствия... И американские власти этим ответом были, видимо, удовлетворены, потому что через пятнадцать минут мне была выдана виза на четыре года, в течение которых я могу ездить хоть каждый день туда и обратно, если, конечно, хватит денег. А их, понятно, не хватит, потому что деньги здесь так же, как и в Советском Союзе, на дереве, к сожалению, не растут.

СМЕШНЕЕ ДЖОННИ КАРСОНА

Теплым майским днем ехал я на своей «тойоте» из Вашингтона в штат Мичиган, чтобы выступить с лекцией в тамошнем университете. Погода была хорошая, дорога свободная, я не опаздывал и не спешил. Такое путешествие обычно не доставляет мне ничего, кроме удовольствия, сейчас же оно было омрачено беспокойством по поводу предстоящего мне выступления. Казалось бы, о чем волноваться? Столько раз выступал в больших и малых аудиториях и весьма в этом деле поднаторел, но данный случай отличался от предыдущих тем, что впервые я решил употребить в дело свое знание английского языка. Прожив какое-то время в Америке, я уже довольно сносно изъяснялся по-английски в магазинах, на улице и в гостях, но выступать перед студентами и профессорами я до сих пор не решался.

Конечно, перед этим я изрядно потрудился. Написал всю речь на бумаге. Назвал ее «Писатель в советском обществе». Вставил в нее много фактов, цитат, исторических дат и статистических данных. Выучил все наизусть. Проверил выученное на жене, дочери и друзьях. Учел их замечания и с ощущением, что подготовлен неплохо, отправился в путь. Но чем ближе был пункт моего назначения, тем больше я волновался. Конечно, я в общем готов, но все-таки как именно выступать? Читать по бумаге плохо. Говорить без бумаги страшно. Вдруг что-то забуду. А еще ведь мне будут задавать вопросы. Сумею ли я их понять? Смогу ли кратко и находчиво ответить?

Полный неуверенности и сомнений, въехал я в кампус, нашел на плане, а потом и на местности нужное здание и у входа в него увидел большую афишу со своей фамилией. Текст, написанный крупными буквами, извещал студентов и преподавателей, что сего числа в таком-то зале выступит известный (и другие лестные эпитеты) русский писатель-сатирик, автор романа о солдате Чонкине и прочих (опять лестный эпитет) произведений. И дальше сочинитель афиши вписал от себя буквально следующее:

«О чем он будет говорить, я не знаю, но ручаюсь, что это будет очень смешно».

Прочтя такое, я не на шутку перепугался. Дело в том, что я никого не собирался смешить. Я подготовил серьезное выступление на серьезную тему.

Первый импульс у меня был повернуть не медля назад. Поддавшись второму импульсу, я сорвал со стены объявление и вошел в зал. Он был переполнен, что выглядело весьма необычно. Каждый писатель-эмигрант, выступающий с лекциями в американских университетах, только в начале удивляется, но потом принимает как должное, что его аудиторией бывает маленькая комната, а в ней пять-шесть студентов и пара преподавателей факультета славистики. А тут даже и мест не хватило, студенты сидят на подоконниках, стоят у стен и в проходах. Еще бы! Ведь им пообещали, что будет смешно и даже очень, а посмеяться задаром кто же не хочет?

В ужасе и ярости взшел я на трибуну, поднял над головой сорванную афишу и спросил: «Какой умник написал это глупое объявление?» В зале наступила секундная тишина, затем пронесся легкий веселый гул. Публика поняла, что смешное уже начинается и приготовилась, как говаривал Михаил Зощенко, «поржать и животики надорвать». Что меня и пугало. Сейчас они услышат не то, что ожидали, начнут покидать зал, и это самое страшное. Я повторил свой вопрос: «Какой умник написал эту глупость?» В первом ряду встал худощавый кудрявый человек лет сорока пяти и печально сказал: «Я, профессор Браун, тот умник, который написал эту глупость». В зале засмеялись. Я немного смутился. Профессор Браун был как раз тот человек, кто пригласил меня сюда и мне не хотелось его обижать. «Извините, господин Браун, — сказала я, — я не хотел вам сказать ничего неприятного, я просто подумал, что такое мог написать студент первого курса, но никак не профессор». Публикой моя нечаянная колкость была оценена по заслугам и отмечена взрывом смеха. Я подождал, пока смех утихнет, и стал объяснять, что здесь, кажется, имеет место недоразумение: «Вам обещали, что я вас буду смешить, но я этого делать не собираюсь. Поэтому, если кому-нибудь из вас хочется повеселиться, пойдите куда-нибудь в кабаре, варьете, в цирк, там вас повеселят. Там клоуны ходят в больших ботинках, у них штаны спадают, они корчат рожи, дают друг другу пинка под зад, это смешно, правда?» Публика смехом подтвердила, что, правда, смешно.

Прямо передо мной сидела парочка, студент и студентка, молодые, полные, и смешливые. Пока я говорил, он показывал на меня пальцем, толкал ее локтем в бок, она толкала его и тихо хихикала.

— У меня, — продолжал я свое объяснение, — нет ни малейшего желания вас смешить. Может быть, в книгах моих попадаются смешные места, но мои устные выступления это что-то другое. Тема моей лекции «Писатель в советском обществе». Советское общество это... Я не понимаю, чему вы смеетесь. Какое из произнесенных мною слов кажется вам смешным? Советское? Это смешно? Ха-ха? Или общество? Общество, это очень смешное слово?

В зале уже стоял хохот или даже гогот. Профессор Браун смеялся сдержанно и довольно. Его обещание сбывалось. Толстый студент хохотал, обхватив руками свой круглый живот, его соседка повизгивала, как поросенок. Кажется, все веселились, кроме двух охранников университетской службы безопасности, которые в черных униформах зачем-то стояли у двери, с видом суровым и неприступным, дающим понять, что они здесь несут службу, а не развлекаются.

Я глянул на часы. Уже прошло пятнадцать минут, а я еще и не начал своей столь старательно приготовленной лекции. Придется ее на ходу подсократить.

Я выждал длинную паузу и, когда слушатели наконец успокоились, попытался подействовать на них своей рассудительностью.

— Мне кажется, — сказал я, — вы ложно настроились. Вы решили, что я сатирик и поэтому должен говорить смешно. Но вы путаете разные жанры. Сатира сатире рознь. Есть сатира и есть эстрадные шутки. И есть шутники, которых называют сатириками. Они выходят на эстраду, рассказывают какую-то глупость из разряда «А вот был еще случай». Например, холостой мужчина увидел объявление, что продается машинка, заменяющая женщину. Побежал, купил, принес домой, оказалось, что это машинка для пришивания пуговиц. Смешно? Правда? Очень. Ну посмейтесь, а я подожду. Вы меня принимаете за кого-то вроде вашего телевизионного эстрадника Джонни Карсона. Он хороший, смешной актер, я сам смеюсь, когда его вижу, но я-то не Джонни Карсон. Я предпочитаю другую сатиру, в которой юмор горький, а смех сквозь слезы. Понимаете?

Конечно, они поняли. Только наоборот: у них были слезы сквозь смех. Соседка толстого студента просто рыдала сквозь хохот. Да и он тряс головой и смахивал слезу рукавом.

— Пушкин... — сказал я и сделал паузу.

Я до сих пор не понимаю, что смешного они нашли в слове «Пушкин», но и оно было встречено приступом смеха.

— Пушкин... — повторил я и в отчаянии умолк.

Когда они кое-как успокоились, я им быстро, скороговоркой, не давая опомниться, сообщил, что Пушкин, читая «Мертвые души», смеялся не хуже их, а прочтя, сказал: «Боже, как грустна наша Россия». А сам Гоголь свою смешнейшую повесть закончил словами: «Скучно на этом свете, господа».

Чтобы передать публике испытанное Гоголем чувство, я произнес последнюю фразу таким жалким голосом, что все опять залились хохотом. Профессор Браун пытаясь сдержаться, хватался за затылок, который, видимо, уже ломило от смеха. Толстый студент падал на свою соседку, корчился в конвульсиях и сучил ногами. Соседка отталкивала его и сама верещала, как милицейский свисток. В середине зала кто-то свалился со стула. Один из охранников не выдержал и тоже начал смеяться. Причем сразу бурно,

хлопая себя по ляжкам и стучаясь затылком о стену. Зато другой был по-прежнему суров и неподвижен, как изваяние.

Стоит ли говорить, чем было встречено мое утверждение, что настоящие сатирики вообще очень невеселые люди. Гоголь был меланхоликом. Очень мрачным человеком был Михаил Зощенко.

— А вы? — спросил меня с места профессор Браун.

Я еще не успел ответить, а зал уже опять покатился со смеху.

— Но я все-таки хочу рассказать вам о том, что представляет собой советское общество и какую роль в нем играет советский писатель.

Я попытался объяснить им, что Советский Союз это тоталитарное государство, которым управляет одна-единственная политическая партия. Там есть парламент, но в него избирают одного депутата из одного кандидата. Там есть десять тысяч членов Союза писателей, которые все до единого пользуются методом социалистического реализма, который предполагает правдивое исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии. Советские писатели это, как сказал один из них, люди, которым партия дала все права, кроме права писать плохо.

Надеясь все-таки переломить настроение публики, я перешел к совсем грустной теме и стал рассказывать о борьбе за права человека, репрессиях, но стоило мне произнести слова — КГБ, ГУЛАГ, психбольница, они заливались дружным, иногда даже истерическим хохотом.

Глянув на часы, я увидел, что время мое истекло, на тему приготовленной лекции мне не удалось сказать ни единого слова.

Я совсем разозлился на публику и сам на себя и сказал:

— Когда я ходил в детский сад, любому из моих ровесников достаточно было показать палец, чтобы вызвать неудержимый хохот. Вы, я вижу, до сих пор из детского возраста не вышли.

И переждав очередную волну хохота, закончил свою речь такими словами:

— Я хотел рассказать вам очень серьезные вещи, но вы все равно не поймете. Поэтому я заканчиваю, все, благодарю за внимание.

Мне приходилось выступать много до и после. Иногда мои выступления встречались публикой одобрительно и смехом и аплодисментами, но такого хохота и таких оваций себе я в жизни не слышал.

После лекции ко мне выстроилась длинная очередь желавших получить мой автограф.

Подшла женщина в темных очках, видимо, преподаватель:

— Вы выступали очень смешно. Я никогда в жизни так не смеялась. Тем более последний год, с тех пор как похоронила мужа.

Подшел толстый студент:

— Спасибо, вы имеете хорошего чувство юмора.

Его соседка сказала, что собиралась написать диссертацию о советских юмористах, но теперь, пожалуй, сменит тему и напишет только обо мне.

— Мне нравится, что вы очень веселый человек, — сказала она, и я не стал с ней спорить.

Охранник, который единственный в зале держался сурово, попросил автограф и пообещал:

— Я расскажу о вашей лекции моей жене. Она будет очень смеяться.

Последним ко мне приблизился профессор Браун. Промокая глаза бумажной салфеткой, он похлопал меня по плечу и сказал:

— Владимир, когда вам надоеет писать, вы сможете выступить на сцене, как Джонни Карсон. Даже смешнее, чем Джонни Карсон.

Я уезжал домой, огорченный тем, что серьезные мысли, столь прилежно мной подготовленные, остались недонесенными до публики, принявшей меня за кого-то другого. Но потом подумал, что такого успеха у меня еще не было и это стоит принять во внимание. Выступая в другом американском университете, я специально стал говорить, что приехал с серьезной лекцией и надеюсь на серьезное внимание зала, рассчитывая как раз на нечто противоположное. Но зал принял мои слова за чистую монету и хотя по ходу дела я вставлял какие-то шутки, слушатели, кажется, ни разу не улыбнулись, лекция прошла при полном молчании зала и закончилась вежливыми аплодисментами. Я попробовал посмешить публику еще раз, другой, третий, и неудачно. Я вернулся к старому своему амплуа и, поднимаясь на трибуну, говорю только серьезно и только об очень серьезных вещах. И это бывает иногда довольно смешно.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Стояла длиннющая очередь за пивом, и я в нее сдуру стал. Прошел час, а путь до пивного ларька сократился не больше, чем наполовину. Стою, раздираемый сомнениями. С одной стороны, черт с ним, с этим пивом, с другой стороны — час ведь уже отстоял, неужели зазря? Все же стал склоняться к тому, чтобы уйти, но тут в очереди, вижу, бунт назревает. Точнее, не бунт, а скажем помягче, ропот. Заволновались мужики, да что это мы не движемся? Небось там какие-нибудь нахалы без очереди лезут или по десять кружек берут, или продавщица своим продает через задние двери. И так этот ропот распространился и, как по бикфордову шнуру, пошел от хвоста к голове. Дошел, видимо, до самого ларька, да там как-то затих, а потом от головы к хвосту пошло объяснение:

— Проблема в кружках, — услышал я впереди, то есть проблема в том, что народу много, а кружек мало.

— Проблема в кружках, — передавали передние задним, — проблема в кружках.

И все согласно закивали головами, все успокоились, что никто их не надувает, не лезет без очереди, никому не выносят через задние двери, а проблема всего только в кружках. И так стояли,

подобрел к передним и успокоившись. И я стоял. И часа через полтора достоялся. И хотя, не будучи особым любителем пива, я его никогда не пил больше одной кружки, в этот раз взял две, потому что как-то обидно было два с половиной часа стоять из-за одной.

КТО ВИНОВАТ?

Начало 1953 года. Я служу солдатом в Польше. Учусь в школе авиа-механиков. Обыкновенный армейский распорядок: подъем, построение, уборная, построение, утренняя поверка, завтрак («С места с песней шагом марш!»), восемь часов занятий (строевая подготовка, теория двигателя, физкультура, топография, уставы, теория полета, политзанятия), обед, дневной сон, три часа самоподготовки («С места с песней шагом марш!»), ужин, сорок минут личного времени (написать письмо, почистить пуговицы, подшить подворотничок), построение, вечерняя прогулка («С места с песней шагом марш!»), пять минут личного времени (старшина командует: «Покурить, постыть, приготовиться к отбою... Рррразойдись!»), построение, вечерняя поверка, отбой.

Газеты-журналы читать некогда, но куда ни сунешься, везде космополиты: и воруют, и спекулируют, и низкопоклонствуют перед границей, «а сало русское едят» (Михалков). Фельетон «Пиня из Жмеринки», поэма «Кому на Руси жить хорошо?» (ответ: евреям). И наконец, апогей кампании: «Убийцы в белых халатах», врачи, которые по заданию еврейской буржуазно-националистической организации «Джойнт» составили террористический заговор, убили Жданова, Щербакова, собирались убить несколько маршалов и генералиссимуса Сталина.

Я был далеко от Родины и не видел своими глазами, но узнал потом, что население было в панике. Люди отказывались лечиться у врачей-евреев, выбрасывали прописанные ими лекарства, русские ученики били своих еврейских одноклассников, сами евреи не только боялись народного гнева, но и стыдились своей принадлежности к этому зловредному племени. Много лет спустя мой приятель рассказал мне об одном своем письме того времени. «Мне стыдно, что я — еврей», — написал он своим родителям.

А у нас в школе все идет своим чередом. И вдруг на уроке по политической подготовке встает курсант Васильев, и, покраснев от напряжения, от сознания того, что хватит молчать, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, а почему у нас, в Советском Союзе, евреев не расстреливают?»

Произошло некоторое замешательство. Класс затаил дыхание. Старший лейтенант помолчал, подумал, потом улыбнулся Васильеву.

— Я понимаю, чем вызвано ваше беспокойство, но вы вопрос ставите не совсем правильно. Конечно, преступления некоторых

людей еврейской национальности вызывают наше возмущение, наш справедливый гнев, но все-таки мы должны помнить, что мы гуманисты, интернационалисты и мы знаем, что евреи бывают всякие. Бывают плохие евреи, а бывают хорошие, трудящиеся евреи.

— Вот как, например, Фишман, — радостно подсказал Казимир Ермоленко.

— Вот как, например, Фишман, — охотно поддержал старший лейтенант и церемонно поклонился сидевшему на задней парте смущенному Фишману.

Васильев покраснел еще больше, сжал кулаки и сказал решительно:

— Фишман не еврей.

Хотя у него не было никаких причин сомневаться в происхождении Фишмана, он знал, что Фишман, при всех его недостатках, в общем-то свой парень. И Васильев готов был расстрелять всех евреев, кроме одного — Фишмана.

Год 1979-й. В одной московской компании знакомлюсь с неким доктором-психиатром. Он говорит, что только что прочел книгу писателя Ф. Это роман о том, как немолодой еврей, отрешившись наконец от своих былых коммунистических иллюзий, пришел к православию, крестился и много размышляет об исторической вине евреев перед русским народом. Автор (сам, между прочим, еврей) говорит, что стыдно даже сравнивать ручеек еврейской крови с рекой крови, пролитой русскими.

Психиатру роман очень понравился.

— Чем же он вам мог понравиться? — спросил я. — Ведь он же просто очень плохо написан. Он скучный.

— А я, знаете, уже вышел из возраста, когда в книге ищут какого-нибудь острого сюжета или стиливых тонкостей. Меня интересуют только мысли.

— И какие же мысли вы нашли в этом романе?

— Я нашел в нем одну главную мысль и очень правильную. Он убедительно показывает, что во всем виноваты евреи. И в первую очередь — Бланк. Вы знаете, что настоящая фамилия Ленина — Бланк?

— Нет, — сказал я, — я знаю, что его настоящая фамилия Ульянов.

— Не Ульянов, а Бланк. Отец его матери был еврей Бланк.

— Хорошо, а кто был ваш дедушка по матери?

Мне случайно повезло. Оказалось, что его дедушка был татарин.

— Значит, и вы татарин?

— Нет, я русский.

На этом наш спор прекратился, потому что, если уже человек дошел своим умом, что во всем виноваты евреи, его с этой точки никакими доводами не сдвинешь.

1981 год, Германия. Женщина преклонного возраста, старая эмигрантка, пригласила меня к себе. Поставила мне и мужу, немецкому бизнесмену, водку, сама пьет чай. Очень интересуется тем, что происходит в России, и в частности национальным вопросом.

— Вот я тут со всеми спорю, со мной никто не соглашается. Скажите вы, правда ведь, никакого украинского языка не существует, а есть всего лишь малороссийский диалект русского?

— Нет, — говорю я, — думаю, что это неправда. Если вы услышите украинскую речь, не зная ее, вы, пожалуй, ничего не поймете. Это значит, что украинский язык все-таки есть.

Она промолчала, но вряд ли согласилась. Поговорили еще о чем-то.

— Скажите, — говорит она, — а почему среди диссидентов и среди советских правителей так много нерусских?

— Вы хотите сказать, что среди них много евреев?

— Ну да, — сказала она, слегка замаявшись.

— Что касается диссидентов, — сказал я, — то среди них евреи, конечно, попадают. А вот среди правителей... Скажите, вы думаете, Брежнев еврей?

— А разве нет?

— Нет. Брежнев не еврей. И все остальные члены Политбюро не евреи.

— Ну как же, — говорит она и достает спрятанную за книгами советскую газету с портретами членов Политбюро, брезгливо смотрит на них. — Разве они русские?

— Во всяком случае, не евреи. Но если вы хотите подробнее, давайте посмотрим. Брежнев — русский, Андропов — русский, Гришин — русский, Громыко — русский, Кириленко — русский, Косыгин — русский, Кунаев — казах, Пельше — латыш, Романов — русский, Сулов — русский, Тихонов — украинец, Устинов — русский, Черненко — русский, Щербицкий — украинец. Эти четырнадцать человек являются реальными руководителями Советского государства. Из них десять русских, два украинца, один казах и один латыш.

Старушка бережно сложила газету и опять спрятала ее за книги. Возражать мне она не стала, но мнения своего, похоже, не изменила.

Лет примерно тридцать тому назад на известного советского поэта и антисемита Сергея Смирнова, страдающего от большого физического недостатка и комплекса неполноценности, была сочинена эпиграмма:

Поэт горбат,
Стихи его горбаты...
Кто виноват?
Евреи виноваты.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Однажды в половине одиннадцатого утра, идя по Минаевскому рынку с авоськой, я вдруг услышал за спиной:

— Ну что делать, что делать? — вопрошал какой-то человек возбужденно и страстно.

Услышав этот вопрос, который когда-то столь волновал российское общество, я тоже разволновался.

— Надо же, — думал я, — сколько уже раз ставился этот вопрос. Чернышевский с его хрустальными дворцами и снами Веры Павловны, Ленин с его наболевшими вопросами. И ведь кажется, все уже сделано: дворцы построены, вопросы решены, что еще надо? А вопрос остался все тот же.

Я обернулся.

Прямо за мной вдоль рядов, ничего перед собою не видя, шли два страдающих и отрешенных от мирской суеты алкаша.

Один из них, тот что повыше, руками в нитяных перчатках обхватив голову так, словно у него одновременно болели зубы, виски и уши с обеих сторон, повторял вопрос, на который не видел ответа: «Что делать? Что делать?».

Тот, который пониже, такой же страдающий и небритый, трогал вопрошавшего за локоть и уговаривал: «Ну покружись, покружись! Через полчаса блокаду снимут, сразу две бутылки возьмем».

И я подумал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

И каким, действительно, словом, кроме «блокада», можно назвать это бедствие, ожидание открытия винного отдела, который (почему?) открывается не в восемь, как все остальные отделы, а в одиннадцать часов утра? И разве это не наболевший вопрос? И неужели сны Веры Павловны кажутся вам действительно серьезнее?

А каким другим словом, кроме как «покружись», можно обозначить это томительное движение вдоль прилавков и мимо, когда нельзя ни стоять, ни сидеть, ни разговаривать, ни думать о постороннем, а только ждать, пережить эти невыносимые и бесконечные последние полчаса.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

ПРОГРЕССИВНЫЙ ПАПА

В октябре 1964 года известие о снятии Хрущева и назначении на высший партийный пост Брежнева застало его дочь Галину в Коктебеле, где она загорала в обществе известных писателей и артистов (известно, что дети больших советских сановников питают слабость

и странную тягу к художественной богеме). Перемены наверху были неожиданностью для всех, в том числе и для Галины Леонидовны. Люди, наблюдавшие ее в тот день, рассказывали, как стоя, раздетая на ветру, она тряслась не то от холода, не то от возбуждения и повторяла одно и то же:

— Вот увидите, мой папа будет прогрессивным!

Прогрессивный папа вместе со своими прогрессивными соратниками немедленно начал крутить колесо истории вспять, поставив себе первой внутривластической задачей реабилитацию Сталина и восстановление репутации КПСС как никогда не ошибавшейся ни в чем мудрой и безупречной руководительницы и наставницы советского народа. Советская пропаганда осторожными мазками стала наводить глянец на рябое и к тому времени порядком уже заплеванное лицо нашего покойного вождя и учителя.

В литературе негативные упоминания о Сталине и сталинском терроре исчезли. (Ну зачем тревожить старые раны? Партия об этом все, что надо, сказала, ошибки решительно осудила, и хватит.) Положительные упоминания, напротив, стали появляться все чаще, причем как бы стихийно (ведь у нас свобода, и партия не может желающим запретить любить товарища Сталина).

На экранах кинотеатров в документальных лентах стали появляться кадры с бывшим Верховным Главнокомандующим, при этом в зале раздавались не очень дружные, но вполне наглые аплодисменты изображавших публику агентов КГБ.

Одновременно появились и художественные фильмы сталинских времен: «Трактористы», «Секретарь райкома», «Кубанские казаки». Все это замшелое старье вытаскивалось на экраны и преподносилось зрителю в качестве образцов высокого искусства. Делалось это отчасти из политических, а отчасти и из чисто вкусовых соображений советских вождей. Этим бездарным искусством сопровождалась их карьера, их бурная молодость, когда они в результате кровавых чисток толпами выходили из грязи в князи и вместо скромного чиновного продвижения по службе вдруг в очень молодом возрасте оказывались генералами и губернаторами и вершили судьбами тысяч людей, которых по своей собственной воле или прихоти могли казнить или миловать.

Попытка реабилитации Сталина не была доведена до конца, потому что неожиданно для советских правителей натолкнулась на довольно ощутимое сопротивление и значительной части советского общества, и западных компартий, и даже самого партийного аппарата, оберегавшего себя от сталинского произвола. Говорят, что в самом начале своего правления, потерпев неудачу в попытке открытой реабилитации Сталина, Брежнев обещал его реабилитировать «в рабочем порядке», но и этого в конце концов не сделал, потому что Сталин потом и ему оказался не нужен. Создание собственного культа личности показалось ему занятием более привлекательным, чем восстановление культа Сталина.

Однако сталинизм как метод управления государством был реабилитирован почти полностью, и это проявилось в показательных процессах над инакомыслящими с более мягкими результатами по сталинским меркам, но достаточно жестокими и достаточно отвратительными по обыкновенным человеческим понятиям.

Конечно, при Брежневе репрессии не достигли сталинских масштабов, но это объяснялось не личной добротой Брежнева, а слабостью его (по сравнению со Сталиным) характера. И еще тем, что после всех разоблачений, при сопротивлении в разных формах различных сил и омертвлении идеологии они были попросту невозможны. (Я уже говорил, что массовый террор возможен только в условиях массового энтузиазма и при молодой, не потерявшей своего блеска идеологии.)

Как личность, Брежнев был гораздо ничтожнее Сталина, хотя очень старался ему подражать. (Сталин родился 21 декабря, а Брежнев 19-го, чем заслужил прозвище недоноска.)

Положительное отличие Брежнева от Сталина заключалось в том, что он был меньшим преступником. Сталина интересовала сама власть ради власти, а Брежнева соблазняли сопутствующие ей возможности роскошной жизни. Сталин думал в основном о том, как и кого еще уничтожить, а Брежневу было некогда, он смотрел еще вокруг себя, где что плохо лежит.

Когда сейчас говорят о масштабах расцветшей при нем коррупции, то упоминают разных людей из его окружения, включая и его дочь, и его зятя, но это несправедливо. Во главе верховной мафии, которая не гнушалась ни воровством, ни взяточничеством, ни всякими другими способами присвоения чужого добра, стояли не дочь Брежнева и не зять Брежнева, а сам папа Брежнев, который коллекционировал «ролс-ройсы» и «мерседесы», принимал всякие другие подарки от западных фирм и от коллективов трудящихся в родном Отечестве.

Есть анекдот про еврейского портного, который сказал, что, если бы он был царем, он жил бы лучше, чем царь, потому что он бы еще немножко шил. Брежнев тоже жил лучше, чем царь, потому что он еще немного прикрадывал. То же делали и его соратники. Почти всегда безнаказанно. Если и случались скандалы, как, например, с Фурцевой или Мжаванадзе, то только потому, что эти люди чем-то Брежневу не угодили.

А вот, скажем, бывший глава государства Подгорный был убран на пенсию без особого скандала, хотя тоже, как говорят, на руку был довольно нечист. Этот просто брал взятки за помилования приговоренных к смертной казни.

Кстати, раз уж речь зашла о Подгорном, стоит сказать о нем пару слов еще. Этот народный избранник выделялся своим интеллектом даже на фоне своих товарищей в Политбюро. Не зря они, учитывая его умственные способности и успехи в игре в домино, называли его Пусто-Пусто. О его крохоборстве и вкусах ходили легенды.

Один кинооператор, которому часто приходилось снимать Подгорного, рассказывал мне, что как только Подгорный оказывался перед столом, на котором стояли напитки и лежали сигареты «Кент», он тут же хватал одну пачку и клал в карман. Рассказывали, и в это можно поверить, что у Подгорного было двенадцать в ту пору еще редких в советском быту цветных телевизоров, они стояли у него в кабинете, в спальне и в других помещениях, включая уборную.

Почему-то многие западные политики еще недавно думали, а может быть, некоторые и до сих пор думают, что Советским Союзом руководят узколобые фанатики, которые ни о чем, кроме мировой революции и коммунизма, не помышляют. Поэтому, видя Брежнева, они удивлялись, что этот человек не чужд человеческих слабостей и вовсе не узколобый фанатик.

Канцлера Западной Германии Вилли Брандта он в свое время умилил тем, что рассказывал антисоветские анекдоты, героем которых был он сам, и анекдоты, за которые рядовые люди вполне могли схлопотать и срок.

Он не был фанатиком, потому что никаких фанатиков в его поколении руководителей вообще уже не было. Фанатиков ленинского типа сталинские циники уничтожали начиная с конца двадцатых годов и совсем уничтожили в тридцатых. На смену им были призваны в партию и расставлены на важнейшие партийные посты малообразованные, малокультурные и алчные люди. Их интеллектуальные возможности были настолько ограничены, что подавляющее большинство из них, включая Хрущева, Брежнева и Черненко, ежедневно повторяя слова «социалистический» и «капиталистический», так и не научились их выговаривать.

Все они не могли произнести без бумажки ни единого слова. Однажды я прочел записку Брежнева. В одиннадцати строках этой записки было одиннадцать грамматических ошибок.

Короче говоря, Брежнев, как и большинство сталинских выживенцев, представлял собой вполне мелкую личность, был малокультурен и необразован. Из тех, кто, по чьему-то остроумному выражению, кончил ЦПШ (трехклассную церковно-приходскую школу) и ВПШ (высшую партийную школу). Все они, или почти все, были наглы, алчны, тщеславны и беспринципны. О преданности их каким бы то ни было идеям смешно говорить.

Я вовсе не марксист и не собираюсь выступать в качестве адвоката марксизма, но и советских руководителей я не стал бы подозревать в слишком большой приверженности этому учению. Марксизм как-никак провозглашает своими идеалами свободу, равенство, братство, отмирание государства. Марксизм, например, отрицает цензуру. Нет, я не думаю, чтобы Брежнев или кто-нибудь из его коллег стремился следовать этим идеалам.

Они прикрываются марксистской идеологией, как ширмой, просто потому, что она к их приходу уже была узаконена и менять ее не

было никакой необходимости. Любая другая идеология могла бы быть приспособлена ими с таким же успехом. Они оперируют теми цитатами из Маркса или Ленина, которые им нужны к тому или иному случаю, а ненужное отбрасывают.

Как типичный вождь сталинского образца, Брежнев обладал непомерным тщеславием. Его бывший соратник Александр Шелепин, еще будучи членом Политбюро, рассказывал даже не очень близким знакомым (может, на этом и погорел), что Брежнев так восхищен собой, что не может пройти мимо любой полированной поверхности, чтобы не взглянуть на свое отражение.

Я уезжал из Москвы за два года до смерти Брежнева. Уже тогда советские люди прозвали ежедневную телевизионную программу «Время» — «Все о нем и немного о погоде». Было смешно, и больно, и стыдно изо дня в день смотреть бесконечные церемонии награждения Брежнева. То ему присваивают звание Героя Советского Союза, то награждают золотым оружием. По количеству наград он затмил всех своих предшественников. Одних только золотых звезд Героя Советского Союза и Социалистического Труда он получил столько, сколько было у Сталина и Хрущева вместе взятых. А те, как известно, тоже большой скромностью не отличались.

Непомерное тщеславие Брежнева не удовлетворялось, и он принялся за литературное творчество. Книги, написанные за него бригадой мобилизованных литераторов, были объявлены литературными шедеврами, сравнимыми только с лучшими страницами «Войны и мира». Миллионы людей в принудительном порядке изучали и конспектировали эти книги. Когда специалисты подсчитывают, какой урон советской экономике наносят пьянство и прогулы, им следует также подсчитать, какой урон этой же самой экономике нанесли хотя бы литературные упражнения Брежнева.

Вилли Брандт и другие западные лидеры с похвалой отзывались о миролюбии Брежнева и даже называли его человеком мира, видимо, на том основании, что он не начал термоядерной войны. Конечно, он ее не мог и не собирался начать, потому что, во-первых, для такого дела даже его власти было недостаточно, а во-вторых, он был человеком ограниченным, но не сумасшедшим и хорошо понимал, что выиграть такую войну у него нет никаких шансов. А вот представить себе на минутку, что у Брежнева была бы стопроцентная гарантия выигрыша и что победа принесла бы ему лауры величайшего полководца, звание генералиссимуса и еще всякие усыпанные бриллиантами ордена, я бы лично в подобной ситуации не спал спокойно. Ничтожной личностью владеют ничтожные страсти. Чем ничтожней личность, тем решительней и безответственней она пользуется всей полнотой имеющейся в ее распоряжении власти*.

* Миролюбие, между прочим, проявляется в ненападении не на сильного, а на слабого. И в отношении Чехословакии или Афганистана никакого миролюбия Брежнев не проявил.

Не имея шансов начать войну, Брежнев удовлетворился малым: награждением себя высшими воинскими званиями и отличиями, включая орден «Победа», которым по статусу награждаются лишь высшие полководцы за операции, решившие исход войны.

Сам по себе Брежнев был настолько безлик, что не заслуживал бы столь подробного описания. Но он на протяжении восемнадцати лет руководил сверхдержавой, способной уничтожить весь мир, и за этот долгий срок стал так же, как и Ленин, и Сталин, неким символом своего времени. За годы его маразматического правления советское общество разложилось окончательно. Все было доведено до своего логического конца. Надежды, вспыхнувшие во времена Хрущева и теплившиеся кое-как в первые годы его правления, сменились после полного разгрома правозащитного движения и всеобщего затыкания глоток унынием, разочарованием, апатией и разрушением общественной морали. Народ, лишенный какой бы то ни было возможности политической, культурной и общественной жизни, ответил на все это пьянством, воровством (благо, пример руководителей на всех уровнях перед глазами), понижением производительности труда и ужасающе низким качеством продукции.

Можно даже сказать, что «брежневизация» общества была для него по-своему не менее ужасна, чем «ленинизация» и «сталинизация».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УКАЗ

*Копия
Секретно
экз. № 2*

*5 апреля 1975 г.
№ 784-А*

ЦК КПСС

*О намерении писателя В. ВОЙНОВИЧА
создать в Москве отделение Международного Пен-клуба*

В результате проведенных Комитетом госбезопасности при Совете Министров СССР специальных мероприятий получены материалы, свидетельствующие о том, что в последние годы международная писательская организация Пен-клуб систематически осуществляет тактику поддержки отдельных проявивших себя в антиобщественном плане литераторов, проживающих в СССР. В частности, французским национальным Пен-центром были приняты в число членов ГАЛИЧ, МАКСИМОВ (до их выезда из СССР), КОПЕЛЕВ, КОРНИЛОВ, ВОЙНОВИЧ (исключен из Союза писателей СССР), литературный переводчик КОЗОВОЙ.

Как свидетельствуют оперативные материалы, писатель ВОЙНОВИЧ, автор опубликованных на Западе идейно ущербных литературных произведений и разного рода политически вредных «обращений», в начале октября 1974 года обсуждал с САХАРОВЫМ идею создания в СССР «отделения Пен-клуба». Он намерен обратиться в Международный Пен-клуб с запросом, как и на каких условиях можно организовать «отделение» Пен-клуба в СССР с правом приема в него новых членов на месте. В качестве возможных участников «отделения» обсуждались кандидатуры литераторов ЧУКОВСКОЙ, КОПЕЛЕВА, КОРНИЛОВА, а также лиц, осужденных в разное время за антисоветскую деятельность, — ДАНИЭЛЯ, МАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВА, МОРОЗА. ВОЙНОВИЧ считает также, что принимать можно будет «необязательно диссидентов», но и «молодых писателей, которые заслуживают этого».

Таким образом, ВОЙНОВИЧ намерен противопоставить «отделение Пен-клуба» Союзу писателей СССР.

Характерно, что в плакате под названием «Писатели в тюрьме», рассылаемом американским Пен-центром, значится в числе прочих и фамилия ВОЙНОВИЧА, о котором в провокационных целях сообщается, что он «заключен в психиатрическую лечебницу», что не соответствует действительности.

В настоящее время ВОЙНОВИЧ встал на путь активной связи с Западом, имеет своего адвоката, гражданина США Л. ШРОТЕРА, ранее выдворявшегося из СССР за сионистскую деятельность. ВОЙНОВИЧ поддерживает контакт с неким И. ШЕНФЕЛЬДОМ, одним из функционеров польского эмигрантского центра «Культура», и с другими антисоветски настроенными представителями эмиграции (СТРУВЕ, МАКСИМОВ, НЕКРАСОВ, КОРЖАВИН-МАНДЕЛЬ), через которых стремится публиковать свои произведения на Западе, а также постоянно встречается с аккредитованными в Москве и временно приезжающими в нашу страну иностранцами.

Парижское издательство «ИМКА-пресс» в феврале 1975 года выпустило в свет на русском языке «роман-анекдот» ВОЙНОВИЧА «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», в аннотации к которому сообщается, что это «роман о простых русских людях накануне и в первые дни второй мировой войны», что автор передает «трагедию русского народа, обездоленного и обманутого своим «великим отцом». Роман издан в переводе в Швеции и будет издаваться в ФРГ.

Кроме того, ВОЙНОВИЧ вступил в члены так называемой «русской секции» Международной амнистии, организованной в Москве ТУРЧИНЫМ И ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ, являющимися активными участниками антиобщественных акций.

В конце января 1975 года ВОЙНОВИЧ заявил ряду западных корреспондентов, что он не имеет возможности печататься в СССР, в связи с чем не может обеспечить свою семью с помощью литературного труда, допустил ряд грубых выпадов против Союза писате-

лей, сказал, что события, происшедшие в творческой жизни в СССР, обусловили его «коллизии с официальной советской доктриной социалистического реализма». ВОЙНОВИЧ подчеркнул, что он не признает полномочия Всесоюзного агентства по авторским правам и сознательно публикует свои произведения на Западе.

С учетом того, что ВОЙНОВИЧ скатился, по существу, на враждебные позиции, готовит свои произведения только для публикации на Западе, передает их по нелегальным каналам и допускает различные клеветнические заявления, мы имеем в виду вызвать ВОЙНОВИЧА в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера. Дальнейшие меры относительно ВОЙНОВИЧА будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ.

*Председатель Комитета госбезопасности
Ю. АНДРОПОВ*

*Копия
Секретно
экз. № 2*

6.81 № 1488-А

ЦК КПСС

О лишении гражданства СССР Войновича В.Н.

Как ранее сообщалось Комитетом госбезопасности (№ 2316-А от 4 ноября 1980 года), московский литератор Войнович В. Н. в последние годы активно занимается антиобщественной деятельностью.

В декабре 1980 г. Войнович с женой и малолетней дочерью по приглашению Баварской академии искусств выехал в ФРГ сроком на один год.

По прибытии в ФРГ он установил контакты с представителями антисоветских центров, что послужило очередным поводом для муссирования всяческих клеветнических измышлений о нашей стране.

В течение непродолжительного времени Войнович дал ряд интервью политически вредной направленности, свидетельствующих об окончательной утрате им чувства советского гражданина.

С учетом изложенного представляется целесообразным лишить Войновича В.Н. советского гражданства.

Проекты постановления ЦК КПСС и Указа Президиума Верховного Совета СССР прилагаются.

Просим рассмотреть.

*Председатель Комитета
Ю. АНДРОПОВ*

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О лишении гражданства СССР Войновича В.Н.

818

Учитывая, что Войнович В.Н. систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР **постановляет:**

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 года «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Войновича Владимира Николаевича, 1932 года рождения, уроженца гор. Душанбе, временно проживающего в ФРГ.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль, 16 июня 1981 г.
5075-Х

ОТВЕТ ВЛАСТИТЕЛЮ

Господин Брежнев!

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства, благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу, никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недалеком времени все Ваши указы, лишаящие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине.

Владимир Войнович

Июнь 1981 года,
Мюнхен

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, об Южной Африке, уносились в будущее, возвращались в прошлое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одной из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками.

— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душисть не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я. — Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душисть Перовскую, а наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас модно быть убежденной монархистской. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Москве и сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой человек, очень пылкий, романтический и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей вероучения, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, зада-

ваемый жизнью, всегда находился все объясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым вероучением, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Сталине и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цветов стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина, — назидательно говорил мне мой друг, — ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды гений, может ответить на все вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольд Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Че Гевары, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров. Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Как-то мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменялись. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других, известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я нашел за шкафом.

Мы поговорили о том о сем, и, когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды, мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь и мои заблуждения объясняются тем, что я не знаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым и единственно правильным мировоззрением и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки, с пылающим взором и мозгами, забитыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разнарядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямоотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрании, не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все или большинство из нас подверглись невиданной обработке. Идеология вдальблывалась в нас с пеленок. Некоторые в нее поверили искренне. Другие относились, как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее. Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всеильной власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но вступая в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. И инстинкт совести не каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец погиб не на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражавших просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчики-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ересью, что даже парторги ее останавливали. В пятьдесят третьем году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы христиане», меня это, право, коробит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано с понятием «совестливый человек», но далеко

не каждого из наших новообращенцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) никаким убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он верит, что изменился. На самом деле, каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю выдумку, что Россия страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало его обязанностям, и руководят этими обществами фактически не выдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некоей мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя? И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо оголтелых приверженцев с цитатами и автоматами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем вовсе не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитарном правлении могут закончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком историческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демо-

кратически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос, местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну хорошо, ну демократия, а что дальше?» Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что по крайней мере нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при котором любой народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склонности тоже. Демократия, в отличие от единственно правильных мировоззрений, не лишает никакой народ своего своеобразия, при ней немцы остаются немцами, англичане англичанами, а японцы японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что, если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

РЕЧЬ БЮРОКРАТА

Дорогие товарищи бюрократы и бюрократки!

Вдохновленный историческими решениями очередного съезда КПСС, наш народ уверенно продвигается вперед. Мы с гордостью можем сказать, что за последнее время достигнуты большие успехи и взяты высокие рубежи, наши планы выполняются и перевыполняются. Благодаря последним указаниям, новому мышлению и взятому нами стратегическому курсу обстановка внутри страны и за ее пределами значительно улучшилась. Гласность и перестройка стали воистину зримыми приметами нашего времени. Возьмите, товарищи, телевидение, радио, почитайте наши газеты, и вы увидите, что наши партийные руководители, наши ученые, писатели,

философы и публицисты выступают смело, по-боевому, с огнем, иной раз при этом наговаривая на три года, на пять, а даже и на семь лет лишения свободы с последующей ссылкой и поражением в правах. В некоторых выступлениях справедливо говорится, что, несмотря на общие достижения, на нашем пути имели также место отдельные крупные, значительные и даже вопиющие недостатки. Это, конечно, правильно, и мы этого никогда не скрывали. Но при этом, товарищи, порой допускаются и отдельные передержки. Так, утверждается порочная мысль, будто во всем виноваты якобы бюрократы. Причем ни для кого не секрет, что под бюрократами подразумеваются наши руководящие партийные работники. На глазах у всей страны и у всего мира происходят очернение пройденного нами пути и шельмование или даже, проще сказать, избивание партийных кадров. Но если, товарищи, смотреть на дело непредвзято и не путать причину и следствие, то можно нашу работу оценить и иначе. Теория учит нас, что, прежде чем приступить, надо подготовить необходимые условия и соответствующую почву. Как показала практика, наиболее подходящей почвой для перестройки является должным образом организованный, глубокий и всесторонний застой. Застой, товарищи, сразу не подготовишь. Для этого нужны годы и годы самоотверженного труда. Кто мог взяться за эту работу? Только мы, бюрократы. Семьдесят лет мы работали в этом направлении. Это была, товарищи, без преувеличения, очень трудная историческая задача.

В наследство от царского режима нам досталась страна очень богатая плодородными землями, природными ископаемыми, лесами, запасами угля и различных полезных руд. Если бы нам досталась какая-нибудь бедная ресурсами страна, ну, допустим, Италия или Япония, — такую страну мы могли бы довести до состояния застоя в течение максимум одной пятилетки.

Имел значение также и человеческий фактор. В начале нашего пути застойным явлениям противились помещики и капиталисты. Мы их разгромили. Крестьяне. Мы их раскулачили. Наиболее долгое и упорное сопротивление оказывала наша трудовая интеллигенция. Мы с ней боролись все семьдесят лет нашего существования. Не секрет, что враждебные элементы проникли и в партию. Это были, конечно, отдельные элементы, но они составляли в ней большинство. Эти элементы пытались свернуть партию с правильного пути и вести ее к застою более долгим путем. Одно время им даже удалось уберечь нас от застоя путем введения так называемого НЭПа. От этих товарищей нам впоследствии пришлось избавляться.

К концу 20-х годов НЭП был своевременно отменен, и мы приступили к ускоренному созданию застойной ситуации. Наши достижения той поры всем хорошо известны, я их обрисую лишь в общих чертах.

С помощью коллективизации нам удалось достичь того, что прежде плодородные земли больше не плодородили, климат ухудшился,

а урожая уменьшились. Индустриализация привела к тому, что одна часть нашей промышленности производила продукцию, а другая часть перерабатывала ее в утиль. По запасам утильсырья мы вскоре вышли на первое место.

В 30-е годы благодаря нашим усилиям была создана широкая сеть лагерей общего, строгого и особого режимов и других исправительно-трудовых учреждений, которые стали хорошей школой трудового воспитания для миллионов наших трудящихся. При помощи наших замечательных заключенных были предприняты мероприятия по рытью мелководных каналов, заболачиванию сухих почв и запесочиванию плодородных. Однако нас поджимало время. Не секрет, что международная обстановка в те годы мало благоприятствовала нашим планам. В Германии в это время к власти пришли социалисты. Не скрою, мы надеялись на помощь германских товарищей, но они оказались национальными социалистами и действовали в эгоистических интересах своей нации. В этих интересах они напали на нас, добились разгрома своих войск и впали в застойное состояние на сорок лет раньше нас. Поэтому и перестройка у них началась тоже раньше. Нам же фактически пришлось начинать все сначала.

В послевоенные годы нам пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство и одновременно бороться с литературой, музыкой, живописью, с генетикой, кибернетикой, с низкопоклонством перед Западом и с уже тогда проявившим себя сионизмом.

Затем последовал период волонтаризма, который задержал наступление застоя лет на десять. Тогдашнее руководство тоже внесло свой несомненный вклад в создание застойных явлений, чему способствовали попытки перегнать Америку, засадить кукурузою тундру и укрепление братских отношений с Венгерской Народной Республикой при помощи оружия. Однако те же годы для нас были омрачены массовым освобождением из лагерей граждан, еще недостаточно перевоспитанных, а также попытками подорвать наше единство путем введения принципа сменяемости кадров.

Мы нашли в себе силы трезво оценить ситуацию и принять неолжжные меры. Волонтаристы были отстранены от руководства, и наша партия взяла твердый и научно обоснованный курс на всеобщий застой.

С этой целью чуждый нам принцип сменяемости кадров был упразднен, и для руководства страной отбирались наиболее зрелые товарищи. Они трудились не покладая рук, до последнего, как говорится, дыхания и некоторые не покидали свой пост вплоть до коматозного состояния.

В этот период в сельском хозяйстве был взят курс на дальнейшее упрочение колхозной системы, в результате чего мы приступили к широким закупкам зерна за границей.

Была проведена большая организационная и воспитательная работа в области литературы и искусства. Некоторым писателям была

предоставлена возможность выступить с творческими отчетами в открытых судебных заседаниях с одновременной широкой рекламой их произведений за пределами нашей страны. Такие же условия были созданы и для других литераторов и лиц иных профессий. В результате по всей стране развернулось широкое диссидентское движение, которое способствовало расширению штатов в органах госбезопасности.

Одновременно в литературе внедрялся принцип единоначалия и научно обоснованный метод оценки произведений по должности, занимаемой автором.

В это же время мы не забывали и об угрозе со стороны международного коммунистического движения, которое еще непростительно медленно развивалось в сторону застоя. Наша бескорыстная помощь братской Чехословакии, а затем и неприсоединившемуся Афганистану сослужила хорошую службу резкому возрастанию застойных тенденций.

Говоря о других мерах, направленных на скорейшее создание застойной ситуации, необходимо отметить большую нашу заслугу в создании системы дефицита, в результате чего, товарищи, мы имеем, можно без ложной скромности сказать, бесконечный перечень товаров, которых в наличии не имеем.

И наконец, товарищи, не могу не отметить наших, прямо скажем, больших успехов в области коррумпциализации нашего управленческого аппарата. Все эти годы мы работали дружно. Укреплялись дружеские, семейные и межсемейные отношения. Наши прямые доходы возрастали за счет повышения заработной платы, а не прямые — за счет добровольных пожертвований наших замечательных современников.

За время нашего правления в народе росла и крепла убежденность, что дальше так жить нельзя, что без перестройки обойтись никак невозможно. И поэтому, товарищи, очень обидно сейчас видеть и слышать, как некоторые несознательные, я бы сказал, элементы используют предоставленную им гласность в неблагоприятных целях очернения пройденного нами пути и умаления нашего вклада в дело перестройки.

На этом, товарищи, я заканчиваю и позвольте ваши аплодисменты считать одобрением моей речи.

1986

ЕЩЕ ОДИН СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

В нашей стране, как известно, некоторые юбилеи принято праздновать с большим размахом. Юбилей советской власти, Вооруженных Сил, Ленина, Ленинского комсомола. Наиболее запоминающимися для меня лично были юбилеи во времена так называемого брежневского застоя. В те годы, как раз в соответствии с тогдашней

программой партии, должно было наступить полнейшее торжество коммунизма с предварительным перегонем Америки по мясу и молоку. Но, как говорится, партия предполагает, а Бог располагает; планы оказались несколько недоперевыполненными. В результате Америку не догнали, а тот уровень жизни, до которого постепенно дошел народ, коммунизмом назвать постеснялись. Хотя почему бы и нет? Основной идеал коммунизма — от каждого по способности, каждому по потребности — может быть вполне достижим, если потребности гражданина будут определяться сверху. Примерно такой коммунизм я даже и изобразил в одном из своих недавних сочинений. Но до столь простого решения вопроса власти сами не додумались, а меня не спросили, и поэтому, когда все обещанные и научно предсказанные сроки вышли, решили заменить светлое будущее бесконечным празднованием юбилеев. Не знаю, как на других, а на писателях и режиссерах в театре и в кино эти юбилеи отражались крайне болезненно. Потому что на время юбилеев все темы более или менее нормальные практически закрывались: партия требовала книг, фильмов, спектаклей о революции, о большевиках и о Ленине. На книги о чем-нибудь другом не хватало бумаги, на фильмы — пленки, а на театры... ну я даже не знаю, чего именно не хватало, но актеры и режиссеры страдали ужасно. И обычно в канун юбилея, если вы приходили в нужную инстанцию со своей поэмой, пьесой или сценарием не на генеральную тему, вам обычно говорили: «Ну что вы! Разве можно с подобной чепухой обращаться в такой знаменательный год! Вот подождите, юбилей отметим, тогда, конечно, тогда приходи-те, поговорим».

Один кинорежиссер, я помню, приступил к съемке фильма в очень неподходящее время — советская власть начала подготовку к своему пятидесятилетию. Он отснял уже несколько эпизодов, явилось начальство, требуя просмотра материала. Посмотрели, руками развели: «Да вы что, — говорят, — смеетесь! Да вы знаете, какой год у нас наступает? Что же вы не могли выбрать что-нибудь поближе к Ленину и революции? Нет уж, нет уж, очень жаль, но никак ваш фильм разрешить не можем, вот *ужо* отъюбилеемся, тогда да, а пока что кладем вашу пленку на полку, авось не выцветет». Режиссер, понятно, очень переживал, потерял аппетит, бессоницей начал страдать, ходит, бормочет: «Скорей бы, — говорит, — этот проклятый год кончился». Ну в конце концов желание режиссера исполнилось, проклятый год завершился парадом на Красной площади, вялым помахиванием ручек с мавзолейной трибуны, праздничным салютом и всенародным гулянием. Режиссер наш 8 ноября опохмелился, а девятого уже, отталкивая секретаршу, врывается в двери начальственного кабинета, не пора ли мол, приступать к продолжению съемок. А начальство ему, фигурально говоря, фигу под нос, вы что, мол, милый, в календарь давно не заглядывали, не знаете, что ли, что у нас на носу пятидесятилетие славной нашей

несокрушимой и легендарной Советской Армии, то есть? Посмотрел режиссер в календарь, убедился, махнул рукой и заплакал. Хотя на что-то еще надеялся. Но напрасно. Потому что потом пошло пятьдесят лет комсомолу, сто лет со дня рождения Ленина, тридцатилетие Победы — пока весь этот круг прокрутили, а советской власти, глядишь, уже и шестьдесят годков стукнуло. А режиссер наш, кстати сказать, все это время тоже не молодец. Хотя жив остался, и за то спасибо. Тем более что один из двух сценаристов, писавших ему сценарий, за это же время помер. А режиссеру нашему повезло, он вместе с оставшимся сценаристом дожил до перестройки, увидел свой фильм в широком прокате и теперь сам вместе с ним катается. Даже и в наших краях побывал.

А вспомнил я об этой печальной, но с хорошим концом истории, наблюдая за советской литературой и культурной жизнью в нынешнем, юбилейном году. Юбилей, то есть семидесятилетие нашей любимой советской власти, собственно говоря, уже на носу, а ни о каких фильмах о Ленине или романах о большевиках я ничего не слышал. Они, конечно, где-нибудь там создаются, но пишут о них не так много, как раньше. Зато узнал я, что другой юбилей, семидесятилетие организации, которая в газете названа ВЧК — ОГПУ — КГБ СССР, будет широко отмечаться и в кино, и в литературе.

Чекисты, надо сказать, к грядущему торжеству стали готовиться загодя, за четыре года до его наступления. И тогда же объявили о литературно-кинематографическом конкурсе на панегирик самим себе. Кто в этом деле преуспеет других, тому будут вручены дипломы и премии до 3000 рублей. Об этом я узнал из попавшей ко мне поздравительной «Литературной России» от 24 июля. В этом номере газеты напечатаны два интервью — первого секретаря Союза писателей СССР Владимира Карпова и первого секретаря Союза кинематографистов Элема Климова. Интервью не одинаковы. Климов хотя и согласен, что чекистов следует изображать на экране, но критикует некоторых своих коллег, что они это делают халтурно. О чекистах он тоже отзывается как о людях, в работе которых есть отдельные недостатки. Например, прохлопали чужой спортивный самолет. Что касается Карпова, он в целом доволен как чекистами, так и писателями.

Судя по словам Карпова, литература о «воинах невидимого фронта» развивается неплохо. Только за последние три года было издано более 250 книг общим тиражом 18,5 миллиона экземпляров. Карпов совершенно справедливо утверждает, что «романтика и героика многотрудной, суровой, зачастую полной страстей и драматизма службы чекистов... всегда привлекала внимание писателей». Вот уж что правда, то правда. Всегда-всегда, с самого начала зарождения органов, писатели пристально следили за их деятельностью. Иногда даже так следили, что по ночам вслушивались, чьи это там сапоги грохают и к кому, уж не ко мне ли?

Писатели следили за чекистами, а чекисты за всеми. В том числе и за писателями. Работа с писателями велась самая разная. Писателей сажали, ссылали, стращали, иногда даже убивали. По скромным официальным данным, в годы культа личности были репрессированы 600 членов Союза писателей. Если учесть, что за годы советской власти работники невидимого фронта уничтожили видимо-невидимо всякого другого народу (некоторые исследователи считают: 60 миллионов), число 600 может показаться кому-нибудь не таким уж большим. Не много, но не так уж и мало. Не все, конечно, но есть такие писатели, которых природа производит поштучно. И если взять таких уникальных и одного застрелить, другого посадить, третьего на воле замордовать, то, глядишь, от литературы ничего не останется.

Особое внимание чекистов к литературе проявляется еще и в том, что оно долговременно. Скажем, если интерес чекистов к сельскому хозяйству остыл, генетикой и кибернетикой они тоже больше вроде не занимаются, то литература из сферы их интересов пока что не выходила. И интерес этот самый разнообразный. Ведь писателей не только сажают, не только убивают. Допустим, в Союзе писателей просто разбирается персональное дело кого-то, кто написал что-то не то, а написав не то, напечатал не там. За таким разбором невидимые герои всегда внимательно наблюдают. Потому что персональное дело — это как бы предварительное приготовление жертвы к дальнейшей обработке.

Надо сказать также, что само по себе наличие органов госбезопасности отражается на форме и стиле сочинений писателей и, уж конечно, на круге избираемых тем.

Сотрудничество писателей с чекистами, в свою очередь, тоже отличается большим разнообразием форм. Многие писатели охотно или неохотно помогали чекистам в качестве стукачей и внутренних рецензентов. Надо, скажем, того или иного писателя замордовать, для начала зовут критика. Критик пишет внутреннюю рецензию, которая обычно отличается определенной направленностью и прямотой. Например, критик, разбиравший для КГБ сочинения Андрея Синявского, закончил свой ученый труд выводом, что таких авторов следует расстреливать как бешеных собак.

Если бы мне на празднике КГБ доверили выступить с юбилейной речью, я бы провел сравнение работы чекистов с работой писателей и выявил много общего. Дело в том, что и те и другие работают не только над документальным материалом, но одинаково широко используют художественный вымысел. Причем вымысел чекистов бывает более изощренным и изобретательным, чем писательский, и гораздо прямее влияет на саму жизнь. Не случайно многие чекисты впоследствии сами становятся писателями, так же, впрочем, как и некоторые писатели становятся чекистами.

Перечисляя количество книг о чекистах, Владимир Карпов не учел сочинений, которые не были напечатаны в Советском Союзе.

И напрасно. Они могли составить немаловажное дополнение к основной Чекиане или даже войти в ее золотой фонд. А таких книг довольно много. Это, допустим, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Колымские рассказы» Шаламова, «Путешествие в страну ЗК» Марголина.

Надо сказать, что огромный и поистине неоценимый вклад в литературу о чекистах внесен писателями-эмигрантами. Обладая разным прошлым, эти писатели создали много леденящих кровь сочинений о различных сторонах деятельности КГБ, о работе чекистов в стране и за рубежом, о подрывных операциях, провокациях, массовых расстрелах и отдельных убийствах из-за угла. Заодно скажу, что книги эмигрантов почти все так или иначе связаны с ЧК. На какую бы тему они ни были написаны, в них обязательно фигурирует или следователь, или заключенный, или стукач.

Ко всему этому следует добавить, что чекистской тематикой интересовались и интересуются и многие иностранные авторы. Тут я бы назвал книги «Большой террор» Роберта Конквеста, «Тьму в полдень» Артура Кёстлера и две книги Джона Баррона, одна из которых называется просто «КГБ», а другая «КГБ сегодня».

Я думаю, что если все эти книги включить в конкурс, посвященный славному юбилею КГБ, то он получится более представительным и более интересным.

1987

БОРЬБА ЛЫСЫХ И ВОЛОСАТЫХ

Советская государственная система одна из самых загадочных в мире. Она существует вот уже семьдесят лет, а до сих пор никто не может понять, что это такое. Одни говорят, это марксистское общество, другие утверждают, что оно с марксизмом не имеет ничего общего. Одни настаивают, что это и есть социализм, другие называют это государственным капитализмом или даже феодализмом. Много споров идет насчет истоков советской агрессивности. Простекает ли она из коммунистического учения или это проявление исконного русского империализма? Но самым, кажется, спорным является вошедшее в моду деление советских руководителей на ястребов и голубей. Кто-то когда-то придумал это деление, и с тех пор из года в год идет выяснение, кто из советских политиков относится к первому, а кто к другому виду пернатых, каково соотношение тех и других, какие среди них идут разногласия и на какое направление советской политики следует при этом рассчитывать. Этим занимаются разведки, министерства, департаменты и исследовательские центры. Тысячи высокооплачиваемых советологов вглядываются в лица советских руководителей, вникают в их многочасовые и невнятные речи, отыскивая между строк смутные намеки на голубиное или ястребиное направление мыслей. С радостной

надеждой обращают свои взоры на пиджак, сшитый у Диора или Кардена, приходят в восторг, замечая, что жена советского лидера расплачивается за свои ожерелья карточкой «Америкэн экспресс», а про ее мужа сочиняют сладостные легенды, будто он в свободное от работы время слушает битлов, читает в оригинале Жаклин Сьюзен или Сьюзен Зоннтаг и вообще говорит с английским акцентом. (Справедливости ради надо сказать, что советские руководители, и голуби, и ястребы, даже по-русски изъясняются с элементарными грамматическими ошибками, а слова выговаривает так, как будто у них рот набит кашей. Впрочем, английский акцент тоже имеет место. Например, Брежнев русскую букву «в» произносил как английскую «дабл ю».)

Вся эта гигантская работа не дала до сих пор серьезных результатов, между тем как соотношение сил на советских верхах можно определить с первого взгляда, если воспользоваться моей новой и гораздо более правильной методологией и делить кремлевских правителей не на ястребов и голубей, а на лысых и волосатых.

Некий наблюдательный человек заметил, что смена лысых и волосатых руководителей в Кремле происходит с такой же неизбежностью, как смена дня и ночи. И в самом деле, Ленин был лысый, Сталин — волосатый, Хрущев — лысый, Брежнев — волосатый, Андропов — лысый, Черненко — волосатый, а какой Горбачев, объяснять не приходится, его портрет известен всем.

Из этого открытия, которое следует считать революционным и фундаментальным, можно вывести ряд определенных закономерностей. Вот они. Все лысые (Ленин, Хрущев, Андропов, Горбачев) революционеры или, по крайней мере, реформаторы. Все волосатые — реакционеры. Все лысые были утопистами и в конце концов терпели поражение. Ленин хотел построить коммунизм, не построил. Хрущев собирался засеять всю территорию СССР кукурузой, перегнать Америку по мясу и молоку и тоже построить коммунизм, но не достиг успеха ни в том, ни в другом, ни в третьем. Андропов намеревался укрепить дисциплину и повысить производительность труда, но не успел. Чем кончатся усилия Горбачева, мы пока не знаем, — но опыт его предшественников наводит на грустные размышления.

Волосатые, напротив, всегда добивались того, чего хотели. Сталин хотел превратить Советский Союз в супердержаву, чего и достиг. Брежнев хотел стать маршалом и писателем, стал и тем и другим. У Черненко, когда он пришел к власти, могло оставаться только одно желание — быть похороненным на Красной площади, он там и есть.

К этому надо добавить, что от лысых всегда были одни неприятности. Они, по существу, не укрепляли, а расшатывали существующую систему, и волосатым приходилось упорно работать, чтобы уменьшить последствия разрушительной деятельности лысых. Ленин создал партию революционеров, с помощью которой сокру-

шили империю. Сталин потратил тридцать лет своей жизни на то, чтобы сначала уничтожить ленинскую партию, а затем восстановить империю примерно в прежних границах и даже расширить их. Хрущев десять лет восстанавливал ленинские нормы, Брежнев семнадцать лет реставрировал сталинские нормы. Андропов успел очень немного, поэтому и историческая миссия Черненко оказалась короткой.

Теперь пришел к власти поистине выдающийся реформатор Михаил Сергеевич Горбачев. Он энергично взялся за дело и за два с половиной года своего правления успел сделать столько, сколько Хрущеву не удалось за десятилетие. Горбачев обещает перестроить советское общество, сделать его динамичным, экономически сильным, демократичным, жизнеспособным и миролюбивым. Многие его планы вызывают симпатию разных людей, и я их охотно поддерживаю, надеясь, что они все-таки сбудутся. Но когда я думаю о перспективах, я исхожу из соображения, что Горбачев правит Советским Союзом не единолично, у него есть соратники и помощники. Я думаю, кто же они, и всматриваюсь в портреты руководителей КПСС. И вот мои наблюдения. В Политбюро ЦК КПСС самым лысым после Горбачева является активный перестройщик и реформатор Александр Яковлев. При внимательном рассмотрении можно заметить обнадеживающие просветы в курчавой шевелюре Эдуарда Шеварднадзе. Лысым его назвать никак нельзя, но лысоватым можно. Совсем недавно полным членом Политбюро был избран Виктор Никонов, которого с некоторой натяжкой можно тоже отнести к лысоватым. Остальные члены Политбюро — Воронников, Громько, Зайков, Лигачев, Рыжков, Соломенцев, Чебриков, Щербицкий — вполне волосаты. Причем совершенно очевидно, что чем волосатей, тем реакционней. Подведем баланс: два лысых, два лысоватых и девять (!) волосатых. Положение лысых покажется нам еще более шатким, если мы посмотрим на портреты кандидатов в члены Политбюро — они все до одного волосаты. (Среди них был один более или менее лысый — министр обороны Сергей Соколов, но ему пришлось покинуть свой пост благодаря подвигу длинноволосого Матиаса Руста.)

Похоже, что главным представителем фракции волосатых является второй человек в Политбюро — Лигачев. Образ его мыслей вполне соответствует густоте волосяного покрова. То он призывает писателей к созданию еще более ярких образов коммунистов (хотя уже созданы такие образы, что ярче не бывает), то обрушивается на газету «Московские новости» за некролог об умершем в эмиграции писателе Викторе Некрасове, а то и вовсе ностальгически вздыхает по временам брежневского застоя: это, оказывается, для него были очень интересные и продуктивные годы. Со странными для времен перестройки и гласности речами выступает председатель КГБ Виктор Чебриков. Несмотря на большие залысины, он все-таки тоже относится к волосатым.

Состав секретарей ЦК КПСС, не входящих в Политбюро, тоже не обнадеживает. Один из них — Анатолий Добрынин — по степени оголенности черепа имеет шансы быть причисленным к реформаторам, но его влияние на ход событий вполне может быть уравновешено и даже нейтрализовано включением в число секретарей Александры Павловны Бирюковой, у нее прическа просто шикарная.

Короче говоря, хотя в целом влияние лысых значительно возросло, подавляющее большинство принадлежит волосатым и это не может не настораживать.

Должен признаться, я тоже пока что не облысел. Я, однако, стою на стороне лысых и надеюсь на то, что они в конце концов окажутся в большинстве. Но как этого достичь, я не знаю. Подбирать руководящие кадры по степени лысости недемократично и пахнет дискриминацией. Выдергивать волосы — больно. Брить головы наголо, как это делают некоторые звезды рок-концертов, бесполезно: волосы отрастают довольно быстро. Так что изменить ситуацию практически невозможно. Но вполне возможно, наблюдая за соотношением в советском руководстве лысых и волосатых, научно предсказать вероятное направление советской политики на ближайшее время.

Я полагаю, что отныне этот мой скромный труд станет незаменимым пособием для западных лидеров, дипломатов, банкиров, промышленников, бизнесменов и советологов. Я надеюсь, что теперь люди, ведущие с Советским Союзом переговоры о разоружении, строительстве газопроводов, предоставлении кредитов и расширении культурных обменов, руководствуясь данным исследованием, будут обращать внимание на состояние причесок советских руководителей и только после этого принимать ответственные решения.

1988

ДАВАЙТЕ ПОФИЛОСОФСТВУЕМ

Признаться, люблю на досуге пофилософствовать. Я даже учение философское создал, суть которого сводится к трем утверждениям, соединенным в одно: жизнь коротка, соблазнов в ней много, а денег мало. Философия моя тем хороша, что бесспорна и в проверке не нуждается. А вот некоторые другие нуждаются. Помню высказывание одного советского философа. Оно было сделано на заре развития электроники, когда простейшие компьютеры еще не помещались в коробке от сигарет, а представляли собой сооружения величиной с шестиэтажное здание. Так вот в те самые времена, когда в Советском Союзе появился первый подобного рода мыслящий монстр, какой-то академик-философ, может быть, Митин, а может быть, кто-то другой ознакомился с работой этой громадины и сказал так:

— Говорят, что электронно-вычислительная машина очень умна. Говорят, что, если заложить в нее все положения марксизма, она точно скажет, правильное это учение или неправильное. Но мы такой проверки, конечно же, никогда не допустим.

Я вспомнил это высказывание недавно, когда смотрел выступление по советскому телевидению группы ведущих советских философов, в составе которой были два академика, Фролов и Ойзерман, член-корреспондент академии наук Степин и девять профессоров.

Речь шла о месте философии в жизни вообще, о месте философии в жизни советского общества и о той практической роли, которую философия может играть в условиях перестройки.

Откровенно говоря, передачу эту я начал смотреть без особого энтузиазма, потому что предмет дискуссии, во всяком случае, в тот момент, когда я начал смотреть передачу, лежал далеко от сферы моих интересов. Кроме того, я предполагал, что философы-профессионалы воспарят в какие-то недоступные высоты и заставят меня напрягать свою мысль, а напрягаться мне никак не хотелось. Но послушав немного, я заинтересовался, вник в предмет дискуссии и остался от нее под очень сильным впечатлением. Но... как бы это сказать поточнее... на меня произвели впечатление не высота и не глубина, а напротив, в некоторых случаях совершенно детский уровень размышлений. Хотя были выражены и серьезные мысли. Например, профессор Соловьев вспомнил послевоенное высказывание Сталина о покорности русского народа, который терпит такое правительстве. Философ сказал, что покорность и терпеливость народа хороши в меру и что народ должен уметь отстаивать свои права. И это правильно не только с точки зрения народных, но и государственных интересов. Судите сами. Государство, которое постоянно давит народ и принуждает его к безусловной покорности, в конце концов проигрывает. Народ работает покорно, но плохо. В результате плохой работы всего народа государство слабеет и приходит к результатам совсем не таким, которых оно ожидало. Выступавшие философы много говорили о пользе и необходимости критики. Без критики, говорили они, никакой смелости мысли быть не может, без критики нельзя познать действительность, без критики нельзя развиваться. Но в последнее время в философии, как и во всем остальном, наблюдался некоторый застой, и философам приходилось, как они теперь признают, говорить чепуху. Например, именно философы в шестидесятые годы пришли к выводу и убедили в нем Хрущева, что нынешнее, то есть тогдашнее, поколение будет жить при коммунизме. Во-первых, это, по-моему, не точно фактически. Если не ошибаюсь, это еще Ленин говорил, что нынешнее, то есть существовавшее при нем, поколение доживет до коммунизма. Во-вторых, кто бы это и когда ни сказал, при чем тут философия? Это некое предположение (неважно даже, правильное или неправильное), некий план, который

к философии никакого отношения не имеет. Академик Ойзерман рассказал, что еще совсем недавно его коллеги-философы пороли такую чушь, что даже уши вяли. Например, однажды он и его старший коллега (а раз старший, то, наверное, тоже в неменьшем чине) встречались со своим американским коллегой. Причем не каким-нибудь там антисоветчиком, а (Ойзерман это подчеркнул) другом Советского Союза. Но держались все-таки настороженно. Пока друг Советского Союза критиковал капиталистическую систему, наши философы ему охотно поддакивали. Но потом друг спросил: «А у вас есть какие-нибудь недостатки?» И тут философы растерялись и не знали, что ответить. И мне такая их беспомощность кажется странной. Чего там теряться? Нет никаких недостатков, да и все. Это же ясно. Потом от недостатков и достоинств двух систем перешли к обсуждению проблемы, что будет в случае мировой войны. Обе стороны согласились, что ничего не будет. Вернее, ничего не останется. Но и этот печальный вывод не поколебал убеждения старшего коллеги Ойзермана, что как бы то ни было, будет война или не будет, а социализм на Земле все равно победит. То есть победит даже в том случае, если наша планета превратится в пылающий шар или, наоборот, в насквозь промерзшую глыбу. Ну конечно, для произведения подобного рода мыслей быть академиком вовсе не обязательно. Достаточно закончить пару классов школы для дефективных. И я бы отнесся с сочувствием к критическим воспоминаниям Ойзермана, но и его собственные терпешие рассуждения поразили меня своей инфантильностью. Почему, говорит он, почему я не могу высказывать то, что думаю? Даже если я выскажу ошибочную мысль, разве я перестану быть советским человеком, разве перестану быть марксистом? Говоря это, академик разволновался, и мне захотелось его немедленно утешить и сказать: «Не беспокойтесь, товарищ Ойзерман, если вы будете таким способом доказывать свою правоту, то ни советским человеком, ни марксистом вы быть не перестанете, нет. А вот станете ли вы философом, это, несмотря на ваше высокое звание, еще не ясно». Мне кажется, что нормальный философ, доказывая истину, вовсе не должен беспокоиться, чтобы она вписывалась в пределы исповедуемого им учения. Больше того, если истина не соответствует учению или даже опровергает его, а философ не нашел, значит, он сделал открытие, значит, он имеет моральное право на время помешаться от радости и, как Архимед, с криком «Эврика!», бежать по улицам, распугивая прохожих. А если он должен доказывать не истину, а свою приверженность учению, то ему будет трудно доказать свою принадлежность к профессии философа.

Мне скажут, конечно: «Как же? Как же?..»

А я скажу: «А вот так же».

Дело в том, что для нормальной философии никаких закрытых для обсуждения тем, никаких запретных тем не должно быть. Конечно, бывают времена, когда глубина философских рассуждений

соотносится со статьями Уголовного кодекса. В таких условиях человек имеет право от философии отказаться и найти себе более безопасную профессию, скажем, пойти в каскадеры. Или философствовать с женой на кухне. Или продолжать свое дело официально, в пределах установленных ограничений. Но в таком случае следует философски сознавать, что то, чем ты занимаешься, есть служение чему-то или Услужение, что угодно, только не философия.

Как я уже сказал, участники дискуссии, ссылаясь, конечно, на Маркса, говорили, что философия невозможна без критики, причем не какой-нибудь критики отдельных недостатков, а критики буквально всего. Одна из участниц, профессор Гайденко, напомнила о Рене Декарте, который подвергал сомнению все сущее. А если все сущее, то, может быть, можно подвергнуть сомнению и... позвольте перевести дыхание... дайте воды...

Говорят, сказавши «а», надо сказать и «б». А сказавши «б», двигаться дальше до самого конца алфавита. До самой буквы «я». Если подвергать сомнению все, то следует подвергнуть ему и учение Маркса. Прошу товарищей марксистов понять меня правильно, и если очень хочется, то даже в чем-то поправить, но я далек от того, чтобы объявлять марксизм недостойной внимания ерундой. Говорить так о теории, с помощью которой был перевернут весь мир, было бы слишком неосмотрительно. Но ведь что говорят? Марксизм — единственно правильное учение. Само это утверждение есть с философской точки зрения совершенный абсурд. Если это учение абсолютно и бесспорно верно, значит, оно перестает быть наукой, а превращается в религиозное вероучение, которое развивать нельзя. Его можно только толковать, да и то в ограниченных пределах. Это значит также, что все остальные мировоззрения, которые возникли до Маркса, при Марксе и после Маркса, — неправильные. Ну допустим... Тогда философствуя дальше, подумаем: а почему же в некоторых странах люди, не изучивши Маркса, выращивают большие урожаи, шьют добротные сапоги, делают отличные автомобили и за болгарской зубной пастой в очередях не стоят. Может быть, они достигают этого с помощью какого-то неправильного мировоззрения?

Сколько существует марксизм, столько среди его толкователей идут жестокие споры, иногда даже с применением огнестрельного оружия. Противники уличают друг друга то в догматизме, то в ревизионизме. Причем споры ведутся на уровне средневековых дискуссий на тему о том, сколько дьяволов поместится на конце иглолки.

И тут я подхожу к самому главному пункту моих ненаучных рассуждений. А может быть, вообще марксизм не надо ни догматизировать, ни ревизовать, а если что нужно, брать из него, а что не нужно, выкидывать. Мысль, конечно, кощунственная, но философия кощунства не признает и, как сказано выше, подвергает сомнению все. А я лично от сомнений перейду к утверждению, в

котором не мог бы усомниться даже Декарт. А именно, что никакого единственно правильного мировоззрения в мире нет и быть не может. Больше того, оно вообще никому не нужно. Ведь, правда же, есть огромный мир, в котором все учения сосуществуют и по отдельности и в смешанном виде. Все они одновременно и признаются, и подвергаются критике, и отвергаются. Признавать только одно учение, даже очень хорошее, это все равно, что пользоваться ну, допустим, аспирином для лечения насморка, рака, экземы, катаракты и облысения. Как говорили в былые времена сами марксисты, предполагать возможность единственно правильного учения, это идеализм, гегельянство и кантианство.

В другое время я, возможно, и не стал бы обо всем этом говорить. В конце концов, что мне до марксизма? Но дело в том, что если люди, которые руководят перестройкой, хотят довести этот процесс до конца, они должны до конца все додумать, дойти, как говорится, до самой сути и признать, что никаких единственно правильных мировоззрений нет, быть не может и не надо.

Как-то мне пришлось разговаривать с одним очень ученым американцем. Я ему рассказывал о жизни в Советском Союзе, которую он себе представлял довольно смутно. И очень удивлялся. И спрашивал, а почему это таким образом устроено, а не таким? А потому, отвечал я, что это соответствует марксизму. А почему нельзя сделать так-то? А потому что это будет противоречить марксизму. Американец меня слушал-слушал, а потом с чего-то вдруг разволновался, вскочил, стал бегать по комнате, размахивать руками, хлопать себя по лбу.

— Я в вашей жизни могу понять многое. Но я не понимаю одного: почему в век компьютеров, лазеров, атомных реакторов и космических кораблей вы двумя руками держитесь за учение этого парня, который в жизни не видел даже простой стиральной машины?

1988

РЕЧЬ О СИОНИЗМЕ НА РАСШИРЕННОМ ЗАКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ВАШ СОПЛЕМЕННОК» С АКТИВОМ

Уважаемые товарищи сопляки... то есть, извиняюсь, я имел в виду соплеменники. Соплеменницы тоже.

Мы собрались здесь на закрытом заседании для того... Кстати, надеюсь, все двери-окна закрыты, никто посторонний не просочился. Нет? А то ведь они, те, о ком я буду сейчас говорить... Они имеют такую способность и пролезают повсюду. Пошарьте под лавками, оглянитесь вокруг себя, взгляните в своего соседа, загляните в собственную душу, не сидит ли там сионист? Это я говорю, потому что, увы... Сионисты — это такая порода... Все наши по-

пытки защититься от их проникновения к результатам приводят плачевным. И это снова — увы. Закрываем двери, шпингалетами окна, заклеиваем форточки, конопатим все щели — все равно проникают, как радиация.

Некоторые беспечные люди считают: ну и пусть, мол, себе проникают, что в том плохого? А я спрошу так: а что в том хорошего?

Всем давно известно то, чего никто никогда не слышал, а именно, что? Что сионисты хотят нас поработить и растлить наши души и вообще хотят, чтобы наша нация исчезла с лица Земли. С этой-то целью они (дважды и трижды — увы) достигли немалого. Они распылили Христа, совершили революцию, уничтожили видимо-невидимо наших храмов и святых мест, а народ наш нещадно спаивают: пей, говорят, Ваня, истина в самогоне. Здесь они успехов достигли? Достигли, тысячу раз — увы. Также пытаются изменить наш генотип, а именно: женясь на наших женщинах и выходя замуж за наших мужчин, делают нам полукровок. Пользуясь нашей безграничной доверчивостью, перекрашиваясь в блондинов, скрываются под нашими именами.

Можно ли дальше такое терпеть? Конечно, нельзя. Тут встает старый вопрос: что делать? Некоторые рекомендуют методы: бей сионистов, спасай Россию. Выйдет из этого чего? Нет, не выйдет. А как же быть? Надо подойти научно. Первое — изучить проблему, второе — принять решение, третье — начать действовать. Так вот, изучение проблемы показывает, что мы (миллион раз, увы) действуем непрактично, прямолинейно, получается шуму много, а толку мало. А на самом деле надо учиться у них. Они действуют исподтишка, они к нам проникают, они нас разлагают, они делают вид, что они — это мы. Давайте и мы будем действовать так же, давайте противопоставим, давайте мы к ним проникнем, давайте мы их разложим, давайте сделаем вид, что мы — это они.

Некоторые вопрошают, как это практически. А практически это так. Давайте прямо сегодня перекрасимся в брюнетов и подкурчавим перекрашенные прически, потому что сионисты, как мы знаем, бывают обыкновенно курчавы. Второе, я знаю, что любой из нас готов для торжества нашего дела пожертвовать всем своим. Давайте, не впадая в крайности, жертвуем для начала не всем, а только лишь крайней плотью. Это называется обрезанием. Скажу сразу, что операция эта почти безболезненная и полезная в гигиеническом отношении. Так говорят сионисты, а они знают, что говорят. Между прочим, операция и безопасная, поскольку будет производиться специалистом, приглашенным нами из синагоги. Некоторые товарищи спрашивают, а нельзя ли обойтись? Отвечаю: обойтись никак нельзя — на следующее заседание будут пропускаться только товарищи по предъявлению доказательств, что они все это проделали.

Ну конечно, вам всем хорошо известно, что сионисты — народ подозрительный и недоверчивый. Одним только обрезанием их не

проведешь, тем более что мусульмане делают то же самое. Поэтому для усыпления их бдительности мы должны принять иудаизм, носить ермолки, отрастить пейсы, ходить в синагогу и соблюдать субботу. Это, кстати, означает, что отныне все субботники должны быть отменены и заменены воскресниками. К сожалению, мы подсчитали свои возможности и видим, что с кошерной пищей у нас не получится. Но тут, товарищи, нам поможет мировой сионизм. Как только они убедятся, что мы обрезались, приняли иудаизм, носим ермолки, ходим в синагогу и соблюдаем субботу, они нас завалят кошерной пищей. Что? Кошерная пища — это не вегетарианская пища. Кошерная даже водка бывает. И закуска к ней тоже. Так что с этим все в порядке.

Чтобы усыпить бдительность, надо нам подумать о том, на каком языке мы пишем. Пора, пора, товарищи, переходить на идиш и на иврит. Понятно, что оба языка нам совершенно чужды, поскольку даже писать, особенно в зрелом возрасте, задача не из легких. Но не секрет, что многие из нас, и нашим не овладев, все-таки что-то пишут.

И еще один аспект, тоже довольно важный. Как я уже сказал, они выходят замуж и женятся на нас, делая нам полукровок. Давайте ответим тем же, будем жениться на них, выходить за них замуж, делая им полукровок.

Ну вот, товарищи. Что еще? Ну больше ничего. Поговорили — пора за дело. Еще раз, увы, и шалом.

1989

НАЧАЛО ЭПОХИ?

Ну вот и произошло долгожданное. Поколение прямых сталинистов практически сошло с исторической сцены.

Во главе Советского государства стал человек, созревший в иное время. И все мы, кому судьба этой страны (а с ней и всего мира) небезразлична, всматриваемся в его лицо и вслушиваемся в его речи с надеждой и сомнениями.

Оптимисты подчеркивают его решительное отличие от недавних предшественников: молодой, здоровый, энергичный, умеет говорить без шпаргалки, выходит на улицы к народу, произвел большую кадровую перестановку, объявил войну пьянству, выступает с необычной для советского руководства откровенностью. Говорит, что нужны реформы и даже не эволюция, а революция.

Но пережив первую эйфорию, взглянем на ситуацию более трезвыми глазами.

Горбачев, конечно, сравнительно молод и энергичен, но сидит в том же инвалидном кресле, которое оставили ему в наследство его немощные предшественники. Говорит с откровенностью необычной, но недостаточной.

Из введенных им новшеств в глаза бросается только одно: на официальных приемах пьют не шампанское, а минеральную воду.

В некоторых колхозах и на мелких предприятиях вводятся (при Брежневе это тоже было) «прогрессивные» методы организации труда, которые во времена крепостного права назывались барщиной или оброком.

Расширение прав начальников предприятий и скромные изменения в системе оплаты труда вряд ли будут способствовать решительному улучшению положения.

Призывы к стахановскому движению и вовсе чепуха. Это движение и в тридцатых годах было липой, и сейчас будет таким же липовым.

Ну а что еще?

Новый лидер, выступая перед партийными активистами, говорит, что надо коренным образом изменить отношение к делу, усилить дисциплину, увеличить количество и улучшить качество. Активисты раздражаются бурными аплодисментами и в самых возвышенных выражениях обещают усилить, увеличить и улучшить.

Но они всегда это обещали и всегда очень хорошо умели хлопать в ладоши. Ничего нового они пока что не демонстрируют.

Новый лидер обещал решительно покончить с парадностью и пустословием, но советские газеты по-прежнему заполняются победными реляциями о выполнении и перевыполнении производственных заданий, портретами героев труда и указами верховной власти о награждении орденами особо отличившихся передовиков. Все это и есть главные приметы парадности и пустословия.

По-прежнему торжественно и с большим размахом отмечаются разные годовщины, строятся монументы и проводятся субботники, от которых вреда больше, чем прибыли.

В главном ничего не изменилось. Инакомыслящие, как и раньше, подвергаются свинскому обращению, война в Афганистане продолжается, антизападная пропаганда не утихает.

Но если в этих областях не произойдет существенных изменений, значит, и вся ситуация останется неизменной. Экономическое положение будет ухудшаться, и уже не только коммунизм, но даже убогая Продовольственная программа превратится в утопию. По части технологии с Западом нечего будет и тягаться. (Даже если советским агентам удастся украсть все западные секреты, отсталая промышленность не сможет ими воспользоваться.) В конце концов Советский Союз отстанет не только от Запада, но и от Китая.

В такой ситуации Советскому Союзу придется стремиться к еще большей самоизоляции, а она в условиях бурного развития средств информации (электроника, компьютеры, международное телевидение и видеоманитофоны) окажется попросту невозможной.

Улучшить общее положение можно только путем демократизации, прекращения войны с инакомыслием и активизации всего творческого потенциала советского общества. Вступление на подобный

путь огромной страны, население которой к демократическим формам жизни никак не подготовлено, само по себе грозит непредсказуемыми последствиями. Но без демократизации ничего сделать нельзя.

Сто тридцать лет назад, умирая, Николай I сказал своему сыну: «Не в добром порядке оставляю я тебе свое хозяйство». Сын (Александр II) много сделал, чтобы это хозяйство улучшить. Отменил крепостное право, провел демократическую реформу судопроизводства, земскую реформу. Но на этой почве развилось разрушительное революционное движение. Сам реформатор пал от руки террористов, а при правлении его внука разразилась катастрофа, называемая ныне Великой Октябрьской социалистической революцией.

Но оглядываясь в прошлое, можно сказать почти уверенно, что избежать реформ Александр II просто не мог.

В похожей или даже еще более сложной ситуации находятся сейчас и руководители СССР.

1985

СКОЛЬКО СТОИТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

Когда 20 января 1990 года я прилетел в московский аэропорт Шереметьево, там шла обычная жизнь. На конвейере под вывеской «Мюнхен» кружился багаж, прибывший из Глазго, но его никто не брал, потому что пассажиров этого рейса направили к табло с надписью «Стамбул», а же свой мюнхенский чемодан нашел на ленте, подававшей груз из Карачи.

Пройдя наконец через таможенный пост, я стал искать глазами встречавших, но никого из них не увидел. Уловив мои затруднения, ко мне тут же подбежал человек, посмотрел на меня, спросил нужна ли машина. Я ответил: нужна.

— Оплата только в СКВ, — предупредил он.

— В чем? — Я после долгого отсутствия еще не освоился в Москве и из употребляемых аббревиатур знал СССР, КПСС, КГБ и другие, а о СКВ никогда не слышал. Предлагавший машину посмотрел на меня разочарованно и ринулся прочь. Человек, не знающий, что такое СКВ, стоит ли хоть какого внимания?

Я успел схватить его за рукав и переспросил еще раз, что значит СКВ.

— Свободно конвертируемая валюта, — объяснил он, явно сомневаясь, стоит ли на меня вообще тратить хоть какие-то слова.

Я ему сказал, что хотя я не знаю, что такое СКВ, но немного СКВ у меня при этом имеется. И спросил, сколько долларов он возьмет с меня за перемещение моего тела и чемодана отсюда до центра города.

Он посмотрел, подумал и ляпнул: два. Понимая, видимо, что заломил лишнего и готовый сбавить ровно наполовину. Но я,

вспомнив, что последнее путешествие в Нью-Йорке от аэропорта Кеннеди до Сорок четвертой улицы обошлось мне почти в пятьдесят долларов, спорить не стал и сказал, что согласен. На его лице сразу изобразилось разочарование, рожденное мыслью, не слишком ли мало он запросил. Но увидев приблизившегося конкурента, который мог бы подрядиться за доллар, схватил мой чемодан и побежал впереди, уверенно лавируя между сбившимися в кучу машинами.

Всеобщая охота за долларами это то новое, что бросается в глаза приехавшему в СССР после долгой отлучки. Раньше владение этой валютой считалось преступлением даже большим, чем чтение запрещенных книг. Приобретать ее, хранить, а тем более, тратить было очень-очень опасно. Теперь иностранная валюта почти что легализована, советские деньги падают в цене катастрофически и скоро будут стоить не больше, чем бумага, на которой они напечатаны.

Лет пятнадцать тому назад анекдотическое армянское радио спрашивало своих воображаемых слушателей: «В каком соотношении находится английский фунт стерлингов к советскому рублю?» Ответ: «Один к одному. На один фунт стерлингов дают один фунт рублей». Теперь этот анекдот не кажется уже анекдотом.

Судя по рекламным приложениям к советским газетам, за рубли можно купить породистых щенков, отциклевать полы или нанять репетитора по подготовке в вузы. И это почти все. Объявления о продаже дач, автомобилей, компьютеров или стиральных машин часто заканчиваются кратко выраженным условием: «Только за СКВ».

Несколько советских газет я купил еще перед отлетом из Мюнхена и по дороге пытался вникнуть в суть возникших в СССР финансовых скандалов.

Кооператор Артем Тарасов публично высказал мнение, что Горбачев договорился с японцами и продаст им четыре маленьких острова Курильской гряды за 200 миллиардов долларов. Лично меня в этой сделке удивила только цена. Что же касается остального, то почему бы и нет? Советский Союз уже распродал немало своих ресурсов: нефти, золота, алмазов и прочего, почему бы и не продать какие-то острова? Тем более что такой опыт уже был. Сто лишним лет тому назад тогдашний перестройщик царь Александр Второй продал американцам полуостров Аляска, продал, как говорят, за бесценок. А тут за какие-то ничтожные островки столько денег.

Я слышал, что для спасения всей советской экономики нужно всего-навсего 25 миллиардов долларов, а японцы дают сразу двести. СКВ у Советского Союза мало, а земли сколько угодно, и если за такую цену продавать ее по кусочку, то все советские люди могли бы, ничего не делая, немедленно войти в коммунизм и жить там, как арабские шейхи.

Я было совсем уже размечтался, когда в другой газете прочел об еще более крупной, но менее удачной сделке. Заместитель премьер-министра РСФСР Геннадий Фильшин, соблазнившись шелестом СКВ, одобрил намерение фирмы «Эхо» продать на Запад 140 миллиардов советских рублей за 7,7 миллиарда американских долларов из расчета 1:18,5. Тут же для устрашения читателя было подсчитано, что для перевозки такого количества рублей нужно, по крайней мере, десять железнодорожных вагонов. Сделка не состоялась. Она была вовремя (как всегда) разоблачена Комитетом государственной безопасности, а газета, которую я читал, обвиняла Фильшина, что путем этой сделки он хотел продать Россию.

То, что он хотел продать Россию, меня не удивило. Меня удивило, почему так дешево. Когда-то мой сын, будучи еще маленьким мальчиком, спросил меня: «Папа, почему автобус такой большой стоит дешево, а такси такое маленькое стоит дорого?» Теперь я тоже задал такой же вопрос самому себе: «Почему Россия большая стоит дешево, а островки маленькие стоят дорого?»

Начитавшись таких вещей, я решил тоже провести некоторую финансовую операцию и на другой же день побежал в сберкассу. Там стояла огромная очередь желавших получить даже не СКВ, а нашу валюту, которую люди в последнее время неуважительно зовут деревянной. Очередь нервничала, очевидно, люди хотели ухватить свои собственные деньги до того, как Фильшин распорядится погрузить их в вагоны.

Я провел в очереди полтора часа и, не выдержав, покинул ее, тем более что у меня были другие дела.

22 января я отстоял еще два часа, на этот раз не напрасно, и снял со своего счета тысячу рублей. Всю эту сумму мне выдали пятидесятирублевками, такими симпатичными зелеными бумажками, похожими на американские доллары, только с портретами не Джорджа Вашингтона и не Авраама Линкольна, а Владимира Ленина. Двести рублей я в тот же день потратил, восемьсот осталось. А тут вдруг правительственное сообщение об обмене пятидесяти- и сто-рублевых купюр, которые через три дня станут недействительными.

Что делать? Кто-то мне объяснил, что деньги надо менять по месту работы. А у меня никакого места работы нет, не считая собственного письменного стола. Да и тот стоит пока что не в Москве, а в Мюнхене. Будь я пенсионером, я мог бы поменять деньги на почте. Но поскольку я неизвестно кто, мне надо идти в райисполком и доказать, что эти деньги я не украл. Я написал объяснение, что, будучи теперь печатаемым в СССР писателем, я получаю за свои книги гонорары, которые храню в сберкассе, откуда эти деньги и взял. Я указал номер сберкассы и номер счета, отметил время снятия денег и назвал двух свидетелей, которые при этом присутствовали.

На другой день я на всякий случай простился со своими близкими и отправился в райисполком. По дороге я видел длинные очере-

ди у дверей сберегательных касс, почтовых отделений и еще каких-то контор, где меняли деньги. У одной очереди стояла «скорая помощь», и санитары заталкивали внутрь носилки с бедно одетой старухой. Старуха лежала на спине, прижимая к груди холщевую сумку, из которой высовывались зеленые, похожие на доллары бумажки. Я спросил, что случилось. Мне сказали, что старушка принесла десять тысяч рублей, а ей обменяли только двести. Она не выдержала такого разочарования и, прижавши свое богатство к груди, тут же без лишнего шума скончалась.

Увидев такое, я решил в исполком не ходить. Ну его к черту, подумал, не буду уподобляться старушке. Та за десять тысяч жизнь свою отдала, а я свою неужели отдам за восемьсот?

В райисполком я не пошел, а отправился гулять и вскоре оказался в подземном переходе под площадью Пушкина. Здесь шла бойкая торговля изданиями самого разного толка, от правоверных коммунистических до газеты «Эротический Вестник» и брошюры «Гомосексуализм и советское право». Я двинулся дальше и дошел до гостиницы «Москва», где живут народные депутаты. Там стояли, выстроившись в шеренгу, два десятка теток постклимактерического возраста со злобными лицами и плакатами в руках, где говорилось, что они решительно протестуют против нападков на КПСС, на КГБ и на армию, никогда не допустят развала Советского Союза и требуют отставки Горбачева и Ельцина. За последние два года я уже пять раз побывал в Москве, а к открытости подобных призывов никак не могу привыкнуть, так и тянет самого себя арестовать за то, что я такое вот вижу и молчу.

Пройдя еще триста метров, я оказался на Красной площади, которая, очевидно, из-за холодной погоды была довольно пустынной. Человек с красной повязкой на рукаве останавливал прохожих и к чему-то их призывал. Подошел он и ко мне и, дыхнув на меня водочным перегаром, спросил, хочу ли я увидеть Ленина.

— А что, он воскрес? — удивился я.

— При чем тут воскрес? Я вас спрашиваю, хотите ли вы посетить Мавзолей?

— Нет, — сказал я, — я в очередях стоять не люблю. Я вот даже деньги менять не стал, потому что очередь.

— В том-то и дело, — сказал он, — что к Мавзолею никакой очереди нет. Раньше люди, чтобы взглянуть на Ленина, томились друг за другом целыми днями. А теперь никто не идет. Вы представляете? Чтобы обменять деньги, все готовы давиться сколько угодно, а на основателя нашего государства, на вождя мировой революции взглянуть не хотят. Никаких идеалов, особенно у молодежи.

Я ему сказал, что, если нельзя рассчитывать на идеалы, надо проявлять практическую смекалку.

— Если бы вы, — сказал я, — меняли деньги на выходе из Мавзолея или продавали там же гречку или стиральный порошок, тогда очередь у вас обвилась бы вокруг Кремля.

Несмотря на отсутствие очереди, я на Ленина смотреть не стал, я был обижен на него за то, что он создал систему, которая мне и раньше много неприятностей доставляла, а теперь еще и восемьсот кровных моих рублей зажилила.

И главное, для чего? Я долго терялся в догадках, пока не последовало официальное разъяснение премьер-министра Валентина Павлова. Оказывается, таким обменом денег удалось предотвратить большое преступление против Советского государства. Дело в том, что международные финансовые воротилы эти крупнорублевки копили, надеясь ввезти их затем в Советский Союз, вызвать гиперинфляцию, свергнуть правительство, изменить существующий строй и произвести бескровную аннексию всей нашей страны, которая не получилась, а жаль, потому что в случае успешной аннексии мне бы тоже от нее что-то досталось.

Судите сами. Знающие люди подсчитали, что в ходе павловской операции государство восемь миллиардов рублей выиграло, а три миллиарда потратило на саму операцию. Чистой прибыли пять миллиардов рублей, включая мои восемьсот рублей. Если перевести эти миллиарды и мои восемьсот рублей на доллары с вышеуказанным соотношением 1:18,5, получится приблизительно 270 миллионов долларов, включая мои сорок три доллара двадцать четыре цента и три в периоде.

Вот какая интересная арифметика! Четыре маленьких островка стоят 200 миллиардов долларов. Россия не стоит и восьми, а аннексия всего этого вместе — и островов, и России, и других четырнадцати еще пока что советских республик — стоит всего лишь 270 миллионов долларов. Включая мои сорок три доллара с лишним. Как участник аннексии, эту сумму я мог был легко приумножить. Территория СССР это двадцать два миллиона квадратных километров. Если она вся стоит двести семьдесят миллионов долларов, то один квадратный километр обойдется участнику аннексии приблизительно в двенадцать долларов. Значит, я на свои доллары мог бы получить какой-нибудь небольшой островок километра в три с половиной квадратных. Островок я бы продал японцам миллиардов долларов за пятьдесят. Ну пусть даже вполупину дешевле. Все равно на эти деньги, даже на часть их, я мог бы купить всю Россию. А потом я бы продал Россию и купил Советский Союз. А потом Советский Союз мог бы продавать маленькими кусочками за большие деньги и исключительно в СКВ.

Но, увы, премьер-министр Павлов мои коварные планы строил еще до того, как они возникли. И вот уже второй месяц разные люди выражают мне свое сочувствие, а над Павловым смеются. Но, может быть, смеются преждевременно. Потому что, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

SUMMIT

Недавно в голове Михаила Сергеевича состоялось совещание на высшем уровне. Встречались президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС. Оба симпатичные, похожие друг на друга, как близнецы. Но по характеру разные. Один — демократ, реформатор и вольнолюбвец, поклонник Вольтера, Монтескье и Томаса Джефферсона. Другой — коммунист, ретроград, аппаратчик, читал только Ленина, изучал Сталина, воспитывался у Брежнева, Андропова и Черненко. Первый явился со своими заместителями и министрами, а второй с секретарями по идеологии, промышленности, сельскому хозяйству и оргвопросам. Оба, конечно, с телохранителями и референтами.

Улыбнулись, пожали друг другу руки, сели по разные стороны стола.

— Ну вот, — сказал генеральный секретарь, — рад тебя видеть. Особенно в таком окружении. Павлов, Язов, Крючков, Пуго. Хорошие ребята. Проверенные бойцы, стойкие коммунисты. Эти от генеральной линии и сами не отойдут и тебе не позволят. Не то что эти твои радикалы... эти... как их... не буду о них вспоминать. Как идет перестройка?

— Как тебе сказать? — замялся президент. — Сам знаешь, плохо идет.

— Плохо? — радостно откликнулся генеральный секретарь. — Это хорошо, что плохо! Плохо было бы, если бы перестройка шла хорошо.

— Оригинальная точка зрения, — оценил президент. — Значит, ты против перестройки?

— Почему уж так. Я не против. Я за перестройку, за самую радикальную перестройку, но только в рамках социализма.

— Что значит в рамках социализма? Свобода вообще никаких рамок не знает.

— Как это не знает? И что значит свобода? Свобода — это осознанная необходимость.

— А мне Крючков говорил, что «Свобода» это такая радиостанция.

— Да, есть такая, очень, между прочим, враждебно к нам настроенная.

— И Крючков так же говорит.

— Крючков говорит правильно, как всегда. Ты вот его и слушай.

— А другие говорят, хорошая радиостанция. И гонорар платят валютой. Один раз десять минут выступишь и сразу тебе дают денег столько, что можно телевизор купить.

— Правильно. Десять минут выступишь, купишь телевизор и потом десять лет будешь смотреть программу «Время».

— Вот уж чего я не хочу, того не хочу. Программ «Время» я еще в брежневские времена посмотрелся. А теперь я хочу смотреть только ТСН в Си-эн-эн. А «Время» мне твое и даром не нужно.

— Что значит твое? Мое? Это время наше, мой друг. И задача наша. Ты помнишь, как, бывало, при Леониде Ильиче, все смотрели, и ничего. Смотрели, как его награждали всякими такими вот орденами.

— Смотрели и плевались.

— Плевались, конечно, не без того. Впрочем, плевались незаметным для других образом. Плевались, но при этом понимали, что, пока мы награждаем нашего вождя орденами, до тех пор ничего с нами плохого не происходит. Все хорошо, все правильно, сегодня ему орден дадим, завтра — премию, послезавтра — золотое оружие. Будет день — будет пища. Может, давай и друг другу начнем давать ордена. Нам с тобой по шестьдесят лет стукнуло. А у нас даже на двоих еще ни одной «Золотой Звезды» нет.

— Видать, не заслужили. Видишь, с экономикой что творится, цены растут, деньги дешевеют, продукты исчезают, дефицит расширяется, все по талонам и за всем очереди.

— А кто виноват? Ты. Не надо было начинать перестройку.

— Нет, надо было. Но надо было начать и вести ее до конца.

— Но не выходить за рамки социализма.

— Да какие там рамки! Ты посмотри, что происходит. Донбасс, Кузбасс, Минск — везде забастовки. Народ требует твоей отставки.

— Извини. Они требуют отставки президента. А генерального секретаря они покуда не трогают.

— Они просто думают, что между ними никакой разницы нет, потому и не требуют. Если бы мне от тебя освободиться, я бы вышел к народу, сказал бы: «Братцы, вот он я, беспартийный».

— Этого я тебе как раз позволить не могу.

— А Ельцину позволил.

— Ну знаешь, ты мне нужнее.

— Я тебе нужнее, ты меня за горло держишь, а Ельцин тем временем очки набирает. За Россию держится.

— А ты держись за Союз. Он побольше.

— Да что толку? Союз-то разваливается. Литва откололась, Грузия откололась, Латвия и Эстония собираются, в Осетии война уже началась, а в Карабахе еще не кончилась.

— Что за упаднические настроения? Ты же все-таки пока еще коммунист. Должен обладать оптимистическим мировоззрением, сознавать, что, какие бы ни были трудности, мы их преодолеем и, как Ленин сказал, неизбежно придем к коммунизму. Ты сам-то в коммунизм веришь?

— Правду сказать?

— Правду говорить нужно в церкви священнику. А генеральному секретарю нужно говорить то, что нужно. Если дело у нас так серьезно обстоит, как ты говоришь, какой, по-твоему, выход из положения?

— Надо идти дальше. Надо узаконить свободный рынок, частную собственность, частную инициативу, упразднить совхозы, рас-

пустить колхозы, разогнать коммунистическую партию и провести свободные выборы всех, включая президента.

— Но это значит — отказаться от всего нашего прошлого и от нашего строя. На это мы пойти не можем. Мы должны все-таки искать, что можно сделать в рамках социализма.

— Я тебе говорю, что в рамках социализма ничего сделать нельзя.

— Можно. Мы в рамках социализма создали великую державу, победили фашизм и первыми вышли в космос.

— Это было возможно с помощью командных методов, которые мы сами же решительно осудили.

— Надо было, осудили, а теперь одобрим. А потом снова осудим. Мой отдел пропаганды, слава Богу, еще работает, газета «Правда» регулярно выходит и телевидение тоже, сам видишь, оно опять наше.

— Однако командные методы теперь не пройдут. Народ за эти годы кое-чему научился и поумнел.

— Слишком поумнел. Уже никто ни во что не верит. Бардов наших послушаешь: они поют про каких-то поручиков и корнетов, телевидение хотя и наше, но, как телевизор ни включишь, там то попы, то голые бабы.

— Это как раз ничего. Когда жрать нечего, пусть хоть на баб поглядят. Не нас же с тобой им показывать.

— Вот ты никак не поймешь. В том-то и дело, что нас. Я же тебе говорю, Леонид Ильич восемнадцать лет с экрана не слезал, и люди смотрели и никто не бунтовал, не бастовал, никто его отставки не требовал. Был порядок.

— Этот порядок на страхе держался. А теперь люди ничего не боятся.

— Пока не боятся, а если одного, другого, третьего расстрелять?..

— Ни в коем случае. Забудь про такие методы. Я этого допустить не могу. Меня все знают как человека нового мышления. Как демократа и гуманиста...

— Тогда посадить.

— И это нельзя. Ты даже не представляешь, какой на Западе поднимется вой. Мы с таким трудом добивались доверия и тут же его потеряем. Возникнет новое противостояние, причем в худшей позиции. Уже без Варшавского Договора, без ГДР, даже без Никарагуа. К тому же нам будет немедленно отказано в финансовой помощи, а нам для того, чтобы восстановить экономику, нужно по крайней мере 25 миллиардов.

— Всего 25 миллиардов? Интересно. Семьдесят с лишним лет страну разоряли, а за 25 миллиардов можно все снова восстановить. Тогда, может, что-нибудь продадим? Золото?

— Почти все разбазарили.

— Нефть?

— Уже самим не хватает.

— Да, дело плохо. Слушай, но ведь у нас есть еще кое-какие ресурсы, которые мы пока что не трогали. Я имею в виду землю. Ведь у нас ее до черта. Александр Второй в прошлом веке продал Аляску американцам, и ничего, обходимся без Аляски. А у тебя японцы, я слышал, предлагали купить Курильские острова за 200 миллиардов долларов.

— Вранье это все, — нервно закричал президент. — Никто мне ничего не предлагал. Это все кооператор Артем Тарасов выдумал. Совсем, совсем выдумал.

— Жаль. А я-то надеялся. 200 миллиардов — деньги большие. Если восстановить нашу экономику можно всего за 25 миллиардов, то на 200 мы могли бы еще восемь раз всю страну разорять и опять восстанавливать. Семьдесят лет разорять, потом восстанавливать, потом опять разорять. Умножь семьдесят на восемь и выйдет, что пятьсот шестьдесят лет мы могли бы жить при социализме и без всяких твоих перестроек. А у нас же еще есть и Сахалин, и Камчатка, и Чукотка...

— Стоп! Стоп! — остановил президент генсека. — Я Родиной не торгую. К тому же военные не позволят и, — он понизил голос, — КГБ будет против.

— Тогда какой же выход? — спросил генсек. — Продать острова невозможно, выходить за рамки социализма нельзя, а оставаться в рамках бессмысленно. Значит, все-таки надо возвращаться назад.

— Нет, — сказал президент, — надо идти вперед.

Спорили, спорили, в конце концов пришли к компромиссу: делать шаг вперед, а потом шаг назад, а потом снова вперед, а потом снова назад. А в процессе движения туда и сюда повысить цены, ввести карточки, начать смешанное патрулирование, объявить президентское правление, перейти на военное положение.

На том порешили и на том разошлись. Генеральный секретарь вышел наружу через правое ухо. Президент пошел сначала в левое ухо, а потом передумал и вышел вслед за генсеком.

А Михаил Сергеевич остался в комнате один.

Ему было грустно, он задумался и стал перебирать в памяти совсем недавнее прошлое. Вспомнились первые шаги перестройки. Поездки за границу. Встречи с Рейганом, Тэтчер, Кодем и Миттераном. Вспомнился неизменный триумф в западных столицах, море голов, лес рук, восторженные и умиленные лица, заплаканные глаза. «Горби! Горби!» — кричали ему, забрасывая его и его супругу цветами. А потом стало вспоминаться все вперемежку. Встреча с Сахаровым, разговор с Гавелом, только что вышедший из типографии «Архипелаг ГУЛАГ», кусок Берлинской стены и золотой кружок медали Нобелевского лауреата, которую не зря же он получил. Ведь с его именем связались и освобождение политзаключенных, и гласность, и свободная пресса, и освобождение Восточной Европы, и то, что люди перестали бояться войны.

«А зачем же я все это делал? — подумал он вдруг оторопело. — Ведь был же у меня, наверное, какой-нибудь план».

И в самом деле. План, кажется, был, но какой именно, Михаил Сергеевич, сколько ни напрягался, вспомнить не смог.

1991

ДЕМОКРАТИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Из записи беседы автора с Татьяной Бек

.....
— Проблема культа личности, которая в последнее время довольно монотонно решается у нас преимущественно на материале сталинщины, связана с широким спектром вопросов профессионального революционерства и диссидентства. Ведь есть тонкая грань, за которой «народный праведник» (особенно на российской почве) становится опасным явлением с чертами диктаторства и бесовщины...

— Это тема не простая. У нас говорят больше о бесовщине в среде, так или иначе противостоящей государству. А что было с другой стороны? Все эти идеологические кампании, которые мы или наши родители видели. Поиски врагов народа, кулаков, троцкистов, уклонистов, космополитов, диссидентов — разве это не бесовщина? Я сам неоднократно был свидетелем и жертвой подобных бесовских шабашей в нашем родном Союзе писателей. Я хорошо помню, как один за другим встают будто бы нормальные люди и вдруг начинают плести такую злобную чушь, такой бред, что смотришь и не возьмешь в толк, то ли ты чего-то не понимаешь, то ли эти люди все до одного свихнулись. Причем ведь не просто несут ахиною, а впадают в раж, до дрожи, до судорог, до пены у рта. Кажется, спусти его с поводка, он тут же зубами тебе в глотку вгрызется.

А что касается диссидентов, то там бесноватые тоже, конечно, водятся, но все же не только они. Это я хочу отчетливо подчеркнуть, потому что вижу много «премудрых пескарей», которые каждого, кто оказывает сопротивление насилию, готовы записать немедленно в бесы. Чтобы оправдать свое собственное покорное лежание под корягой.

Когда наступает период всеобщей покорности и люди ведут себя как загнипногизированные перед всесилием и наглостью власти, то общество хотя бы впоследствии, хотя бы очнувшись, должно почувствовать благодарность к людям, которые этой власти говорят «нет». И тем самым защищают, иногда в одиночку, честь всего общества. И даже шире — жизнь общества, которое, пока в нем есть такие люди, еще может рассчитывать на звание живого, а без них оно мертво. Кроме того, движение протеста вовлекает в себя и тех людей, кому общество должно глубоко поклониться.

— Ты имеешь в виду Сахарова?

— Его в первую очередь, но не только его. Сахаров был самой заметной и крупной фигурой, но рядом с ним стояли люди, значение которых вольно или невольно преуменьшается...

— *Например?*

— Ну если взять и живых и мертвых, это Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Петр Григоренко, Анатолий Марченко... Кого-то я, может быть, пропустил. Это все крупные личности, которые пошли в так называемое диссидентство по велению души: с ними случилось то, что с Радишевым, который оглянулся окрест, и «душа его страданиями людей уязвлена стала».

Такими же были и многие революционеры.

Но, конечно, всякие такие движения привлекают и людей, не обладающих высокими душевными свойствами, но обуреваемых страстями, непомерным тщеславием. Желанием непременно сегодня же прославиться на весь мир. Я знал людей, которые упивались звучанием собственного имени по иностранному радио. Один, например, все время считал: «Сегодня обо мне шесть раз по радио говорили». Вот эта возможность немедленно прославиться бывает губительна в прямом смысле. Ну и, естественно, среди таких людей попадается немало типов тоталитарного образа мыслей и действий. В моем понимании большевизм — это не конкретная идея, а определенный образ действий. Идеи и цели могут быть разные, а пути достижения те же. «Большевики» борются против режима, кажутся большими свободолюбцами и на самом деле жертвуют собой, своей свободой, иногда даже и жизнью, но как только в их руках оказывается хоть малейшая власть, они ее тут же используют для подавления других, причем такими средствами, до которых их преследователи додуматься не могли. И это явление повсеместное. Это было и есть в России, в Камбодже, на Кубе, во всех странах азиатского коммунизма и антикоммунизма тоже. Потому что большевик может быть в равной степени и коммунистом, и коммунистом с приставкой «анти».

— Я недопоняла. Поясни.

— Вот тебе жизненный факт. А может быть, анекдот. Говорят, в Вашингтоне однажды разогнали коммунистическую демонстрацию. Полицейский навалился на какого-то человека, бьет его резиновой дубинкой по голове. Тот кричит: «Что ты делаешь? Я антикоммунист!» Полицейского это не остановило. «Мне, — сказал он, продолжая работать дубинкой, — совершенно все равно, коммунистом какого рода ты являешься».

— *Теперь поняла!*

— Естественно, что «большевики» водились и в диссидентской среде. И меня несколько не удивляет превращение большевика из жертвы в тирана, который своих бывших единомышленников и сокамерников объявляет криминальными элементами и расправляется с ними полицейскими методами. Если у него есть полиция. А

если полиции нет, то он использует те возможности, какими располагает. Иногда даже очень мизерные возможности.

На карикатурном уровне это проявляется и в эмигрантском мире, от которого я, слава Богу, не зависел, но который наблюдал с любопытством.

— *Вот это очень интересно, поскольку нам здесь оно малоизвестно. Расскажи поподробнее.*

— В этом мире каким-то образом со временем образовались свои кормушки, в основном в виде отдельных печатных органов. Эти печатные органы — некоммерческие. Они существуют не за счет подписчиков, а за счет богатых западных благотворителей. Кажется, это хорошо. Но поскольку издание от читателя, от потребителя не зависит, оно немедленно превращается в кормушку для угодных. Такой, я бы сказал мини-социализм в мире капитализма. Или антисоветский Союз советских писателей. Со своей, очень похожей на здешнюю, системой распределения символических благ и чинов по весьма условной иерархии. В том мире возможностей немного. Там человека нельзя арестовать, нельзя наградить орденом, дать дачу или машину с шофером. Но все же общее есть. Там тоже печатают своих. К фамилиям своих прибавляют нужные эпитеты: великий, большой, выдающийся, замечательный. Даже мелкие эмигрантские литературные премии распределяют часто среди угодных.

В этом эмигрантском мире главная фигура естественно и заслуженно — Солженицын. Но он постепенно, и это началось еще в СССР, из уважаемой личности превратился в неприкосновенную. Как в свое время Шолохов. В некоторых кругах нельзя критиковать ни его книги, ни мысли, ни отдельные высказывания. Как только это сделаешь, сразу же на тебя косятся: а что, а почему, для чего ты говоришь, уж не по заданию ли каких-нибудь органов?

Газеты и журналы, о которых я уже сказал, подчинены культуре Солженицына. «Вестник РСХД» или «Русская мысль» на каждую публикацию Солженицына отзываются с восторгом. В том, что он пишет, можно искать только достоинства. И никогда не недостатки. Когда-то шолоховский роман «Они сражались за Родину» читали вяло, но печатать хвалила. То же самое с «Красным колесом» Солженицына. Или даже с его опусом по поводу обустройства России. Сам опус подавался как чуть ли не величайшее событие века. Если о Солженицыне пишут, то обязательно с непомерным употреблением превосходных эпитетов. Великий Писатель. Великий Труженик. Великий Современник. Да, чаще всего с большой буквы и Великий, и Писатель, и Труженик, и Современник. В «Русской мысли» ни одна строчка Солженицына не появляется без его портрета, а то и без двух. Если печатают что-то им написанное, то текст и портрет. Если о нем написанное, то текст и портрет. Если им написанное и о нем написанное, то два текста и два портрета. Иногда даже одних и тех же.

— По-моему, это смешно. Это было бы смешно, о ком бы речь ни шла, хоть о Толстом или Шекспире!

— Говорят, культ культу рознь и культ личности писателя не вреден. А по-моему, вреден. Ну может быть, не всегда, может быть, культ Толстого особенно вреден не был, но культ Чернышевского был вредный и долгий. Сейчас кажется смешно, как можно было любить Чернышевского. А вот любили. Поколения революционных романтиков выросли на Чернышевском, даже Есенин, уж казалось бы, куда как далекий человек от такого рода литературы, а и тот в юности был очарован романом «Что делать». У Набокова главу о Чернышевском даже эмигрантские редакторы еще в 30-х годах выкидывали из романа и вообще недоумевали, как он посмел затронуть столь священную личность.

— Такое преувеличение значения поступков, действий, слов одного-единственного человека само по себе — разновидность бесовщины, она со страниц эмигрантской прессы в перестроечные времена переключалась на страницы советские...

— Да, советская пресса перед Солженицыным (но не только перед ним) виновата, что нагородила о нем много лжи, однако непомерное усердие в другую сторону тоже приводит ко лжи. И кстати, самому Солженицыну не приносит ничего, кроме вреда. Тем более что у него критическое отношение к самому себе развито не очень-то сильно.

— Зато у тебя критическое отношение к кумиротворению развито более чем сильно, болезненно сильно, причем тут ты всегда идешь «против течения» — значит ощущаешь это свое противостояние принципиально важным?

— Некоторые считают меня заведомым недоброжелателем Солженицына, причем исходят из того, что мое недоброжелательство продиктовано завистью или какими-то другими мелкими соображениями. Но это неправда. Времена, когда Солженицыну стоило завидовать, увы, прошли.

Я и сейчас отдаю ему должное. (Как, кстати, и автору «Тихого Дона».) Солженицын это не просто некий человек, это очень большое явление литературное, общественное и историческое. Он вошел в историю, и усилиями отдельных людей его оттуда не вычеркнешь. Но он все же человек со своими достоинствами и недостатками, а мне предлагают сусальный образ, икону, на которую я должен молиться. Причем началось это не сейчас, а давным-давно, когда и Солженицын и тем более я еще находились в Советском Союзе. Тогда уже Солженицын, подвергавшийся большой травле, стал объектом всеобщего поклонения, принимавшего с самого начала весьма безвкусные формы. Я помню его портреты, рассказы о нем, напоминавшие больше житийную литературу. Я тогда много раз настойчиво выступал в его защиту (и тоже иногда с неуместным пережестом), за что бывал неоднократно наказан. И уже тогда меня во всей этой атмосфере что-то коробило, и я в некоторых

случаях уклонялся от актов внешнего поклонения. Но при этом, повторяю, я защищал Солженицына не однажды до самой его высылки и после нее. Я и сейчас готов защищать его, если бы вдруг понадобилось, но я должен сказать, что культы любых личностей мне всегда отвратительны и культ личности Солженицына тоже.

— *Это отвращение к кумиротворению заложено в тебе «с малых ногтей» или пришло с годами?*

— Сколько я себя помню, меня всегда сильно принуждали любить неких кумиров и признавать за ними несуществующие добродетели и сверхчеловечные качества. Я еще в детстве усомнился, что Сталин мог разбираться во всех науках, работать круглые сутки, руководить всеми сферами нашей жизни, командовать войсками и прочитывать ежедневно четыреста страниц художественной литературы. Эти сомнения я редко выражал вслух, потому что за них могли посадить. Но помню свои студенческих времен споры о Ленине. Я в то время никак не был антиленинцем, не сомневался во многих его достоинствах, но не верил в исключительную ленинскую прозорливость и в то, что он был «самый человечный из всех прошедших по земле людей».

Вздор, который я слушал всю жизнь об этих двух культовых личностях, меня всегда раздражал. А потом культ Солженицына — тоже. Но те два культа возникли без меня, а этот складывался на моих глазах и в конце концов заинтересовал меня как литературная тема. И не только как литературная. Считаю синдром кумиротворения застарелой хронической болезнью российского общества.

Об этой болезни я много думал и даже писал. А потом у меня возник некий образ, который в существенном виде кому-то понравился, а некоторых людей возмутил. Эти люди воспринимают мой роман «Москва 2042» чуть ли не как физическое нападение на Солженицына, считают, что я решил в таком виде изобразить Солженицына и делаю это для сведения личных счетов или для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Но у меня с Солженицыным никаких личных счетов нет и быть не может. Меня интересует не он лично, а явление, которое он представляет: все люди, которые становятся кумирами толпы, друг на друга похожи.

Но если даже кто-то в моем романе не видит обобщения, а видит только Солженицына, если это всего лишь пародия или даже карикатура на одного человека, то что в этом ужасного? Ничего бы ужасного и не было, если бы опять-таки речь шла не о культовой фигуре. А само по себе несуразное негодование некоторых читателей этого романа как раз доказывает наличие культа. И доказывает, что мой роман написан на очень болезненную и актуальную тему.

— *А я была свидетельницей того, что именно от страха перед прототипом Карнавалова ни один советский журнал — даже на гребне перестроенной гласности и остром дефиците в современной прозе — опубликовать роман «Москва 2042» не решился. Сотрудник журнала «Нева» лично мне так и сказал: «Роман Войновича замечательный,*

очень хотим печатать, но опасаемся из-за Солженицына...» Так и проопасались. По той же причине воцарился теперь почти полный разговор молчания вокруг романа и в критике. Все же он вышел у нас книжным изданием, а критика точно в рот воды набрала. Почему и у нас тут все — и слева, и справа — так боятся кумира?

— Не знаю. Боятся здесь, боятся там. Но ладно, хватит о нем...

Солженицын в литературе и истории есть и остается, и никому его оттуда не вычеркнуть, но культ его личности кончается, и это хорошо, потому что всякий культ личности — явление нездоровое. К сожалению, сама болезнь не кончилась, наше общество недоразвито, и в нем скоро и обязательно появится новый объект культового поклонения. Кто бы он ни был, он будет непременно напоминать Сим Симыча Карнавалова...

— *Получается, что дело все-таки не только в том или ином общественном строе, но и в каких-то ущербных качествах человеческого духа, который склонен в уродливых и унижительных формах «творить себе кумира» и гнать из кумирни людей ироничных и независимых. Страсть толпы к культу одной-единственной сильной личности (или теории) зиждется, как я думаю, и на малодушном стремлении снять с себя напряженную личную ответственность за происходящее. Не здесь ли истоки того очевидного фиаско, которое потерпело наше многострадальное Отечество на данном этапе? Итак, виноват ли кто-то конкретно? Маркс? Нечаев? Ленин? Сталин? Или дело также и в массах?*

— Ты в своем вопросе почти уже на него и ответила. Я вижу, как сказал бы вождь, «три источника» этого самого фиаско. Во-первых, народный характер, народное сознание жаждет вождя или учения, с помощью которого можно было бы решить все проблемы сразу. Существует не только культ личности, но и культ теории. Скажем, культа Маркса как такового не было, но был культ марксизма, марксизмофрения.

— *«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно»?*

— Вот и дождалось общественное сознание всесильного и верного учения. Итак, первый источник — народное сознание. Второй — Маркс, марксизм, «изм» вообще. Третий — Нечаев, нечаевщина как способ внедрения любого «изма» в жизнь.

Тут вот что интересно. Любая утопия, будь она хорошая или плохая, непременно порождает мерзкие методы, потому что утопия неосуществима в принципе. Пытающиеся ее реализовать сталкиваются с невозможностью это сделать — и неизбежно применяют силу. Так если ключ не входит в замок и не может открыть дверь, то начинают давить, вертеть и все в итоге ломают. Когда хотят совместить утопию с жизнью, применяют, повторяю, силу отдалая тем самым реальность от запрограммированного идеала. Кажется, ну еще, еще, еще немного, пожертвуем этим, убьем еще вот этих, а потом все у нас будет хорошо... а в конце концов утопия вовлекает в преступление все большее число людей. Сначала пре-

ступление совершает отдельный Нечаев, потом вовлекаются все новые круги людей — а утопия все неосуществима. Поэтому утопии лишь условно можно делить на «хорошие» и «плохие»; они при внедрении требуют преступных действий.

— *Что ж, вредны даже такие гуманистические литературные утопии, как «Город солнца»?*

— Это на бумаге ничего. На бумаге писатель может сочинять что угодно. Но когда реальное общество начинают строить в соответствии с утопией, то добра не жди. А кстати, твой «Город солнца» и на бумаге выглядит достаточно отвратительно. Например, там, в Городе солнца, все люди работают: если у него нет ноги, он делает то-то, если нет руки, — то-то, для всех предусмотрена некая трудовая деятельность. А если у человека нет ни рук, ни ног, но есть хотя бы один глаз и одно ухо, то он отсылается в деревню и служит там соглядатаем. Нравится?

— *Ужасно нравится! Но пошли дальше. Образ соглядатая без рук, без ног в деревне — это уже ближе к «Жизни Ивана Чонкина», которую ты пишешь всю жизнь и которую нам с тобой давно пора вспомнить. Меня вот что интересует: предтеча этого повествования больше литературная (в «Чонкине» же масса переключек — со Швейком, с Платоном Каратаевым, с Теркиным наконец, — не знаю только, сознательных или иррациональных) либо сугубо жизненная, лишь преобразованная под пером?*

— Специально я никакого литературного контекста в виду не имел. У Чонкина есть две основные предтечи: это сказочный Иванушка-дурачок и совершенно реальный человек, которого я видел и знал в жизни. Это распространенный тип, и жил он не в одной деревне, и в каждой есть свой Иванушка-дурачок, который, как замечательно показано в русской сказке, на самом деле не дурачок, а человек простодушный, у которого что на уме, то и на языке и который не заботится о впечатлении, какое производит. Этот простодушный и бесхитростный человек другим людям кажется дурачком, потому что он не понимает их мелких хитростей и уловок.

— *А не является ли Чонкин в известной мере твоим альтер-эго?*

— Является. Существуют вещи, которые мне хочется сказать, но я все же опасаясь предубеждений как человек, испорченный цивилизацией, а от имени Чонкина я могу говорить что хочу. Мысли, которые кажутся глупыми, зачастую не так и глупы. Например, Чонкин по-своему опровергает Дарвина. Он говорит: если труд превратил обезьяну в человека, то почему он не сделал того же с лошадью? Чонкинское опровержение звучит глупо, но не глупее опровергаемой мысли! И напрасно ты улыбаешься.

— *Короче, Чонкин — это твой «сокровенный человек», это как бы нереализовавшееся в тебе.*

— Пожалуй. Только не знаю — лучшее или худшее. Что касается литературных источников, то это не только именно сказка, но и

вообще старый жанр историй о солдате — от фольклора до Салтыкова-Щедрина, «Швейка». Я, конечно, ко времени работы над «Чонкиным» читал и любил эту книгу Гашека, но думаю, что настоящего влияния и сходства тут, кроме поверхностного, нет.

— *А как возникло имя Чонкина? Оно рифмуется с Теркиным, что позволяло, насколько я помню 70-е годы, некоторым людям усматривать здесь скрытую полемику или даже пародию на книгу Твардовского?*

— Как возникло? Расскажу. Замысел Чонкина возникал постепенно. Сначала я написал рассказ о деревенской девушке, которая полюбила солдата (они встретились вечером накануне войны). Он служил в части рядом с деревней, а утром его разбудила сирена: он вскочил, побегал — и с концами. Девушка знала только, как его зовут, а больше ничего о нем не знала. Но она стала воображать себе, какой он, как бы могла сложиться их жизнь и всякое такое. Она долго ждала от солдата вестей, думая, то, что между ними произошло, для него очень важно, и он просто так пропасть не может. А поскольку он пропал, она сама стала писать себе письма от его имени. И в этих письмах воображала его летчиком, героем, потом полковником. И так далее. По мере написания писем ее воображение смелело — она описывала его подвиги, присваивала ему звания и награждала его орденами. К концу войны он у нее стал Героем Советского Союза, и, поскольку он к ней никак не возвращался, она, Нюра, сама себе составила извещение, что он погиб.

— *В каком году ты это написал?*

— В 1958 году. Написал и задумался: а какой же он был на самом деле? Он же у меня не был описан — лишь тот солдат, которого сочинила Нюра. И я думал-думал-думал, какой же он был, и решил написать второй рассказ об этом человеке. Я догадывался, что «герой» должен быть написан по контрасту с тем, кого представляла себе Нюра, — простой и придурковатый. Но образа не было. Я и так и сяк, нет образа, и все. И вдруг я вспомнил — так ярко! — один момент своей службы в армии. Это было в Польше, в закрытом военном городке, на бывшей немецкой территории. Иду я солнечным днем и вижу: движется большая немецкая телега с надувными шинами. Смотрю, лошадь идет, а никакого седока в телеге нету. Я слегка удивился, но глянул под телегу, а там какой-то солдат зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, его тащит, а он, насколько я помню, даже не пытается решить эту ситуацию. Через пару дней я увидел того же солдата, уже сидящим на облучке, — он сидел такой веселый, разухабистый и погонял лошадь. А голова у него была перевязана бинтами. Я спросил: «Кто это?» и мне ответили: «Да это же Чонкин!»

Все. И больше ничего. На этом восклицании сложился образ. А настоящий Чонкин, кстати, вскоре погиб на охоте, его там убили вместо оленя... О Чонкине долго оставались воспоминания. На-

пример, был у меня командир, майор Догадкин, который, когда особенно сердился, топал ногами и кричал мне: «Я тебя вместо Чонкина пошлю на конюшню». Так вот и остался на задворках памяти образ человека, которому самое место только на конюшне. И однажды я вспомнил этот образ зрительно и понял, кем был на самом деле воображаемый Нюрин полковник.

— *Какая непокорная вещь — прозаический замысел! Со своими зигзагами и боковыми побегам...*

— Замысел замыслом, а потом начались проблемы. Как только я написал первый большой кусок «Чонкина», то понес его в «Новый мир». Твардовский отнесся к этому критически и сказал: «Что за герой? Таких героев было много: Бровкин, Травкин...» Потом, подумав, говорит: «Геркин...»

— *Обиделся?*

— Не знаю, обиделся ли он, не обиделся... Но мне в ту пору многие люди это говорили (и твой отец тоже). Сейчас уже совсем не говорят, поскольку Чонкин стал образом самостоятельным, а пока я это писал, многие меня «ловили» на переключке с Теркиным. Причем одни считали, что Чонкин просто идет от Теркина, другие же полагали, что это полемика, противопоставление, даже нарочитое снижение предшествующего образа. Хотя утверждаю: у меня не было и нет ни того, ни другого, ни третьего.

Меня, признаюсь, удручали эти постоянные сопоставления, и я даже хотел сменить герою фамилию. Придумывал и такую, и эту, по-всякому с фамилией вертелся, но чувствую, ничего ему не подходит. Только Чонкин! Есть у меня рассказ «Путем взаимной переписки», там герой сержант Алтынник...

— *А я всегда считала, что Алтынник как бы литературный брат Чонкина, его самоценный эскиз, что ли. (Оба они солдаты, оба простодушные и беззащитные... Да и зовут их обоих, кстати говоря, Иванами.)*

— Да, братья. Но все же двоюродные. Я даже пытался переименовать Чонкина в Алтынника — нет, не идет ему это имя. Алтыннику идет, а Чонкину нет.

— *Смотри, ты у нас, получается, писатель армейский. Как опубликовался впервые в военной газете, так и пишешь всю жизнь об армии. Но думаю, в военно-художественную секцию (есть такая замечательная секция в Союзе писателей СССР) тебя бы вряд ли приняли. Ох, не любят тебя генералы — что с ними было, когда «Юность» опубликовала «Чонкина»!*

— Ну да, многие советские генералы (не все, впрочем) меня не любят, но не по той причине, которая на виду. Они меня не любят не за Чонкина, а вообще за «выход из строя». За все, что я пишу. Дело в том, что генералы, которые лезут в литературу, это в большинстве своем не просто генералы, а военные аппаратчики, военно-партийная номенклатура, которая от просто партийной отличается только формой одежды, да и то условно. Аппаратчик (возьми

хотя бы Брежнева), он то военный, то штатский — в зависимости от того, куда пошлет его партия. Что касается литературы, то он ее никакую не любит, но у него есть представление, какая она должна быть. А она должна быть унифицированная, как солдат. За солдата ведь все подсчитано точно, как и что он должен носить. Прическа не длиннее двух сантиметров, пилотка набекрень — один палец от правого уха, подворотничок выступает на полмиллиметра, ремень затянут так, чтобы можно было просунуть только два больших пальца, строевой шаг сорок сантиметров. Все просто, ясно и — с места с песней шагом марш. Вот такой, по мнению аппаратчика — хоть военного, хоть не военного, — должна быть литература. Всякая другая литература кажется ему подрывной. Да она такая и есть! Свободная литература и вообще духовность, так же, как свободное хлебопашество, с властью номенклатуры несовместима.

— *Одно из, увы, провидческих мест в твоей антиутопии «Москва 2042», и это предсказание относительно слияния партийной (и даже армейской) идеологии с православием. Чего стоит один только отец Звездоний — священник с генеральским званием! Как это ты догадался еще в начале 80-х, когда подобным слиянием и не пахло?*

— Как я угадал относительно слияния православия с официальной идеологией? Православие православию рознь. Есть идеологическое православие. Я уже в 70-е годы заметил, что многие полагают, мы отошли от идеологии, придя в религию. На самом деле они сменили одну идеологию на другую, воображая при этом, что совершают героический поступок (чем питались их честолюбие и гордыня). Это все говорит как раз об идеологизации подобной «веры», ибо для человека, верующего органически, — не важно, есть ли в его вере героизм, «подвиг» или нет.

— *На секунду перебью тебя. Послушай, какие хорошие слова об этом одного московского священника прочла я недавно в газете: «Обращение к религии в качестве смены идеологии — это тяжчайший грех! Нельзя заменить Маркса на Христа. Вера — это не идеология. Это жизнь и смерть. Она стоит у колыбели и у гроба...»*

— Точно сказано. В 70-е годы эти самые герои веры утверждали, что коммунистическая партия и религия — антонимы, что партия ни за что не признает православия: «Вот уж чего она никогда не допустит...» А я тогда же понял, что обязательно признает, непременно допустит, более того, с ее, партии, стороны будет очень глупо не овладеть этой выгодной силой. Я знал, что так оно произойдет — обязательно и неизбежно.

— *Нет, но все же в те годы религия преследовалась действительно. Людей вызывали, мучали, сажали. Я знаю одну учительницу, которую как раз в 70-е годы выгнали с работы из подмосковной школы только за то, что она крестила в церкви своего младенца... Об этом забывать нельзя.*

— А кто ж забывает? И сейчас религия может преследоваться — зависит от ее формы. Вроде бы религиозной свободы прибавилось...

— *А неугодных священников почему-то убивают и преступление все расследуют и расследуют.*

— Да-да-да. Православие хотят приручить сверху и приручаемое православие ласкают, не убивают. Но есть православие другое, независимое — оно-то и неугодно. Однако в моем романе описан итог этого слияния, а мы сейчас свидетели лишь процесса. Мой роман, повторяю, предупреждение, и я не хотел бы подобного итога, но уверен, что коммунистическая партия желает именно такого результата — приручения и подчинения столь мощной силы, как религия.

— *Скажи прямо, ты считаешь, что демократия в нашем обществе обречена на успех?*

— Нет же. Я предупреждаю о худших вариантах. Но шанс демократического развития остается, он есть. Более того, в перспективе или обязательно демократия победит, или весь мир погибнет. Часто люди с наивностью говорят: «Ну, демократия а дальше что?» Неверная постановка вопроса. А дальше — ничего! Демократия в отличие от коммунизма не цель, а способ существования, и при демократии разные социальные, национальные, классовые ли группы (как и отдельный человек) могут иметь свои цели или никаких целей не иметь. Она просто создает нормальные условия для развития общества и личности. Демократия — это способ естественного существования, и поэтому Советский Союз, как и все другие страны, рано или поздно к этому придет. Если не погибнет.

*Февраль 1991 года
Москва*

ВАМ БАРЫНЯ ПРИСЛАЛА СТО РУБЛЕЙ

Скажу сразу, я не судья и объективным быть не обязан. Из всех ролей, которые распределяются между участниками данного судебного разбирательства, я себе выбираю роль потерпевшего. Разумеется, всего лишь одного из многих миллионов. Причем потерпевшего намного меньше других. Но все-таки именно потерпевшего, которому желательно быть правдивым, но не обязательно объективным.

В Конституционном суде разбирается вопрос, было ли конституционным решение президента России Ельцина об отстранении от власти Коммунистической партии Советского Союза. В споре, где выясняют свои отношения представители КПСС и их противники, я стою на стороне противников. Когда выступают Сергей Шахрай или Андрей Макаров, я заведомо с ними и желаю, чтобы они победили.

Но...

Естественно, я, как и очень многие другие люди, ожидал этого суда с большим волнением. Я думал, что вот наконец-то будет сказано все. Я, честно говоря, ожидал чего-то вроде Нюрнбергского

процесса. Ну не совсем такого. Тот состоялся после полного разгрома нацистов вместе со страной, в которой они верховодили. Тогда еще были живы главные нацистские преступники, а теперь главных, конечно, нет. Ленин, Сталин, Ягода, Ежов, Берия, Андропов уже находятся вне нашей юрисдикции. А к тем из партийной верхушки, которые выросли на наших хлебах в более поздние времена, к ним у меня отношение не столь однозначное, поэтому я был бы за то, чтобы судить не личности, а партию в целом. Но судить, разбирать все ее действия до конца непредвзято, не обходя никаких острых углов.

Однако не тут-то было. То, что я увидел, я сравнил с известной игрой, которая, как вы помните, начинается так: «Вам барыня прислала сто рублей. Что хотите, то купите, черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите...»

Вероятно, эта игра некоторым из судей в детстве настолько понравилась, что они и сейчас решили в нее поиграть. Облачившись при этом в черные мантии с выпущенными из-под них белыми манжетами.

Игра развивается по всем правилам. С упоминанием всей гаммы цветов, кроме черного с белым. С любыми ответами, кроме «да» и «нет».

Идет процесс по делу об отстранении от власти КПСС. Какой он, этот процесс? Единственный ответ: политический. Судья стучит деревянным молотком по медной тарелке: стоп, вы проиграли, это процесс не политический, а правовой. КПСС является (лась) политической партией. Стоп, — звенит медь, — мы судим не партию, а... (черный с белым не берите, «да» и «нет» не говорите) государственную структуру.

Ну да, то есть нет, то есть ни да, ни нет, партия была не только государственной структурой, а могла повторить слова Людовика XIV: «Государство — это я!»

Партия и была государством, но именно политическим, насквозь пронизанным политикой и политические цели ставившим превыше любых государственных.

Я, например, сколько жил (долго) под властью КПСС, столько слышал всякие слова с прилагательным «политический» (политический процесс, политическая пропаганда, политическое образование, политическое убийство) или с приставкой «полит»: Политбюро, политотдел, политорганы, политэкономия, политрук, Политиздат, политпросвет, политучеба, политизолятор, политзаключенный, а также с тем же скрытым эпитетом в аббревиатурах Главпур и ГПУ, что, кстати, означало одно и то же: Главное политическое управление.

В этом политическом государстве с рождения его и до смерти и всегда господствовала политическая полиция, которую сравнить можно только с гестапо. Члены этой полиции, как и гестаповцы, придумывали себе всякие возвышенные определения вроде «рыца-

ри революции» или «карающий меч революции», хотя я бы лично назвал их, наверное, топором. Топором в руках КПСС.

КПСС была государством, но в то же время и партией. Говорят, что слово «партия» ей никак не подходит, потому что партия это значит всего лишь часть чего-то целого. Но она и была частью общества. 19 миллионов человек состояли в КПСС, но еще 280 миллионов в партии не состояли.

В эти 280 миллионов следует включить и детей. Впрочем, детей партия тоже в покое не оставила и создала для них детские коммунистические партии октябрят, пионеров и комсомольцев. Эти детские партии имели один существенный недостаток: у них не было своего собственного ЧК, что не давало детям возможности друг друга расстреливать. А все остальное — одобрять, поддерживать, всем сердцем быть вместе, стучать друг на друга, разоблачать врагов, отрекаться от родителей — это им разрешалось.

Конечно, взрослая КПСС для обыкновенной партии захватила слишком много власти, но кто сказал, что она должна быть обязательно обыкновенной? Она была очень необыкновенной, она была партией тоталитарного типа. Она имела руководящую номенклатуру, разветвленную сеть корыстных активистов и некий балласт из рядовых членов, которые, впрочем, свою, нужную партии роль тоже играли.

В партию люди вступали по нескольким причинам: 1) по дурости, 2) по идейным соображениям (то есть тоже по дурости, но как бы на научной основе) и 3) ради карьеры.

Среди всех трех категорий попадались люди относительно (но не абсолютно) приличные, однако лицо партии определялось не ими, а теми, кто (из категории карьеристов) активно и с охотой проводил любое решение партии в жизнь, одобряя все ее злодейские и идиотские акции, будь то изъятие церковных ценностей, уничтожение кулачества как класса, истребление оппозиции, расстрел польских офицеров и новочеркасских рабочих, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторжение в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, расправы над инакомыслящими, внедрение социалистического реализма, заключение людей в лагеря, тюрьмы, психушки и прочее, изучение произведений Сталина — Брежнева и введение неписаных, но действовавших грамматических правил, согласно которым отдел райисполкома пишется с маленькой буквы, а Отдел ЦК КПСС с большой. Замечу к слову, что среди самых, как считалось, «идейных», то есть твердолобых коммунистов, был наибольший процент воров, взяточников, расхитителей общественного имущества в особо опасных размерах, казнокрадов, убийц, насильников и растлителей. Часто наиболее опасные уголовники именно преданностью КПСС или ее идеалам прикрывали свои мерзейшие преступления.

Любое сколько-нибудь серьезное разбирательство деяний КПСС никак не может не быть политическим. А вот что касается консти-

туции, кто ее, когда и зачем нарушил, то тут, граждане судьи, прошу простить за резкое слово, но мне лично на эту конституцию, как говорится, с высокого дерева наплевать. Да, именно, так!

Мне скажут, разве можно так вот неуважительно о конституции, а я на это отвечаю, что уважать ее никакой причины не вижу, и в том, что стоит за нее непременно держаться, тоже никак не уверен.

Не странно ли было бы, если бы Международный трибунал в Нюрнберге, судивший нацистскую партию и ее главарей, руководствовался исключительно законами Третьего Рейха?

Но не то ли мы видим в Конституционном суде?

Разбирается вопрос: соответствовало ли Конституции отстранение КПСС от власти? Какой Конституции? Ну конечно, советской, поскольку никакой другой у нас не было тогда и сейчас еще нет.

Некоторые считают, что сама по себе Конституция СССР была хорошая и будто бы даже самая лучшая, самая демократическая в мире, а вот исполнители были плохие. Так это же, граждане, мы уже проходили, то же самое слышали о всех наших «изма».

Марксизм-ленинизм-коммунизм-социализм в теории были прекрасны, а на практике испорчены. Конституция была хорошая, а партия плохая, впрочем, то есть не очень плохая, а не совсем хорошая, плохая только в том смысле, что хорошую Конституцию нарушала.

А вот мой вопрос: была ли она на самом деле так уж хороша, эта самая Конституция? Можно ли назвать хорошим автомобиль, который всем хорош, но имеет один недостаток — не ездит? Если он не ездит, значит, есть смысл подумать, достоин ли он вообще права называться автомобилем. То же и с конституцией. Она должна существовать не только на бумаге. Она должна предусматривать инструменты, которые сами бы ее защищали. Если таких инструментов нет или они не работают, значит, грош цена такой конституции.

Вопрос аналогичный предыдущему: можно ли считать передвижную душегубку хорошим автобусом? Даже если отключить подачу выхлопных газов в пассажирский салон? Становится ли советская конституция более уважаемой после исключения из нее статьи шестой?

Не становится. Вся эта конституция, кем бы она ни сочинялась — Бухариным, Сталиным, Суловым или Брежневым, с шестой статьей и без нее, имела своей целью не создание в стране конституционного образа жизни, а увековечивание партийного диктата. Утверждение, что программа партии не соответствовала конституции, бессмысленно: с точки зрения партии конституция должна была соответствовать программе построения коммунизма, а не наоборот. И кстати сказать, если бы теперешний суд назывался не конституционным, а, допустим, программным, то тогда партию можно было бы отстранять от власти с большим основанием, чем сейчас, поскольку она своей программы не выполнила и коммунизма нам не построила.

А с конституцией как раз все наоборот.

По букве она, возможно, была чем-то другим, но по духу она была создана не для ограничения власти КПСС, а, напротив, для установления вечного владычества над нашими делами, телами и душами.

Партия эту конституцию сама для себя сочиняла, сама ее толковала, сама приспособливала под свои нужды и приспособила настолько, что конституция нисколько не мешала ей вытворять с огромной страной все что угодно. Именно эта конституция в любом ее варианте была основой всех злодеяний, совершенных Коммунистической партией Советского Союза.

Таким образом к чему мы приходим?

Сейчас я собираюсь высказать выношенную мною крамольную мысль, но прежде того выражу надежду, что узники, томящиеся в застенках Матросской тишины, не подвергаются очень уж зверскому обращению, что у них, в их мрачных одиночках, есть если не цветные телевизоры, то, по крайней мере, коротковолновые приемники, которые они, как Горбачев в Форосе, из каких-нибудь кусков кроватей сварганили, и в их, как сказал поэт, «каторжные норы доходит мой свободный глас».

Так вот мой глас утверждает, что основной целью Конституции СССР с шестой статьей или без нее было укрепление и сохранение советского строя всеми возможными и невозможными способами. Поэтому разрушители этого строя конституцию нарушали, а гэкачеписты умно или глупо (по-моему, все же глупо, за что им большое спасибо) ее отстаивали. Опять же спасибо, что не отстаивали.

И в попытке переворота их обвинять тоже не следует. Антипартийный переворот состоялся, но совершен не ими, а их противниками. Гэкачепистов если уж и судить, то за что-то другое, чему, впрочем, есть прецедент. В свое время советские суды судили своих противников за попытку реставрации капитализма, так вот, гэкачепистам можно вменить в вину попытку реставрации развитого социализма.

Нет, я не поклонник гэкачепистов и на демонстрацию с их портретами не пойду. Но не только они, а вся КПСС была политической бандой, она узурпировала всю власть в стране, поработила, унижала и тиранила весь народ, лишив его права и возможности выбора, вменив ему в обязанность постоянно выражать ей свой безмерный восторг, она сочиняла законы, которые сама не уважала, а почему мы должны уважать ее законы? Да пусть она провалится вместе со всеми своими законами и вместе со своей конституцией.

Если, допустим, Конституционный суд, поработав своими тринадцатью головами, придет к выводу, что отстранение партии состоялось в результате переворота, то лично я скажу, ну и пусть! Тогда да здравствует переворот!

Вы скажете: «Ах, ах! Да разве ж так можно?»

А вот и можно.

Если тиранический режим не дает людям никакой возможности достойного существования и смены своих правителей путем свободных, обеспеченных законами выборов, то сам этот режим незаконен и свержение его путем переворота, восстания или революции с точки зрения международного права считается абсолютно допустимым.

В некоторых случаях отстранение от власти может быть произведено с помощью прямого иностранного вмешательства.

В 1945 году вооруженные силы союзников отстранили от власти нацистскую партию, не считаясь ни с какими установленными ею законами, а потом судьи из стран-победительниц судили главарей этой партии уголовным судом.

Правду сказать, это кое-кому тогда не понравилось. А некоторым не нравится до сих пор. Совсем недавно один немецкий юрист говорил мне, что Нюрнбергский процесс не был в правовом отношении приемлемым, потому что, мол, впервые в истории победители судили побежденных. На что я ему заметил, что побежденные, заталкивая в газовые камеры мужчин, женщин, стариков и детей, расстреливая из пулемета, сжигая живьем, тоже вели себя с юридической точки зрения не совсем безукоризненно, и если бы им самим доверить суд над собою, то они, вероятно, были бы полностью оправданы, а может быть, даже представлены к каким-нибудь высшим наградам. Они, кстати, в Нюрнберге в 45-м году на вопрос суда, признают ли себя виновными, один за другим вскакивали и нагло выкрикивали: «Нихт шульдиг». То есть не виновен.

Вернемся, однако, в Москву 92-го года. В Конституционном суде истцы, ответчики и сами судьи ходят вокруг да около, а главного не касаются. Защитники КПСС стараются преступную ее сущность затушевать. А противники?.. Казалось бы, вот сейчас им самое место и время резануть всю правду-матку как есть. Но и они дошли до какой-то невидимой нам черты и снова — стоп: черный с белым не берите, да и нет не говорите, это суд не уголовный, а правовой, мы судим не партию, а государственную структуру и решаем только вопрос, соответствовало Конституции отстранение ее от власти или не соответствовало. И ничего больше.

А почему ж это так? Потому что судьи сами для себя, по-моему, не уяснили, в чем состоит их задача. Если суд Конституционный, то опять же на основе какой конституции, а если на основе филькиной грамоты, сочиненной идеологами КПСС, то и суд этот не конституционный, а филькин. Несмотря на белые манжеты и черные мантии. Это я говорю не для оскорбления суда, а для того, чтобы показать всю его бессмысленность.

Дело с самого начала загнано в рамки, в которых ему тесно. Из которых оно само по себе стремится вырваться. Но суд все время возвращает его назад, к второстепенным вопросам. Это как если бы, предположим, разбирая дело Родиона Раскольникова, суд опустил все, что касается убийства старухи, и ограничил себя только рассмотрением того, имел ли право Раскольников взять чужой

топор и кто в этом больше виноват — он, взявший топор, или дворник, который топор не спрятал.

Адвокат Андрей Макаров рассказал нам историю о том, как Политбюро ЦК КПСС за два дня до выборов в Верховный Совет СССР уже знало (и торжественно одобрило) их результаты. Это звучит смешно, но не ново. О том, что очередные выборы закончатся полной и убедительной победой блока коммунистов и беспартийных неизвестно над кем, но со счетом 99,99 на 0,01 — мы все вместе и каждый в отдельности знали за два дня, за два месяца и за два года.

Уважаемый мною Сергей Шахрай говорит: суду будет представлен раскрепченный документ о деле одного из генералов КГБ, возглавлявшего отдел по убийствам политических и прочих противников этой организации внутри страны и за рубежом. Среди деяний этого одного генерала из одного из отделов есть убийство в одном городе одного священника.

Конечно, убийство одного священника или любого иного одного человека есть само по себе ужасное преступление, но, увы, затрагивая эту тему не по касательной, следовало бы рассказать не об одном священнике, а о десятках миллионов людей, которых расстреливали поодиночке и группами, из пистолетов и пулеметов, колоннами и эшелонами, и топили в баржах живыми, и закапывали в землю, и умаривали голодом, и превращали в лагерную пыль, и пытали в психушках. Речь должна идти о преступлениях, по бессмысленности, по жестокости и по масштабам не имевших равных во всей человеческой истории.

А нам говорят о подделках каких-то списков и отдельно взятом убийстве, да и тут судья стучит молотком: мы не об уголовщине, а о нарушениях пунктов номер таких-то и подпунктов таких-то.

Но тогда вообще стоило ли затевать суд?

Сколько бы участники процесса, истцы, ответчики и судьи, ни стремились этого избежать, суд над КПСС может быть только политическим, и никаким иным. Попытка превратить его в неполитический, делает его фарсом. В игру типа «вам барыня прислала сто рублей...»

Впрочем, я не уверен, что судьям удастся удержаться в рамках. Уже стучатся в двери суда свидетели не нарушения пунктов, а ужасных массовых злодеяний, и, как в «Страшной мести» Гоголя, дрожит земля оттого, что поднимаются во всех краях мертвецы и тянутся грызть главного мертвеца, эту самую проклятую КПСС.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что настоящий беспристрастный суд, выслушав и оценив доводы сторон, пришел бы к неизбежному выводу, что КПСС была и должна быть объявлена преступной политической организацией. И достойна безусловного запрещения, независимо от того, какими правилами она руководствовалась и насколько прилежно пренебрегала своей собственной конституцией.

То, что среди миллионов ее членов были и относительно порядочные люди, дела не меняет. Члены гитлеровской НСДАП тоже не все бегали с топорами и не все заталкивали людей в газовые камеры. Среди них тоже были такие, которые только платили членские взносы, очень неохотно вытягивали руки и молча открывали рот, делая вид, что кричат «Зиг, хайль!» Мне приходилось встречаться с такими людьми в Германии. Один старик мне незадолго до своей смерти рассказывал, как его, несчастного, после войны преследовали за то, что он, будучи всего лишь почтовым служащим и никого в жизни своей не расстреляв, вступил в нацистскую партию и состоял в ней, в душе ее осуждая. Единственное, чего он достиг, так это того, что из простых почтальонов был передвинут на должность заведующего почтой. За что после войны его жестоко покарали, передвинув назад, в почтальоны.

Таких людей, как этот почтальон, нацистов или коммунистов, я лично строго бы не судил, но и в заслугу бы им пребывание в партии не поставил. Потому что партия эта была шайкой, а они — пусть пассивными, но все-таки членами шайки.

Кто не обманывал сам себя, тот знал, что это так.

Большевик Роберт Индрикович Эйхе, арестованный в 1937 году как «враг народа», на вопрос судьбы, признает ли себя виновным, отвечал: признаю себя виновным в том, что состоял в преступной банде ЦК ВКП(б). Мой собственный отец состоял в той же ВКП(б) всего лишь четыре года, никакой партийной карьеры не делал, никого не убил, не зарезал, но отбыв свои пять лет в заключении, говорил мне всегда, что получил свой срок вполне по заслугам. «Я, — говорил он, — состоял в преступной организации и должен был быть за это наказан».

Я не призываю никого присоединиться к столь строгим оценкам своего партийного прошлого и сам никому судьей быть не собираюсь, но если вдруг окажусь, не дай Бог, под судом, то члену нацистской партии или коммунистической, даже бывшему, добровольно решения своей судьбы не доверю.

Некоторым слушателям мои высказывания покажутся, может быть, слишком экстремистскими, но я их оцениваю иначе. В своих рассуждениях я исхожу из того, что допущение людей к некоторым занятиям не может не сопровождаться определенными и даже повышенными моральными требованиями к их образу жизни теперь или в прошлом. Например, человек, не умеющий хранить чужие тайны, не может быть врачом или священником. Вора, даже бывшего, я бы никогда не назначил директором банка, а взяточника — милиционером и, уж конечно, никакому судье не доверил бы судить себя самого, членов своей семьи или партию, в которой он сам состоял.

А тут что мы видим?

В суде по поводу отстранения КПСС от власти участвуют три стороны: защитники КПСС, противники КПСС и беспристрастные

судьи. Замечательность этого исторического и юридического казуса в том, что все три стороны представлены в основном бывшими членами КПСС. Одной стороне хочется свою партию полностью оправдать, другой желательно частично ее осудить, судьи разрываются между теми и другими, но полную правду сказать не хочет никто. Потому что признать партию, в которой сам состоял, преступной — значит и себя не избавить хотя бы от моральной, хотя бы от малой ответственности за ее преступления, а на это способен не каждый.

И тут логика моих рассуждений неизбежно ведет меня к проигрышу в игре в барыню, которая прислала сто рублей.

На вопрос, может ли суд, в котором и ответчики, и истцы, и 9 из 13 судей были членами КПСС, вынести объективное суждение о КПСС, я не знаю никакого другого ответа, кроме ответа: НЕТ!

Тут я, пожалуй, еще добавлю, что в свое время учреждение Конституционного суда и избрание в него несменяемых судей меня очень удивило. Это было подражание другим странам, но в других странах конституции настоящие, в других странах от избираемого судьи требуются кристальная честность и в целом безупречная репутация. В Америке один из кандидатов в члены верховного суда не попал на это место только потому, что когда-то в детстве, да и то, кажется, всего один раз, выкурил самокрутку с марихуаной.

Но многолетнее пребывание в КПСС разве лучше одноразовой затяжки марихуаной?

Когда в Верховном Совете России обсуждались кандидатуры членов Конституционного суда, я сказал одному из своих друзей, депутату этого совета, что судьями не могут быть бывшие члены КПСС. Мой друг спросил, а из кого же их выбирать? Членами такого суда должны были быть высококвалифицированные юристы, правоведы, естественно, в прошлом, большинство из них были члены КПСС.

Я сказал, что выбор, конечно, не слишком широк, но в таком случае нельзя избирать этих людей пожизненно, потому что они должны быть не только высококвалифицированными, но и высококонрастными. Друг мой сказал, что их можно и нужно выбирать пожизненно, в таком случае они будут лучше прежних судей, потому что, памятуя о своей несменяемости, не будут иметь причин бояться начальства. Я возразил, что сама по себе несменяемость от страха перед начальством, по крайней мере, некоторых из них никак не спасет. Начальство не может их сменить, но отказать им в случае их строптивости в каких-то благах все еще может. Я добавил, что важно, чтобы они не только не боялись начальства, но чтобы боялись своей совести. Потому что несменяемый негодяй гораздо опаснее сменяемого. У меня нет никакой уверенности в моральной чистоте всех конституционных судей, тем более что репутации некоторых из них весьма подмочены их прошлым пребыванием не только в КПСС, но и в других подвластных партии мерзких структурах.

И еще одно соображение, опять-таки связанное с нашей темой. Среди высшего руководства России очень много бывших коммунистов. Я не имею ничего против многих из этих людей персонально, но ясно вижу, что их прошлое отражается на их мыслях, решениях и действиях. Они — одни сознательно, другие инстинктивно — тормозят развитие процессов, ведущих к оздоровлению общества, и, уж конечно, только единицы из них готовы, как говорят американцы, назвать кошку кошкой и признать, что они сами состояли в преступной организации.

Но эти-то люди заняли свои должности не навсегда. С течением времени руководство страны неизбежно будет обновляться. На смену бывшим членам КПСС придут новые фигуры, не отягченные подобным прошлым. И через какое-то количество лет может случиться так, что в России останется только одна организация с большинством из бывших коммунистов. Это будет несменяемый Конституционный суд.

1992



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДЕЛО № 34840

Сов. несекретно

Начато: 11 мая 1975 года

Окончено: 30 мая 1993 года

Закрито: Не закрыто

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ

Ниже излагаются история одного покушения, совершенного Комитетом госбезопасности СССР в 1975 году, и рассказ о расследовании, на которое автор потратил ровно восемнадцать лет.

Сама история была в свое время описана, но ожидаемого эффекта не произвела, поскольку состояла из фактов, в которые одни просто не верили, другие верить боялись, третьи не хотели, четвертые, когда заходила речь или сами ее заводя, помогали не верить первым, вторым и третьим. Автор оказался в положении джек-лондоновского персонажа, которого соплеменники побили камнями за небылицу о том, будто белые люди плавают по морю в железных посудинах. Соплеменники знали точно, что железо не плавает.

Трудность усугублялась еще и тем, что иные даже косвенные доказательства своей правоты автор не мог полностью привести из опасения повредить некоторым людям, кое о чем вынужден был помалкивать и предпочитал не раскрывать своих ближних и дальних намерений.

Теперь, когда детективный сюжет развился, дотянувшись до наших дней, а в прежних умолчаниях проку не стало, автор решил изложить всю историю целиком, как она случилась тогда, с описанием обстоятельств, в которых она происходила, событий, за нею последовавших, с добавлением подробностей и документов, полученных в результате расследования, приведшего в конце концов к раскрытию тайны, которую хранил в свое время КГБ и изо всех сил пыталось сохранить нынешнее Министерство безопасности России.

МАНЦИГ ЦВАНЦИГ

4 мая 1975 года было тем самым Светлым воскресеньем, про которое народом или каким-нибудь членом Союза писателей была сочинена частушка:

Слава партии родной
За любовь и ласку
Отобрали выходной,
Обосрали Пасху.

Для идеологического отдела ЦК КПСС даты совпали исключительно удачно: 1 и 2 мая официальный праздник, третьего — нерабочая суббота, а выходной с четвертого мая перенесли на десятое, чтобы, утопив религиозное чувство в патриотическом угаре, дать народу возможность три дня гулять по случаю тридцатилетия Великой победы, а следующее воскресенье 11 мая объявить снова рабочим днем для окончательного сбития с панталыку.

Возможно, изобретателю такой передвижки была объявлена благодарность, а если им был лично главный идеолог страны Михаил Андреевич Суслов (кто его помнит сегодня?), тут не думаю, чтоб обошлось без какого-нибудь высокого ордена.

Утром в половине девятого в моей комнате вкрадчиво зажурчал телефон.

Полдевятого утра — время, в которое люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают. Мы все обычно поздно ложимся и поздно встаем. А вчера я лег особенно поздно, засидевшись у Кости Богатырева на вечеринке по поводу приезда Костиного лагерного друга. Несмотря на свою постоянную бедность, Костя всегда и охотно что-нибудь праздновал: свой день рождения (два месяца тому назад как раз было пятидесятилетие), день рождения жены Лены Суриц, годовщину своего ареста или освобождения, какую-нибудь где-нибудь публикацию и даже книжную посылку из-за границы. А тут приехал из Донецка этот самый друг, который, несмотря на солидный (за пятьдесят) возраст и внушительную внешность, в узком кругу назывался Гришкой Агеевым, и никак иначе. О нем я был уже слышан от Кости: «Вот приедет Гришка, ты с ним обязательно должен встретиться, это чистый Чонкин. Между прочим, он спас мне жизнь. Один уголовник хотел проломить мне голову ломом, но Гришка подлетел и лом перехватил. Но интересен он не этим, а тем, что это чистый Чонкин».

И вот вчера звонок: «Если у тебя есть время, приходи. Гришка приехал». Я сказал: «Хорошо» и повесил трубку. Он позвонил опять: «Если есть что-нибудь выпить, то принеси, пожалуйста».

У меня, конечно, кое-что было. Мои первые публикации на Западе принесли не только неприятности, но и открыли на короткое (очень короткое) время доступ к магазину «Березка», где скромных сертификатных гонораров хватало на всякие напитки, тогда еще очень дешевые: бутылка виски или джина стоила около одного сертификатного рубля (полтора доллара).

Моя жена Ира со мной пойти не могла: у нее на руках наша полуторагодовалая дочка Оля.

Прихватив с собой 0,75 тогда еще диковинного «Джонни Уокера», я отправился к Косте, который жил на Красноармейской улице, в ста шагах от меня.

Это были еще времена, когда приезжавших иностранцев удивляло, что русские, постоянно жалуясь на жизнь и отсутствие в магазинах чего бы то ни было, выставляют на стол невероятное

количество всяких напитков и закусок. Да меня, признаться, задним числом этот феномен и самого поражает. Уж на что были бедны Костя и Лена, а и у них если званый ужин, то стол просто ломился от обилия выставленных на нем блюд.

Сейчас за столом кроме хозяев сидели Владимир и Лариса Корниловы, а в качестве главного гостя и главного угощения — Григорий Агеев, крупного (вдоль и поперек) сложения, с лицом смуглым, асимметричным, простоватым и плутоватым. Под столом находилось еще одно существо — фокстерьер Прошка, подобранный где-то Леной. Был он, как и хозяйева, довольно нервный, но в отличие от хозяев агрессивный; лежа внизу, он иногда по-своему реагировал на поведение сидевших за столом, начинал вдруг злоево урчать, а то и просто ни с того ни с сего вгрызался в ногу кого-нибудь из гостей. При этом знал, кажется, меру — ботинки насквозь не прокусывал.

Агеев сидел во главе стола, как именинник, но держался поначалу скромно и скованно, его еще не раскачали.

Он порадовал меня сообщением, что в Донецке благодаря отчасти его пропаганде многие люди слушали по Би-би-си три передачи по «Чонкину», а один из его друзей записал передачи на магнитофон, с магнитофона перепечатал и теперь распространяет среди своих.

Питье разливал Костя. Когда он наклонял над рюмкой бутылку, руки у него дрожали. Они у него всегда дрожали, и это с ним стало после Сухановки, пыточной тюрьмы, которую, как говорили, никто не выдерживал, а он выдержал.

Выпили, закусили, еще раз выпили, и Костя стал подбивать своего друга, чтобы тот рассказал о себе.

— Ну давай, давай, — поощрял Костя. — На вот еще выпей для разгону. Ну рассказывай.

— Да ну, — вяло и привычно, но всего лишь для проформы артачился Агеев, — чего там рассказывать? И рассказывать нечего.

— Расскажи, как ты попал в немецкий лагерь.

— Ну как попал? Как все попали. Я тогда жил в Ростове, мне было семнадцать лет, и меня как раз только что призвали в армию. Меня, конечно, могли и не призвать, потому что я был неблагонадежный. Мать у меня умерла, а отец, как мне говорили, был изъят органами НКВД. Но мне это удалось от народа скрыть. Я жил у тетки и о том, что мой отец изъят органами НКВД, никому не говорил. А даже наоборот, как хамелеон, маскировался под нормального советского юношу и в самодеятельности читал «Стихи о советском паспорте». За что меня, как наиболее преданного советской власти, и взяли в Красную Армию. Несмотря на то что мне было только семнадцать лет и не зная того, что мой отец изъят органами НКВД. Но мне Родину защищать слишком долго не пришлось. Когда немцы подошли к Ростову, товарищ Сталин, руководствуясь своими, значит, стратегическими замыслами, пере-

двинул войска на заранее подготовленные позиции, и так передвинул, что вся наша дивизия, со всеми командирами и комиссарами, попала в «мешок». А наш политрук говорит: умрем, говорит, ребята, но живыми врагу не дадимся. Но сам знаки различия со своих петлиц спорол, чтобы остаться живым даже и после сдачи.

Ну мне было, конечно, легче врагу отдаться живым, потому что я был не политрук и советскую власть, правду сказать, не любил. Почему не любил, не знаю. Может быть, на почве личной обиды. Потому что я был к тому времени уже сирота. Мать умерла, а отец был изъят органами НКВД. Что я, ясное дело, скрывал. Но когда немцы меня в плен взяли, стали, значит, расспрашивать, кто такой, я понял, что теперь скрывать ничего не надо, а надо наоборот. И на вопрос, кто мои родители, я отвечал прямо: мать, говорю, так и так, умерла, а отец изъят органами НКВД. Только раньше изъятие отца было как бы минус, а теперь как бы плюс.

Вкусив, и как следует, «Джонни Уокера», Агеев раскраснелся, разошелся, теперь никакой скованности в нем вроде и не бывало.

— Немцы меня сперва из других прочих не выделяли и отправили в лагерь для военнопленных под Тихорецк. Ну я там и был. А потом кто-то заметил, что возле меня все время народ. Где я, там толпа. Я им про советскую власть анекдоты рассказываю, какая нехорошая была власть, все в лежку лежат, смеются. Ну немцы сразу заметили, что я человек влиятельный, с тенденцией к лидерству и вообще могу быть полезен. Тем более при таких биографических данных — отец изъят органами НКВД. Ну значит, проходит какое-то время, вдруг вызывают меня к начальнику лагеря. А там сам начальник, какой-то еще эсэсовец и переводчик. Ну опять стали расспрашивать, кто такой, откуда, где родители. Ну я говорю, как есть: мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Как относишься к советскому режиму? — спрашивает эсэсовец.

— Яволь, — говорю, — к советскому режиму отношусь с большим отвращением.

— Ну что ж, — говорит, — мы тебя пошлем в Кенигсберг, там есть школа русских пропагандистов, которые согласны сражаться против коммунистов.

Ну и направили нас в Кенигсберг. Меня и еще одного. Дали нам немецкую форму без погон, дали документы, талоны на еду. Поехали. Ехали сами. С пересадками. На станциях везде полевые кухни для немецких солдат и для таких, как мы. Пюре картофельное и сосиски.

Правда, порции маловаты. Немцы жаловались, что им недостаточно, а нам ничего, хватало. У нас с напарником было такое большое ведро, я подхожу к повару и говорю: «Манциг цванциг». То есть на двадцать человек. А он же мне не поверить не может, не может оскорбить меня подозрением, что я, такой приличный молодой человек, ему вру. И накладывает почти полное ведро. Ну

мы с напарником тут же за угол зайдем, по десять порций навернем, так еще ничего, жить можно.

Все это Агеев рассказывает с такими уморительными ужимками, что все хохочут, а больше всех Костя, открывая ряд стальных зубов, тускло сияющих, как патроны в обойме. «Манциг цванциг!» — повторяет он восхищенно и дергается в конвульсиях, словно слышит это впервые.

— Самое главное, — говорит он, утирая выступившие слезы, — что все это правда.

Агеев рассказывает дальше. В Кенигсберге будущих пропагандистов направили в общежитие. Поселили каждого в отдельной комнате, завалили антисоветской литературой, дали карточки на еду, на парикмахерскую, на кино и публичный дом.

Ввиду присутствия дам рассказывать о публичном доме Агеев не стал. Но зато рассказал об экзамене, который ему устроили, как будущему антисоветскому политруку:

— Вхожу в комнату, там за столом несколько офицеров и один генерал. Важный такой генерал с моноклем в глазу, точь-в-точь как в кино. По-русски говорит, как мы с вами. Распросил меня, кто я такой и откуда. Говорю, из Ростова, сирота, мать умерла, отец изъят органами НКВД.

— Очень хорошо, — говорит генерал. — То есть не то хорошо, что ваш отец изъят органами НКВД, а что вы придерживаетесь правительственных представлений о сущности коммунистической власти. Ну а какой вообще круг ваших знаний? Литературой интересуетесь?

— Яволь, — говорю, — ваше превосходительство, очень даже интересуюсь.

Генерал переглянулся со всеми офицерами, все довольны, все головами кивают, вот какого образованного человека нашли! Даже литературой интересуется.

— Хорошо, — говорит генерал. — Значит, книжки читаете. И кто же, если не секрет, ваш любимый писатель?

— Маяковский, — говорю, — господин генерал.

Генерал так удивился, что даже монокль у него из глаза как лягушка выпрыгнул.

— Кто? — говорит. — Маяковский? А какое именно произведение Маяковского вы любите больше всего?

— Поэму «Владимир Ильич Ленин».

Костя Богатырев правой рукой схватился за живот, а левой машет и, давась от смеха, уверяет, словно сам он там был:

— И самое главное, это все правда. Он ведь ничего не выдумывает.

Все хохочут, кроме Прошки, который под столом начинает тихонько урчать, предупреждая нас о нашем плохом поведении.

— Интересно, — изображает генерала Агеев, — интересно. А писателя Достоевского вы читали?

— Так точно, господин генерал, читал.

— И что больше всего вам понравилось у Достоевского?

— Роман «Что делать?»! — прокричал Агеев, чем сразил в срок втором году немецкого генерала, а в семьдесят пятом всех нас, сидевших за столом у Кости Богатырева. И прежде всего самого Костю.

Ясно, что карьера Агеева как пропагандиста не состоялась. Его и его напарника немцы зачем-то отправили обратно, и путь их назад был полон приключений. Сначала они попали в руки к бандеровцам, которые хотели их расстрелять как москалей и коммунистов. Гришка рассказал, как сняли с него немецкие яловые сапоги и, разутого, повели на расстрел, и, уж казалось бы, что может быть несмешнее расстрела человека, но рассказчик так все подал, что слушатели опять помирают со смеху, а Богатырев схватился за живот и корчитяся, словно у него приступ язвы. И опять, смахивая слезы, подтверждает:

— Все правда, все правда! — будто при несостоявшемся расстреле лично присутствовал.

Расстрел не состоялся, потому что по дороге к месту казни Гришка убедил бандеровцев, что он сам украинец, но говорит по-украински неважно, потому что после изъятия отца органами НКВД попал в детский дом, где москалей запрещали детям говорить на ридной мове. Кто-то из бандеровцев пожалел сироту, ему вернули жизнь и сапоги, взяли к себе на службу, на которой он пробыл два месяца с лишним.

— В конце концов, — сказал Гришка, — я к ним настолько вошел в доверие, — тут он приосанился и сделал значительное лицо, — что мне даже поручили ответственнейшее задание, в ходе выполнения которого, — на лице огорчение, — я и сбежал.

Тут Прошка не выдержал и вцепился Агееву в ногу, что (поскольку нога осталась цела) вызвало дополнительный взрыв смеха и предположение, не является ли Прошка агентом КГБ или цензором Главлита.

Агеев переместил ноги подальше от зверя и продолжил рассказ о своих похождениях и приключениях. Пока он возвращался в Ростов, город был отбит Советской Армией, куда его снова призвали. Но воевать ему не пришлось. В это самое время, сказал он, отбирали людей в дивизию охраны Сталина. На кавказском побережье для Сталина держали несколько дач, из них самая главная была на озере Рица. Новая дивизия и должна была эти дачи стеречь.

— Ну естественно, — говорит Агеев очень серьезно, — туда отбирали людей кристальных, только с идеальными анкетами и чистейшими биографиями. Чтобы был обязательно из рабочих или крестьян, чтобы даже среди дальних родственников не было никаких репрессированных и чтоб сам никогда не был ни в оккупации, ни в плену, вообще, чтобы прозрачен был как стекло... вот почему я туда и попал, — заключает он свои рассуждения, отчего слушатели опять дергаются, сползая со стульев, а Прошка рычит.

Дальше был рассказ о том (и Костя, ссылаясь на свидетелей и подельников Агеева, божился, что и тут все чистая правда), как в дивизии по охране Сталина составила подпольная группа, ставившая себе целью убийство охраняемого объекта, лишь только он вздумает в здешних местах отдохнуть и расслабиться. Возглавлял группу секретарь комсомольской организации.

Входили в нее рядовые, сержанты, офицеры и штатские лица, включая даже нескольких девушек. Группа вынашивала разные планы — от минирования дороги до снайперского выстрела. И все эти планы не состоялись только потому, что за много месяцев существования группы Сталин ни на одной из своих дач ни разу и не появился. В группе не нашлось ни одного стукача, и разоблачена она была случайно. А когда это случилось, чекисты просто ахнули: как же это они прозевали такой разветвленный заговор?

Обычно когда *им* выпадало стряпать мнимое дело, они для придания ему зловещего характера и масштаба старались его всячески раздувать. Самого Костю, сказавшего что-то плохое о Сталине, судили, как за покушение, и первый приговор был — к расстрелу, а уж потом заменен двадцатью пятью годами. Но случаем Агеева и других, в самом деле замышлявших убийство Сталина и на суде несколько своих намерений не отрицавших, начальство было настолько потрясено, что стало, наоборот, дело всячески заминать. Военный трибунал в Сухуми к расстрелу не приговорил никого. Всем дали по «четвертаку», но дивизию при этом расформировали, лишили знамени, старших офицеров — кого под суд, кого в отставку.

К концу вечера кто-то вспомнил о Пасхе. Религиозная Лена быстро собралась и ушла ко всенощной, Корниловы — домой, а Костя и Агеев перебрались ко мне, и здесь, перейдя с виски на водку, Агеев пытался прочесть свое изложение (стихами) «Анти-Дюринга», а Костя, восхищенный талантами друга, рассказывал, как тот в лагере изобрел и пытался построить миниатюрную подводную лодку, чтобы с ее помощью через какой-то канал со сточными водами бежать на волю.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВСТРЕТИТЬСЯ

Телефон дребезжал, я руку к трубке тянуть не спешил, но звонивший был терпелив и настойчив

Не переселись Владимир Максимов к тому времени в Париж, я бы подумал, что это он. На Пасху он всегда звонил раньше других и не соответствовавшим событию мрачным голосом возвещал: «Христос воскрес!» Чем заставлял меня неизменно врасплох. Я тут же начинал истекать суетливою мыслию: как? неужели опять Пасха? и что же отвечать? «Воистину воскресе»? А если я сомневаюсь, что воистину? А если даже не сомневаюсь, но язык мой деревенеет при

необходимости произнесения любых ритуальных словес? В армии я всегда уклонялся от употребления уставных конструкций вроде «слушаюсь», «так точно», «никак нет», «не могу знать», а вместо «служу Советскому Союзу» норовил сказать «спасибо». За что выведен был из строя и наказуем несоразмерно провинности.

Оглядывая свою жизнь, могу сказать, что постоянное уклонение — в устной и письменной форме — от употребления определенных правилами слов и движений было причиной многих моих передрыг, в том числе и исключения из советских писателей и фактического объявления вне закона.

Однако наступали новые времена, религия, переставая быть наркотиком для народа, в сознании многих постепенно, но неуклонно вытесняла Передовое Учение, неопиты зверели и предписывали колеблющимся рапортовать четко, по-пионерски: «Воистину воскрес!» Причем именно «воскресе», а не «воскрес».

На максимовское «воскресе» я отвечал обычно: «Здравствуй, Володя», никак не в порядке вызова, а, наоборот, в замешательстве.

Но в этот раз звонил не Максимов, а некий обладатель голоса тихого и смущенного.

— Владимир Николаевич? С вами говорят из Комитета государственной безопасности...

Вторжения *органов* в мою жизнь я ожидал и раньше, а в последнее время тем более, потому что некоторые мои действия и даже само по себе мое существование нарушали ту идиллическую картинку, которая по *их* замыслу должна бы сложиться после предпринятых ими усилий.

К описываемому времени *все у них* вышло почти как надо. Дисидентство удушить полностью не удалось (и не надо, враг нужен для увеличения количества мест, зарплат, устройства на теплые места ближайших родственников и корешей, для получения званий, орденов, премий, квартир и прочего), но в литературе должны были наступить тишь да гладь. Солженицына выслали, Максимов и Галич уехали сами, кто там еще? Из оставшихся литераторов я у них, видимо, вышел на место врага номер один.

Прощенный за прошлое подписанство и даже одаренный возможностью издать две книги повестей (а до того у меня была всего одна тоненькая книжонка), я скушал подачку и, не сказавши спасибо, погряз во враждебной активности, которая проявилась сначала в том, что не уступил квартиру свою всесильному их человеку, полковнику КГБ (а я-то думал, он генерал) Сергею Иванько, затем написал открытое письмо председателю ВМП Борису Панкину, защищал Солженицына, вылетел с треском из Союза писателей, и теперь состоялось мое главное преступление: на Западе вышел из печати «Чонкин». Вышел и не собирался пропасть бесследно. Уже «Свобода» читала роман для советских слушателей полностью, Биби-си сделало три больших передачи, «Голос Америки» и «Немецкая волна» тоже новинку вниманием не обошли.

Еще до русского издания появилось шведское, было накануне выхода немецкое, книга переводилась на английский и прочие языки, о чем было известно не только, конечно, мне.

Могли ли *они* такое терпеть?

Не могли, хотя и пытались.

Когда меня исключали из Союза писателей, тактика была взята на замалчивание. Не было такого человека и нет. И всё. Поэтому полное молчание, и даже у «Литературной газеты», всегда оповещавшей читателей обо всех исключениях и сообщившей незадолго до того об исключении Лидии Чуковской, для меня не нашлось ни слова.

«Вы не знаете, как поживает Войнович?» — спрашивали пытливые иностранцы кого-нибудь из секретарей Союза писателей СССР. Секретарь морщил лоб, тужился и отвечал на вопрос вопросом: «Войнович? А кто это?» Иногда даже мусолил пальцем список личных членов и предъявлял спрашиваемому: видите, нет такого.

Власти делали вид, что меня нет, а я делал вид, что нет их, меня это более или менее устраивало, а их менее или более наоборот.

Но вот «Чонкин» появился на западном книжном рынке, а оттуда отдельными экземплярами стал просачиваться и сюда. С возмутительно оформленной обложкой. С изображением священной фигуры товарища Сталина в напыленном на него женском платье. Они были бы не они, если б стерпели и это. И вот:

— ...Государственной безопасности. Моя фамилия Захаров. У нас есть желание с вами встретиться. Если бы вы могли найти несколько минут времени...

Исключительно для проформы, чтобы отстоять свое никем не подтвержденное право на независимость поведения, спросил я: а что, по какому, собственно, делу, и получил ожидаемый ответ, что дело хотя и короткое, но важное и, конечно, ни в коем случае не по телефону.

Как будто нас мог подслушать кто-нибудь, кроме них самих.

У диссидентов были разработанные, записанные и распространяемые «самиздатом» рекомендации: по звонку ни в коем случае ни в КГБ, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суд — ни ногой. Только исключительно по повестке. И в повестке должно быть точно обозначено, по какому делу и в качестве кого: подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. И я с этими правилами был совершенно согласен. Но был при этом любопытен и в любопытстве нетерпелив. И думал, что раз *они* хотят меня видеть, то своего все равно добьются, но, добываясь, будут плести вокруг меня свою паутину, и я, ощущая плетение, не буду знать, для чего оно.

Короче, я согласился.

Не успел положить трубку, опять звонок, и тот же Захаров:

— Владимир Николаевич, у нас к вам просьба. Пожалуйста, пока никому не говорите, что вы к нам идете. А потом поступите, как захотите.

— То есть как никому не говорить? Даже родственникам?

После некоторой заминки:

— Нет, ну родственникам, конечно, но все-таки нам бы хотелось пока без широкой огласки. Поговорим, потом поступайте, как хотите.

Тайна — первый союзник бандита. За предложением никому не говорить всегда стоят несколько целей. Во-первых, с пошедшим на тайную встречу можно делать все, что не получается при огласке. Во-вторых, обещание хранить тайну означает вступление человека в такие отношения, которыми потом можно при случае (не при каждом) шантажировать.

Поэтому я сказал звонившему, что шум заранее поднимать не буду, но и засекречивать свой визит тоже не собираюсь.

Во мне боролись и любопытство, и беспокойство, и страх совершить ложный шаг, и страх за своих близких. Хотя о себе самом я решил слишком не беспокоиться, а все же и за себя было боязно.

Должен сказать, что никаких иллюзий насчет террористической сути советского режима я давно не питал. С тех пор как сознательно пошел на обострение своего конфликта с властями, я знал, что это очень серьезно, и готов был к тому, что моя свобода и даже жизнь могут прекратиться в любую минуту. Я несколько не сомневался в том, что для верхушки КПСС и для КГБ, называемого романтическим мечом революции (я бы назвал его топором), не существует преступлений, перед которыми они могли бы остановиться. Для них не существовало ни закона, ни морали. Их ограничивали только физические возможности, текущая политика и действительные на данный момент соображения целесообразности.

Прикидывая за них возможные варианты, я предполагал, что в данный исторический момент разнообразных форм заигрывания с Западом сажать меня, может быть, не выгодно, но придавить где-нибудь в темном углу — почему бы и нет?

20 февраля 1974 года, когда я послал свое письмо секретариату Союза писателей (на самом деле оно было адресовано вообще *им*, то есть той неопределенной структуре, которую *мы*, чуждые структуре элементы, обозначали условно словами «советская власть»), я решил так. Буду считать, что сегодня моя жизнь завершилась. Бояться больше нечего. Но каждый день, который будет после сегодня, есть еще один подарок судьбы. Его следует принять с радостью, тем более что он может оказаться последним.

Такое психологическое настроение вряд ли можно считать приемлемым в нормальной жизни, но мое положение было далеко от нормального, я находился с государством в состоянии войны, а на войне психология любого человека меняется.

Всякому, кто, ступая на путь диссидентства, приходил ко мне за советом (а таких было немало), я диссидентствовать не советовал, говоря, что раз ищешь совета, значит, еще недостаточно

припекло. А проявившим настойчивость советовал ни в коем разе не рассчитывать на выигрыш, не оставлять себе ни малейшей надежды на благополучный исход, поскольку в таком положении надежда есть слабость.

Меня провожала моя жена Ирина. Перед входом в приемную КГБ (Кузнецкий мост, 24) мы простились, договорившись, что, если часа через два я не вернусь домой, она начнет звонить иностранным корреспондентам. Я взял у нее три рубля на ларек. Она предложила больше, но я сказал, что *там* и три рубля — сумма немалая, в чем я, как мне потом объяснили бывшие ээки, ошибался, трешка и так — не деньги.

В приемной меня встретил рыжеватый, конопатый, упитанный человек лет тридцати с обручальным кольцом на пальце. Это и был Захаров. Увидев, что я не один, он всеми своими конопушками, и плечами, и ушами выразил ужасное смущение. Ему неудобно, показал он, что он беспокоит не только меня, но и жену. Изобразив Ире быструю смену недоуменных ужимок с пришепелыванием («право, вам не следует беспокоиться... но... в общем... как хотите...»), он повел меня в *их* главное здание, где сердитый прапорщик долго ворчал, не желая пропускать меня по истрепанным водительским правам (паспорт я забыл дома), но затем смилостивился.

В скромном кабинете на девятом этаже меня ждал старший соратник Захарова, высокий человек лет пятидесяти или больше. Вытянутое загорелое лицо, очки на горбатом носу, черные курчавые волосы коротко стрижены.

Вышел из-за стола, протянул руку (улыбка до ушей): «Петров Николай Николаевич, очень рад познакомиться, давно мечтал».

На столе журнал «Грани» с моим рассказом «Путем взаимной переписки», «Литературная газета» с интервью Бориса Панкина, номер «Русской мысли», еще какие-то вырезки из газет, машинописные тексты, плакат с портретами пациентов спецпсихушек (и я среди них).

Хозяин кабинета смотрит на меня приветливо.

— Вы кому-нибудь сказали, что к нам идете?

— Сказал.

— Жене?

— Не только. Сказал нескольким людям, вам не обязательно знать, кому именно.

Улыбается.

— Не доверяете органам?

— Не очень.

— А почему?

— Такая у вас репутация.

— Владимир Николаевич, а разве вы не замечаете, что мы меняемся?

— Не знаю. Может быть, изнутри меняетесь, но снаружи не заметно.

Слова мои явно его огорчили, он стал мне доказывать, что они меняются, что они совсем не такие, как прежде, хотя многие никак не хотят этого видеть.

— Ну ладно, — сказал он, примирившись с фактом, что люди — существа неблагодарные, сколько хорошего им ни делай, все равно не поймут. Может быть, когда-нибудь в исторической перспективе разберутся, а сейчас — что поделаешь. — Как праздник провели, Владимир Николаевич?

Я прикинул, какой именно праздник? Если Пасха, то она еще вся впереди, а если 1 мая, то я, во-первых, о нем забыл, а во-вторых, к праздникам советским и несветским (не считая Нового года) давно уже не относился никак, и вопрос о качестве их проведения в приложении ко мне был лишен всякого смысла. Что же касается наших дружеских попок, то они если и бывали связаны с датами, то это были дни рождений, свадеб или смертей, но никак не официальные годовщины.

— Зачем вам знать, как я провел праздник? Вы лучше скажите мне, кто вы?

— Я вам сказал: Петров, сотрудник комитета.

— Я бы хотел знать должность и звание.

— Да зачем вам это нужно? Потом посмотрим, как сложится разговор, я вам, может быть, и скажу. А пока давайте просто поговорим.

В самом деле, какая мне разница, кто он? Он может сказать все что угодно. Вот и фамилию, конечно, наврал. (Я тогда решил почему-то, что Петров — это псевдоним, а Захаров — фамилия, и в первом своем репортаже называл одного лже-Петровым, а другого просто Захаровым. Потом выяснилось, что оба были «лже», но пока пусть останутся теми, кем назвались.)

Достаю сигареты, спрашиваю, можно ли курить.

— Да сколько угодно. Вот вам пепельница, располагайтесь как дома. Забудьте, где вы находитесь. Хотите, окно откроем настежь, чтоб было прохладно, хотите, совсем закроем, чтобы было жарко.

В последней фразе была полуприкрыта угроза, но я ее пропустил мимо ушей, меня пугали и посильнее.

Закурив, кладу сигареты на столик, рядом с собой. Сигареты у меня болгарские, называются «Интер», цена — 35 копеек. Захаров тоже тянется к пачке: «Можно, я у вас возьму сигаретку?»

— Можно, конечно.

С лица Петрова не сходит благожелательная улыбка.

— Вот, Владимир Николаевич, смотрю я на ваши руки. Это рабочие руки. Это не руки писателя.

Думает, мне лестно, что у меня рабочие руки.

— Но я этими руками пишу, — говорю я на всякий случай.

— Да, вы ими пишете, но все-таки до сих пор видно, что это рабочие руки.

Я, понятно, настороже. Если это намек на то, что этими руками сподручнее держать не перо, а лопату, я не согласен.

А он гнет свою линию дальше: у меня такая трудовая биография, такая советская (прямо почти слово в слово по Галичу: «Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл...»).

— И как же это получилось, что вы с такой биографией вдруг оказались вне советской литературы?

Имей я желание говорить с ним всерьез и откровенно, я бы сказал, что моя биография как раз и была главной причиной, почему я терпеть не мог и советскую власть, и советскую литературу. Я от рождения был человеком интеллектуального склада, а рабочим стал потому, что отца у меня сначала посадили, а потом он с фронта вернулся инвалидом, и остался при этом неболагонадежным, и занимал в маленьких газетах маленькие должности, и прокормить меня не мог. И как раз будучи рабочим и солдатом, я увидел, что реальная жизнь очень сильно отличается от ее изображения в совлитературе.

Но объяснять всего этого Петрову я не хотел и готов был вместе с ним удивляться, как же я с такой биографией так далеко зашел.

— Неужели они вас так втянули? — спросил Петров.

— Кто это «они»?

— Ну например, те, кто издает вас на Западе, рекламирует.

Тут мне и пришла пора делать ответный ход. Я в те годы выбрал для себя такую тактику: отвечать тем, кому приходилось допрашивать меня от имени государства, что вы, мол, сами во всем виноваты. Если бы вы печатали меня здесь, я бы не стремился печататься там (к тому же тогда бы это и не имело значения). Если бы вы не сажали людей, то западной пропаганде не о чем было б шуметь и все было бы хорошо.

В таком подходе было, конечно, некоторое лукавство, но в нем же была и правда.

— Видите ли, — сказал я Петрову, — меня в эту ситуацию не втянули, а втокнули.

— Да? — оживился он. — И кто же?

— В первую очередь руководство Союза писателей.

— Как?

— А вот перед вами мои интервью, там все написано.

— Да, здесь написано. — Он грустно покачал головой, давая понять, что написано здесь нехорошее. — Но вы же советский человек?

— Не знаю.

— Как не знаете?

— А так и не знаю. Был когда-то советским, а теперь и сам не пойму какой.

Для меня понятия «советский» или «антисоветский» давно уже были лишены всякого смысла, но вдаваться в дискуссию по этому поводу тоже не хотелось. Тем более что чем дальше от понятия «советский», тем ближе к Уголовному кодексу.

— Нет, Владимир Николаевич, вы советский человек.

— Вы так считаете? А я уже думал, что нет.

— Почему же вы так думали?

— Мне так говорили.

— Кто?

— Да в том же Союзе писателей неоднократно.

Петров досадливо морщится. Да, дураков у нас еще много. Стоит ли обращать внимание на то, кто чего скажет. Кто бы что ни говорил, а он, Петров, в моей советскости нисколько даже не сомневается.

— Вот, посмотрите, это же вы писали. — Подсовывает мне одно из двух подписанных мною писем в защиту Синявского и Даниэля: «Мы, всем сердцем преданные идеям социализма...»

Я очень хорошо помню, что, когда мне давали это письмо на подпись, меня как раз эта строчка насчет преданности всем сердцем весьма покорибила, но я очень хотел, чтобы Синявского и Даниэля освободили, и ради этого готов был подписать все, что могло привести к этому. О чем и сказал сейчас Петрову. Но при этом добавил, что с момента подписания письма прошло девять лет, я это время развивался и теперь к слову «социализм» добавил бы определение «с человеческим лицом». Так я тогда сказал, а теперь мне даже неловко повторять сказанное, но, впрочем, я и потом говорил и сейчас в подобной ситуации мог бы сказать: покажите мне социализм с человеческим лицом, а не свиным рылом, и я его охотно приму. Тем более что по моим представлениям (и сегодняшним) социализм с человеческим лицом — это смешанное общество, социализм, в котором достаточно капитализма. А капитализм с человеческим лицом — это тот, в котором достаточно социализма, то есть приблизительно то же самое.

Держась выбранной тактики, я стал убеждать моих собеседников (а через них и их начальство, среди которого, я думал, есть такие, кто со мной согласится), что не те, кто подписывал письма, а те, кто к ним не прислушался, виноваты в ухудшении отношений с Западом и подрыве престижа СССР. Вас, мол, люди предупреждали, а вы не послушали, посадили Синявского и Даниэля. И что? Какая из этого польза? Может быть, вы теперь поймете, что нельзя писателем сажать за книги?

— Хи-хи, — неуверенно встречает Захаров. — Значит, бухгалтера можно сажать, а писателя нельзя?

— Если писатель что-то украл, то не только можно, а нужно. Кстати, среди руководства Союза писателей такие есть. Вот ими бы вы и занялись.

Но Петрова руководство Союза писателей не интересует, его интересуют мои эпистолярные упражнения, в их числе — открытое письмо Борису Панкину, председателю ВМП.

СО ШТАТОМ ОХРАННИКОВ И ОВЧАРОК

История письма Панкину — дело давнее и требует пояснения. 27 мая 1973 года Советский Союз присоединился к международной (Женевской) конвенции по авторским правам и учредил новую организацию: Всесоюзное агентство по авторским правам — ВМП. Люди, стоявшие у колыбели этого заведения, преследовали сразу несколько целей: 1) авторов поставить под полный произвол государства и наиболее неприятных душить, а менее неприятных грабить; 2) создать новую кормушку (в ранге министерства) с соответствующими креслами, окладами (частично в валюте), машинами, дачами и т.д. и 3) использовать эту шарагу в качестве крыши для советских шпионов, которые во всех западных столицах тут же открывают свои офисы. Да и вообще, это агентство так же, как и агентство печати «Новости» (АПН), с самого начала и до конца было филиалом КГБ, и во главе его стояли, и отделениями его заведовали, внутри страны и вовне, гэбисты.

А что касается первого председателя ВМП Бориса Панкина, то, когда он, много лет спустя став на несколько дней министром иностранных дел СССР, пообещал очистить дипломатическую службу страны от агентов КГБ, один наш общий знакомый смеялся до слез и спрашивал, кто же тогда будет возглавлять министерство.

О рождении ВМП было объявлено в два этапа. Сначала в печати появился список неких учредителей во главе с председателем Госкомиздата Борисом Стукалиным (тоже, наверное, часть зарплаты получавшим на Лубянке), потом «Литературка» напечатала интервью Панкина.

На интервью я решил откликнуться, потому что оно, во-первых, было направлено прежде всего против таких, как я, и потому, во-вторых, что как раз тогда, в октябре 1973 года, я искал повода для выхода из Союза писателей, что неизбежно вело меня к разрыву с государством и конфликту с КГБ. Это письмо было уже многократно опубликовано, но я его вставляю и сюда, чтобы не утруждать читателя отдельным поиском справочного материала (а кто читал это раньше, пусть извинит):

*Председателю ВААП т. Б.Д. Панкину в ответ
на его интервью, опубликованное
«Литературной газетой» 26 сентября 1973 года*

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше. А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отменил это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков, и т.д. С другой стороны, непонятно, почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав. Ведь на их авторские права за пределами нашего Отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создали необычайные по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в «самиздат», в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сфере человеческого духа — дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав будет «хлопотно и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с

этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку ваше агентство обещает гражданам государств — участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли вашему агентству риск самому быть подвергнутому уголовному преследованию? Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать.

И еще одно предложение.

Поскольку ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего лишь одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желая внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

(подпись)

*2 октября 1973 года
Москва*

Это письмо было написано, когда моя жена лежала в родильном доме, готовая с минуты на минуту произвести на свет нового человека, и мысли ее были заняты только этим надвигающимся неизбежно событием. Через три дня после написания письма родилась наша дочь.

Оставляю для более важной книги свой рассказ, как ездил я в те дни к роддому. У нас мужья при родах не присутствуют, их даже внутрь роддомов во избежание инфекций не пропускают, с женами они летом перекрикиваются, стоя под окнами, а зимой общаются посредством пересылаемых записок. Детей им показывают первый раз, поднося к окну. Но в нашем роддоме было новшество: детей

показывали по телевизору с ужасным качеством изображения. На маленьком и мутном экране я увидел тонкошеее черно-белое существо, которое хлопало глазами и было похоже на аквариумную рыбку. У существа еще не было имени и потом еще не было несколько дней, пока мы перебирали варианты, поэтому мы называли его просто «девочка». «Ну как тебе девочка? — спросила Ира в записке. — И как вообще дела?»

Я отвечал, что девочка красавица, вся в меня, а дела лучше не бывают, но ничего не сказал о том, что письмо мое уже передает с повторениями «Немецкая волна», а из Союза писателей мне звонили и интересовались, когда бы я мог прийти для беседы с товарищем Юрием Стрехниным. Этот человек, с фамилией, напоминающей об аптеке, когда я к нему явился, даже не знал, как со мной разговаривать, и путем наводящих вопросов пытался понять, не повредился ли я в уме.

Мое письмо произвело на нашу так называемую общественность заметное впечатление. Жанр открытых писем, на короткое время вошедший в моду, тут же стал раздражать своим почти во всех случаях гневным, патетическим, а иногда и истерическим тоном.

Я этот жанр оживил, внеся в него насмешку.

Письмо без конца передавалось «голосами» и растекалось по незримым и необозримым просторам «самиздата».

Все близкие мне люди сразу, естественно, поняли, что этим письмом я бросаю вызов властям и делаю шаг, последствия которого непредсказуемы. «Володька, — сказал мне один из моих друзей, — они тебя за это убьют».

Ира готовилась к выписке из больницы, все еще ничего не зная о моем безумном поступке.

В это время уезжал в Америку и прощался с друзьями навсегда Наум (Эмма) Коржавин (Мандель). Ира позвонила ему, чтобы проститься хотя бы по телефону. «Ирочка! — закричал он. — Не волнуйся и, самое главное, не слушай радио». Ире его совет показался смешным: надо совсем не представлять себе настроения роженицы и условий советского родильного дома, чтобы предположить там, в палате на несколько человек, слушание радио, да еще «враждебного», на коротких волнах, с воем глушилок, из которых человеческий голос можно вычленишь, только бегая из угла в угол, прикладывая приемник к батарее отопления или к кровати, переворачивая его и вообще производя много нелепых движений, достойных внимания психиатра.

Письмо свою главную роль сыграло: из Союза писателей я вылетел быстро и с треском, а публикация «Чонкина» и теперешний вызов стали дальнейшими следствиями того же поступка.

С тех пор прошло полтора года, и вот я в КГБ. И мое письмо Панкину лежит на столе в качестве то ли вещественного доказательства, то ли орудия преступления, и острое карандашика медленно продвигается над строкой.

— Вот здесь, — говорит Петров, — вы предлагаете передать в ведение ВААП Лефортовскую или Бутырскую тюрьму со штатом охранников и овчарок. Как это можно понять?

Объясняю: понять это можно так, что это сатира, а где сатира, там и гротеск. А впрочем, и не совсем гротеск, сама наша действительность гротескова. Если это гротеск, то его автор не я, а Панкин. (Вообще-то, конечно, не только Панкин, а Маркс, Ленин, Сталин и прочие, но в конце цепи и Панкин тоже.) В своем интервью Панкин прямо намекает, что у нас есть государственная монополия на внешнюю торговлю. Кто отдает свои рукописи иностранному издателю, тот нарушает монополию, того ожидают некоторые неприятности в виде именно тюрьмы, а не что другое.

Кстати сказать, ответа на свое письмо от Панкина я не получил, но реакция на него была. Я в письме усомнился, может ли общественная организация пользоваться государственной монополией, и *их*, как я слышал, это соображение неожиданно смутило, *они со* всеми своими юристами сами до него не додумались, а потом на каком-то совещании было сказано, что да, мол, этот подлец, к сожалению, прав, монополия государственная, а мы организация общественная. Они, конечно, в любую минуту (своя рука — владыка) могли стать государственным агентством, но тогда их не признали бы другие участники конвенции.

ЗАСУШИЛ СУХАРИ

Поговорили еще о ВААПе, перешли к моим писаниям. Оказывается, новые мои знакомцы давно и с пристальным интересом следят за всем, что я пишу. Петров вспомнил, как в пьесе «Два товарища» бабушка смешно говорит вместо «петух» «хетуп», но наивысшим моим достижением он считает, разумеется, «Чонкина». Он, конечно, не специалист, а всего лишь средний читатель. Но книга ему понравилась. Очень. Интересуется продолжением.

— Третью часть пишете?

— Третью уже написал.

На самом деле написал, да не совсем. Но им говорю так, чтобы не искали и не пытались остановить. Поздно, мол. Хотя, увы, на самом деле не поздно. Рукопись не окончена и по свойственной автору беспечности существует всего лишь в одном экземпляре у него на столе.

— И там, в третьей части, — смеется Петров, — тоже про органы?

— Нет, там про другое.

— Ну мне вообще-то все равно. Я по профессии конструктор...

Все кагэбэшники, которых мне приходилось видеть или о которых я слышал, были людьми скромных, но благородных профессий: инженерами, конструкторами, летчиками, кем угодно, только не собственно кагэбэшниками. Партия их временно кинула на труд-

ный участок, вот и приходится тут заниматься черт знает чем, а душа рвется назад, к кульману и штурвалу.

— Я по профессии конструктор. Но книги читать люблю. И как читатель скажу: жалко. Жалко, что ваша книга вышла на Западе.

— Как будто она могла выйти здесь.

— А что, лет восемнадцать-двадцать тому назад могла бы.

Я мысленно отнял от семидесяти пяти восемнадцать и двадцать, но ни пятьдесят седьмой, ни пятьдесят пятый годы не показались мне подходящими для печатания «Чонкина» (для написания тем более).

— Так вот о чем я вас хотел спросить. Вы издаетесь на Западе. У вас что, совсем нет никакого желания печататься здесь?

Я пожимаю плечами:

— Печатайте, не откажусь.

— Ну мы, правда, издательствами не заведем...

— Вы всем заведуете.

Оба смеются. Я слишком преувеличиваю их возможности. Но в чем-то, конечно, могут помочь.

Захаров опять лезет за моей сигаретой и спрашивает, можно ли. Я отвечаю «можно» и поддвигаю сигареты к нему.

— Но, — говорит Петров, — вот ваше письмо секретариату Союза писателей...

...Тут пришла пора вспомнить о втором письме, которому тоже, несмотря на прежние публикации, самое место здесь. Тем более что оно в каком-то смысле является прямым продолжением первого. После письма Панкину последовала процедура (довольно громоздкая) теперь уже окончательного моего исключения из Союза писателей. Сначала разговор с вышеупомянутым Стрехниным, потом заседание Бюро объединения прозаиков с активом (председатель Георгий Радов) и наконец назначенное на 20 февраля закрытое заседание секретариата Московского отделения СП, на которое и было вынесено мое «персональное дело»*.

20 февраля за полчаса до секретариатского заседания адресату было доставлено это мое письмо.

В СЕКРЕТАРИАТ МО СП РСФСР

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет проходить при закрытых дверях, втайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут.

* Само это заседание и затем следующее — секретариата Союза писателей РСФСР — состоялись в такой тайне, что никто из участников и доньше о нем ни разу не проговорился, а некоторые, не зная, что у меня есть протокол с их именами, уверяют меня в безупречности своего поведения во все времена.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни, тем более, в нравственном отношении.

Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга — вы же сами не знаете, что пишет сидящий рядом с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно доподлинно, что они вообще ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес или поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники Отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится Отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые вами хлеборобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы — союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку... За двенадцать лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.*

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу заплетают; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и, когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести — триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогли, а он...»

Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас я сам был рабочим. Одинадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской Армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

* Это все намеки на некоторые конкретные делишки тогдашних секретарей.

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь! Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ее ряду.

(подпись)

— Но, — говорит Петров, — вот вы пишете, что могли бы выступить на открытом собрании рабочих и доказать, что вы не акула империализма... ну этого, конечно, никто не говорит... Но вот второе, насчет иностранных разведок... тут можно и поспорить. Я думаю, сейчас вам на таком собрании трудно пришлось бы.

— Даже если я скажу все, что хочу?

— Да, вы скажете свое, а мы свое.

— Давайте попробуем. Боюсь, что вы на это не пойдете.

— Как знать.

— Угрожаете?

— Кто угрожает? Что вы, Владимир Николаевич! Ну что вы!

— Я не возражаю. Можете угрожать. Только учтите, я ко всему приготовился.

— К чему приготовились? — спросил Петров с любопытством.

— Ко всему, — сказал я, не желая подсказывать варианты. Я уже тогда понимал, что, ломая человека, они всегда стараются подойти к нему не с той стороны, с которой он ожидает (что они в моем случае подтвердили).

— Ну а конкретно?

— Конкретно — ко всему.

— Сухари, что ли, засушили? — засмеялся Захаров, вытягивая из моей пачки очередную сигарету.

— Засушил.

Оба смеются. Их смешат мои дикие, устарелые представления о КГБ как о какой-то зловещей и черной силе. Конечно, и здесь работают разные люди, может быть, даже не всегда хорошие люди, но в целом КГБ — это очень гуманная организация и действует исключительно в рамках закона.

В этом я, естественно, усомнился. Привел им несколько примеров выхода за рамки. Сказал кое-что о тюрьмах, лагерях и психушках. Петров выслушал меня благожелательно, а Захаров с явным удивлением. Его представление о КГБ очень с моим расходится. Вообще он держится скромно, смущается и от смущения часто хихикает. Хотя реплики подает, но неизменно сопровождает их застенчивым «хи-хи». Он как бы говорит: «Я, конечно, человек, хи-хи, еще молодой, может быть, по молодости чего-то не понимаю, но я люблю нашу партию и наше правительство и не понимаю, как можно, хи-хи, изображать их в таком нехорошем, в таком неприглядном виде».

Поговорили о Солженицыне. В письме секретариату Союза писателей я его слишком перехвалил, назвав величайшим...

— Неужели вы его правда считаете величайшим?

Теперь можно признаться, что насчет «величайшего» у меня и у самого были кое-какие сомнения. Этим эпитетом желал я *их* (в данном случае союзписательских боссов) поставить на место, кто, мол, вы, пигмеи, по сравнению с «величайшим»? А потом уже, отправив письмо, перечел его и смутился. Что значит величайший? То есть самый-самый, из всех великих великий? Толстой — великий. Шекспир — великий, а этот «чайший»? Написал бы тогда «великий», вот и было бы в самый раз и даже немножко на вырост, во всяком случае, сейчас объясняться б не стал. Но с тех самых пор, залепив такое, пребываю в смущении и к другим носителям высоких достоинств эпитеты примериваю с большой осторожностью.

Но тогда мог ли я поделиться столь деликатными сомнениями с этими крокодилами? Никак не мог, но для себя проблему оставил неразрешенной. Ведь я вырвался из Союза писателей, пошел на разрыв с государством, обрекая себя и свою семью на всякие больше чем неприятности, и ради чего? Ради того, чтобы говорить правду. А оказывается, и в этом случае правду говорить нельзя. Есть перечень событий, действий, явлений, имен, которые «прогрессивному человеку» полагается упоминать только в таком контексте, а не в ином, потому что в ином это будет на руку *им*, и тогда вся наша «прогрессивная» общественность зашелестит, зашепчет из уха в ухо, что вы высказываете ваше отрицательное или недостаточно положительное мнение о том о сем не потому, что это действительно ваше мнение, а потому, что этим мнением вы хотите угодить *им*. И *они* сами поймут именно так. Поэтому высказывать независимые суждения позволяли себе только очень редкие люди, к которым я себя не всегда мог причислить, что меня самого в себе раздражало.

Года за полтора до описываемого момента был я введен в один диссидентский дом, где хозяйка, приветливо улыбаясь и поощряя к восхищению собою, расспрашивала меня о моих, как это говорится, творческих планах и в порядке установления точек совпадения взглядов (идейных взглядов, конечно) вдруг спросила: «А правда, Максимов очень хороший писатель?»

Я, самонадеянно решив, что ко мне обращаются как к эксперту (специалистом в данной области был все же я, а не хозяйка), попытался приблизить оценку к более реалистичной. «Неплохой», — сказал я, слегка смутившись. И вдруг полыхнуло из глаз диссидентки, словно из огнемата, и услышал я суждение, которое было предложено мне в качестве директивного и единственно возможного к употреблению (как «Воистину воскресе» и «Будь готов»): «Володя Максимов — прекрасный писатель!» Атмосфера дружелюбия тут же истаяла, и я, поерзав еще на стуле и осознав, что оплошное мое высказывание будет здесь надолго запомнено, поднялся и удостоился холодного кивка в ответ на свое «до свидания».

Покидая этот дом, я думал, что жизнь мне предстоит даже сложнее, чем я рассчитывал, и впоследствии оказался больше чем прав. В каждой среде, к которой меня прибавала судьба, были своя идеология, свои ценности, шаблоны, правила поведения и фразеология, с которыми следовало считаться, везде от меня требовали соблюдения принятых в среде ритуалов, поклонения кумирам среды, везде настаивали на том, чтобы мое мнение совпадало с тем мнением, которое в этой среде на данный момент считалось единственно правильным и прогрессивным. А поскольку мнение мое слишком часто не совпадало с общим, то меня всю жизнь поправляли, одергивали и часто предписывали, что я на самом деле должен думать о том или ином предмете (а о некоторых предметах и вовсе запрещалось думать что бы то ни было), и при уклонении от предписаний имевшие власть наказывали, а не имевшие проклинали устно, письменно и печатно.

Особенно сильно мне попало от прогрессивной общественности за Сим Симыча Карнавалова в «Москве 2042», в котором все немедленно узнали Солженицына и спрашивали, как я посмел. Я говорил: это не Солженицын, а обобщенный образ. Мои критики возражали: не обобщенный образ, а именно Солженицын. «А что, похож?» — спрашивал я. «Нет, совсем не похож!» — «А как же вы тогда узнали?» От этого вопроса критики сперва слегка торопели, но и тут изворачивались и спрашивали, понимаю ли я, на чью мельницу лью воду. Но тогда, в семьдесят пятом году, я лил воду на правильную, на прогрессивную мельницу.

— Неужели вы его правду считаете величайшим? — спросил меня тот, кого мы в нашем рассказе условно называем Петровым.

— Конечно, величайшим, а каким же еще?

Не с тобой же, гадом, мне делиться своими сомнениями.

— Да какой же он величайший? — заволновался Петров. — Какой же он величайший, когда он — вы знаете это? — препятствовал выходу вашей книги.

ИВАН ЧОНКИН И НИКИТА СТРУВЕ

Опять вставим маленький комментарий к прежде написанному.

Решая в семьдесят третьем году, в каком издательстве печатать «Чонкина», рассматривал я выбор из двух известных мне возможностей: «Посев» и «ИМКА-Пресс». Но у «Посева» было два видимых недостатка. Первый — в том, что он издательство определенно антисоветской, очень узко ориентированной политической партии. Литература им нужна была только как подспорье в их пропаганде, а меня это коробило. Второй недостаток: они настаивали на передаче им мировых прав (беря себе 30%), от чего я после долгих колебаний уклонился.

У «ИМКА-Пресс» репутация была вроде бы поприличней. Хотя потом я понял, что и они определенной ориентации, с которой я

не совпадают, а таких, неориентированных, с кем совпал бы, среди русских издателей тогда не было. Не считая издательства «Ардис», которое в те поры меня не оценило, о чем покойный Карл Проффер потом жалел. Итак, подался я в «ИМКА-Пресс». Переслал рукопись и жду. Сажу как на иголках. Ужасно хочется, чтобы книга вышла до моего вполне вероятного ареста. Чтобы хоть поддержать ее в руках, чтобы хоть посмотреть... Впрочем, если она выйдет, если привлечет к себе внимание, то, может быть, этого самого ареста удастся избежать.

Месяц проходит, два, три... роман не выходит. В чем дело? Ведь все говорят, что на Западе книгу можно издать очень быстро. Пытаюсь выяснить что-то, а как выяснить?

Надеюсь, что уже подрастает поколение, которое никогда не будет знать трудностей и опасностей попыток связаться с границей. Тем более связаться с издательством, которое хотя и не «Посев», а все же антисоветское, и не просто связаться, а по поводу издания книги, имеющей тот же эпитет — «антисоветская».

И вот я сначала терплю, а потом через каких-то людей, иногда верных, а чаще каких попало, шлю на Запад, в Париж, неизвестным мне главному редактору Никите Алексеевичу Струве и директору издательства Ивану Васильевичу Морозову кричащий вопрос: когда? Морозов отвечает нервно и смущенно*. Струве нетороплив и несуетен. Скоро книга выйдет. Скоро, скоро. К Новому году. К Рождеству. К Пасхе. К Троице. Раньше советские редакторы обещали мне то же самое, но оперируя другими датами и, конечно, с предлогом «после». К годовщинам нам надо что-то «идейное» (о Ленине, партии, комсомоле), а потом протолкнем и вас. После Первого мая, после Октябрьских праздников, после Дня конституции, после 23 февраля, после столетия Ленина. После, после.

Несколько раз приезжали ко мне гонцы из «Посева», и я передавал разрешение на публикацию «Чонкина» им. (Одна из «посевских» посланниц, очень красивая девушка, француженка, не понимавшая — или делала вид? — ни слова по-русски, потрясла меня тем, что мою записку сначала заклеила в целлофановый пакетик, а потом закатала в тубик с зубной пастой. Столь профессиональный шпионский прием я видел первый и последний раз в жизни.) Но как только намерение мое становилось известно в Париже, Струве приходил в возбуждение, тут же отыскивал возможности связаться со мной, умолял: дайте нам еще месяц. Я опять отказывал «Посеву», опять ждал и ждал.

Так прошел весь семьдесят третий год. В семьдесят четвертом году после высылки Солженицына мою рукопись и вообще задвинули. Я никогда не подумал бы на Солженицына, что он мне мешал как-нибудь специально, но и в развитости в нем чувства солидар-

* Некоторое время спустя И.В. Морозов повесился после какого-то, как я слышал, скандала в издательстве.

ности тоже его не заподозрю. Он охотно принимал заступничество всех, но защищал некоторых выборочно и с расчетом. (И в некотором специфическом смысле правильно делал. Великому человеку для того, чтобы прослыть таковым, нужно всегда и точно рассчитывать, когда, в каком контексте, на каком фоне, в каком списке и рядом с кем должно появляться его имя.)

С появлением Солженицына на Западе у «ИМКА-Пресс» появилось много новой работы. Я уже в полном отчаянии, наплевав на всякую конспирацию, стал звонить им открыто по телефону и спрашивать прямым текстом: когда? И заметил, что тамошние издатели ведут себя немногим лучше наших домашних. И обещаний не выполняют, и ругут, а когда с колоссальным трудом (и, напомним, с немалым риском) дозволишься до Парижа, то каждый раз оказывается, что Никита Алексеевич только что вышедши или еще не пришедши. Все, как здесь, с той только разницей, что «здесь» если издадут, то по крайней мере гонорары не зажиливают. А там... Там зажиливают (да еще как!), проявляя при этом много ханжества, лицемерия и демагогии, но высказать в то время хоть малейшее сомнение в святости намерений этих людей... Да ни в коем случае! Как можно! Это же будет опять на руку *им*, на руку КГБ.

Я никаких сомнений и не высказывал, но год минул и второй пошел на убыль, а где «Чонкин»? когда выйдет? Похоже, что никогда.

На звонки мои отвечают уклончиво, но доходит окольное известие: вынуждены были отодвинуть книгу, потому что срочно надо издавать «Бодальс теленок с дубом», а следом за ним — последнее достижение общественной мысли, статьи нескольких, как сказано в «Континенте», смельчаков — сборник «Из-под глыб». Сижу, жду, надеюсь, что, может быть, после «смельчаков» найдется в издательских планах дырка и для меня. Но нет, хлынуло в дырку «Стремя Тихого Дона», позже еще что-то. А мне все обещают то к Рождеству, то к Пасхе. После очередного религиозного праздника дозвонился до Струве: «Я, конечно, понимаю, я, наверное, не совсем ваш, вы можете меня вообще не печатать, но неужели вы не понимаете, в каком я положении? Неужели вы не понимаете, что «Чонкин» есть единственная моя хоть и эфемерная, но все же защита? Если не хотите печатать роман, отдайте, верните его мне немедленно». — «Ну что вы, как мы можем не хотеть печатать такой роман? Это же не роман, это чудо, и мы его обязательно издадим. Причем приурочим издание к Франкфуртской книжной ярмарке. Когда книга попадает на книжную ярмарку, тогда ей самое большое внимание».

В сентябре семьдесят четвертого опять с трудом дозвонился до Струве: «Так выйдет «Чонкин» к ярмарке?» — «Что? К ярмарке? Нет, не выйдет. «Чонкин» из тех книг, которые ни в каких ярмарках не нуждаются. Он сам ярмарка».

В январе семьдесят пятого я очередной раз позвонил в Париж и поздравил Струве с выходом «Чонкина» по-шведски. Это известие его, кажется, несколько смутило. Перевод вышел раньше оригина-

нала. Тут уж Никита Алексеевич расстарался, и русское издание «Чонкина» вышло очень скоро, всего лишь на несколько дней отстав от немецкого.

«ДАВАЙТЕ ИЗДАВАТЬСЯ ЗДЕСЬ»

Однако нам пора назад, на Лубянку. 4 мая 1975 года. Пасха, середина дня, «беседа» продолжается.

Солженицын не величайший гражданин, он монархист, шовинист, ко мне лично плохо относится, к тому же аморальный, на своей крестной дочке женился. Разве же это можно?

— А вас, — спросил я, — почему это беспокоит? Вы что, верующий?

— Нет! — быстро открестился Петров. — Я нет.

— И я тоже нет, пусть он хоть на крестной внучке женится, мне все равно.

Обсудили лагерную тему и Сталина, который преступления, конечно же, совершал, но не надо забывать, что это был человек, тридцать лет стоявший во главе нашего государства.

— Николай Первый, — сказал я, — тоже тридцать лет стоял во главе нашего государства.

— Не может быть! — воскликнул Петров и удивился, когда я ему доказал, что было именно так. Или сделал вид, что удивился. Не думаю, что продолжительность царствования Николая — того или другого — его хоть сколько-нибудь занимала.

Поскольку мои собеседники продолжали меня уверять, что они не такие, я сказал, что готов им поверить, но они свое отличие от «таких» должны как-нибудь подтвердить. Например, выпустить на свободу всех политических заключенных, а на месте хотя бы одного из бывших лагерей устроить музей вроде Освенцима. И там же заложить могилу Неизвестного Заключенного. Чтобы родственники и потомки пропавших без вести могли прийти, поплакать, положить цветочек. Чтобы юные следопыты объявили поиск под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто».

— Вот тогда, — объяснил я, — про вас можно будет сказать, что вы совсем не такие.

Но они считают, что доказательства и так налицо.

— Согласитесь, — говорит Петров, — что в тридцать седьмом году здесь бы с вами не так разговаривали.

— Да уж, в тридцать седьмом и вы неизвестно где были бы.

— Да, — соглашается, — и работники органов многие тогда погибли.

Не успел я взгрустнуть по работникам органов, тема переменялась и коснулась издательства «Посев», к которому я, как уже ясно, имел очень косвенное отношение (дважды печатался в «посевовавском» журнале «Грани», первый раз не по своей воле, а второй — по своей).

У чекистов, похоже, была установка: делать вид, что на Западе вообще никаких издательств нет, кроме «Посева». А «Посев» ужасен тем, что за ним стоит политическая партия, которая стремится к свержению *нашего* строя. Печатаясь там, вы тем самым участвуете в попытке свержения.

Я не против такой трактовки, но говорю своим собеседникам, что этой ужасной партии помогают прежде всего они.

— Кто? Мы? — удивился Петров, а Захаров опять попросил:

— Можно закурить?

— Да берите, — сказал я раздраженно (он мне надоел), — берите и не спрашивайте. Конечно, вы, — ответил Петрову, — больше других помогаете этой партии.

— Интересно, — засмеялся Петров. — Каким же это образом?

— Самым прямым. Запрещая талантливые книги, вы делаете все, чтобы они достались «Посеву». Хотите разорить «Посев»? Печатайте лучше здесь.

— Но нельзя же все печатать, что пишется.

— Все нельзя, а лучшее можно. Лучшее печатайте здесь, а худшее отдавайте «Посеву».

— Значит, вы считаете, — уточнил Петров, похоже, для доклада кому-то, — что мы сами помогаем «Посеву»?

— Еще как помогаете! Изю всех сил.

Как читатель увидит ниже, мой допрос был санкционирован очень большим начальством. Я не знал этого, но не сомневался, что разговор наш в записи (магнитофонной или бумажной) пойдет куда-то «наверх». Я не исключал того, что там, «наверху», есть люди, которым, пусть даже в их собственной борьбе за власть, моя аргументация покажется резонной. Но прислушивающихся к резонам людей «наверху» пока не было, они сидели еще в своих крайних обкомах и выжидали, когда сойдет под Кремлевскую стену предыдущее поколение.

Перескочили на иностранных корреспондентов: зачем я с ними общаюсь, зачем даю интервью?

Спрашиваю простодушно:

— А разве нельзя?

— Нет, можно, конечно, — разрешает Петров, — но они же вас, наверное, искажают. Вот посмотрите, — показывает «Русскую мысль» с переводом моего интервью немецкой газете. — Вы здесь Ильина* называете генеральным секретарем Союза писателей. Вы же не могли так сказать?

— Не мог. Я, конечно, назвал его секретарем по оргвопросам.

* Виктор Николаевич Ильин (1904 — 1990) в двадцатых-тридцатых годах служил в органах госбезопасности, достиг чина, соответствующего званию генерал-лейтенанта, был арестован, просидел лет, кажется, десять, в описываемое время был секретарем Московского отделения Союза писателей РСФСР по организационным вопросам.

— Вот видите! А они что пишут?

— Погрешности обратного перевода.

Крутит головой.

— Это не обратный, это тенденциозный перевод.

— Да, — подхихикивает Захаров, — генеральный секретарь, это, знаете ли, хи-хи...

Теперь уже, наверное, не только иностранцам, но и подрастающим соотечественникам следует объяснять, что генеральным секретарем назывался верховный вождь КПСС и всяя страны и название самой этой должности следовало произносить с благоговейным трепетом и ни в коем случае не приписывать никому другому. И опять же «Русская мысль» называет Ильина генеральным секретарем, а я не протестую и таким образом соучаствую в этом ужаснейшем преступлении.

— Но посмотрите, под каким заголовком они дают ваше интервью. «Глумление над талантливым писателем». Разве вы здесь не видите тенденции?

— Нет, я вижу здесь чистую правду.

Тут Захаров не сдержался:

— Но они же вас возвеличивают!

— А вы хотите, чтобы они вас возвеличивали?

Захаров смущается, потупляет глазки. Он человек скромный, очень советский, и, чтобы они его возвеличивали, этого — хи-хи — лучше не надо.

— А вот еще здесь, видите, они вас внесли в список жертв, как они пишут, советской психиатрии. Но вы же не сидите в психбольнице? Нет?

— Нет, — подтверждаю, — конечно, нет.

Петров продолжает исследовать лежащий перед ним текст.

— А вот здесь вы говорите, Владимир Николаевич, что вы человек аполитичный. Разве может писатель быть аполитичным?

— Может, — говорю я. — Чехов был аполитичный. И другие. И вот этот мой рассказ — «Путем взаимной переписки» — пример аполитичности*.

— Ну да, — недоверчиво захихикал Захаров. — Этот рассказ не аполитичный. В нем самый отрицательный герой член — хи-хи — КПСС...

— А что ж, если он член КПСС, я ему должен голову елеем мазать?

Было выкурено много сигарет, произнесено много слов, после чего я понял, что никак угодить *им* не могу, все мои попытки отворотить от себя наказание провалились. Сейчас Петров нажмет кноп-

* Я заметил, что многие люди воспринимают то или иное суждение автора о себе самом, как неизменное на все времена. Между тем мое отношение к политике в течение моей жизни менялось много раз — от полного равнодушия к пристальному интересу (но без желания лично вовлечься) и наоборот.

ку, и вооруженные люди отвезут меня на казенной машине в Лефортово. Ну что ж, я же сказал, что был готов ко всему, в том числе и к этому. И даже к худшему. Я думал, они меня так ненавидят, что, посадив, постараются подвергнуть каким-нибудь ужасным унижениям, но я этого не допущу и буду защищать свою честь любой ценой, даже ценой жизни.

Мне было жаль моих близких — жену, сестру, родителей и особенно детей, и особенно Олю. Дети от первого брака были все же постарше. Марине шестнадцать, Паше тринадцать, а она совсем крошка, вырастет, не помня отца, а какая это для ребенка травма, я знал по собственному опыту.

Что касается моих писаний, то хоть и тратил я свое время и силы бездумно на бесконечные общения, кухонный треп, пьянство, шахматы и прочие глупости, а все-таки кое-что написать успел.

В пятьдесят девятом году меня сюда притащили, когда я вообще еще делал первые шаги в литературе. Вот когда я боялся пропасть бесследно. А сейчас, ну ладно, хоть что-то останется.

Если просто тюрьма, если одиночка или общая камера, это ничего. Самое ужасное, если камера, где уголовники специально натасканы, чтобы издеваться, мучить и унижать. Некоторые считают, что «пресс-хаты» это изобретение новейшего времени, но это не так. Году, примерно, в сорок девятом попал я в милицию, и там обещали мне камеру с уголовниками, где новичкам для начала устраивают «парашютный десант», то есть берут за руки, за ноги, поднимают повыше и бросают спиной на цементный пол. А потом еще серия упражнений в том же духе. Но я себе давно сказал: если так, буду сопротивляться при самой малой возможности, с помощью любого предмета, тяжелого или острого, буду драться, кусаться, царапаться до тех пор, пока хоть чем-нибудь смогу шевелить...

— Так как, Владимир Николаевич, — донесся до меня откуда-то голос Петрова, — вы хотите печатать свои книги в Советском Союзе?

— Что? — переспросил я. — Я вас не понял.

— По-моему, я понятно говорю. Я спрашиваю: вы что же, совсем не хотите больше печататься здесь? Хотите только на Западе?

Оказывается, меня не только не сажают, а еще даже торгуются.

— А разве можно и здесь?

— А почему же нельзя? Давайте издаваться здесь. Давайте делаем так, чтобы не за границей, а у нас ваши книги шли нарасхват.

— Да я, собственно, не против. Давайте. С чего начнем?

— Вот об этом как раз и надо подумать.

Конечно, я не настолько лопух, чтобы сразу поверить.

— Вы небось хотите начать с того, чтобы я дал отпор Солженицыну, буржуазной пропаганде или себе самому.

— Да что вы! Разве я вам что-нибудь подобное сказал? Я хочу только одного: чтобы вы печатались здесь. Вы согласны?

— Если остановка только за моим согласием, я вам его даю.

— Но как практически?

Объясняю, что практически способ печатания книг известен приблизительно со времен Гутенберга.

— Но мне бы хотелось услышать от вас какое-то конкретное предложение. Может, для начала что-то переиздать?

— Переиздайте.

— Или издать что-то новое.

— Могу предложить и новое. Только что-то не понимаю. Вы же такие непримиримые, неужели будете печатать человека с моими взглядами?

— Вот видите, я же говорю, что у вас об органах устарелые представления. Мне бы хотелось, чтобы вы нас лучше узнали. Давайте еще раз встретимся. Ну не здесь (здесь, может быть на вас эти стены давят), а где-нибудь в другом месте, в более непринужденной обстановке.

— В гостинице?

— Хотя бы в гостинице. А что?

Нет, ничего. Мне как-то рассказывал Виктор Некрасов о своей встрече с гэбистами в гостинице, мне показалось это интересным, и я захотел посмотреть, как такие номера выглядят. Заряд любопытства, которое кошку сгубило, во мне еще был немалый.

— Но все-таки, — говорю я, — ваши предложения выглядят как-то странно. А может быть, вы надеетесь завербовать меня в осведомители?

— Что вы! — всплеснул руками Петров. — Это я даже побоялся бы вам предложить.

— Побоялись бы? И правильно. Мне однажды предлагали

Должен заметить сегодня, что слово «предлагали» к тому, что было на самом деле, в общем-то не подходит. Во время моего первого вызова и допроса в КГБ еще в пятьдесят девятом году были некоторые туманные намеки («вы нам поможете, мы вам поможем») и был вопрос, что говорят наши профессора на лекциях в институте (я сказал, что на такой вопрос не всегда могу ответить даже на экзамене), но никакого внятного предложения все-таки не было.

Петров смеется:

— Вы все-таки нам не верите. Даже не знаю, как вас убедить, что мы хотим от вас только одного: чтобы вы печатались.

— И ничего больше?

— Ничего.

— Так возьмите и для начала напечатайте «Чонкина», если он вам так понравился.

— А что, я бы напечатал. Правда, я попросил бы вас выбросить одно только слово — ПУКС.

Одно слово я согласился выбросить немедленно, хотя, если бы дошло до дела, неизвестно, как бы себя повел. «ПУКС» все-таки слово в романе не лишнее.

Разговор подошел к концу. Последовало еще несколько вопросов мимоходом. Кого я знаю из молодых писателей? Никого не знаю. (Все-таки я был все время начеку и ни разу ни одной лишней фамилии просто так не назвал.) Как поживает Владимир Корнилов? Ничего, поживает.

— А деньги он из-за границы получает?

— Это вы у него спросите.

— А вы не знаете?

— Я не знаю.

— Ну так что, не хотите с нами встречаться?

— Да все не могу никак понять, для чего.

— Что ж тут непонятного? Подумайте, что именно вы хотели бы напечатать и где. И приходите со своими предложениями. Да что вы колеблетесь? Запишите телефон. Захотите — позвоните, не захотите — не звоните. Вы же ничего не теряете.

Ну конечно, я ничего не терял. Я помнил пословицу об увязшем коготке и пропавшей птичке, но верил, что не дам увязнуть и коготку. Никакой невидимой границы не перейду, ни в какие составленные ими силки не влезу.

Поэтому я взял лист бумаги и записал: Петров Ник. Ник., 228-80-34.

Пока мы с хозяином кабинета жали друг другу руки, Захаров бегал подписывать пропуск и, вернувшись, пошел меня провожать.

Возле лифта в деревянной рамке висела бумага с машинописным текстом: «Дирекция, партком и завком завода «Борец» выражают глубокую благодарность работникам Комитета государственной безопасности за активное участие в коммунистическом субботнике».

Этот текст, такой обыкновенно советский, подействовал на меня расслабляюще, вызвав чувство, что я был в обыкновенном советском учреждении.

Но, наверное, все-таки стены Лубянки и, правда, на меня давили, потому что я был радостно удивлен обилием солнечного света и обыкновенностью протекавшей снаружи жизни.

Удивился и Ире, которую тут же увидел на тротуаре.

— Ты что, — спросил я, — так все время здесь и стояла?

— Так и стояла, — сказала она.

— Но ты могла бы зайти хотя бы в книжную лавку, чтобы занять себя чем-нибудь.

— А я и так была занята — я психовала.

— Ну и напрасно, — сказал я. — Напрасно психовала. Все идет хорошо.

(Я ей всю жизнь говорю, что все хорошо, но она всю жизнь почему-то не верит.)

Вернувшись домой, мы освободили Анну Михайловну (тещу) от обязанностей няньки, и тут же задребезжал телефон. Телефонистка сказала:

— Будете говорить с Парижем!

И в трубке зарокотал усталый государственный голос, словно передававший мне директиву в закодированном виде:

— Христос воскрес!

Я, как всегда, смутился и опять не нашел ничего лучшего, как ответить:

— Здравствуй, Володя.

— Ну как дела? — великодушно прощая мне мое ритуальное невежество, спросил звонивший.

Вопрос был не так прост, как казался.

Звонивший интересовался не просто моими делами, а обещанным отрывком для «Континента».

— Дела, — сказал я, — Володя, пока ничего, но то, о чем мы говорили, пока отложим.

«ЗА ШАПКУ ОН ОСТАВИТЬ РАД...»

Итак, к описываемому моменту мне было почти сорок три года, у меня было (повторяю) трое детей, шестнадцати, тринадцати и полутора лет. С матерью двух старших я разошелся, но ответственности за них с себя не снимал и заботой своей старался их тоже не обделять.

Занимаясь литературным трудом около двадцати лет, написал я много чего, но из того, что, как я самонадеянно думал, после меня может остаться, у меня были полторы книги «Чонкина» (вторую я как раз дописывал), повести и рассказы «Хочу быть честным», «Расстояние в полкилометра», «Путем взаимной переписки». Еще, имея я власть сам руководить оставлением своих писаний во времени, я бы включил в оставляемое кое-что из других книг — некоторые главы, куски и строчки. Вот и все.

Я всю жизнь работал много и в любые часы суток, а если это не отразилось на количестве книг, то только потому, что все написанное (включая даже частные письма) я всегда по многу раз переписывал. В переписываемом часто зарывался настолько, что не улучшал его, а ухудшал и потом выкидывал. Десятки тысяч страниц, мною исписанных, выкинуты на помойку. Тысячи разбросаны и утеряны. Я всегда и неуклонно соблюдал завет Пастернака (даже когда не знал его): «Не надо заводить архива, над рукописью трястись». Вот уж чего не делал, того не делал, и даже слишком. (Недавно, в 1992 году, ЦГАЛИ* предложил мне сдать им мой архив на хранение, я окинул взглядом свои бумажки, подумал: «Разве это можно назвать архивом?» И вежливо отказался.)

Литературную мою судьбу можно назвать удачной, но вряд ли благополучной. О стихах говорить не будем, а проза, самая первая,

* Центральный государственный архив литературы и искусства.

была немедленно опубликована и замечена. Но я не умел «проталкивать» свои книги, дружить с критиками, ладить с начальством и скрывать свое отношение к советской власти, даже когда хотел. Зато умел попадать во все черные списки, которые за время моего пребывания в советской литературе были составлены. Иногда даже в списки, состоявшие из одного имени.

С самого моего литературного рождения я был среди тех, кого или почти не печатали, или полностью запрещали. В начале своей карьеры я очень мало интересовался политикой, не пылал гражданскими страстями и вообще не стремился «высовываться», но те из породы начальства, с кем мне приходилось соприкасаться, сразу же понимали, что я чужой.

Чужим я был не по идейным или классовым соображениям, а органически.

В возрасте шестнадцати лет в моей жизни произошел забавный и знаменательный случай. Я, только что окончив ремесленное училище, работал на заводе. Приближался какой-то советский праздник, и дирекция с парткомом и завкомом готовились вывести своих трудящихся на демонстрацию. И решали, кто, где, в каком порядке будет идти и (поименно) кто чего понесет: знамя, транспарант, лозунг, портрет кого-нибудь из вождей. Намегили что-то всучить и мне, но парторг вмешался: нет, этому ничего давать нельзя, он то, что ему дадут, по дороге выкинет.

Помню, когда кто-то передал мне слова парторга, я был очень удивлен и обижен. Ну почему он обо мне так думает, разве я дал хоть малейший повод? И конечно, тогда, если бы мне доверили какой-нибудь портрет или знамя, я бы его один раз до места донес.

Но в принципе парторг разглядел во мне то, чего я сам в себе еще не видел. Всякая ритуальность меня всегда отталкивала, а позже я понял, что вообще нет таких символов и таких портретов, которые я хотел бы носить над единственной своей головой. Повторяю, мне не нравилась всякая ритуальность и советская могла бы быть одной из всех, если бы ее, как единственно благодатную, не навязывали изо дня в день до рвотного рефлекса. Даже в самых безобидных формах она была мне отвратительна. В 1969 году, накануне очередного пушкинского юбилея, мне сначала прислали бумагу, а потом позвонил все тот же незабвенный Виктор Николаевич Ильин с приглашением участвовать в возложении венка к памятнику Пушкину. Я отказался.

— Ну почему? — удивился Ильин. — Ведь это же дело, с вашей точки зрения, чистое. Ведь это цветы не Маяковскому и не Горькому.

— В том-то и дело, — сказал я. — К этим-то я еще пошел бы. А к Пушкину в такой компании, да мне перед ним самим просто стыдно.

Будучи человеком (в свое время) аполитичным и лишенным гражданских страстей, я был зачислен во враги советского режима,

как иногда мне самому казалось, по недоразумению, но потом понял, что никакого недоразумения нет.

Я не делал политических заявлений, но от вида всей советской атрибутики: знамен, досок почета, вождей на трибуне Мавзолея, свинок на первых страницах газет, хоккеистов, фигуристов, меня тошнило и часто подмывало, говоря словами Германа Плисецкого, «уйти в разряд небритых лиц от лозунгов, передовиц и голубых первоурядниц...».

К тому же я был весьма невосдержан на язык и относился к тем, кто ради красного словца не только, по пословице, не пожалеет родного отца, но и себя тоже не побережет.

Есть люди, с которыми бороться почти бессмысленно. Человека, недовольного классом, можно перевести в другой класс, и он станет доволен, человека, несогласного идейно, можно подвигнуть на перемену идеи, человека, органически несовместимого, можно только убить.

Надежда Яковлевна Мандельштам однажды сказала о своем муже (цитирую приблизительно): «Неправильно говорят, что Мандельштам не хотел врат. Он хотел. Но не умел». Мандельштам с советской властью был органически несовместим, хотя и пытался иногда совместиться.

Я тоже иногда пытался, но никогда не мог.

Солженицын где-то пишет, что, повернись его судьба иначе, и он сам мог бы оказаться среди «голубых петличек», то есть гэбистов. Ему, конечно, виднее (хотя он себя, должно быть, в данном случае недооценивает), но я про себя могу сказать, что со мной подобного ни при какой погоде произойти не могло, и вовсе не потому, что противоречило бы моим убеждениям (убеждения всегда можно к чему-нибудь подогнать), а потому, что к такого рода службе я не приспособлен был от рождения. Один из ранних моих рассказов назывался «Кем я мог бы стать», ему же подошло бы название: «Кем я не мог бы стать». Я давно понял, что никогда не мог бы быть начальником, потому что стесняюсь кого-нибудь к чему-нибудь принуждать, никогда не мог бы быть хорошим подчиненным, потому что мой организм противится принуждению. Я никогда не был противником жизненного благополучия (мечта о котором, неосуществленная, у меня всегда сводилась к собственному загородному дому и огороду), но когда доходило до конкретной платы за это: поднять руку, поставить подпись, возложить венок, сказать комплимент начальнику, дружить с нужным человеком, от таких возможностей я всегда уходил, избегал, убегал.

«Er ist flüchtig»*, — сказал обо мне один пронизательный немец.

К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете «Ди цайт», данным мною

* Не могу перевести иначе, как «склонный к улетучиванию».

незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом поневоле, но не столько в том смысле, что меня туда затолкали, сколько в том, что я с существующим режимом был просто несовместим* и диссидентство мое было неизбежным.

Впрочем, некоторые «диссидентские» поступки я совершил по причинам более низкого свойства, а именно, по убеждениям.

Когда посадили Синявского и Даниэля и начался возврат к фашизму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, должно оказать таким планам властей сопротивление, должно восстать, а поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших.

Что я в некотором смысле и сделал.

Но восстания не случилось.

Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны хотя и острый протест, но среди очень ограниченного круга людей. Из двух-трех тысяч человек (на всю огромную страну), склонных к протесту, десяток посадили, сотню оставили на развод, а остальных, так или иначе, купили и успокоили: сидите, кушайте, думайте что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кончились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришибить.

Конкретно мое положение было такое. Пока я был членом Союза писателей, я чувствовал себя ответственным за все, что происходит в самом этом союзе, и за то, что им одобряется. Я встречал много людей, которые рассуждали примерно так: «Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги (картины или оперы), а все остальное — политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству, я занят этим делом. А что, вокруг меня разве что-нибудь происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности, у меня дело, от которого отвлечься я никак не могу».

В таких рассуждениях есть своя правда. Художественное сочинительство и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются. Как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой, погружается в пучину общественной борьбы, это тут же сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим.

Когда пошла полоса арестов и шемякиных судов над инакомыслящими, я никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, поэтому (очень неохотно) примкнул к протестовавшим.

Но самая большая вспышка моей гражданской активности была связана с Солженицыным. Когда его исключали, когда его пресле-

* Когда я находился на дне советского общества, моя несовместимость с ним в глаза не бросалась, но стоило мне чуть-чуть всплыть, она стала очевидной и вопиющей.

довали, я почти физически ощущал, что, оставаясь в Союзе писателей, по справедливости должен быть причислен к преследователям. Когда над Солженицыным сгущались тучи, когда начиналась газетная травля (а шум от нее многократно усиливался «голосами»), я, возбужденный ею, за его жизнь иногда так боялся, как (читателю этих заметок придется поверить мне на слово) ни тогда, ни потом не боялся за свою собственную.

Вот когда его арестовали, когда я думал, что его неизбежно посадят, тогда и настал в моей жизни тот единственный момент, в который я готов был взять портрет Солженицына и выйти с ним даже в одиночку на Красную площадь.

Но власти распорядились с неожиданной для них разумностью: Солженицына не посадили, а вывезли в безопасную жизнь. Пар из котла выпустили, взрыва не получилось. Ко всеобщему, как я заметил, удовольствию. К моему тоже.

У меня это событие совпало с исключением меня из Союза писателей. Я еще кипел, кидался Солженицына защищать и даже возвел его в сан величайшего, но тут же понял, что хватил лишку, величайшему уже ничто не грозит, а вот о своей голове, какая бы она ни была, пора самой этой головою подумать.

Надо сказать, что еще и до этого какие-то высказывания и поступки Солженицына вызывали мое не только почтение, но и иронию, и поводов для нее хватало.

В тот вечер (13 февраля 1974 года), когда Солженицына арестовали, мы (Бенедикт Сарнов, Владимир Корнилов и я) были у него на квартире, а несколько дней спустя Виктор Некрасов затащил меня проведать собиравшую чемоданы Наталью. Само по себе посещение никакого рассказа не стоит, но стоит телефонный звонок из Цюриха.

Наталья Дмитриевна, поговорив с мужем, передала телефон Некрасову, тот (конечно, он был, как, впрочем, и я, не совсем трезвым) прокричал в трубку что-то ободряющее, затем сказал:

— Вот здесь Володя Войнович, он тоже хочет с тобой поговорить.

На самом деле я вовсе этого не хотел. Обязанность говорить общие слова меня всегда угнетает, а необщих у меня не было. Солженицын, видимо, тоже к разговору со мной не стремился, и, должно быть, по той же, мне очень понятной, причине. Это нехотение он Некрасову как-то выразил, но Вика замаялся, смугился (он-то человек деликатный) и сунул мне трубку.

Я в трубку сказал «алло» и задал глупый вопрос: «Ну как вы там?» На что мне было тут же провозглашено: «Володя, мое сердце с вами, мое сердце в России».

Великие люди так и должны отвечать, но я не люблю великих высказываний, а к тем, которые заведомо рассчитаны на скрижали истории, отношусь с непочтительной насмешкой. Но великие люди всегда смеются последними, их великие высказывания, несмотря на реакцию отдельных невеликих насмешников, все-таки

на скрижали заносятся, и потом в течение десятилетий, а иногда и побольше, школьные учителя, ссылаясь на свидетельства вроде данного, с благоговением вдалбливают скисающим от таких слов ученикам, как великий имярек никогда не порывал своей связи с Родиной и всегда повторял: «Мое сердце в России!»

Мы с Некрасовым пробыли в разоренной квартире недолго, после чего нам обоим в качестве почетных даров были вручены по две фотографии, в большом количестве отпечатанные и приготовленные для поощрения отважных посетителей опального жилища. Я эти фотографии немедленно кому-то отдал. Я храню (в беспорядке) снимки только очень мне близких или случайных людей, а изображения великих и культовых личностей не держу. Ни на стене, ни на столе я никогда не держал не только ни Ленина или Сталина, но и ни Пушкина, Толстого, Маяковского, Хемингуэя, Пастернака, Ахматову. Одно время я попытался приспособить к своей стене карточку Сахарова, но и она у меня не прижилась.

К моменту изгнания Солженицына культ его достиг уже высшей точки, и не только в соотечественной среде. В те дни приезжавшие в СССР иностранцы, за исключением некоторых, знали, что на этой территории находятся Советский Союз, Брежнев, КГБ, Солженицын, и это, кажется, все. Остаточные люди, которые здесь иностранцам встречались, подтверждали, что все так и есть.

Незадолго до того я встретился на каком-то приеме с новым корреспондентом «Вашингтон пост» Питером Осносом и спросил его, о чем он собирается здесь писать. Он сказал, что собирается писать о многом, в том числе о русской литературе, о которой на Западе люди не имеют ни малейшего понятия и думают, что здесь нет никого, кроме Солженицына. Я подумал, перебрал в уме известные мне названия книг и имена авторов и сказал, что, пожалуй, люди на Западе правы: здесь никого, кроме Солженицына, нет. Потому что он, единственный, совершенно пренебрегал всеми правилами писания (начиная с синтаксиса) и поведения, принятыми в советской литературной среде.

Но мое суждение имело все-таки претензию на некий парадокс. А многие иностранцы то же самое понимали буквально.

Когда настала очередь мне самому быть изгнанным из Союза писателей, многие иностранные корреспонденты сообщили, что я исключен оттуда как друг Солженицына. Не представляя себе того, что я могу быть интересен сам по себе. С этой, не заслуженной мною репутацией «друга Солженицына» я боролся долго, настойчиво, лет примерно пятнадцать, и кое-каких успехов за это время добился. Хотя и сейчас в публикуемых где-нибудь моих биографических данных указывается, что я претерпел много лишений, главным образом, за поддержку Солженицына.

С изгнанием Солженицына одна из причин моего внешнего «диссидентства» почти полностью отпала. Конечно, некоторых людей еще продолжали сажать, и это, говоря красиво, отзывалось в душе

моей болью, но, не имея возможности остановить зло, я готов был успокоить себя тем, что я это зло не принимаю вообще. Мне казалось, довольно один раз в жизни сказать, что я отношусь к насилию с большим и неизменным отвращением, и это должно быть всем ясно даже тогда, когда я молчу.

Сказать это один раз и навсегда. А повторяться не обязательно.

В конце концов диссидентом может быть каждый и «другом Союзеницына» тоже, а «Чонкина» без меня никто не напишет.

В постсоветской печати я читал о себе, и не раз, мнение, что все мое диссидентство было кратким и точно рассчитанным путем к отъезду. С людьми, которые это утверждают сознательно или по ошибке, я полемизировать не буду. Но тем, кому интересна правда, скажу, что меня исключили из Союза писателей 20 февраля 1974 года. А уехал я за границу (с советским паспортом) 21 декабря 1980 года. В течение прошедших почти семи лет мне много раз и довольно грубо намекали, чтоб я убрался. Я свое противостояние в заслугу себе не ставлю, и больше того, если бы можно было задним числом исправить биографию и не будь я связан со всеми своими родными и близкими, то уехал бы еще году в шестьдесят восьмом. И нисколько бы этого не стеснялся. Но в своей реальной неисправленной жизни я ни в шестьдесят восьмом, ни в семьдесят пятом об отъезде даже и помыслить не мог, а ситуация у меня оказалась совсем тупиковая.

В литературных делах я до поры до времени проявлял ограниченную склонность к уступкам, но от меня потребовали не уступок, а безоговорочной капитуляции с полным отказом от всех моих литературных амбиций. Этого я им уступить не мог. Никак и ни при каких обстоятельствах. Как тот гонец из пушкинской «Полтавы»: «За шапку он оставить рад коня, червонцы и булат, но выдаст шапку только с бою и то лишь с буйной головою».

Я пошел на разговор с кагэбэшниками, потому что они оставались единственной инстанцией, через которую я мог бы обратиться к государству и оно ко мне. Они были парламентарями, посланными в осажденную крепость. Шансов на безоговорочную капитуляцию крепости у них не было, но на разумное решение в допустимых пределах — были. Я не просто хотел, я жаждал покоя и ради него готов был отдать *им*, фигурально говоря, «коня, червонцы и булат», оставив себе только «шапку». Я был согласен уйти из общественной жизни, поселиться где-то в провинции, писать, но не печататься ни здесь, ни там, не давать интервью и не мозолить глаза лет пять или даже десять (денег, которые у меня к тому времени были на Западе, на десять лет здешней жизни хватило бы). Мне казалось, что у них не было никакого выхода, кроме как согласиться на предложенный компромисс. Сдаться им полностью я уже и не мог даже с выдачей «буйной головы». Первая книга «Чонкина» вышла, существует, и отменить ее существование не под силу даже КГБ. Как меланхолически и грубо выражалась, глядя на свою раз-

бушевавшуюся малолетнюю дочь, одна моя знакомая: «Обратно не засунешь».

Мне мой план казался разумным, реалистичным и приемлемым даже для них (не кагэбэшников, а властителей, стоявших за ними). Поэтому я и решил встретиться с Петровым и Захаровым еще раз.

ГОСТИНИЦА «МЕТРОПОЛЬ»

11 мая я позвонил Петрову.

— Владимир Николаевич? — обрадовался он. — Значит, решили встретиться? Ну давайте. Одну минутку, сейчас я определюсь. Допустим, в четыре часа в «Метрополе». Вам удобно? Очень хорошо. Вы эту гостиницу знаете? Не очень? Ну чтоб вы там не путались, давайте встретимся у памятника Марксу. Договорились? Вот и хорошо. А как вообще настрой, Владимир Николаевич?

Сначала мне не понравилось слово «определюсь», а слово «настрой» я почему-то так не люблю, что оно вызвало у меня очень неприятное предчувствие.

— Увидимся, поговорим, — сказал я.

Без пяти четыре я на площади Революции. Один. Ира на этот раз со мной не пошла, поскольку дело как бы уже рутинное. Солнечно, жарко, торгуют цветами. Очередь за пломбиром по 19 копеек. Очередь к тележке с газировкой. Голуби путаются под ногами. Я, между прочим, забыл у этого типа добиться, кто он все-таки есть. Да вот еще проблема — узнаю ли я его. У меня очень плохая память на лица. Помню, правда, что он высокий, смуглый, кудрявый, в очках.

Должен узнать. Выскажу им свои предложения и погляжу, что будет дальше.

Ира просила, когда буду возвращаться, зайти в хозяйственный магазин, там, на Кузнецком мосту, рядом с приемной КГБ, купить нафталин. Она в прошлое воскресенье, ожидая меня, видела нафталин, но тогда было не до него.

В такую жару хорошо бы достать пива. У меня есть сертификаты (за шведское издание я их еще получил, но на этом лавочку прикрыли), на обратном пути можно зайти в «Березку» на Большой Грузинской, купить несколько банок.

Чтобы попасть к памятнику, надо пройти мимо «Метрополя». Смотрю: возле гостиницы мечется чем-то взволнованный рыжий Захаров. Кому-то кивнул головой, кому-то махнул рукой. Резко повернулся, наткнулся на меня, смутился, сунул руку, тут же выдернул и со словами «там Николай Николаевич» (не сбился в имени-отчестве) кинулся к проспекту Маркса.

Тут бы мне насторожиться, а я — ничего. Вдруг смотрю: мимо, обогнав меня, туда же, к проспекту, идет Николай Николаевич. Спину выгнул и головой двигает влево-вправо. Оказывается, я узнал

его даже сзади. Идет и кому-то как-то сигналил. И вот сзади он мне так не понравился, что не могу даже и передать. Спина мне его сейчас говорила больше, чем он сам там, на Лубянке. Он шел, чем-то выделяясь из толпы. У него был вид блатного, который вышел «на дело». Дошел до угла и через голову тычет большим пальцем в сторону Маркса, а из-за угла вылетает Захаров, показывает Петрову на меня, оба поворачивают и идут мне навстречу, на ходу торопливо прилаживая к собственным лицам человеческие выражения.

(Меня потом разные люди спрашивали, почему, заметив какие-то приготовления, я не сбежал. Мне такое и в голову не пришло. А надо было если не сбежать, то помедлить и посмотреть, что за переполох.)

Здороваемся. Поднимаемся в лифте на четвертый этаж. Молча проходим мимо дежурной. Идем по роскошному коридору с хорошо натертым темным паркетом.

— Ваши герои, — оборачивается ко мне Петров, — в такую обстановку еще не попадали?

— Пока не попадали. — Словом «пока» я намекаю, что могут еще попасть.

(И он, как я потом понял, намекал на то же.)

Входим в номер 480. Большая комната. Посередине стол со стульями. Справа от дверей, ближе к окну два глубоких кресла спинками к стене. Перед ними журнальный столик. (Мастера спецзайна обдумывали, как расставить.) На стене между креслами и дверью высоко — картина. В левом от дверей дальнем углу — ниша, наполовину задернутая красной портьерой, там виден угол кровати.

— Куда сядем? — Петров пошарил глазами. — Ну вот, пожалуйста, сюда.

Показал мне на одно кресло, сам сел в другое, слева от меня. Я достал сигареты. Захаров принес пепельницу, придвинул стул и сел по другую сторону столика, ко мне лицом, полным внимания.

— Ты, кажется, тоже куришь? — спросил его Петров.

— Да, курю, — сказал Захаров и вынул из кармана нераспечатанную пачку «Столичных», но я не помню (и это важно!), чтобы он распечатал ее и чтобы хоть раз за все время этого нашего разговора закурил. Хотя прошлый раз курил очень много.

Когда он показывал сигареты, я заметил, что у него на левой руке возле часов болтается прямоугольная штучка, что-то вроде брелока, но никак ею не заинтересовался.

Разговор начался с пустяков. Петров сказал, что в Москве жарко, и спросил, не собираюсь ли я на дачу. Собираюсь.

— Будете там работать?

— Буду работать и разводить огород.

— Как этот ваш селекционер? — засмеялся Захаров.

— Примерно так.

— И что же вы там выращиваете? — спросил Петров.

— Да так, всего понемножку. Огурцы, лук, петрушка.

— Да. Ну редиска, — заметил он мимоходом, — у любителей не всегда вырастает...

Самодовольно переглянулся с Захаровым и покосился на меня, предвкушая мое неизбежное изумление его осведомленностью о моих огородных неудачах. Но изумления не последовало (хотя, будь я похитрей, может, и стоило ему подыграть). О том, что у меня редиска не вырастает, я недавно говорил кому-то по телефону, а что телефон прослушивается, я не сомневался.

— Между прочим, — сказал вдруг Петров, поднимаясь, — посмотрите, это очень интересная картина. По-моему, это ваши герои, а?

Я тоже (прошу читателя сохранить в памяти этот момент) поднялся, подошел к Петрову и задрал голову (простофиля). На картине были изображены мальчишки, тянувшие сетью рыбу.

— Это мои герои? — удивился я.

— Ну деревенские мальчишки, — объяснил Петров. — Мне кажется, это что-то в вашем духе. Это у них бредень, что ли?

— Не знаю, я не рыбак, — сказал я.

Мы сели на свои места, я закурил и сказал, что долго думал о нашем предыдущем разговоре, не знаю, что все это означает, но если это не ловушка и не провокация (Захаров при этом, конечно, схватился за голову), а мои собеседники всерьез думают о том, как вернуть меня в советскую литературу, то я готов предложить им реальный план. Для начала пусть будет издан сборник моих избранных повестей и рассказов на основе того, что было когда-то в «Новом мире», с включением повести «Путем взаимной переписки». Правда, повесть напечатана в «Гранях», но ее вполне можно опубликовать и здесь. В свое время ее чуть не напечатал «Новый мир», где она была даже набрана.

Объясню читателю этих строк, что, будь мое предложение обсуждено всерьез, я на подробностях настаивать бы не стал. Напечатают сборник или не напечатают, мне было в общем-то почти все равно. Главное было, чтобы оставили в покое.

— Хорошо, — согласился Петров. — А где издать вашу книгу? В каком издательстве?

— В любом, — сказал я.

— Что значит — в любом? Давайте подумаем, где у вас лучше связи.

— Связи есть у вас.

Он не согласился и продолжал настаивать на том, чтобы я назвал свои связи, что меня несколько насторожило. Потом спросил, а как быть с Союзом писателей? Я сказал: «А что Союз писателей? Он меня меньше всего интересует». Петров возразил, что без возвращения в союз ничего нельзя сделать, и предложил, чтобы я позвонил С.С. Смирнову (в то время первому секретарю Московской

писательской организации). Я сказал, что никому звонить не буду и к восстановлению в союзе не стремлюсь. Тем не менее Петров стал допытываться о моих связях среди руководителей союза. Я от прямого ответа уклонился, хотя, правду сказать, никаких связей у меня там не было. Он опять спросил, кого я знаю из талантливых молодых писателей — он хочет им помочь. Я повторил, что никого не знаю.

Эти вопросы, думаю, задавались мне не в расчете на то, что я кого-то действительно выдам, а чтобы меня запутать и потом каким-нибудь случайно упомянутым именем шантажировать. А впрочем, не исключаю, что при их специфическом воображении им мерещилась какая-то тянущаяся за мной сеть, которую почему бы не вытянуть попутно основному заданию?

Разговор чем дальше, тем больше принимал зловещий характер. Тем не менее я старался объяснить им реальную ситуацию в литературе и в стране и даже выразил готовность составить объективную записку, но с условием, что она будет передана... «вашему шефу», сказал я, имея в виду Андропова. Стыдно признаться, но я тогда еще верил слухам, что Андропов из всех членов Политбюро наиболее умеренный и трезвый политик. Потом я это мнение резко переменял. Потом я думал (и сейчас думаю), что это был человек примитивного полицейского ума и несложного душевного склада, а может быть, даже и с некоторым психическим сдвигом, о чем говорят его стишки и статуя Дон Кихота в прихожей (к тому ин-терьеру Гиммлер или Торквемада подошли бы как раз). Никаким государственным мышлением он не обладал и не случайно свои реформы в области управления государством ограничил ловлей в банях намыленных нарушителей трудовой дисциплины.

— Очень хорошо! — приветствовал мои намерения Захаров. — Записку вашу мы непременно передадим.

— Да, — сказал Петров, — такой документ, безусловно, необходим. Но мне лично хотелось бы, чтобы в этом документе вы рассказали подробно, каким именно образом вы выходите на связь с иностранными корреспондентами, как эти связи развиваются.

Этим предложением он поставил меня на место, я вспомнил, с кем имею дело, и понял, в какую смешную и жалкую ситуацию сам себя загнал. Петрову было, может быть, неизвестно, но я-то знал, что у него и у меня были предшественники по разговорам такого же рода. Кто-то из сыщиков прошлого (кажется, это был знаменитый Судейкин) на предложения допрашиваемого нигилиста по коренному переустройству России говорил приблизительно так: «План ваш мы непременно рассмотрим, а пока будьте любезны составить список всех ваших сотоварищей, их фамилии, клички, приметы и адреса». У меня у самого в одной из незаконченных глав «Чонкина» уже написан был эпизод, где селекционер Кузьма Гладышев, оказавшись в оккупации, приходит к немецкому коменданту с предложением обеспечить всю германскую армию овощами

путем повсеместного распространения ПУКСа (теперь этот гибрид переименован селекционером в ПУКНАС, то есть ПУТЬ К НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМУ). На что комендант обещает обязательно предложение обсудить с высшим начальством, но пока желательно, чтобы господин ученый помог выявить в местности своего проживания партизан, жидов и коммунистов.

— А-а, — сказал я Петрову, — я думал, что с вами всерьез можно говорить.

— Именно всерьез, — подтвердил Петров. — Если вы хотите... то есть хотите нарисовать объективную картину, то для полноты ее...

— Ладно, — сказал я, — это, видно, разговор бесполезный.

— Нет, почему же. Нас сегодняшнее положение очень волнует.

— Не похоже, — не поверил я. Но все же стал что-то объяснять. В общем и на конкретных примерах. Стараясь ограничиться положением в литературе. — Вот, представьте себе, один писатель принес в редакцию рукопись.

— Какой писатель? — перебивает Петров.

— Неважно. Вот он приносит рукопись.

— Как его фамилия?

— Войнович.

— А-а, — Петров теряет интерес к тому, что случилось с рукописью и с писателем.

Заходит разговор о Литературном фонде. Петров интересуется, член ли я этой организации. Я сказал, нет.

— Вам сообщили, что вы исключены?

Он мне опять дает понять, что ему про меня все известно, а я опять понимаю, что ему известно только то, что подслушал. Кому-то недавно я говорил по телефону о моем необъявленном исключении из Литфонда. Интересно, он думает, что я дурак, или сам дурак?

— Нет, не сообщили.

— А откуда ж вы знаете?

— Мне одна женщина сказала.

— Какая женщина?

— Которая там работает.

— А как ее фамилия?

— А зачем вам это знать?

— Ну как же? Нам же нужно знать, можно ли доверять ее словам.

— Вы можете не доверять и проверить сами. Позвоните туда и спросите.

— Нам самим неудобно звонить. Знаете, сразу пойдет слух, что вами интересуется КГБ.

— У вас там есть свои люди, вот вы им и позвоните.

— Какие свои люди? — изумляется невинный Захаров.

— Ну есть. Один, — говорит Петров, как бы выдавливая из себя признание.

— Вот у этого одного и спросите.

— Это тоже неудобно, он может разболтать.

— Ну я думаю, вы как разведчики уж куда-куда, а в Литфонд проникнуть сумеете.

Тут я посмотрел на Захарова и заметил, что он неестественно держит руки, вытянув их вперед и сжав кулаки. Глянув на его руки, я увидел, что предмет, вначале принятый мной за брелок, вывалился у Захарова из рукава и болтается, как мне показалось, на двух проводах.

— А это что? Микрофон? — спросил я и протянул руку, чтобы микрофон этот вырвать, но Захаров руку успел отдернуть, а с Петровым (внимание!) случилось что-то неожиданное. Он впал вдруг в какое-то странное состояние, захрипел, задергался, стал быстро и часто кивать головой и бормотать:

— Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно, мы с вами откровенно...

И так много раз. Я от неожиданности напрягся, смотрел на него, а он все бормотал одно и то же «Мы с вами откровенно, вы с нами не откровенно», вдруг завращал глазами, словно гоголевский колдун из «Страшной мести», стал приподниматься, тянуть ко мне руки с ужасной гримасой, возникшей будто от нехватки дыхания, прохрипел: «Хочешь, я тебе расскажу про свою семью?»

И тут же обмяк, сел и стал, словно только проснувшись, приходить в себя.

— Не надо про семью, — сказал я, потрясенный только что увиденным. — Скажите мне лучше, кто вы такой?

— Ну я начальник отдела, — сказал он уже совсем обыкновенным голосом.

— Ответственный сотрудник комитета, — добавил Захаров почтительно.

Я посмотрел на них обоих. Они сидели на своих местах, в той же комнате, ничего не изменилось. Как будто ничего и не было. Но что-то все-таки было. Я испытывал ощущение, словно я, или они, или я и они вместе побывали в каком-то ином измерении, а теперь вернулись и не можем вспомнить, о чем же шла речь до того.

О чем бы она ни шла, я вдруг понял, что наш разговор затянулся и никакого смысла не имеет.

— Ну так вот что, — сказал я решительно и намереваясь уйти. — Ни о какой откровенности нечего говорить. И не надо мне совать в нос микрофон.

— Да какая тебе... — Я посмотрел на него и хотел сказать, чтоб не тыкал, но он сам поправился, — вам разница, где микрофон — в рукаве или в стене. Вы же понимаете, что эта комната оборудована и что тут везде микрофоны.

В словах его был резон. Я ведь не сомневался, что меня записывают. Что ж, своего образа мыслей я не скрываю. (Я тогда и в самом деле считал своим долгом говорить всем попадавшимся на моем пути функционерам «правду в глаза», хотя толк от этого был

такой, как если бы я то же самое говорил столбу. Потом я думал, что все мои старания говорить *им* правду были большой глупостью. Им, партийным, союзписательским, кагэбэшным функционерам, поощрявшим ложь, надо было врать в глаза, во всех случаях и как можно больше, чтобы они в этой лжи потонули. При этом надо четко видеть и не переходить границу, где за ложью *им* начинается обман самого себя.)

Я остался (а интересно, что было бы, если б попробовал уйти?), и разговор наш продолжился.

Поговорили о том, что у каждого писателя свой творческий метод.

— Вот Дудинцев, например, — сказал Петров, — пишет так. У него к стене прибиты такие карманы. Напишет несколько листов — кладет в один карман. Напишет еще — кладет в другой. А вы не так пишете?

— Нет, — говорю, — я не так. Мой творческий метод состоит в том, что я свои листки прячу гораздо дальше. Так далеко, что, придя ко мне, вы ничего не найдете. После конфискации романа Гроссмана многие писатели овладели подобным творческим методом.

На самом деле то, что я говорю, — чистый блеф. Подпольщик из меня не получается, я никогда ничего не умел таить и, видимо, не научусь. Все мои рукописи лежат у меня на столе. Иногда я пытаюсь их куда-нибудь спрятать, но потом забываю куда. Иные куски отдаю на хранение знакомым. А потом забываю, что кому отдал. А поскольку и они тоже забывают, то, может быть, и сейчас ключья моих рукописей заросли паутиной у кого-нибудь под кроватью.

Петров вдруг, развернув кресло, садится лицом ко мне.

— Вот представьте себе, — говорит он, — вы секретарь Союза писателей, а я писатель Петров.

— Представляю. Сейчас таких писателей очень много.

— Почему вы так говорите? — оскорбился Захаров то ли за своего начальника, то ли за Союз писателей.

Но Петров не обиделся.

— Вот вы узнали, что я, писатель Петров, печатаюсь в «Посеве». Вы меня вызываете к себе...

— Да не буду я вас вызывать. Печатайтесь, где хотите...

Между тем со мной происходит что-то необычное. Мне кажется, я плохо слышу своего собеседника, переспрашиваю, напрягаюсь. Разговор явно идиотский, но я почему-то не пытаюсь его прекратить. Петров пристально в меня вглядывается (для того, наверно, и развернулся), словно пытается что-то определить по моему виду. Но вот, может быть, определил, поставил кресло на место и опять ленивый разговор о том о сем и, в частности, о КГБ.

Многие к КГБ относятся с подозрением. Где что случится, велят на КГБ. Про Виктора Попкова тоже говорили, что его КГБ убил. Вы, конечно, слышали эту историю? Как? Про Попкова? Не слышали? Ну как же, как же... Как убили художника Попкова, не

слышали? Вся западная пресса шумела (неужели вы пропустили?): чекисты убили левого художника (а он, между прочим, никакой не левый). И вот как будто чекисты его убили. А на самом деле как получилось? Попков пьяный ловил такси. Остановил машину, полез внутрь, а там инкассар, и тоже «под мухой». Он с перепугу выстрелил. Пуля вошла сюда (Петров откинул голову и, косясь на меня с вожделенной улыбкой, показал пальцем на точку между подбородком и кадыком) и вышла (стал как бы вытягивать что-то невидимое из затылка) отсюда. А потом говорят, мы убили Попкова. Чуть что — и на нас. Мы убили. А это не мы (и стал мне при этом подмигивать: мы, мы, мы).

Речь зашла опять о ВААПе. Я сказал:

— Мне ваш ВААП не нужен. У меня есть свой адвокат, американец, который мои права достаточно хорошо (это я по незнанию сильно преувеличил) защищает.

— А у вас с вашим адвокатом постоянная связь? — поинтересовался Петров.

— Прерывистая.

— Прерывистая? — Он так обрадовался, будто именно этого слова только и ждал. — И наша жизнь тоже, знаете, штука очень, очень (быстро закивал головой, замигал, перекашивая лицевые мускулы) прерывистая... да, прерывистая. Впрочем, — затуманил угрозу философским раздумьем, — что наша жизнь по сравнению с вечностью? Только миг. Да! — встрепенулся. — А вы знаете, что нам приказано вас предупредить?

— Так чего же вы дурака валяете? Предупреждайте.

— Но мы же хотим по-хорошему.

— Если вам приказано по-плохому, выполняйте приказ.

В разговор вмешивается Захаров:

— А я вот, хи-хи, насчет «Чонкина». По-моему, это очень антисоветская книга. Как-то у вас там, хи-хи, все странно. Записка «Если погибну, прошу считать коммунистом» оказывается вдруг, хи-хи, под копытом у лошади.

— А значит, вам все-таки не нравится, — говорю я. — Так бы и сказали. Я ведь и рассчитывал, что вам не понравится.

— Нет, вы знаете, как-то все-таки выпустить такую, хи-хи, книгу к тридцатилетию Победы...

(Интересно, он в самом деле думает, что я специально и именно к тридцатилетию, а не к двадцатидевяти- или тридцатиоднолетию выпустил эту книгу?)

Угрозы сменяются примирительным тоном. Несмотря ни на что, Петров надеется, что во мне (ну пусть на самом доньшке) осталось что-то советское.

— Вы же были рабочим. Не то что там какая-то гнилая (не нашел эпитета посвежее) интеллигенция. Может быть, вам еще понравится в рабочем коллективе?

— Хотите приставить меня к станку или к тачке?

— Да что вы! — восклицает Захаров. — Думаете, хи-хи, мы хотим воспитывать вас по китайскому методу?

— Да по китайскому методу надо, чтобы еще воспитуемый со-гласился.

— Одного не могу понять! — всплескивает руками Петров. — Ну было бы вам семьдесят лет, когда жизнь, по существу, законче-на*. Но кончать ее в сорок три... Нет, этого я не понимаю.

Его слова проходят мимо моих ушей. Смысл их я осознаю по-том. А пока что-то говорю, спорю, иногда сбиваюсь на попытки убедить моих собеседников в полной безвредности своих писаний, другой раз говорю что-нибудь противоположное.

Пока я говорил, Захаров, чем-то озабоченный, выскочил за дверь (интересно, зачем?), но вскоре вернулся и сел на прежнее место и заерзал нетерпеливо.

Я посмотрел на него, посмотрел на Петрова и вдруг совершенно четко осознал, что передо мной сидят два истукана, два неодушевлен-ных предмета, исполняющих функцию, на которую их направ-ляет руководящая ими рука. Они — топор, которым рука может колоть дрова или орехи, или забивать гвозди, или отрубить голову. Убеждать в чем бы то ни было бессмысленно, топор убеждениям не поддается. Но зачем же я сюда пришел? И зачем они? Если они вообще ничего не приемлют, то в чем состояла их задача?

Я посмотрел на часы и удивился. Было ровно семь. То есть я уже здесь три часа. А мне показалось — минут сорок, не больше. Я встал. Они тоже. Опять спросили меня, поеду ли я на дачу и что буду вырачивать. Я сказал: «ПУКС». Они хихикали и предлагали позвонить через две недели. Я соглашался, жал им руки, хотя сам удивлялся, зачем это делаю. Потом я направился, но не к дверям, а к нише, наполовину задернутой красной портьерой.

— Нет, нет, не сюда! — испугался Петров и повернул меня к дверям, которые возникли передо мной, как из тумана.

ПОСЛЕ «МЕТРОПОЛЯ»

В странном состоянии я вышел в коридор и опять направился в сторону, противоположную выходу. Дошел до стеклянных дверей. Они были закрыты, но я долго стоял перед ними, пытаюсь понять, как сквозь них проникнуть (и те, кто за мной наблюдал, навер-ное, были мною довольны). Наконец сообразил, что стремлюсь не туда, повернул обратно, прошел мимо дежурной, посмотрел на

* Эти слова я тогда понял, как намек на Лидию Чуковскую, которая очень раздражала власти, но ее тогдашний возраст (68 лет) и слабое сердце позво-ляли им надеяться на скорое избавление от нее. Сейчас Лидии Корнеевне 85 лет, она в добром здравии, и надеюсь, долго еще не оправдает надежд своих врагов.

нее, любопытно было, как она реагирует на выходца из номера 480. Лица ее не разглядел. Оно как-то расплывалось, но меня это не удивило.

Я спустился вниз и вышел на улицу.

Мне было плохо. У меня все болело: голова, сердце, ноги. Икры ног словно окаменели. В таком состоянии надо было сразу ехать домой. И я бы поехал, если бы хоть чуть-чуть понимал свое состояние. Я его не понимал, но помнил: Ира просила купить нафталин. Обычно ее поручения тут же вылетают у меня из головы. Сейчас же мне казалось, я не могу вернуться без нафталина. С тупым автоматизмом я действовал по заранее намеченной программе.

Я шел, как глубокий и слабый старик, наклонившись вперед и еле переставляя ноги. Пересек проспект Маркса по подземному переходу. Вышел на Кузнецкий мост и повернул направо, к Лубянке. Там, чуть не доходя до главного здания КГБ, маленький хозяйственный магазин.

Я видел только то, что было прямо передо мной, но прямо оказывалось как раз то, что мне нужно. Магазин, нафталин — восемь копеек пачка. Долго множил восемь на четыре. Выйдя из магазина, вспомнил про «Березку» и пиво. Сейчас мне было не до пива, но я опять выполнял программу.

Такси не было, и я пешком — все так же, еле переставляя ноги, — поплелся на улицу Горького. В троллейбусе доехал до Белорусского вокзала. Пошел в «Березку». Она — закрыта. Где-то еще пиво тоже не оказалось (да и откуда ему быть, если время было около восьми вечера?).

Как добрался домой, точно не помню, кажется, на метро. На расспросы Иры отвечал односложно (она, занятая ребенком, сначала ничего не заметила). Чувствуя, что мне как-то не по себе, я включил телевизор. Показывали хоккей. Я стал смотреть, но не понял, кто, куда и зачем бежит. Я отметил, что ничего не понимаю, но не испытал при этом ни досады, ни недоумения. Выключил телевизор, пошел к Владимиру Корнилову, с которым мы тогда дружили. Он и его жена Лариса, несмотря на то что в комнате было полутемно, сразу обратили внимание на мой необычный вид. На вопрос: «Что случилось?» — я ответил: «Ничего». Тут к ним зашла соседка, и я ушел, ничего не рассказав. Впрочем, на какой-нибудь внятный рассказ вряд ли я был способен.

Вернувшись домой, я лег спать и по привычке взял почитать перед сном какую-то книгу. Не мог ничего понять. Взял свою собственную книгу, и в ней ничего не понял. Видел отдельные слова, но не улавливал смысла фразы.

Будучи человеком от природы здоровым, я обычно никаких лекарств не принимал, а тут залез в домашнюю аптечку, принял две таблетки элениума — не помогло.

В первом часу ночи я вдруг вспомнил некоторые высказывания Петрова, и только сейчас до меня дошло их значение. Ира спала с

дочкой в другой комнате. Я пошел, разбудил ее, попросил выйти на балкон и здесь сказал: «Ты знаешь, они обещали меня убить». Но своего состояния и сейчас оценить не мог.

Оля проснулась, заплакала, и Ира ушла к ней. Я лег и начал осознавать, что со мной происходит что-то необычное. Стал записывать свои подозрения.

«Что-то мне нехорошо. У них есть какой-то способ убивать так, что человеку становится плохо с сердцем. Так, говорят, убили Бандеру».

(Знаменитый украинский националист Степан Бандера в 1959 году был найден мертвым на пороге своей мюнхенской квартиры. Вскрытие показало — инфаркт. За два года до того, и тоже от инфаркта, умер соратник Бандеры Лев Ребет. Кажется, у кого-то были сомнения, но медицинская экспертиза в обоих случаях не нашла ничего, кроме инфаркта. Несколько лет спустя в немецкую полицию явился некий Богдан Сташинский (подвигнутый на то своей невестой Инге Поль) и признался, что это он по заданию КГБ убил и Ребета, и Бандеру из специального пистолета, стреляющего синильной кислотой. Оба раза сработано было чисто: выстрел в лицо, инфаркт, а следы синильной кислоты улетучились в течение нескольких минут. Вскоре после этого Сташинский был вызван в Москву, и тогдашний шеф КГБ Александр Шелепин («Железный Шурик») лично вручил герою орден Красного Знамени «за выполнение особо важного задания». А потом Инге Поль, любовь, явка с повинной и суд в Карлсруэ. И если бы не это все, кто бы сегодня знал, что Ребет и Бандера не умерли своей смертью?)

По сюжету заключенное в скобки следовало бы поставить в конец рассказа, но мне важно показать и то, что я в своих рассуждениях стал сразу на правильный путь.

С часу ночи до пяти минут третьего я сделал девять записей, отмечая свое состояние, принятые лекарства и свои соображения, в некоторых случаях, может быть, не столь важные.

Был дерганый пульс, который я не мог сосчитать. Болела голова. Принял еще две таблетки элениума. Потом две таблетки беллоида, думая, что это тоже успокаивающее лекарство (мне потом объяснили, наоборот — возбуждающее).

Заснул после трех. Проснулся в пять. Пульс был 140 (теперь уже точно). И это после сна, пусть недолгого.

До восьми я провалялся в постели, потом встал. Чувствовал себя мерзко, но что-то соображал. Сел за машинку и написал открытое письмо Андропову. Написал более или менее связно, но только о вызове, угрозах и странном бормотании Петрова после разоблачения микрофона. Закончил, подражая некоторым образцам, в патетически-горделивом тоне, что, мол, Чонкин уже пошел по свету и всем вашим инкассаторам, вместе взятым, его уже не победить (что, впрочем, правда). Написал, что этим письмом обращаюсь не только к Андропову, но и за защитой к мировой общественности и

к писателям Генриху Бёллиу, Артуру Миллеру, Курту Воннегуту, Александру Солженицыну и еще к кому-то.

Днем, занятый сочинением и распространением письма, на своем состоянии не сосредоточивался.

Вечером на квартире Сахаровых по моей просьбе была созвана пресс-конференция (я боялся, что дома мне ее провести не дадут). Я прочел письмо Андропову, а потом подумал и рассказал о своих подозрениях насчет отравления. Но сам в своих доводах сомневался, говорил неуверенно, а корреспондентам и подавно странно все это было слышать. Тем более что у меня не было никакого правдоподобного объяснения, как конкретно это могло случиться.

Я предположил, что предмет, принятый мною за микрофон, был чем-то другим, и попытался описать его. Небольшая коробочка, по-видимому, из пластмассы. Приблизительные размеры: 25 × 20 × 5 мм. Боковые стенки зеленого цвета, пластинка, обращенная ко мне, — кремового. В пластинке несколько рядов мелких отверстий. Два провода (так мне запомнилось, но потом я в этом усомнился) — зеленый большего сечения, белый — меньшего. Мои подозрения: коробочка не микрофон, а распылитель двух газов, подаваемых по двум шлангам.

Журналисты смотрят недоверчиво. Я бы на их месте смотрел так же. При этом все же думаю: в оборудованной для специальных операций комнате зачем прятать микрофон в рукаве? А если и прятать, то для чего же такой большой? Современный микрофон может быть величиной со спичечную головку, у меня у самого был такой. Неужели у них нет? (Потом знающие люди говорили, что могло и не быть. У них ограничения в бюджете, бухгалтерия и финансовые ревизии, поэтому техника используется и устаревшая.)

Из всех присутствовавших на пресс-конференции, кажется, мне поверил один только Сахаров. Когда я сказал, что пробыл в «Метрополе» три часа, а мне показалось, что я был там не больше минут сорока, Андрей Дмитриевич предположил, что было выпадение памяти.

13 мая я все еще чувствовал себя плохо. Болела голова, закладывало уши, в ногах не проходило ощущение тяжести. Днем смерил пульс — 140. Выпил что-то сердечное, лег.

Видели меня в те дни Владимир Корнилов и его жена Лариса Беспалова, Бенедикт и Слава Сарновы. Сарнов сам мерил мне пульс — была та же цифра.

Вечером 13 мая пришли ко мне два медицинских светила — мой друг (ныне покойный) Борис Шубин, очень хороший врач, доктор наук, и его товарищ, профессор (которого и сейчас не назову, поскольку не знаю, согласен ли он на это). Оба они большие специалисты, но не того профиля. Борис, хирург-онколог, а его друг — гематолог.

Оба выслушали мой рассказ внимательно, и оба не поверили. Предположения насчет газа отметили сразу.

— А они что же, в противогазах сидели?

— Нет, но, может быть, они приняли какое-то противоядие.

— Это невозможно. Кроме того, газ непременно подействовал бы в первую очередь на дыхательную систему. Какие-нибудь неполадки с дыханием были?

— Не было.

— Галлюцинации?

— Нет. Не считая того случая, когда Петров кивал головой, бормотал и тарашил глаза. Мне тогда показалось, что он сошел с ума, а может быть, это со мной что-то случилось?

— Тошнота, рвота были?

— Не было.

— Ты там не пил, не ел?

— Нет.

— Сигареты курил свои?

— Свои.

— Володя, — сказал Борис встревоженно, — поверь мне, того, что ты рассказываешь, просто не могло быть. Было жарко, ты разволновался, у тебя поднялось давление, от этого мог произойти какой-то сдвиг в сознании. Микрофон тебе показали нарочно. Они намеренно действовали на твою психику. Ты будешь говорить об отравлении, а они объявят тебя сумасшедшим. Вполне возможно, они только этого и ждут.

Все же он меня простукал, прослушал, посчитал пульс.

— Ну есть, конечно, некоторая тахикардия. Это от волнения. Ты и сейчас волнуешься.

— Я волнуюсь оттого, что ты мне не веришь. Там я не волновался. Наоборот, я был идиотски беспечен. Пойми, мне никогда ничего не казалось.

— Но и таких случаев у тебя никогда не было.

Случаи у меня в жизни были разные, но это ничего не значит, потому что они происходили в другом возрасте и в иной ситуации.

Так мне Шубин и не поверил.

И я стал сомневаться. Может, и правда показалось. Меня, как и других общественно-известных людей, время от времени посещали (и сейчас посещают) больные люди. Этих больных, каждого, травят газами, душат запахами, пронизывают невидимыми лучами. Один даже показывал мне свинцовые пластины, которыми он заслоняет от облучения сердце и другие важные органы (деталь, использованная в «Шапке»).

(Между прочим, среди таких ходяков был и один очень известный ныне человек. Называть его не буду, потому что не хочу помогать его политическим противникам. Он мне тоже рассказывал о попытках КГБ его уничтожить путем подмены жены, подбрасывания дохлой курицы и опять же с помощью воды, еды, гипноза, газов и излучений. КГБ, конечно, относился к нему так же плохо, как и ко мне, а может, и похуже, поскольку он был настоящий

политический борец, а не липовый, вроде меня. Но все же теперь, видя на экране телевизора его в роли видного госдеятеля, я вспоминаю тогдашние его приходы ко мне и думаю, что, если бы это от меня зависело, я бы внес во все конституции требование — кандидатов на высшие государственные посты и кандидатов в депутаты всех уровней допускать к участию в предвыборной борьбе только по предъявлении справки от психиатра.)

После ухода Шубина и его товарища я усомнился в своих ощущениях, накапал себе побольше сердечных капель и лег спать.

Утром проснулся успокоенный. Да, конечно, мне показалось. И неудобно — поднял панику, заставил Шубина и его друга тащиться черт-те откуда.

Посчитал пульс. 140. И голова болит. И в ногах тяжесть.

ДОКТОР АРКАДИЙ НОВИКОВ

Теперь надо рассказать о посещении еще одного врача. В моем описании семьдесят пятого года я изобразил поликлинику, старичка профессора. Я вынужден был путать следы, чтобы не подвести доктора, который меня на самом деле осматривал. Теперь я его подвести не могу. Так вот, это был не старичок, а совсем наоборот, молодой человек, лет тридцати с небольшим. Звали его Аркадий Новиков, и мне рекомендовали его как выдающегося, несмотря на возраст, диагноста.

С Владимиром Корниловым я поехал к Новикову, и не в больницу, а домой, где он практиковал частным образом. Помню, он меня удивил своим возрастом и необычной для возраста дальностью — глаза за стеклами очков были очень большие.

Он предложил нам с Корниловым сесть, положил перед собой несколько листов бумаги и сказал:

— Прежде чем вы скажете, что с вами случилось, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.

— Видите ли, — возразил я, — тут случай не совсем обычный, поэтому, может быть, лучше сразу начать с него.

— Нет, нет. До вашего случая мы еще дойдем. Я вам буду задавать вопросы, они поначалу могут вам показаться странными, но потом вы поймете, что я ничего не спрашиваю зря.

Мне казалось, что он слишком юн и потому слишком играет во взрослого, но деваться было некуда, и я подчинился.

Вопросов было много. Болел ли в детстве малярией, тифом, коклюшем, скарлатиной, дизентерией? Занимался ли физическим трудом? Сколько времени? Теперешний образ жизни? Квартирные условия? Отношения в семье? Делаю ли зарядку? Гуляю ли? С какого возраста курю и сколько сигарет в день? Все я ему рассказал.

— Ну хорошо, — сказал Новиков, — а теперь расскажите про ваш необычный, — тонкая ирония, — случай.

Слушая, он несколько раз взглядывал на Корнилова, очевидно, желая знать, как тот относится к моим выдумкам.

Потом сказал тоном старшего человека:

— Вот что, дорогой мой, прошу вас, никому этого больше не рассказывайте. Поверьте мне, я знаю многих больных, которые рассказывают подобные истории.

— Я сам таких знаю, — сказал я.

— Вот видите, и вы знаете. Сейчас я вас проверю, и вы убедитесь, что у вас все в порядке.

Он уложил меня на диван и стал укреплять датчики переносного кардиографа.

Включил аппарат.

— Гм, что-то тут дребезжит.

Поправил датчик на левой руке. Несколько раз считал пульс, мерил давление, простучал меня, прослушал и откинулся в изумлении.

— Да, есть!

— Что есть? — спросил я с понятным нетерпением.

— Есть признаки какого-то отравления. Для вашего вялого состояния пульс слишком велик. Да и давление. Вы небось гипотоник?

— Гипотоник.

— А давление 130 на 90. Для вас это много. Я в этом не специалист. Тут нужен токсиколог. Из того, что я знаю, похоже на реакцию после наркотика. Что-то вроде ЛСД или аминазина. Сколько дней прошло? Три? Вы считаете, что вас газом отравили? А они не выходили из комнаты?

— Один выходил.

— А другой был все время? — Покрутил головой. — Нет, газ отпадает. Вы там не пили, не ели? А сигареты свои курили?

Шубин тоже спрашивал про сигареты, и я сказал, что курил свои. А тут подумал и вспомнил! Был ведь такой момент, когда Петров отвлек меня от стола, где лежали мои сигареты. Когда он показывал мне картину, в которой не было ничего интересного. Да, это самый обыкновенный, очень принятый у воров и мне знакомый со времен ремеслухи прием отвлечения. Простой, по-детски бесхитростный — смотри: вон птичка летит! Или: вон висит картина. Пока Петров меня отвлекал (а больше никакого смысла в показе картины не было), Захаров подменил пачку. При моей абсолютной беспечности ничего проще не было. Как же мне это сразу не пришло в голову?

Теперь становилось понятным, для чего еще во время первой встречи, на Лубянке, Захаров стрелял у меня сигареты. Примеривался и проверял мою бдительность. Может быть, там даже и отрепетировал подмену. Репетиция прошла успешно. Более чем. Я не только не следил за сигаретами, но сам их к нему пододвинул, чтобы он каждый раз не просил.

На самом деле Захаров, скорее всего, вообще некурящий. В гостинице он специально показал мне пачку «Столичных», чтобы я

отметил, что у него сигареты другого сорта. Пачка была нераспечатана. Не помню, чтобы он ее распечатывал и курил. Уже не нужно было и не курил.

Почему я всего этого сразу не вспомнил? Потому что память ко мне возвращалась постепенно, как бы кусками.

До посещения доктора и после — всего приблизительно шесть дней — я чувствовал в себе последствия отравления. Шесть дней были круги под глазами, тяжесть и жжение в икрах ног, шесть дней я без всякой диеты худел.

Между прочим, я тогда записал, что похудел на пять килограммов. Такие данные задним числом не переписывают, но теперь, имея более надежные доказательства происшедшего, скажу, что назвал эту цифру из боязни преувеличить. У меня были очень плохие весы. Их показания колебались в зависимости от того, как на них станешь. Так вот, они показывали потерю веса большую, даже, может быть, килограммов восемь, но я им не поверил (боялся, что другие не поверят тем более), сбавил цифру, и, может быть, зря.

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК ЛЮБИЛ ДЕНЕЖКИ

Еще одному врачу я показывался — психиатру Алле.

— Да, — сказала она, выслушав меня. — История, ничего не скажешь, и впрямь сумасшедшая.

— Значит, ты мне не веришь?

— Нет, я тебе верю.

— Веришь всему, что я рассказал?

— Всему верю. Не знаю, зачем было бы тебе врать.

— И ты не думаешь, что я сумасшедший?

— Нет, не думаю.

— Почему?

— Потому что ты самый нормальный человек из всех, кого я знаю.

— А где грань между нормальным и ненормальным?

— Ну знаешь, чтобы все это объяснить, я должна была бы прочитать тебе курс лекций, но такая грань все-таки есть.

— Но они все равно могут объявить меня сумасшедшим.

— Нет, не могут.

— Почему?

— Потому что ты не сумасшедший.

— Но они же сажают нормальных людей в психушки?

— Кто это тебе сказал?

— Ты собираешься отрицать, что они сажают нормальных людей?

— Отрицать не буду, но если ты посмотришь непредвзято на тех, кого сажают в психушки, ты увидишь, что каждый из них отличается, ну скажем, неуравновешенностью характера, вспыльчивостью, стремлением к переустройству мира, повышенным само-

уважением, все это, конечно, не клиника, но есть муха, из которой можно сделать слона, а у тебя этой мухи нет. В твоём поведении нет того признака, который можно дотянуть до диагноза.

Я передал этот разговор Андрею Амальрику.

— Конечно, — сказал он, — в психушку сажают не каждого. Со мной, например, этого не сделают никогда. Знаете почему? Потому что у них самый основной тест — это отношение человека к личной выгоде. Если человек делает что-нибудь бескорыстно, за идею, за правду, за родину и свободу, значит, чокнутый. А я им всегда говорю: «Я, гражданин следовательно, за бесплатно не работаю, а всегда только за денежки, денежки я люблю, и они у меня в швейцарском банке хранятся под очень большие проценты».

ЭТО УЖ СЛИШКОМ И ОЧЕНЬ СМЕШНО

Так случилось то, что я описал. Как сказано выше, я послал открытое письмо Андропову. Мне позвонили из «Немецкой волны», и я начитал свое письмо на включенный в Кёльне магнитофон. Тогда, в 1975 году, еще не все позволяли себе выступать по западным радиостанциям. Я боялся, что связь прервут, торопился, читал без выражения, проглатывая слова. Но телефон не отключили, и мне самому удивительно было слышать уже тем же вечером свой рвущийся голос, которым я читал текст, обращенный к Андропову. Помня о высказанных мне угрозах, я сказал: «Убийство тоже неплохая оценка писательского труда. Если меня посадят, я не буду возражать, чтобы демонстранты на Западе кидали в наших дипломатов тухлые яйца или гнилые помидоры, что кому больше по вкусу. Если же что-то случится с моими близкими или инкассатор «под мухой» застрелит меня, весь мир будет знать, кто направлял его руку».

Конечно, элемент нелюбимой мною патетики здесь имеется, но иногда бывают в жизни моменты, когда человеку очень трудно от нее удержаться. Я и дальше развил свою мысль в том же духе (о чем выше упоминал): «Я не боюсь угроз, Юрий Владимирович. За меня отомстит солдат Чонкин. В своих драных обмотках он уже пошел по свету, и всем вашим инкассаторам его не победить».

(По крайней мере двум моим сочинениям повезло так, что действие их с книжных страниц перешло прямо в реальную жизнь. В книге Чонкин был атакован сначала районным отделением НКВД и регулярной воинской частью, а в жизни — сначала был КГБ под командованием самого председателя, за чем последовали нападения генералов и маршалов, включая командующего всеми Вооруженными Силами СССР маршала Язова. Такой же эффект с другим романом. В «Москве 2042» персонажи романа хотят вычеркнуть из книги Сим Симыча Карнавалова, а как только книга появилась в Москве конца восьмидесятых годов нашего века, так тут же

раздались требования не книжных героев, а реальных суровых кри-тиков: вычеркнуть Сим Симыча Карнавалова.)

Сочиняя письмо Андропову, я еще не понял, что именно со мной случилось. Кое до чего стал додумываться потом, описал опять происшествие, теперь со всеми подробностями и более обоснованными подозрениями. Передал рукопись Максиму, и тот опубликовал ее в «Континенте» (№ 5) в том же, 1975 году.

Откровенно говоря, я думал, что публикация эта обратит на себя внимание так называемой мировой общественности, но мировая общественность и ухом не повела. Включая всех писателей, к которым я раньше обратился, кроме, если не ошибаюсь, французца Пьера Эмманюэля, это он придумал всех нас, преследуемых в СССР литераторов, кто хоть немного что-то писать умел, принимать во французский Пен-клуб и тем предохранять от пропадания без вести. Старания Эмманюэля оказались не напрасны: ни один из тогдашних российских членов французского Пена в тюрьму не попал.

Что же касается мировой общественности, то она не заметила даже случившегося годом позже убийства Богатырева.

В моем же случае это все-таки не убийство, а так, неизвестно что.

Сами же кагэбэшники несколько забеспокоились. И делали все, чтобы мое заявление дезавуировать. У них были и помощники.

Я не знаю, действовал ли поэт Евгений Евтушенко по чьему-то заданию или сам от себя старался, но в те дни он каждого встречного-поперечного и с большой страстью убеждал, что никто меня не травил (интересно, откуда ж ему это было известно?), всю эту историю про отравление я для чего-то наврал. Зуд разоблачительства по отношению ко мне у него не угас с годами, он через пятнадцать лет после случившегося публично (на заседании «Апреля») и ни к селу ни к городу вспомнил эту историю и опять повторял, что я вру. Неосмотрительно хвастаясь своей осведомленностью: «Поверьте мне, уж это я точно знаю». Не буду говорить подробно о той роли, которую играл этот человек в годы застоя. Возможно, когда-нибудь еще будет написана его биография, а может, даже роман о нем (вроде «Мефисто» Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. «Талант на службе у невежды, привык ты молча слушать ложь. Ты раньше подавал надежды, теперь одежды подаешь». Эти написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому.

Известна его роль посланника «органов» к Бродскому и Аксенову.

Еще в свои молодые годы Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведет в КГБ. Уже в начале перестройки, приветствуя ее, но все еще распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, вспоминал в «Огоньке» о том, как был готов «набить морду» каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве.

Во время моего «диссидентства» Евтушенко очень старался подорвать мою репутацию и ухудшить мое и без того тяжелое и опасное положение, говоря, например, интересовавшимся моей судьбой иностранцам, что я плохой писатель, плохой человек, живу хорошо и их беспокойства не стою. (О том, как вели себя в эти годы купленные на советские «деревянные» рубли видные и морально конвертируемые западные интеллектуалы, тоже стоило бы поговорить, да ладно, в другой раз.)

Евтушенко был не одинок. Одна уважаемая мною писательница говорила каким-то людям, что я помешался и горожу какую-то чушь. Очень многим другим людям (и не только в СССР) этот случай представлялся неправдоподобным, а некоторым даже очень хотелось, чтобы он оказался бредом сумасшедшего или выдумкой спяну.

Интересно, почему все же люди не верили?

Отравление сигаретами неужели столь неправдоподобно, что нельзя его даже предположить? Или наши люди столь недоверчивы? Как же, очень даже доверчивы. Это ж они верили в маршалов-шпионов, инженеров-вредителей, врачей-отравителей, колорадских жуков и сейчас верят в инопланетян, филиппинских целителей, заряженную воду, экстрасенсов и мумие.

Многие поколения психологов разобьют себе лбы, пытаясь понять загадку, почему люди так легко верят в то, чего нет, и не верят в то, что видят перед глазами. Самые несвободные люди в мире верили, что свободнее их нет никого на свете. В стране, где в мирное время в лагерях гибли больше людей, чем в годы войны на фронте, одна из самых распространенных фраз была: «У нас зря не сажают». И вот еще интересно, что дурак дурость свою слепую имеет наглость воспринимать как вид доброты. «Что вы говорите? У нас? Миллионы? В лагерях? Каким надо быть злым человеком, чтобы такое говорить!»

Уж казалось, чего только не делала госбезопасность под всеми своими названиями! Уничтожала людей, как клопов, по любому поводу, в любых количествах, любым способом. «А что, — сказал мне недавно один бывший гэбэшник, — народ и сейчас к слову «чекист» относится с уважением».

Народ не народ, а дураков и сейчас хватает. Ну а еще недавно их было хоть забор из них городи. Что? У нас? Посадили? Убили? Отравили? Не верим.

Дело вроде простое, а поверить трудно. Неужели возможно человека только за то, что он пишет какие-то выдумки, вот так серьезно и с самыми серьезными целями отравить? Может, и сама эта история тоже плод художественного воображения?

Моя американская редакторша Нэнси Майселас, которая привезла мне в Москву известие о своей работе над готовящимся изданием «Чонкина», сказала, что прочла «Происшествие в «Метрополе» перед самым отлетом из Нью-Йорка и на мой вопрос: «Ну и как?» — растянула рот до ушей:

— Вери фанни. То есть очень смешно.

Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были знакомы по личному опыту, приняли мой рассказ всерьез. Юрий Орлов и Андрей Амальрик в моей правдивости не усомнились.

И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и много раз говорила мне, что я ее убедил художественно. (Я-то как раз художественностью своих описаний был очень недоволен.)

А кагэбэшники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. Амальрик, вызванный к следователю в те дни на допрос, спросил, в чем ему лучше прийти — в скафандре или достаточно противогаса? Следователь сказал: «А, вы имеете в виду эту историю с Войновичем? Разве вы не видите, что он сумасшедший?»

Потом было сказано, что я написал злобную клевету на органы. «Клевета», очевидно, оказалась для КГБ весьма чувствительной, и поэтому заместитель председателя Госкомиздата СССР и близкий друг небезызвестного С. Иванько некто Чхиквишвили сказал (мне передали): «Войновичу последний раз дали возможность проявиться как порядочному человеку, но он эту возможность отверг и теперь сдохнет в подвалах КГБ».

(Интересно, как в моем случае должен был проявить себя порядочный человек? Что же касается подвалов, то их, как теперь вроде бы выяснилось, в здании на Лубянке никогда не было, но Чхиквишвили, работавший, вероятно, на более высоких этажах, этого мог и не знать*.)

Но поскольку время шло, моя публикация настоящего внимания не привлекла, кагэбэшники успокоились и подобрели. Проводивший «беседу» с Б. Сарновым чекист сказал: «Войнович написал на нас пародию, но в нее никто не верит».

Сами гэбисты в мою «пародию» все-таки верили. Юрий Идашкин, взявшийся в 1980 году быть посредником между мною и КГБ по поводу моего отъезда за границу (о нем подробнее когда-нибудь тоже расскажу), сказал мне, что люди, которые меня отравили, были наказаны. Разумеется, не за то, что отравили, а за то (я так думаю), что «засветились». Я спросил его: «А зачем они это сделали?» «Ну мало ли, — отмахнулся он, — мало ли, что выдумает какой-нибудь старший лейтенант».

* Недавно я прочел отрывок из мемуаров А. Чаковского, где написано, что Чхи (так звали этого человека в его кругу) «был хороший доброжелательный человек... когда он стоял перед необходимостью (интересная перед некоторыми возникает необходимость... — В.В.) сделать журналисту добро или зло, Чхи выбирал добро».

ТОТ, КОТОРЫЙ ВО МНЕ НЕ СИДИТ

Но версию самовольства нижних чинов я отмел сразу. Мне было ясно, что тот человек, именовавший себя Петровым, не был старшим лейтенантом. Он назвался начальником отдела, а это должность, по крайней мере, полковничья, если не генеральская. Представляя себе более или менее чиновничью психологию, я не мог поверить, чтобы такой человек в присутствии подчиненного назвал себя чином выше, чем он есть на самом деле. И то, что это был достаточно большой чин, говорит о важности того, зачем он пошел в «Метрополь».

Я с самого начала думал и утверждал устно и письменно, что эта «операция» была разработана на самых кагэбэшных верхах и одобрена, по крайней мере, лично Андроповым. Вовсе не из тщеславного желания быть лично известным главному полицаяу, а потому, что (для меня это было косвенным доказательством происшедшего) с некоторых пор партийные верхи, опасаясь за самих себя, все террористические акции гэбистов держали под строгим контролем. Это, с одной стороны, давало им гарантию того, что террор не дотянется до них самих, но, с другой стороны, создавало то неудобство, что вынуждало их всех по правилам круговой поруки брать ответственность на себя.

Вот и здесь «операция» была такого рода, что ни о какой инициативе старших лейтенантов речи быть не могло. И если акция была террористического характера, она не могла быть предпринята вне непосредственного контроля лично Андропова. Так что, появившись в нашей истории тень этого монстра, ее можно было бы считать хотя и немой, но достойным доверия свидетелем с нашей стороны (забегу вперед: на каком-то этапе нашего повествования тень Юрия Владимировича не только появится, но даже заговорит).

Мои тогдашние рассуждения привели меня к тому, что если даже конечной целью отравления было не убийство, то что-нибудь все-таки более зловещее, чем, предположим, одурманивание в надежде запугать или вызвать болтливость. Было покушение если не на жизнь, то на психику. На личность. А мне моя личность, правду сказать, всегда была дороже моего физического существования. И вовсе не по причине самовлюбленности. Будь у меня возможность участвовать в конструировании себя самого, я бы кое-какие (многие) параметры изменил в сторону улучшения. Но поскольку этой возможности нет, моя задача — остаться самим собой. В каждом человеке помимо инстинкта самосохранения, сохранения себя как биологической единицы, есть инстинкт самосохранения личности. У одного больше развит один инстинкт, у другого — другой. У меня другой. Я это познал в процессе своего жизненного опыта. Начиная с мелочей. Я встречал много людей, у которых инстинкт № 2 очень ослаблен. Такие люди без всякой натуги исполняют любые желания государства, начальников или хозяев и при малейшей

необходимости отказываются от самих себя, легко меняя имя, национальность, религию и партийную принадлежность. Не говоря уже о принципах и убеждениях. За границей мне встречались супружеские пары, которые, торопя свое превращение в американцев, даже в общении между собой переходили на ломаный английский язык, хотя это бывало преждевременно и смешно. Мне такая готовность к превращениям всегда была крайне чужда, а когда меня к ним понуждали, инстинкт мой противился и отказывался вникать в доводы разума. Временами он настолько портил мне жизнь, что я пытался его игнорировать, но потом понял, что инстинкт умнее я и раз он так хочет, значит, знает, что делает.

Человеческая личность представляет собой сложнейший сплав элементов с самыми разнородными свойствами. Изменить формулу этого сплава трудно и даже невозможно, если человек по тем или иным причинам сам этому не способствует. Но если способствует, то результаты превосходят все ожидания. Сколько мы видели случаев, когда кто-то, в угоду обстоятельствам, из соображений выгоды или страха, сам себя ломая, изменяет свое поведение, и на наших глазах происходит распад личности катастрофический и трагедийный. Разложить личность только внешними силами раньше было совсем невозможно, но теперь на помощь этим силам пришла наука, которая может все.

Сейчас в российской печати появились (например, статья Владимира Щепилова «Тот, который сидит во мне» в «Независимой газете» от 19 ноября 1991 года) сведения о преступных опытах по воздействию на психику отдельных индивидуумов с целью превращения их в «зомби», то есть в как бы прежних людей, но лишенных некоторых важных личностных характеристик. Поведение зомбированных людей можно программировать (кстати, описывая 18 лет тому назад выполнение мною заранее намеченной программы — нафталин, пиво, — я о подобных опытах ничего не слышал). Владимир Щепилов пишет, что среди шпионов-«возвращенцев» были обнаружены люди, подвергшиеся программированию психики. Щепилов пишет (и другие авторы тоже), что программирование осуществляется с помощью комплекса мер и средств; в дело идут химия, радиация, гипноз. Причем для полного успеха нужно несколько сеансов (вот, может быть, почему Петров приглашал меня прийти к нему через две недели).

Отвлекаясь в сторону, скажу то, что зомбированием писателей советская власть занималась и до изобретения всех чудес радиохимии. Если «Тихий Дон» написан действительно Михаилом Шолоховым, то ничтожный старик, который умер под этим именем, был зомбирован, возможно (а впрочем, химия — наука немолодая), такими простыми средствами, как водка, страх, лесть, деньги и привилегии, — все в безумных количествах. И не только Шолохов. Горький по возвращении из-за границы неуклонно и катастрофически превращался в полного дурака и отравлен был, может быть,

потому, что глупость его все-таки не достигла запланированного предела. Есть и другие писатели, с течением времени утратившие талант и поглупевшие столь противоестественно, что невольно возникает мысль (сумасшедшая?): а не направлялось ли это поглупение опытными в подобных делах специалистами?

Возможно, попытка ускоренного зомбирования была предпринята по отношению и ко мне. Через сигареты ли, начиненные наркотиком? Вероятнее всего, да, но что же тогда случилось со мной, когда я потянулся к выпавшему из рукава микрофону?

Мне один западный врач тоже высказывал подозрение на ЛСД и говорил, что определенная доза этого наркотика может нанести повреждение психике при однократном приеме, но насколько он прав, не знаю, да и применение ЛСД — это не факт, а всего лишь предположение. Может, на меня воздействовали еще каким-нибудь способом. Я вот, например, не знаю, что скрывалось в описанном мною номере 480 там, в углу, за занавесками. Люди? Специальное оборудование? Или и то, и другое?

Выше сказано, что прямые симптомы отравления я ощущал примерно шесть дней. Говорить о других последствиях очень рискованно, но я не имею права упускать никаких подробностей, подозрений и соображений. Так вот, другие последствия, как я предполагаю, но точно утверждать не могу, продолжались гораздо дольше, может быть, даже несколько лет. Перед тем как меня отравили, я активно и, как мне казалось, успешно работал над «Чонкиным», но после происшествия в «Метрополе» и в течение долгого времени моя работа шла значительно хуже, я терял нить сюжета, одни и те же сцены переписывал без конца, ни на одном варианте не мог остановиться и вообще топтался на месте гораздо больше, чем раньше. О чем, очевидно, наблюдавшие за мной гэбисты были осведомлены, поскольку мои рукописи, как я понял потом, хранились в очень доступном для них месте.

Творческий процесс — дело таинственное, подъемы и спады в нем случаются и без участия секретной полиции, поэтому я не настаиваю на том, что упадок, наступивший в моей работе, был прямым результатом воздействия на меня какими-то средствами в гостинице «Метрополь», но, раз уж начал, выскажу все подозрения, какими бы странными они ни казались. Подчеркиваю: подозрения, а не утверждения.

В 1980 году, соглашаясь покинуть СССР, я поставил властям условие, что моя кооперативная квартира будет передана родителям моей жены, а до того и до моего отъезда в ней будет восстановлена телефонная связь. Переговоры мои велись через посредника, которого звали Юрий Идашкин, а кто стоял за ним, я не знаю. может быть, тот же Андропов. Условия мои были приняты с легкостью, которая только поначалу показалась мне удивительной. Условия были приняты, но на рассвете 21 августа мать моей жены Анна Михайловна умерла в больнице от сердечной недостаточности.

Двумя часами позже весть была сообщена ее мужу Данилу Михайловичу, и он на выходе из подъезда тоже умер (не с посторонней ли помощью?). Вечером того же дня со мной случился приступ неизвестно чего. Сердце? Мозг? Нервы? Самые квалифицированные врачи так и не нашли ни источника, ни причины. Подобные симптомы (слабые, в виде некоторого неудобства при засыпании) я впервые ощутил в ночь на 5 августа, но 21 августа разыгрался сильнейший приступ: дыхание останавливалось, и давление прыгало ежеминутно от верхнего критического предела до нижнего, и так продолжалось несколько ночей подряд, а потом в течение лет время от времени (и всегда по ночам) повторялось, а диагноза нет и поныне. А за границей вначале были случаи, когда, выступая перед публикой, я вдруг совершенно забывал, о чем хотел сказать, и это было очень мне несвойственно, потому что я выступать умею. Впрочем, можно предположить что-нибудь и попроще. Анна Михайловна умерла от сердечной недостаточности, Данил Михайлович от внезапного шока, а мои приступы развились на фоне нервной перегрузки (она, конечно, была).

Так или нет, я не знаю, но следует признать, что в любом случае кагэбэшники кое-чего добились. Хотели помешать окончанию «Чонкина», и так ли, сяк ли, а помешали. С тех пор прошло восемнадцать лет, а книга все еще не дописана. Что-то мне мешало ее закончить. Хотя, надеюсь, никто посторонний во мне все-таки не сидит, поскольку мне во мне для меня самого места мало.

УБИЙСТВО ТУРИСТА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Умные люди мне говорили, что тогда, в 1975 году, я повел себя неправильно. Пошел по звонку, не потребовал от Петрова и Захарова предъявления документов, согласился на встречу в гостинице, сигареты выложил на стол, картину смотрел и не подумал оглянуться, растяпа.

Все так, поступил я во всех смыслах неправильно, потому и остался жив. Видя, что я веду себя очень неправильно, они решили, что со мной можно провести неспешный эксперимент, в процессе которого я им помогу угробить себя самого чисто. Если б я их такой надежды сразу лишил, они бы придумали что-нибудь попроще да эффективней, вроде бутылки, которую истратили на Костю Богатырева.

Ну а после такой накладки доделать свое дело они все-таки не решились. Потому что тут уж кто-нибудь (допустим, Андропов) должен был взять на себя ответственность полную. Он бы, пожалуй, и взял, но мог и опасаться, что в случае дворцовых интриг или, не дай Бог, нового возвращения к ленинским нормам социалистической законности кто-нибудь пожелает предъявить ему столь замечательный компромат. Так что в данном случае мокрое дело

было отменено, хотя планы подобные, насколько мне известно, в КГБ и дальше проигрывались и были в конце концов оставлены не раньше чем через пять с половиной лет, то есть только после моего отъезда в чужеземство, где я прожил много долгих лет в ожидании больших перемен на нашей туманной родине.

Осенью 1989 года я переселился на год в Вашингтон и издалека следил за развитием событий в России, в нетерпеливом предвкушении дня, когда наконец тамошняя перестройка дойдет до возвращения мне и другим гражданства и возможности вернуться.

Я думал не только о самом возвращении, но о разных его аспектах, в числе прочих о том, как бы мне все-таки проникнуть в загадку своего отравления. Для меня это было важно. Больше того, временами я думал, а стоит ли мне вообще возвращаться, пока эта история не открыта и не закрыта. Я надеялся, что приближается время, когда мне удастся докопаться до сути, и очень рассчитывал на встречу с человеком, который о моей истории в эти годы тоже, кажется, думал и мог иметь ценные соображения.

Границы СССР тем временем постепенно дырявились, я сам побывал уже с краткосрочной визой в Москве, советские туристы валом валили на Запад, в аэропорту имени Кеннеди звучала русская речь, наступил период неразборчивого братания всех со всеми, без разделения на советских и антисоветских, о чем с изумлением, возмущением и восторгом писала эмигрантская газета «Новое русское слово».

Проглядывая эту газету, я однажды наткнулся на заметку под названием «Убийство туриста» Сперва я даже внимания не обратил: ну убили и убили. В Нью-Йорке всегда кого-нибудь убивают. Я стал читать что-то другое, а уж потом, не зная, чем дальше себя занять, вернулся к этой заметке. Обыкновенная история. Приезжий из Советского Союза возвращался поздно из очередных гостей. (Как выяснилось, рассуждая при этом, что слухи о криминальности Нью-Йорка слишком преувеличены.) В подъезде двое бандитов с револьверами напали на его жену, стали вырывать сумку, а он сделал то, от чего полиция настойчиво предостерегает, — кинулся на помощь жене. И тут же получил две пули в грудь, от которых по дороге в госпиталь умер. В заметке указывалась и фамилия погибшего. Она меня не заинтересовала. Обыкновенная и очень распространенная русская фамилия. Я перевернул страницу и стал читать объевления: советские писатели выступают в гостинице «Дорал Инн», дешевые кондоминиумы на Оушн Парквэй, доктор Оселкин лечит и удаляет зубы, «Вы можете себе позволить самое лучшее» (определение беременности и аборт) и Джек Яблоков, еврейский похоронный дом, самые низкие цены... Но в голове у меня вертелась фамилия убитого туриста, я опять обратился к заметке, прочел еще раз: Аркадий Новиков, врач из Москвы, сорока семи лет... и только сейчас сообразил: батюшки, да это же он! В памяти сразу возник худощавый молодой человек в полосатой рубашке с рас-

стегнутым воротом и в очках с увеличительными линзами. Хотя в эти годы я о нем вспоминал, и не раз, но помнились только слова, а зрительного образа не возникало. А тут выплыл из памяти, как живой, и даже как будто заговорил: «Теперь расскажите про ваш необычный случай».

Тут некоторые проницательные читатели выйдут на след: важный свидетель, КГБ, длинные руки... но след этот ложный. Аркадий Новиков был для меня свидетелем важным, но КГБ в данном случае вне подозрений. Просто совпадение обстоятельств, говорящее, впрочем, о том, как много насилия совершается в мире.

МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО

А я, между прочим, мысли о дополнительном расследовании давней истории не оставлял.

Недоверие к моему рассказу об отравлении высказывалось разными людьми, и не только такими, кого я мог зачислить в разряд бесчестных. Оно меня в некоторых случаях ранило, а в других оскорбляло, но дело было не только в этом. А еще и в том, что с некоторых пор террористические акции КГБ проходили без всякого отклика. Существовало даже мнение, что упомянутое мною убийство Степана Бандеры было последним актом физического устранения политических противников советской власти. Возможно, это мнение справедливо для заграницы, где агенты КГБ стали слишком часто сдаваться и устраивать скандальные пресс-конференции (тот же Богдан Сташинский, а за несколько лет до него капитан КГБ Николай Хохлов, посланный в Германию, чтобы убить одного из руководителей НТС Георгия Околовича, но отказавшийся от своего намерения и сдавшийся американцам. После чего, кстати, сам ставший жертвой покушения. Выпил где-то чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барием и был вытаснен с того света американскими докторами). Так что заграничный террор был сопряжен с большим политическим риском. А внутри страны какой риск? Здесь агенту если уж поручат убить, он убьет, ему сдаваться *здесь* некому, а *там* он не бывает, поскольку невыездной.

А всякое расследование (да кто на него решится?) можно на любом этапе прекратить или завести в тупик. Вот и имели место происшествия, которые, конечно, могли произойти с кем угодно, но почему-то с теми, кем советская власть была недовольна, они случались чаще, чем полагалось бы по статистике. Какого-то человека после посещения Сахарова скинули с поезда, Виктора Попкова застрелил инкассатор, другой художник, Евгений Рухин, сгорел в своей мастерской, Константину Богатыреву проломили череп бутылкой, а Александру Меню уже в перестроечные времена — топором. Но опять-таки вспомним о достижениях химии. Бандера — синильная кислота, Хохлов — радиоактивный барий, зонтик, убив-

ший болгарина Георгия Маркова, был заряжен пулей, отравленной веществом, называемым ризин. А еще была серия непонятных ожогов, от которых пострадали Александр Солженицын, французский профессор Жорж Нива, в Москве — еврейский отказник Лев Рубинштейн, в Ленинграде — Илья Левин. Ожоги загадочные, а кто это сделал? И вот представьте себе, в свое время Солженицын, едва не умерший от ожога, предположил бы, что это дело рук КГБ, как бы отозвались наши доверчивые сограждане? Чокнулся писатель, крыша поехала, везде ему мерещится злобещая рука КГБ.

Об истории своего отравления я после тогдашних своих заявлений четырнадцать лет не поминал, но с тех пор, как открылись для меня вновь границы Отечества и отменилась цензура, снова попытался привлечь к нему внимание. Рассказал сначала по радио «Свобода», потом в журнале «Искусство кино», потом в интервью «Известиям» и ждал, что КГБ как-нибудь отзовется. Не могут же они этого не заметить. Пусть ответят как угодно, хотя бы разразятся опровержением. Еще я надеялся, что кто-нибудь причастный в порядке личного раскаяния, по пьянке или иной причине позвонит, пришлет письмо, пусть даже анонимное. Ну хоть какой-то отклик должен же был быть. Но его не было.

Не оставляя своих попыток, я в журнале «Столица» (№ 2, 1992) писал: «Тогда, в 1975 году, допрашивавшие меня наследники Дзержинского говорили, что они не такие, какими были чекисты сталинского образца. Нынешние наследники Андропова уверяют нас, что и они, в свою очередь, не такие, как те, которые травили диссидентов. Ну вот, если не такие, пусть раскроют хотя бы дело, о котором я рассказал. Пусть опубликуют необходимые материалы и ответят на такие примерно вопросы: какая именно операция проводилась 11 мая 1975 года в номере 480 гостиницы «Метрополь»? Какие при этом применялись средства? Кто были ее организаторы и исполнители? Какую цель они ставили перед собой и чего достигли?

Я прошу лично руководителя службы госбезопасности России и парламентские комиссии по контролю над этими службами не оставить мой рассказ без внимания, расследовать тот давний случай покушения на мою личность и обнародовать результаты расследования. Речь, подчеркиваю, идет, возможно, об опытах, которые не только представляли опасность для нашего общества в прошлом, но могут быть еще опаснее в будущем».

И на этот раз никакого отклика. Ну просто ни единого, кроме как от того же Евтушенко, который, как мне сказали, звонил главному редактору «Столицы» А. Мальгину и угрожал ему (почему бы не мне?) судом за клевету. Мальгин, очевидно, обеспокоенный этим звонком, написал в своем комментарии, будто я прозрачно намекаю на сотрудничество Евтушенко с «органами». На самом деле я совершенно ни на что не намекаю, а привожу конкретные факты. При этом меня, правду сказать, не очень-то занимает, состоял Евтушенко в каких-нибудь кагэбэшных списках или, как я

уже сказал, сам от себя старался. Как говорит одна моя знакомая, мне не нужно знать, в каком отделе и в каком чине работает человек, и не нужно видеть его служебное удостоверение, когда весь мой организм им брезгует.

А все-таки почему же не ответили на мой такой прямой призыв наши новые (обновленные) «компетентные органы»? Не читают журналов? Не заметили этой публикации? Или решили, что речь идет о чепухе, не достойной ответа? Если бы они не считали себя ответственными за прошлое и прочли мою публикацию, то естественной их реакцией было бы проверить, не лишнего ли автор наворотил, и затем отозваться заметкой: факты подтвердились или не подтвердились. Но молчание, оно, как известно, золото и само по себе тоже кое о чем говорит.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

В попытке найти инстанцию, которая мне поможет добраться до моего досье, я обратился к моему старому другу адвокату Борису Андреевичу Золотухину, который в бывшем Верховном Совете России занимал очень важную должность (какую именно, я все забываю). А через его поспешество вышел на Сергея Михайловича Шахрая, в то время помимо выполнения прочих обязанностей контролировавшего КГБ, или по-теперешнему МБ (министерство безопасности), причем контроль, как выяснилось, был мнимый.

Договорившись предварительно с Шахраем, я явился к нему на прием, но впереди себя послал 21 февраля 1992 года письмо, в котором просил оказать на КГБ — МБ воздействие, чтобы они рассказали, какая именно операция, кем и по чьему указанию проводилась со мной в гостинице «Метрополь» 11 мая 1975 года, и выдали мне все мое досье.

Признаюсь, на назначенную встречу я шел с большим волнением. Я, конечно, думал, что я прав и добиваюсь правды, но все же время от времени и у самого закрадывалось сомнение. Ну а все-таки не показалось ли мне это на самом-то деле? Ну да, я, как мне кажется, не очень мнительный человек, и как-то не похоже, чтобы прямо так сразу мог помешаться ни с того ни с сего, но как-никак это был необычный и единственный для меня жизненный опыт. Может, и в самом деле, страх, который сидел во мне глубоко, в котором я самому себе не хотел признаться, дал такую острую и незаурядную реакцию?

Вот, предполагал я с опаской, приду к Шахраю. Выйдет он в приемную, пригласит к себе в кабинет, а там на столе — толстая папка с подшитыми аккуратно листами. Откроет эту папку на нужной странице, а сам отвернется, испытывая неловкость от конфуза, в который приходится ввергать столь достойного и седого человека, как я.

Я прочту какие-то бумаги, из которых сразу станет совершенно ясно, что на самом деле не было ничего, кроме большого испуга.

Сесть в такую лужу было бы ох как неприятно, но я сам себе твердо сказал, что приму правду такой, какая она есть. Если бы даже выяснилось, что и в самом деле мне мое отравление примерещилось, это все равно не оправдало бы нисколько подонков, угрозами доводящих мирных людей, пусть трусливых, слабых и мнительных, до сумасшествия или (как это случалось с некоторыми прямо на допросах) до инфаркта.

Но в лужу меня пока что никто не посадил. У Шахрая на столе никакой папки не оказалось.

— Письмо ваше я прочел, — сказал он мне. — И очень хотел бы вам помочь. Но дело в том, что я сам еще не видел ни разу ни одного досье. Буду рад взглянуть хотя бы на ваше. Но чтобы добыть его, моего влияния мало. Тут нужен сам президент. Напишите короткое письмо Борису Николаевичу, а я ему передам. И если последует его резолюция, то уж ему отказать будет трудно. Тогда вы будете первым человеком, увидевшим свое досье.

Признаться, слова Шахрая меня удивили. Что ж это за контроль над КГБ, если человек, уполномоченный на это дело президентом страны, не может своей властью добыть хотя бы одно досье?

Тут же, в приемной Шахрая, я написал короткое письмо Ельцину. И стал ждать с волнением и любопытством. Какотреагирует Борис Николаевич и еслиотреагирует в желательном для меня духе, то что станется после этого?

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней мне позвонили из какого-то околопрезидентского кабинета и сказали, что есть — есть! — резолюция президента. Мне ее тут же прочитали по телефону, и вот она в том виде, в каком мне запомнилась: «В.П. Баранникову. Надо В.Н. Войновичу материалы показать».

Радости моей не было границ. Президент подписал, президент предписал, президент указал. Не кто-нибудь, а сам президент. Теперь они у меня не отвертятся. А впрочем, зачем им вертеться? Ведь этот Баранников, насколько я понимаю, из тех, которые пришли после путча. То есть свой человек и, конечно же, демократ. К тому же он, как я читал в наших постсоветских «желтых» газетах, ходит вместе с Ельциным в баню и там трет ему спину, ничем практически не защищенную. И уж, наверное, если он столь высоким доверием облечен, то и указания президента для него что-то значат.

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Наша история обогащается появлением в ней еще трех персонажей, нынешних работников того же самого заведения, которое теперь называется не КГБ, а МБ — министерство безопасности (что в лоб, что по лбу). Поначалу я не хотел называть имена этих людей,

но не вижу возможности и необходимости этого избежать. Тем более что они были мне представлены официально и никаких услуг, достойных сокрытия, мне не оказывали.

16 марта в моей новой московской квартире раздался звонок:

— Владимир Николаевич, здравствуйте, с вами говорит сотрудник Министерства безопасности России Краюшкин Анатолий Афанасьевич. Мне поручено ответить на ваше письмо президенту. Я готов это сделать. Как, вы к нам приедете или я к вам?

Я сразу все понял. Если он ко мне, значит, приедет с пустыми руками. А мне он пустой не нужен.

— Конечно, я к вам, — сказал я.

И вот опять приемная КГБ — МБ на Кузнецком мосту. Кажется, только номер дома изменился. Был 24, а теперь 22.

Принимали меня, естественно, двое. Сам Краюшкин (кажется, он начальник архива этого самого МБ) и младший, его заместитель Сергей Сергеевич Нагин, которого по молодости лет сослуживцы зовут просто Серегой.

На столе перед Краюшкиным лежала тонкая желтая папочка без какой бы то ни было надписи. «И это все?» — подумал я с невольным разочарованием. Вспомнилась строчка из стихотворения Степана Щипачева о датах рождения и смерти: «И краткое тире, что их соединит, в какой-то миллиметр всю жизнь мою вместит».

Тут же папочка была развернута, и за нею открылись две бумаги, которые воспроизведем полностью.

Вот первая.

секретно
(гриф секретности)

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления «З»

КГБ СССР

(должность)

(звание)

(фамилия) (подпись)

«24»-X-1990 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении архивного дела оперативной разработки № 34840 «27» сентября 1990 г. Я, начальник отдела действующего резерва КГБ СССР, рассмотрев материалы архивного дела оперативной разработки 34840 «ГРАНИН»

Нашел: ДОР «Гранин» заведено в 1977 году. В 1980 году «Гранин» с семьей выехал в ФРГ и Указом Президиума Верховного Совета СССР за свои действия за границей был лишен советского гражданства. В октябре 1982 года дело было прекращено. В настоящее время материалы дела исторической и оперативной ценности не представляют.

Постановил: ДОР № 34840 «Гранин» в десяти томах (тт. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) уничтожить, как не представляющие исторической и оперативной ценности.

«СОГЛАСЕН»

Начальник 8 отдела Управления «З» КГБ СССР

(подпись)

(фамилия)

Всего лишь один лист бумаги. И так мало текста. А как много он говорит! Три начальника над этой бумагой работали — один составлял, другой подписывал, третий утверждал. Как фамилия? — хотел бы я узнать про каждого, но фамилии нет ни одной. Аккуратно (не очень) вымараны. В самом низу охвостья еще каких-то недотертых подписей, и только одна сохранилась закорючка, похожая на целую подпись.

Есть вопрос: почему Гранин? Существует же настоящий Даниил Гранин, почему они мне дали его имя, а не, допустим, Бондарева, или Распутина, или кого еще. Почти всем, кому я потом эту бумагу показывал, приходила в голову близлежащая шутка, что Гранина они, очевидно, называли Войновичем.

Одного даже взгляда на эту бумагу достаточно, чтобы заметить, насколько она лжива. Как ни странно, именно это меня и обрадовало. Если в бумаге ложь по мелочам, то, может быть, и главное утверждение об уничтожении дела тоже ложно.

Следующее постановление на таком же стандартном бланке написано от руки, странным, неестественным и, может быть, даже специально отработанным почерком. Здесь правый верхний угол вообще убран — никаких грифов, утверждений, званий и фамилий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об уничтожении оперативной подборки № 26189 «20»—VIII—1991 г. Я, нач. 1 отделения 8 отдела Управления «З» подполковник, рассмотрев материалы оперативной подборки № 26189

Нашел: ДОР ОП № 26189 заведена в мае 1989 года, систематизированные в ней материалы не представляют сегодня ни оперативной, ни исторической ценности (как-то, в основном, материалы радиоперехвата).

В ОСК: Войнович Владимир Николаевич по спецподборке № 26189
Постановил: ОП № 26189 в четырех томах (тома № 1, 2, 3, 4)
уничтожить путем сожжения. Постановление и акт об уничтожении
направить в 10 отдел КГБ СССР для снятия с учета.

(подпись)

«СОГЛАСЕН»

(должность, отдел — управление, звание)

Фамилия составившего документ подполковника не указана, но внизу, где должна быть подпись составителя, стоит знакомая закорючка. И она же на обратной стороне листа, где написано той же рукой:

А К Т

Мы, комиссия в составе нач. 1 отделения 8 отдела Управления «З» КГБ СССР подполковника Сергеева В.А., зам нач. того же отделения майора Засорина С.В. и ст/о того же подразделения майора Калёкова Б.В., составили настоящий акт в том, что 20 (двадцатого) августа с.г. нами уничтожена путем сожжения оперативная подборка № 26189 в четырех (тома № 1, 2, 3, 4) томах.

Дальше подписи. На первом месте все та же закорючка, теперь ясно, что это — вышеупомянутый полковник Сергеев. Его же подпись и у нижней кромки первого постановления.

Дело, однако, не в Сергееве (мне его фамилия ничего не говорит), а в соображении, которое у меня возникло чуть позже.

А пока, едва глянув на первый же документ, я сразу понял, что это попытка того, что в народе называется вешанием лапши на уши.

— Анатолий Афанасьевич, — сказал я, — вы что, проверяете мои умственные способности?

— А что такое? — спросил Краюшкин.

— Я не могу поверить этой бумаге, потому что это самая настоящая липа.

— Почему вы так думаете? — Краюшкин напряженно улыбался, но изобразил готовность развеять мои недоумения.

Я ему объяснил, что здесь даты и те лживые. Дело на меня было заведено наверняка не в 1977 году, а значительно раньше.

Начиная с 1966 года я подписывал письма в защиту разных людей. В 1968 году получил за это строгий выговор в Союзе писателей. В 1969 году была опубликована первая часть «Чонкина», за которую в 1970 году был вынесен второй строгий выговор с последним предупреждением. В 1974 году я был исключен из Союза писателей. Неужели все эти события прошли мимо глаз и ушей КГБ?

Но если даже и так, то вот уж эта история с моим отравлением никак не могла оставить КГБ равнодушным. Пусть я сошел с ума, или мне показалось, или я все выдумал, но мною по этому поводу был устроен большой шум. Я собрал пресс-конференцию, говорил об этом во многих своих интервью, в том числе и записанном на магнитофон и тут же переданном на весь Советский Союз «Немецкой волной», подробный отчет об этом опубликовал в «Континенте». Фактически я обвинил КГБ в террористическом акте.

— Вы, — сказал я Краюшкину, — хотите, чтобы я вам поведал, что к таким обвинениям КГБ остался совершенно глух?

— Ну возможно, на вас собирались какие-то отдельные материалы, но специального дела не было. Если вы нам не верите, у вас есть другая возможность высказать свои сомнения. Замминистра Василий Алексеевич Фролов готов вас принять и выслушать.

Краюшкин позвонил Фролову и договорился. Затем было высказано соображение, что перейти в другое здание лучше внутренним ходом, чтобы люди с улицы нас не видели. Не знаю, обычные ли это меры предосторожности или из прошлого опыта втягивания клиента: сделать вид, что он вместе с ними и заодно делает что-то потайное, что от людей надо скрывать.

Тем не менее мне было любопытно.

Прапорщик открыл своим ключом заднюю дверь, и из обыкновенного на вид учреждения в самом центре Москвы сразу попал я в тюремный двор с высоким забором, с батареей прожекторов наверху. Через двор прошли в новое большое здание КГБ, выстроенное рядом с самым главным. Пройдя по каким-то коридорам, оказались в просторной приемной, а потом и в самом кабинете замминистра с большими портретами Ленина и Дзержинского.

Невысокого роста седоватый человек лет пятидесяти, выйдя из-под портретов, протянул руку:

— Мне сказали, что вы чем-то недовольны.

— Я недоволен тем, что меня с самого начала пытаются провес-ти на мякине.

— А что такое?

— Я не верю, что мое дело уничтожено.

— Разве вам не дали постановление?

— Постановление дали. Но если оно лжет по мелочам, почему я должен верить, что оно не врет вообще?

— А почему вы думаете, что оно лжет?

Объясняю конкретно. Вижу, он быстро прикидывает, стоит ли держаться версии Краюшкина, и решает, что не стоит.

— Да, — говорит он решительно, — да, здесь, пожалуй, что-то не то. Какой здесь год? Семьдесят седьмой? Нет, конечно, что-нибудь должно было быть раньше.

— Ну да, — держится за собственную версию Краюшкин, — раньше какие-то материалы тоже могли на вас собираться. Но дело открыто не было. Просто, может быть, отдельные материалы время от времени собирались и складывались.

— А куда складывались?

— В какую-нибудь папочку.

— Но она, эта папочка, наверное, как-нибудь называлась?

— Почему вы думаете, что она обязательно должна как-нибудь называться?

— Разве у вас есть хотя бы одна папка, которая не имеет никакого названия?

Краюшкин дергается что-то сказать.

— Ну ладно, — останавливает его замминистра. — Ты же видишь, он все понимает.

— Правильно вы заметили, — говорю, — он все понимает. Во всяком случае, кое-что понимает. Обмануть его, конечно, можно, но для этого надо как-нибудь постараться, а не так вот просто.

— Но надеюсь, про меня вы не думаете, что я с вами хитрю?

— Как вам сказать? Откровенно говоря, я был бы очень удивлен, если бы на вашей должности обнаружил бесхитростного человека.

— Тем не менее лично я вас обманывать не собираюсь. Я вообще пришел из МВД.

— А разве вы не конструктор?

— Нет. А почему вы думаете, что конструктор?

— Так мне показалось. Но извините. Значит, вы пришли из МВД, и что?

— Я пришел из МВД, и на мне грязи нет. И мне незачем скрывать те безобразия, которые здесь творились. И мы не скрываем. У нас нет никаких секретов.

В это утверждение я тоже позволил себе не поверить: секретная служба без секретов — это абсурд.

— Но я, — сказал я Фролову, — во все ваши секреты проникать не собираюсь. Меня в настоящий момент интересует только собственное досье. Если оно даже и правда уничтожено, то следы того, как КГБ работал со мной, должны оставаться в каких-то других документах.

Краюшкин иронически улыбается.

— Видно сразу, что вы не понимаете принцип хранения секретных документов. Секретные документы одного назначения, во избежание утечки, всегда складываются в одну папку, а не в десять.

— Да-да, — подтверждает чистый Фролов, — именно так. Всегда в одну папочку.

— Этого не может быть, — говорю я. — Никак не может быть. Каждое дело обязательно с другими делами так или иначе пересекается. Кроме того, есть какие-то побочные документы, распоряжения, например, направить на слежение за объектом «Гранин» таких-то людей (фамилии), выделить столько-то автомобилей (номера), выдать талоны на бензин (количество литров), выписать на отравление «Гранина» шестьдесят граммов крысиного яду. Или что-нибудь в этом духе. Что же, я вас буду учить? Ну например, вот комната в «Метрополе» номер 480. Ведь она где-то у вас в каких-то бумагах тоже фигурирует. Ее же снимали, оплачивали, оборудовали. Неужели все это было вложено в папочку «Гранин» и там сгорело?

Василий Алексеевич улыбается.

— Поверьте, здесь вас никто обманывать не собирается. Мы в прошлом не виновны и в сокрытии его не заинтересованы.

— Если не заинтересованы, поройтесь в ваших архивах или дайте я пороюсь. Уверяю вас, я очень быстро найду то, что нужно. А если не можете найти нужные документы, вызовите людей, о которых я написал, их-то, я надеюсь, вы еще не сожгли.

Тут и Фролов и Краюшкин оба замахали руками.

— Что вы говорите? Это же было так давно! Где мы этих людей найдем? Да они же наверняка представлялись не своими фамилиями (как будто я думал, что своими). А сколько им было лет? Ого! Да они если даже и живы, давно уже на пенсии. Не только Петров, но и Захаров. У нас работа вредная, у нас рано на пенсию уходят. В пятьдесят пять лет. (Вот как им вредно было с нами работать. Им пенсию за нас дают рано, а нам за них нет.) Ну где, где их искать?

Бесхитростный Фролов сделал честное лицо и изобразил ужимку, означающую, что он готов хоть сейчас лично отправиться в сложный поиск, но где же, где же ориентиры?

— Если вы сами не знаете, где искать этих людей, мне придется вам подсказать. Хотя мне даже неудобно. Я ведь никаких сыщицких школ не кончал. Это вы их кончали. Так вот, найти этих мерзавцев можно многими способами, и первый, который мне, невежде, сразу приходит в голову: через отдел кадров. Там же личные дела ваших сотрудников хранятся или и их сожгли?

— Неужели все личные дела перебирать?

Даже для начинающего милиционера вопрос слишком наивен.

— Зачем же все? Я повторяю: главный из моих отравителей сказал, что он начальник отдела. Я думаю, что он в такой приблизительно должности и пребывал. Может быть чуть-чуть повыше. Если вы попробуете выяснить, кто занимался диссидентами, кто

занимался писателями, и в частности мной в мае 1975 года, то в конце концов у вас останутся одна, две, ну три максимум кандидатуры. Дайте мне фотографии, и я тех подонков обязательно опознаю. Я их очень хорошо помню.

В конце концов было обещано, что поиски будут продолжены, хотя и без особой надежды на положительный результат.

Мне ничего не осталось делать, как дать им возможность еще поискать. Хотя я, конечно, предполагал, что поиски зарытой собаки будут идти как можно дальше от места возможного захоронения.

Раз уж я сюда попал, я спросил, нельзя ли заодно поискать дело моего отца, который пять лет, с тридцать шестого по сорок первый, сидел. Тут они все трое охотно откликнулись; искать дело отца им гораздо приятнее, чем мое собственное.

— Но при этом вы, пожалуйста, не думайте, что одни поиски можно заменить другими и тем меня удовлетворить. Дело отца я бы очень хотел посмотреть, но мое собственное мне сейчас намного нужнее.

Да, да, поникли мои собеседники обреченными головами, они меня очень хорошо понимают.

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРГЕЕВ

Нет, правда, всего лишь несколько строк, а смотришь на них, и, как на переводной картинке, проступает изображение. И чем дальше трешь, тем яснее.

От Лубянки до дома (у метро «Проспект мира») я шел пешком, по дороге разглядывал полученные бумаги, думал и понял, откуда взялся «Гранин». В шестьдесят девятом году в журнале «Грани» (Франкфурт-на-Майне) была опубликована первая часть «Чонкина», отчего пошли первые крупные неприятности, откуда, конечно, и псевдоним. Значит, и дело должно было быть заведено примерно тогда же.

Вторая бумага тоже была интересной. Оказывается, новое дело (четыре тома) было заведено во время моего первого приезда из-за границы. Я приехал в марте восемьдесят девятого, пробыл здесь два месяца, и к концу моего пребывания они открыли новое дело, тем самым показав, как они понимали перестройку и какой демократии собирались служить. А я-то думал: надо же, какая свобода! Что хочешь, то говори! Я тогда так расслабился, что в одном журнале спросил, а где тут у вас можно две страницы моей статьи скопировать. Они сначала оторопели — эвон у иностранца какие привычки, копию ему надо сделать! — а потом засуетились: сейчас, сейчас, у Верченко подпишем, у Кобенко завизируем и — сколько вам копий? одну? две?

Я думал — свобода. По клубам выступал, по улицам ходил, язык за зубами не держал, и, оказывается, совершенно напрасно — тру-

женники невидимого фронта уже клепали на меня новое дело. Правда, в акте сожжения написано, что там в основном материалы радиоперехвата, но кто заподозрит чекистов, что они обязательно напишут правду? А что сказать о времени сожжения? 20 августа 1991 года, на второй день путча, сжигались бумаги только потому, что не представляют оперативной и исторической ценности? Есть ли на свете хоть один простак, который в эту глупость поверит? Я бы еще поверил, если бы 20 августа они жгли все подряд, но если выборочно, то, без сомнения, только то, что содержало самые жгучие их тайны. Речи по радио «Свобода» или мои выступления перед московской публикой 1989 года вряд ли были достойны первоочередного внимания.

А еще вот что. Помните, кто подписал второе постановление? Подполковник Сергеев. А чья закорючка украшает постановление, вынесенное в сентябре 1990 года? Да все того же Сергеева. Значит, в девяностом году одно дело он уничтожал, а второе продолжал пополнять. Для чего?

Оставим этот вопрос открытым.

Придя домой, я позвонил Краюшкину и сказал, что по моим сведениям псевдоним «Гранин» был мне придуман в шестьдесят девятом году. Таким образом я хотел внушить ему мысль, что имею доступ к иным источникам.

ХОЧЕШЬ, Я РАССКАЖУ ТЕБЕ ПРО СВОЮ СЕМЬЮ?

— Вы попались! — сказал я Сергею, выделенному мне в качестве инстанции, через которую можно задавать вопросы и получать ответы.

— Что вы имеете в виду? — спросил он.

— Объясняю. То, что вы мне будете говорить, я обязательно опишу. С максимальной точностью. То есть как вы скажете, так точно я и запишу. Вы при этом можете обманывать меня сколько хотите. Но обмануть и меня, и всех читателей, вы же понимаете, вам не удастся. Значит, Сергей Сергеевич, что? У вас есть выбор из трех вариантов. Вариант № 1. Вы признаете, что я прав, и показываете мне соответствующие документы. Вариант № 2. Вы говорите, что я не прав, и мою неправоту подтверждаете документами. Разумеется, не фальшивыми, фальшивые в любом случае будут разоблачены. И вариант № 3, который вы уже задействовали. Вы будете врать, но тем самым докажете, что я прав. Вариант № 4 попробуйте сами изобрести.

Должен отметить, что Сергей Сергеевич человек умный, он понимает, что и я кое-что соображаю. И помимо прямой полемики вводит в оборот тонкий подтекст. Я, например, говорю, что мои отравители в связи с моим делом были наказаны. Он сразу улавливает, что здесь спрятано косвенное доказательство, — раз наказаны,

значит, было за что. И проведя, видимо, маленькое исследование, в следующий раз мимоходом бросает, что нет, они наказаны не были. Все мои соображения, как я понимаю, Серега честно переправляет по инстанции. А потом получает ответ и передает его в своей обработке.

Между прочим, дело моего отца, заведенное в тридцать шестом году, отыскалось. Разыскать дело было трудно, но Серега, проведя большую работу, обнаружил его почему-то в Ташкенте. Хотя велось оно в свое время в Москве и в Душанбе. Где бы ни было, а все-таки не пропало. Оперативной ценности оно больше не представляет (объект операции следователям уже недоступен), насчет исторической не знаю, а почему-то все-таки не сожгли. Две папки документов были доставлены в Москву, и два дня в кабинете Наги-на я с ними знакомился. Документы эти стоят отдельного описания, которое и будет исполнено за пределами этой работы.

Пока я читал документы и делал мелкие записи, Серега заваривал кофе (ничего туда, похоже, не подсыпая) и рассказывал мне о себе.

Родился он в 1956 году (как раз когда я приехал в Москву пробиваться в писатели). Кончил (коллега) педагогический институт, лингвист (а не конструктор), здесь занимался графологией, кроме того, был контрразведчиком, я не понял: сначала графологом, а потом контрразведчиком или наоборот. И где, кстати, он учился на контрразведчика? В пединституте или самообразованием постигал? Рассказывал о своей семье, от которой сильно оторван работой. Приходится очень много заниматься реабилитационными делами, поисками пропавших американских летчиков и много еще чем по принципу «никто не забыт, ничто не забыто». Домой приходит поздно, уходит рано, дети его совсем не видят, уже младший сын старшего папой зовет.

Говоря о семье, вдруг спохватывается и смеется: «Ах да, я забыл, вам уже говорили: «Хочешь, я расскажу о своей семье».

«Да, — говорю, — правильно, именно так говорили. А еще говорили, мы, мол, совсем не такие, как раньше, мы вообще по профессии инженеры-конструкторы и сюда попали случайно».

Так вот время проводим в шутках.

О недавнем прошлом своей организации Серега сокрушается. Был здесь всего лишь один очень плохой отдел, а из-за него у всего КГБ такая ужасная репутация. Ну те «орлы», из 5-го управления, примитивные были люди, топорно работали и грубые слова говорили, а ведь словом можно убить человека.

— Ну да, — говорю, — можно словом. Но еще надежнее бутылкой. Как, например, Константина Богатырева. Вы слышали про Богатырева?

— Нет, не слышал.

Иногда сам между делом интересуется подробностями моей биографии: «А у вас за границей с ЦРУ не было контактов? Правда, не было?»

Иногда он мне советует про все просто забыть.

— Что было, то было, — говорит он философски, — чего там зря прошлое ворошить?

— Понимаете, Сергей Сергеевич, — пытаюсь я объяснить, — многие люди всегда меня считали честным и правдивым человеком. За что мне иногда приходилось претерпевать разные жизненные невзгоды. За это же ваши люди меня отравили, да еще подрывали мою репутацию, изображая меня чокнутым и лгуном. А моя репутация так дорога, что я уступить ее вам никак не могу.

Кроме встреч в кабинете мы время от времени переговариваемся по телефону. Серега всегда на чеку:

— Владимир Николаевич, а что это у вас там в телефоне шуршит? Вы магнитофон, что ли, включили?

— А почему это вас беспокоит? Вы же со мной не тайно разговариваете.

Тайно не тайно, но бдительность не ослабляется. Поскольку мы на время связались одной веревочкой, я решил пригласить Серегу на свой телевизионный вечер в Останкино. Он пригласительный билет взял, но не пришел. Я спросил почему. Серега честно объяснил: начальство не рекомендовало. Поскольку выступающий известен своим вздорным характером (даже о том, что его отравили, не может никак забыть), от него можно ожидать любой экстравагантной выходки. А вдруг, вперив свой взор со сцены и выставив вперед указательный палец, завопит: вот он, кагэбэшник проклятый, тащите его и вяжите. И это при всем народе, при свете юпитеров, под прицелом всех телекамер...

— Слушайте, — говорю я, — а правда, что ваш министр очень большой виртуоз по части тирки спины начальству?

Что касается магнитофона, то я, правда, его не включаю. Мне играть в шпионы не интересно, да и не нужно. Маленький диктофон я приношу на Лубянку, чего не скрываю. Переписывать отцовское дело трудоемко, я кое-что наборматываю на пленку.

Через пару недель после нашей первой встречи в КГБ Серега принес мне домой вот что:

СПРАВКА

1 октября 1973 года 5-м управлением КГБ СССР было заведено дело оперативной проверки № 3385 на Войновича Владимира Николаевича.

Материалы этого дела 3 марта 1977 года приобщены к вновь заведенному делу оперативной разработки № 11049 на Войновича В.Н.

Указанное дело оперативной разработки в 10 томах уничтожено 10 января 1991 года управлением «3» КГБ СССР.

*Центральный архив Министерства
безопасности Российской Федерации
(круглая печать)*

«31» марта 1992 года

Подписи — никакой.

Чуть ли не всю жизнь у меня была репутация человека доверчивого, иногда даже слишком доверчивого, а тут восстал во мне Станиславский и говорит: не верю!

С 1966 года, повторяю, подписывал я всякие письма, в шестьдесят восьмом толокся среди диссидентов у здания, где судили Гинзбурга и Галанскова, в том же году стал одной из жертв идеологического постановления ЦК КПСС, когда были запрещены все мои вещи и по всей стране (в некоторых случаях с большим скандалом) закрывались спектакли по моим пьесам. В семидесятом году меня допрашивали в прокуратуре по делу Андрея Амальрика, два года спустя в Лефортовской тюрьме по делу Якира. В шестьдесят девятом году в «Гранях» был напечатан «Чонкин», в семидесятом я за это получил строгий выговор. Неужели все эти годы никакой материал на меня не собирался и ни в какую папочку не складывался? Это в нашем-то полицейском отечестве?

Но сомнений в данных, отраженных справкой, я ее составителям решил не выражать. Главным моим интересом было все-таки отравление в «Метрополе».

3 апреля я записывал свое телевыступление перед публикой в студии Останкино, а четвертого уехал в Германию.

Приехав через месяц, опять знакомился с делом отца и этой частью работы удовлетворен полностью. В это же примерно время на приеме у английского посла встретил Вадима Бакатина. Спросил его, думает ли он тоже, что дело мое сожжено, он сказал: «Да, да, я сам лично проверял, ваше дело действительно уничтожено».

Может быть. Хотя, насколько мне известно, Вадима Викторовича в бытность его председателем КГБ подчиненные обманывали так же, как меня. Может быть, чуть потоньше. Дело можно сжечь, и прах его развеять по ветру, но все следы преступления убрать невозможно, их должно быть слишком много.

НАМ ПОКАЗАЛОСЬ

Во время работы с делом отца Серега сказал мне, что меня скоро пригласят к начальству, кое-какая работа проделана, люди, о которых речь, разысканы, оба живы-здоровы, один последние годы служил в Караганде, там дослужился до генерала, вышел на пенсию, другой продолжает нести свою службу, он допрошен, все полностью выяснено.

— И что именно выяснилось? — спросил я.

— Владимир Николаевич, вам все скажут, но что касается того дела, то теперь ясно, — разводит руками и улыбается, — вам просто показалось.

— Правда? — Один человек (будет скоро назван) еще в 1976 году убеждал меня, что мне показалось, но он был детектив-любитель,

а Серега, хотя и с педагогическим образованием, ничего не скажешь, профессионал.

— Конечно, показалось, — говорит Серега, улыбаясь смущенно. — Это понятно, Владимир Николаевич. В такой ситуации любому могло показаться. А впрочем, что я буду говорить, скоро вы во всем сами убедитесь.

Я не стал спорить. Решил подождать. Повторяю, я был готов узнать и подтвердить любую правду. Сразу бы не поверил, но, поверив, отрицать бы не стал.

ЧАЕПИТИЕ НА ЛУБЯНКЕ

Вот наконец Серега позвонил и сказал, что руководство ждет меня в понедельник 8 июня.

В понедельник я прийти не мог, был в Риге. Вернулся во вторник, девятого. Позвонил Краюшкину. Оказалось, он и есть руководство. Договорились встретиться. В два часа я подошел к пятому подъезду, где меня ждал Нагин. Прошли в кабинет Краюшкина, просторный, с длинным столом для совещаний, с теми же портретами Ленина и Дзержинского на стене.

Мрачный не улыбочивый майор, очевидно, секретарь Краюшкина, принес нам по чашке крепкого чаю. Я подумал, не предложить ли из озорства Краюшкину поменяться чашками, но решил этого не делать, понял, что шутка будет воспринята слишком серьезно.

— Ну вот, — торжественно прижмурил глазки Анатолий Афанасьевич, — мы для вас, Владимир Николаевич, поработали и вот что нашли.

На этот раз в папке лежала уже целая пачка бумаги, листов, может быть, тридцать. Какие-то выписки, которые Краюшкин хотел мне прочесть вслух, но потом дал все же в руки, хотя переписывать не позволил. Выписки были, как я понял, из ежемесячных отчетов, очевидно, этого самого пятого управления КГБ высшему руководству.

Времени на прочтение их у меня было немного, к тому же два собеседника сидели над душой и не уставали мне что-то рассказывать (Краюшкин о том, как во времена застоя спасал своего бывшего учителя от наказания за то, что тот одобрительно отзывался о загранице), так что изучить читаемое не было никакой возможности, да, впрочем, это было и не столь интересно.

В выписках много того, что в народе называется туфтой. То есть заведомое преувеличение объема и качества проделанной работы. В данном случае для того, чтобы удовлетворить начальство, надо представить ему, с каким важным и опасным врагом они имеют дело. Например, сообщается об усилиях по раскрытию псевдонимов, под которыми я печатался на Западе, хотя я ни на Западе, ни на Востоке никогда псевдонимами не пользовался, не считая очень короткого периода в 1959 году. Тогда, работая в многотиражке

«Московский водопроводчик», я часто подписывал свои фельетоны фиктивными именами или именами своих друзей. (Наиболее часто употреблялся псевдоним «О. Чухонцев», после чего иногда приходили опровержения типа: «Товарищ Чухонцев не вник, товарищ Чухонцев не разобрался, товарищ Чухонцев пренебрег мнением партийного руководства». Я пересылал эти отзывы Олегу Чухонцеву и на редакционном бланке писал, что, если товарищ Чухонцев не сделает определенных выводов, редакция будет вынуждена от его услуг отказаться.)

Отчеты общие. В некоторых случаях моя фамилия (вернее, кличка) должна стоять рядом с другими, но вместо других — многоочка. Выглядит это примерно так: «... марта «Гранин» встречался с ... и имел с ним беседу о ...» Впрочем, вот и реальная фамилия упомянута, а я ее вымышленной заменю, ну, допустим, Коробкина.

Я сначала удивился, что еще за Коробкина?

Потом вспомнил.

ГЛАЗА, ГЛАЗА, ВЕЗДЕ ГЛАЗА

Если не ошибаюсь, в семьдесят четвертом году пришло (с оказией, естественно) известие от Наума Коржавина, что в Москву с коротким визитом прибывает Беатрис Коробкина и ее следует принять хорошо. Сочетание имени и фамилии меня заинтриговало, я стал ожидать не то чтобы с нетерпением, но с любопытством, представляя себе некую тощую старуху из первой эмиграции, нет, конечно, не княгиню и не графиню (титулованных особ с такими фамилиями не бывает), но, может быть, вдову какого-нибудь деникинского или врангелевского полковника (почему-то именно полковника), говорящую на хорошем старомодном русском языке с американской интонацией.

Потом были междугородный звонок и несмелый мужской голос: «Чи вы нэ знаетэ, когда приедет тетя Триша?» На мой вопрос, а кто ее спрашивает, было отвечено: «Родичи с Армавира».

Теперь воображаемый образ Беатрис слегка сместился в сторону вдовы какого-нибудь казачьего есаула.

Впрочем, я ни о какой Беатрис не думал, когда в телефонной трубке возник однажды сиплый и встревоженный женский голос, который сказал:

— Валодья, я есть Триша. Хади на мена.

В тон ей я спросил:

— Куда на теба хадить?

— Хотел Юкрэйн.

— Кто хотел? — не понял я.

— Хотел Юкрэйн, — повторила она, и я, слегка поднапрягшись, понял, что «хотел» это отель, а «Юкрэйн» — «Украина», куда меня и просят прибыть как можно скорее.

Я приехал на такси, поднялся на какой-то этаж, нашел нужную комнату, там было несколько американок и среди них одна лет сорока, высокого роста и совершенно невероятных объемов, какие были нередки среди американцев в те времена, когда они в огромных количествах пожирали поп-корн (особенно в кинотеатрах) и еще повально не озаботились подсчетом калорий на этикетках.

Не знаю, то ли я ей был предварительно отрекомендован как свой человек, то ли состояние было такое, но Триша кинулась ко мне, словно к родному:

— Ой, Валодья, я так не уметь, я так не хотеть. Тут везде глаза. Глаза, глаза, везде глаза.

Что еще за глаза? Оказывается, глаза, которые смотрят на нее из-за всех углов.

«О, Боже! — подумал я. — Не успела приземлиться, а уже магия преследования».

Было странно, что такое большое существо и так беспокоится о каких-то глазах.

Триша приехала на неделю с группой туристов, и я стал ее успокаивать, что, как члена группы, ее никто не посмеет тронуть. Это был бы слишком большой международный скандал.

Потом предложил ей поехать к нам.

Она вытащила из-под кровати две огромные сумки с застежками-молниями, одна сумка, синяя, была для нас и наших друзей, а другая, черная, с нарисованным на ней тигром, для родичей «Армавира».

В гостинице «Украина» лифты просторные, но в дневные часы набиты бывают битком. И в нашем, пока мы в нем спускались, уплотнение с каждым этажом нарастало. Триша, оказавшись зажатой посередине, с откровенной подозрительностью разглядывала всех стоявших вокруг нее.

Не оставила своим подозрением и шофера такси, который нам тут же попался, как только мы вышли наружу. Он оказался лихач, каких за пределами нашей страны я потом ни разу не встречал. Он так несся по всей Москве и с таким визгом лысых шин поворачивал, что Триша приняла его за коммунистического камикадзе, который решил сам погибнуть, но и эту представительницу американского империализма угробить (я в этом раскладе вообще был не в счет). Не желая смиряться с уготованной участью, Триша всю дорогу визжала и хватала меня за руку.

Дома из содержимого синей сумки, вываленного на пол посреди моей комнаты, образовалась целая гора всякого барахла, где, кроме прочего, было несколько норковых шкурок. Кто-то из новых эмигрантов, желая помочь материально своим невыехавшим родственникам или друзьям, открыл, что шкурки, которые стоят в Америке три доллара штука, можно с большим прибытком продавать здесь. Наум Коржавин значительную часть своих скромных доходов тратил тоже на эти шкурки, посылал детям и друзьям, в их

числе и нам, которые, по его представлению, нуждались в материальной поддержке. Принимать это барахло было неловко, а что делать, если власть обрезала все пути к легальным заработкам и костлявую руку голода избрала одним из главных своих помощников в борьбе с инакомыслием?

Писатели, художники и ученые (иногда выдающиеся), отстраненные от всех возможностей заработать на кусок хлеба, принимали подарки, а порой и собственные гонорары (которые официально не проходили) разными вещами, как-то: приемники, магнитофоны, часы, калькуляторы, ну и носильные вещи, стыдясь своего униженного состояния и становясь потом жертвами фельетонистов, измывавшихся над отщепенцами, что продают родину за джинсы, дубленки и даже (как было написано про Юрия Орлова) за кальсоны.

Был период (к счастью, короткий), когда мы тоже получали подарки для продажи через комиссионку, но потом у меня оказались какие-то (даже приличные) гонорары в долларах, которые я обменивал на рубли по тогдашнему (казавшемуся очень выгодным) «черному» курсу один к четырем, так что потом все диссидентские годы мы нужды не знали и за чужой счет не жили.

Триша рассказала, что в аэропорту содержимое ее сумок было осмотрено очень тщательно, каждую тряпку таможенники подробно прошупывали, но бывшего при ней письма Коржавина не нашли. Теперь оно было вручено адресату, то есть мне, и из него я узнал, что Триша — жена Вани Коробкина, простого русского мужика, который в свое время сапожничал в Армавире, а теперь тем же самым занимается в Бостоне. А в промежутке были война, плен, власовская армия, лагерь перемещенных лиц и перемещение в Америку, полное приключений. (Тогда, между прочим, прочтя коржавинское письмо, я и подумал: вот она, возможная судьба Чонкина.)

Ванино власовское прошлое, наверное, и было причиной внимательного наблюдения за Тришей.

Триша была учительницей в средней школе и получала зарплату по тем временам хорошую — семьсот долларов в месяц. Ваня тоже зарабатывал неплохо. У них был свой дом, две машины и... она охотно перечисляла свое имущество, в котором очень важное место занимала почему-то софа.

Все русские сумасшедшие. Ваня говорит: «Хочу на родину. Прогоним коммунистов, сразу вернусь домой».

Она говорит: «Куда ты вернешься, куда поедешь? Здесь у тебя дом, машина, софа, а там что?»

У меня к тому времени была описанная в «Иванькиаде» двухкомнатная квартира, хорошая, некоторые американцы говорили, что такая на Манхэттене стоила бы (тогда) сто тысяч долларов.

— Сколко комнат? — спросила Триша — Два? — И сделала презрительную мину. — У меня восемь. Два левела*, восемь комнат.

* Level — уровень (англ.).

Она никак не могла понять этих русских и меня спрашивала:

— Валодья, почему вы не захочешь иди на Америка?

Я ей объяснял (не очень серьезно): родина, родная речь, березки. Она фыркала: «Думаешь, в Америка нет березка? В Америка есть все. В Америка есть дуб, есть секвойя, палма, береза — все есть».

Ей не нравилась группа, с которой она приехала, ее не интересовала программа, предложенная Интуристом: Кремль, ВДНХ, Елоховский собор, Архангельское, Загорск и что-то еще. Кроме того, каждый выход за пределы нашей квартиры давал новую вспышку мании преследования. Но проведя у нас целый день, она успокаивалась и мягчела. На ночь я отвозил ее в гостиницу, а утром, когда приезжал, она выскакивала из номера в ужасе. Опять ей мерещились «глаза, глаза, везде глаза».

На третий день после ее приезда появилась и представительница «родичей с Армавира», дочь Ваниного брата Нина, молодая блондинка в лыжном костюме, с комсомольским значком на плоской груди.

Сумку с тигром Триша Нине почему-то сразу не отдала. Но днем они вместе ходили в магазин «Березка», где для Нины и ее семьи была закуплена уйма разных подарков, в том числе и книга «Мастер и Маргарита», в то время мало кому доступная. Потом, уже у нас дома, Нина с вожделием перебирала покупки, а «Мастера и Маргариту» протянула мне: «Возьмите, это нам не нужно».

Недооценивая тетины познания в русском, Нина говорила прямо при ней: «Она некультурная. Ничем не интересуется. На выставку достижений не хочет, в метро не идет...»

Триша смотрела куда-то в сторону, словно не слушала и не слышала, но вдруг вставляла: «Сабвей из сабвей»...

Нину эти вставки не смущали, она продолжала обсуждать недостатки Триши при ней, словно она глухая.

— Ничего не хочет. Она ж училка, ей предлагают школу образовую осмотреть, шо вы думаете? — отказалась...

— Скул из скул, — пробурчала Триша.

— Они вообще отсталые, — продолжала Нина. — Дядя Ваня тоже совсем чеканулся. В Бога верует, вы представляете?

Триша вдруг заволновалась, вызвала меня в коридор и возбужденным шепотом спросила:

— Валодья, шьто, Нина тоже есть камьюнист?

Я сказал, что да, это вполне возможно. Она в ужас всплеснула руками. Я спросил: «А что вас удивляет? Разве вы не знали, что в этой стране есть коммунисты?» «Ай-яяй! — Триша схватилась за голову. — Хочу летай дом, Америка, Бостон».

Вечером Нина уезжала назад в Армавир. Когда пришло вызванное такси, я, собравшись помочь Нине, взялся за две сумки, но Триша вдруг подскочила ко мне и сумку с тигром вырвала.

— Разве это не для Нины? — спросил я.

— Нет, нет, — сердито сказала Триша, — это не для Нина, это я знаю для кто.

Возникло некоторое замешательство. Усадив Нину в такси, я поднялся к себе и услышал от Триши, что она не хочет таскать через океан вещи для коммунистов и просит меня отдать их кому-нибудь из диссидентов.

В ту ж ночь в гостинице у нее разыгрался тяжелейший приступ астмы. Должно быть, на нервной почве. Ира по ее звонку приехала к ней, вызвала врача, тот явился с огромным шприцем. Триша следила за его действиями с ужасом, предполагая, что сейчас ей вклатят цианистый калий или проколют этим шприцем насквозь.

Уколы (их было несколько) давали только временную передышку, состояние больной ухудшалось. Она уже не могла к нам ездить, но и в гостинице оставаться боялась. Поэтому Ира, оставив ребенка со мной или с бабушкой, приезжала к Трише, дежурила у нее в номере. Накануне отлета я пришел к ней, она, лежа на спине, задыхалась, закатывала глаза и вообще была синяя. Я спросил, может быть, попробовать переменить билет на более позднюю дату. «Ну! — просипела она в ужасе. — Мэйби я умирай, но я умирай ин американская аироплэйн».

Потом я часто рассказывал о смешной толстой* американке, которой по приезде в Москву всюду мерещились «глаза, глаза», а теперь, читая гэбистские отчеты, узнал (но не удивился), что мерещенье это было прямым отражением яви.

ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ

В тех же, кажется, выписках мелькнуло один раз имя другой американки, Виктории Шандор. Я и в этом случае не сразу сообразил, о ком речь. А когда сообразил, вспомнил, как вскоре после метропольского приключения кто-то из знакомых передал салатного цвета и не нашего производства тонкую книгу, на обложке которой были фамилия автора Алла Кторова и название «Лицо Жар-Птицы». Я тоже думал, старая эмигрантка, а прочтя, увидел, что это о нашей если не сегодняшней, то вчерашней московской жизни, тонко, со вкусом, с деталями, нюансами и с ностальгией по исчезнувшей с лица Москвы улице Соломенная Сторожка.

Я прочел книгу, написал несколько одобрительных строк автору, получил радостный ответ, а вскоре объявилась и сама Алла Кторова (настоящее имя Виктория Качурова), женщина по тем временам необычной и романтической судьбы.

В пятидесятых годах, будучи переводчицей Интуриста, она встретила, полюбила и была полюблена известным американским летчиком, героем войны, с большими трудностями оформила брак

* Несколько лет спустя, оказавшись в Бостоне, я встретил Тришу и не узнал. Она долго держала диету, что ей пошло на пользу во всех отношениях, даже в отношении астмы.

и с огромным скандалом покинула родину, по которой потом всегда скучала. Теперь явилась с подарками, с письмом Косте Богатыреву от Романа Jakobсона (который знал адресата с момента его рождения в Праге пятьдесят лет назад), с желанием общаться со всеми моими друзьями и с просьбой пригласить в гости друга ее детства Шуру Межирова.

По случаю приезда столь именитой гостьи был, конечно, закачен пир горой с присутствием постоянных участников наших застолий Сарновых, Корниловых, Богатыревых, моего нового друга Вали Петрухина и — по желанию гостьи — поэта Александра Межирова.

О Вике все уже были весьма наслышаны и теперь расспрашивали наперебой, как и где она нашла этого летчика, сколько в ее квартире комнат, какой длины у нее машина и неужели правда, название ее улицы состоит из одной буквы «О»?

Костя радовался письму не забывшего его Jakobсона (которого между тем, как и всех прочих структуралистов, называл говнодом), был восхищен знакомством со столь необыкновенной иностранкой, выражал желание продолжать общение путем переписки и, будучи в ударе, рассказывал свои «швейковские» истории, которые с ним случались не реже, чем с Гришкой Агеевым.

Одна случилась сравнительно недавно: ему вдруг пришла из военкомата повестка — явиться для прохождения медицинской комиссии. Костя, будучи пуганой (и сильно) вороной, от властей ничего хорошего не ожидал, а от военкомата тем более. Обычно он волновался, что его рано или поздно посадят досиживать неотбытый двадцатипятилетний срок, а тут забеспокоился, что забреют в армию. И поехал держать совет к своему другу Геннадию Снегиреву. Тот уловил проблему с полуслова и посоветовал «косить на психа»:

— Пойдешь в военкомат, возьми с собой большое блюдо. Ты придешь, они тебя спросят: «Зачем блюдо?» Ты скажи: «А просто так». Я, например, в военкомате перед стенгазетой, как перед зеркалом, причесываюсь.

Блюдо Богатырев не взял и причесываться перед газетой постеснялся. Прошел терапевта, хирурга и рентгенолога и наконец явился в кабинет психиатра.

— Захожу, сидит такая пышная дама, я еще дверь не успел открыть, а она уже кричит: «Только не вздумайте строить из себя психа». «А я, — говорю, — и не думаю». Она смягчилась: «Садитесь, на что жалуетесь?» «Ни на что не жалуюсь». «А почему у вас руки дрожат?» «А руки, — говорю, — у меня потому дрожат, что меня однажды приговорили к смертной казни». «Вас? К смертной казни? За что?» «За террор», — говорю. «Что вы выдумываете? Какой еще террор?» «Террор, — объясняю, — это когда кто-нибудь кого-нибудь убивает». «И вы кого-то убили?» «Нет, я только собирался убить Сталина». Она как услышала слово «Сталин», сразу притихла и стала что-то писать. Написала, подняла голову и спрашивает: «Значит, вы не хотите ехать на терсборы?» «Терсборы? — переспросил я

в ужасе. — Это что же? Сборы террористов?» Она посмотрела на меня, вздохнула и говорит: «Идите, вы свободны». Так я на терсборы и не попал и только потом узнал, что это территориальные сборы.

После Костиного рассказа начался всеобщий галдеж, а Межиров вполголоса стал мне рассказывать о своей поездке в Индию и о том, как, будучи в Дели, купил журнал «Континент» и в гостинице прочел не отрываясь мой рассказ об отравлении в «Метрополе».

— Я, — сказал он, как всегда заикаясь, — б-был просто п-п-потрясен. Замечательно написано, удивительная ты-бочность деталей. И вы знаете, что я п-по-нял?

— Что? — спросил я нетерпеливо, готовый услышать ослепительную догадку.

— Я п-п-понял, что ничего этого не было.

— Как не было? — удивился я. После всех высказанных похвал вывод был слишком уж неожиданный.

— А вот так — не было.

— Вы хотите сказать, что я все это выдумал?

— Ни в коем случае. Вы ничего не выдумали, но у вас оч-чень развито х-художественное воображение.

Тем временем общий разговор уже свернулся на популярную и тогда тему, что в этой стране жить попросту невозможно, и гостье были заданы вопросы, еще не подразумевавшие никаких серьезных намерений, но и не из праздного любопытства: а можно ли там жить на гонорары, и трудно ли выучить английский язык, и действительно ли в Нью-Йорке большая преступность, и сколько приблизительно стоит подержанный «кадиллак».

Гостья разволновалась и стала страстно всех убеждать:

— Не надо никуда ехать. Вы что? С ума сошли? У вас так хорошо! У вас такое глубокое эмоциональное, интеллектуальное общение! Вы этого нигде не найдете. Нигде, нигде. Ну будет у вас там дом, машина, большой холодильник, но такого уровня общения вы не найдете никогда и нигде.

Богатырев был потрясен речью Вики и во многом с ней согласился, но, забежав ко мне на другой день, чтобы уточнить ее вашингтонский адрес, сказал:

— В чем-то она, конечно, права, и мне туда ехать не обязательно, но тебе об этом стоит подумать, потому что они тебя здесь убьют.

Недели через три после этого разговора его череп был проломлен тупым предметом, завернутым в ткань.

ПОД ВЛИЯНИЕМ МНИТЕЛЬНОСТИ

Читая выписки, я нашел в них несколько докладов о принятии мер по недопущению моего общения с иностранцами и к воспрепятствованию передаче на Запад изготовляемых мною клеветнических материалов.

Насчет второго скажу чуть ниже, а общение с иностранцами они иногда предотвращали, и героем самого знаменательного случая был опять Евгений Александрович Евтушенко. Я не виноват, что это имя упоминается в моих записках столь часто, поэт наш сам в свое время постарался (и очень!), чтобы остаться в моей памяти таким, каким предстает на этих страницах.

Так вот. В 1979 году, если не ошибаюсь, летом приехали в Москву именитые американские писатели Вильям Стайрон, Эдвард Олби, кажется, Джон Апдайк и кто-то еще — не помню. Я ими особенно не интересовался, поскольку знал, что они приехали не ко мне. Ира, Оля и я жили в это время на даче, они безвыездно, а я мотался туда-сюда. И однажды в Москве явился ко мне первый секретарь американского посольства Игорь Белоусович* и спросил, не могу ли я принять эту делегацию у себя дома. Конечно, я мог. Для меня такая встреча была не просто интересной, но и важной с точки зрения безопасности: признание меня иностранными знаменитостями как-то все-таки защищало меня от слишком уж грубых действий КГБ.

Я поехал на дачу, привез домой дочь и жену, был приготовлен ужин, назначенный на семь часов вечера, с нашей стороны явились все те же Корниловы, Сарновы, Петрухин. Мы сидели, как говорится, с мытыми шеями, а заокеанские гости запаздывали. В девять часов мы сели ужинать сами, а в одиннадцатом часу ввалилась большая компания американцев, я пытался понять, кто из них Стайрон, кто Олби, оказалось — никто. Узнаваемым оказалось только одно лицо — Игоря Белоусовича, а все остальные были его коллеги из посольства. На мой вопрос, а где же писатели, Игорь смущенно объяснил, что всех их увел Евтушенко. Он сказал им, что я бездарный писатель, плохой человек, вообще не заслуживаю никакого внимания, увез их в Переделкино и ночью на могиле Пастернака при свете луны поил гостей водкой и читал, завывая, стихи, свои, а не Пастернака.

Бывали и другие случаи отваживания от меня иностранцев. С незначительными обращались попроще: одному прокололи шины, другому, встретив его в подворотне, обещали переломать ноги, одну итальянку (о ней ниже), не разобравшись, в чем дело, стукнули чем-то тяжелым по голове.

А вот доклады насчет передачи мною на Запад клеветнических материалов — это уж чистая туфта. Если они действительно старались воспрепятствовать передаче мною чего-то на Запад, им эту задачу за все годы ни единого раза выполнить не удалось, и трудно понять почему. Изо дня в день они не спускали с меня глаз, днем и ночью за мной ездили, по крайней мере, в двух автомобилях с четырьмя пассажирами в каждом, следили за мной и за всеми, кто

* Его вскоре обвинили в том, что он агент ЦРУ, и объявили персоной нон грата.

меня посещал. Тем не менее я, будучи не очень-то ловким конспиратором, передал на Запад сотни разных материалов своих и чужих, и всегда беспрепятственно, сам удивляясь тому, что так все выходит. Один только роман Василия Гроссмана (больше тысячи страниц) я переправлял за границу трижды. Почему они ни разу не предотвратили подобную переправку, представить себе не могу, при всем моем низком мнении о них, мне не казалась такая задача для них непосильной.

Отчеты о том, как *они* со мной боролись, напомнили мне давнюю историю, которую я, может быть, где-то уже пересказывал. Сто с лишним лет тому назад революционер-народник Петр Алексеев после десятилетней каторги отбывал в Якутии ссылку. Однажды в тайге, на пути из одной деревни в другую, он встретил двух якутов, которые убили его в целях грабежа. Преступление оказалось бессмысленным: в заплечном мешке Алексеева не было ничего, кроме краюхи хлеба. Тогда, чтобы извлечь из совершенного дела хотя бы косвенную выгоду, убийцы (они были, конечно, поэтами) сочинили песню, как в дремучем лесу встретили страшного русского богатыря, вооруженного до зубов и, подобно дракону, изрыгающего огонь. Как вступили с ним в неравную схватку и в конце концов одолели. Они исполняли свое сочинение, переходя из деревни в деревню. В одной из деревень полицейский исправник, послушав песню, тут же арестовал сочинителей по подозрению в убийстве, в котором они вскоре признались уже в прозаической форме.

Подобным же сочинительством всегда занимались чекисты, и в моем случае тоже.

Но вот наконец дошел я до самого главного. В отчете за май семьдесят пятого года сообщается, что «Гранин» был вызван для бесед (множественное число), во время которых обещал изменить свое поведение и даже принял меры к приостановке какой-то своей публикации. А дальше цитата (я позвонил специально Нагину и попросил продиктовать мне дословно самый для меня важный абзац): «Гранин» под влиянием своей мнительности, под воздействием Сахарова сделал заявление западным корреспондентам, в котором искаженно изложил содержание бесед с ним оперработников. Материалы доложены руководству КГБ и управления».

Не знаю, возлагали ли мои собеседники на этот абзац какие-то надежды, если возлагали, то зря. Потому что абзац ничего не опровергает. Во-первых, никакого воздействия Сахарова на меня не было, наоборот, в данном случае я на него и на Елену Боннэр воздействовал, попросив их на квартире собрать пресс-конференцию. А что касается моей мнительности, то даже здесь сказано, что я всего лишь искажил содержание проведенных со мною бесед. Пусть будет так. Я стенограммы не вел, записывал все по памяти, был, допускаю, не везде и не совсем точен. Но ведь речь идет не о точности передачи бесед, а совсем-совсем о другом. Я этих людей называю преступниками, я их подозреваю в покушении на убийство

или, по крайней мере, в попытке превратить меня в калеку. Но об этом нигде ни единого слова нет.

Когда я высказал свое отношение к этому месту, Краюшкин почему-то занервничал и даже попробовал меня немножко пошантажировать.

— Вы, конечно, можете держаться своей версии, я вас ни в чем не пытаюсь переубедить. Можете печатать что угодно, но ведь и мы могли бы кое-что напечатать.

— Что именно?

— А вот, например, то, что вы обещали изменить свое поведение.

— Ах, это! — сказал я. — Ну во-первых, это ложь. Я обещал изменить свое поведение, но только при условии, что власти изменят свое. Кроме того, если бы и обещал, было бы не стыдно. Стыдно было бы сдерживать обещание.

Это нервничанье и попытка шантажа доказывают, по крайней мере, косвенно, что старые секреты нынешним чекистам все-таки раскрывать очень не хочется.

На этом маленьком столкновении наш спор обесмыслился. Никаких достойных доверия доказательств моей неправоты мне представлено не было, а без них о чем же спорить?

С УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СКАТИЛСЯ

Я уже собрался уходить несолоно хлебавши, унося с собой лишь некие новые соображения, когда Краюшкин меня остановил:

— А все-таки мы вам кое-что дадим. — Опять раскрыл ту же папку и вручил мне копию письма Андропова в ЦК КПСС «О намерении писателя В. Войновича создать в Москве отделение Международного Пен-клуба», уже известное читателю.

Не знаю, что думали они, готовя мне этот подарок, но он, мне кажется, стал достойным украшением нашей оперативной подборки. Во-первых, он мне напомнил о некоторых моих потугах насчет создания Пен-клуба, не пошедших, впрочем, дальше разговоров. Во-вторых, он показывает, насколько все советские инстанции снизу доверху занимались не только дезинформацией противника, но и друг друга.

Я помню уважительные слухи, что КГБ поставляет в ЦК так называемые «объективки», то есть беспристрастную информацию. Я в это никогда не верил. Я всегда знал, что феномен советской системы в том и состоит, что низы лгут верхам, верхи низам и сами от низов требуют лжи. Об этом можно судить даже и по этому письму Андропова. Пытаясь истолковать мои действия в наиболее выгодном для себя свете, он злонамеренность и серьезность моих действий сильно преувеличивает.

Хотя я в те времена говорил с разными людьми (не только с Сахаровым, но и с Генрихом Бёллем) о создании Пен-клуба, мы

все пришли к выводу, что дело это нереальное, и на том остановились.

У меня был приятель Игнаций Шенфельд, польский литератор, просидевший в советских лагерях семнадцать лет. До шестьдесят восьмого года мы во время приездов его из Польши встречались несколько раз в Москве, а потом он эмигрировал на Запад, и я о нем долго ничего не слышал. Но в семьдесят четвертом один-единственный раз он позвонил мне по телефону из Германии с советом печатать «Чонкина» в издательстве не «Люхтерханд», а «Шерц», которое больше платит. А Андропов из этого звонка сплел преступную связь с польским эмигрантским центром.

Но заглянем в конец письма.

«С учетом того, что Войнович скатился... мы имеем в виду вызвать Войновича в КГБ при СМ СССР и провести с ним беседу предупредительного характера».

Если бы имелась в виду только беседа (пусть даже с угрозами), председатель КГБ и член Политбюро вряд ли должен был об этом кому-то докладывать. Тут важна заключительная строка: «Дальнейшие меры относительно Войновича будут приняты в зависимости от его реагирования на беседу в КГБ».

Вот это оно и есть!

Андропов предупреждает ЦК, что меры против меня будут приняты. Чтобы потом не было лишних недоумений. Решить вопрос о вызове в КГБ мог бы кто-нибудь и намного ниже Андропова. А применить против меня специальные меры террористического характера он сам никогда не решился бы. Об этом надо поставить в известность более высокое начальство и разделить с ним ответственность.

Доставшаяся мне копия сделана с экземпляра № 2.

Думаю, что номером два для Андропова был Михаил Андреевич Сулов, а первый экземпляр был послан человеку номер один, то есть лично нашему дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу.

ЧУЖИЕ ДЕТИ РАСТУТ БЫСТРО

Придя к неким доморощенным умозаключениям, я позвонил своему другу, известному юристу, посвященному в мои поиски. Я спросил его, не считает ли он письмо Андропова косвенным доказательством моей правоты и того, что Андропов готовился к каким-то очень необычным мерам против меня. Мой друг сказал, что письмо интересное, возбуждает определенные подозрения, но доказательством все-таки не является. Предварительное извещение ЦК доказывает только, что мой предстоящий вызов считался важным событием, но, может быть, лишь потому, что я был к тому времени, как выразилась тогда же «Немецкая волна», «небезызвестным между тем человеком». Даже рутинный вызов меня в КГБ мог

стать причиной некоего шума на Западе, о чем Андропов считал нужным предупредить ЦК.

— Допустим, — согласился я. — Но вот Андропов пишет, что дальнейшие меры относительно меня будут приняты в зависимости от моей реакции на вызов в КГБ. Как ты считаешь, это он написал просто так или действительно собирался принять меры, и если да, то какие?

— Но тебя же выгнали из СССР. Разве это не меры?

— Ты думаешь меня сразу выгнали?

— А разве нет?

Чужие дети растут быстро. Сколько раз читал про себя в газетах рассказы, как я рассердился, хлопнул дверью и немедленно отчалил на Запад и с тех пор попрекаю всех, кто примеру моему не последовал. А на самом деле еще и после отравления меня пять с половиной лет выпихивали всякими способами, и в числе прочих самыми безобидными были регулярные визиты нашего придурковатого участкового, который спрашивал меня, почему я нигде не работаю, то есть угрожал обвинением в тунеядстве. На пять почти лет был выключен телефон, было прокалывание шин и еще много чего, включая нападение псевдохулиганов. В 1977 году в горах Бакуриани ко мне и моему другу, физику Вале Петрухину, привязались четыре человека, выдававших себя за местных греков. Началось со встречи в хинкальной, с потчевания вином и с тостами в честь дорогих гостей. Через два дня был затеян спор об идейной ущербности сочинений Солженицына (оказалось, что «греки», живя между скал, творчество Солженицына штудировали, и очень внимательно). Через три дня вечером на идеологической почве состоялась драка, из которой я вышел со сломанной ногой, но и «грекам» одного из своих пришлось увести под руки, сам он идти не мог. Я никогда в жизни не умел, не любил и не хотел драться, а тем более с применением подручных средств. Но эта драка произошла уже после моего отравления в «Метрополе», после убийства Кости Богатырева, после еще многих событий, которые меня очень ожесточили. Я знал, что передо мной не доморощенные хулиганы, а настоящие бандиты, которые не остановятся перед тем, чтобы исколечить меня и Петрухина или даже убить. И что наше возможное непотивление (на него они, очевидно, очень рассчитывали) было бы для них подарком, которого они не заслужили. Сюжет драки развернулся очень остро, и нападавшим вскоре пришлось подумать, что дело у них казенное, а головы все же свои. И они с проклятиями удалились в темноту — трое, ведя под руки одного. После этого меня физически никто не трогал, но случались нападения на тех, кто меня посещал, и на тех, кто посещал не меня. Итальянская славистка Серена Витали побывала в гостях у моего соседа Виктора Шкловского, а когда вышла и села в троллейбус, была стукнута по голове чем-то тяжелым, завернутым в газету, при этом ей было сказано: «Еще раз придешь к Войновичу, совсем убьем».

Для того чтобы читателю этих строк были более или менее понятны условия моей тогдашней жизни, приведу еще один документ из своего эпистолярного наследия.

*Министру внутренних дел СССР
Н.А. Щелокову
от писателя Войновича В.Н.*

ЗАЯВЛЕНИЕ

14 февраля с.г. к моим родителям в городе Орджоникидзе Днепропетровской области явился милиционер и потребовал, чтобы мой отец немедленно шел вместе с ним в милицию. Пока отец собирался, милиционер обшарил глазами всю квартиру, заглянул в комнату, где после сердечного приступа лежала моя мать, и спросил: «Это кто там лежит? Ваш сын?»

Затем отец, старик с больными ногами, был доставлен пешком в местное отделение милиции, где начальник отделения и какой-то приезжий в штатском объявили ему, что 3 февраля я пропал без вести и меня, по всей вероятности, нет в живых.

Через две недели после этого известия мать моя умерла.

Теперь я узнал, что сведения о моей смерти работники милиции одновременно распространили и среди других моих родственников, живущих в разных городах Советского Союза.

Между тем никаких оснований для беспокойства за мою жизнь у работников милиции не было и быть не могло, хотя бы потому, что 4 и 5 февраля ко мне приходил участковый уполномоченный и интересовался, на какие средства я живу. О том, что я нахожусь в Москве в своей собственной квартире, было хорошо известно начальнику 12 отделения милиции и тем шпикам, которые круглосуточно толкуются в подворотне моего дома.

Я хотел бы знать, для чего была устроена эта гнуснейшая всесоюзная провокация и кто был тот недочеловек, который ее придумал. Я требую привлечь этого бандита к ответственности, а если он параноик, то подвергнуть его принудительному лечению как социально опасного.

Если я не получу от вас вразумительного ответа в установленный законом срок, я буду считать, что ответственность за эту провокацию вы взяли на себя.

17 марта 1978 г.

(подпись)

Ответа я, конечно, не получил. Но мне было сделано много намеков, чтоб убирался подобру-поздорову, намеком был и организованный КГБ вызов из Израиля для меня и ближайших родственников, который я изорвал и выкинул в мусор, позаботившись, чтобы они это отметили.

В те времена меня навестила какая-то еврейская активистка с вопросом, не желаю ли я написать какую-нибудь статью для «самиздатского» журнала «Евреи в СССР». Заодно рассказала, как ее вызывали в КГБ и угрожали, что посадят, если она не убавит своей активности. Я ей сказал, что статью сейчас писать мне некогда...

— ... А месяца через два-три почему бы и нет, если за это время вас, или меня, или обоих еще не посадят.

— А вас-то за что? — посмотрела она на меня, оскорбившись, что я ставлю себя на одну доску с нею.

— А вас за что? — спросил я.

— Меня, — сказала она с большим самоуважением, — за то, что я хочу уехать.

— А меня за то, что я хочу остаться.

Но я сильно отвлекся, прошу прощения, и возвращаюсь к моему другу-юристу, который, бывши свидетелем моей тогдашней жизни, удивился, что я не сразу после отравления уехал, но все же настаивал на том, что письмо Андропова ничего не доказывает. Ну собирались принять меры, ну передумали или отложили на после.

— Но материалы, которые ты собрал, — сказал мне мой друг, — приводят к другому, более серьезному доказательству. Представим себе, что тебя действительно всего лишь вызвали, поговорили, поугадили и отпустили. Но ты вдруг устраиваешь такой скандал. Пресс-конференция на квартире Сахарова, открытое письмо Андропову, прямое выступление по «Немецкой волне», публикация в «Континенте». И вот тут уж я не могу поверить, чтобы столь серьезное обвинение не обеспокоило ни КГБ, ни ЦК. И не могу себе представить, чтобы из ЦК не последовало запроса Андропову, а Андропов не вызвал этих людей и не потребовал у них письменного отчета в том, что именно они с тобой сделали. Если твое отравление выдумка, то эти люди, вероятно, доложили бы, что с тобой проведена предупредительная беседа, но никакие специальные средства воздействия не применялись. Такой отчет мог быть не затребован только в том случае, если Андропов знал, что то, что ты пишешь, — правда.

ЛАПШУ НА УШИ

Переважив всю полученную мною информацию, я позвонил Сергею и спросил, как бы мне опять встретиться с Фроловым.

— Владимир Николаевич, — удивился Серега, — а разве вы не поняли, что Василий Алексеевич не хочет с вами встречаться?

— Нет, не понял. А почему же он не хочет со мною встречаться?

— Он считает, что все доказательства вам предъявлены, и отчет об этом будет направлен президенту. Президент дал указание, и мы должны отчитаться.

— Хорошо. Я со своей стороны тоже пошлю отчет президенту и в связи с этим хочу спросить: мне предъявлены доказательства чего? Моей мнительности?

— В общем да.

— Вы хотите, чтобы и я с вами согласился?

— Это было бы разумно.

Спорить с ним было бессмысленно, но он был передаточное звено и в качестве такового выслушивал меня внимательно, мои аргументы, как я заметил, улавливал и, надеюсь, передавал их дальше без искажений.

— Сергей Сергеевич, — воззвал я к его здравомыслию. — Вы человек умный и, пожалуйста, подумайте вот о чем. Предположим, я вам поверил, и в отчете о своих розысках привел все предъявленные мне аргументы, и написал, что эти аргументы убеждают меня в том, что в семьдесят пятом году меня никто не травил, а вся описанная мною история есть плод моей мнительности. Это будет похоже на правду?

— Мне кажется, что да, — сказал Нагин.

— А как вы думаете, читатели мне поверят?

— Конечно, поверят! — отозвался он охотно и с надеждой.

— Нет, — сказал я, — не думаю. Читатели тоже не дураки. Я с вами спорить больше не буду, но прошу передать Фролову следующее. Факт, что мои дела сожжены, я допускаю с сомнением. Утверждение, что они сжигались, как не представляющие ценности, просто лживо. То, что последнее дело сжигалось (наверное, в спешке) 20 августа 1991 года, говорит о том, что оно содержало наиболее чувствительную информацию, КГБ спешно заметал следы своих преступлений. Но не думаю, что полностью замел. В то, что не сохранилось никаких следов операции, проведенной 11 мая 1975 года, не верю. Не может этого быть. Если меня никто не травил, то свидетельства этого, наоборот, хранились бы очень бережно. Если меня никто не травил, то обязательно был какой-то запрос по этому делу и какой-то ответ. Неужели я поднял такой шум, и никто не поинтересовался: что это Войнович там плетет и что было на самом деле? Неужели никакого запроса ни из ЦК в КГБ, ни внутри КГБ от верхнего начальства к нижнему не было, никакого запроса и никакого отчета?

— Не было, — стоит на своем Серега. — Ну может, начальник управления позвонил ребятам: что, мол, там у вас случилось, они объяснили по телефону, и все. Что там особенно разбирать!

— Сергей Сергеевич, а почему бы вам этих «ребят» сейчас все-таки не вызвать и не спросить их, что именно они тогда со мной сделали?

Он вздыхает:

— Владимир Николаевич, ну как же мы их можем вызвать? Я же вам говорю, один вообще живет в Казахстане, то есть в другой стране, а второй...

— Что второй?

— Он все равно не скажет.

Тут уж и я вздыхаю:

— Сергей Сергеевич, разве у вас есть такие люди, которые вам не скажут, если вы захотите? Да что же он, стойкий такой диссидент? Муций Сцевола? Зоя Космодемьянская? Допросите как следует, и, я вас уверяю, все скажет.

Наш разговор был долгим, и я спросил:

— Сергей Сергеевич, а почему вы лично так уверены, что меня никто не травил? Вы считаете, что ваша организация вообще на такие дела не способна?

— Владимир Николаевич, я не буду отвечать на этот вопрос. Но так, между нами, я бы еще поверил, если бы с вами что-нибудь сделали во время оперативной разработки, но тогда разработки еще не было. Тогда еще было только дело оперативной подборки, а во время оперативной подборки... нет, это невозможно.

— Скажите, а вот дело Богатырева в какой стадии было, когда его трахнули по голове? Это уже разработка была или еще только подборка? Или вы думаете, что его стукнули не ваши?

— Я не знаю.

— Ну конечно, не знаете. А могли стукнуть или это тоже мои фантазии?

— На этот вопрос я тоже отвечать не хочу...

Тут, пожалуй, пришла пора рассказать об этом убийстве, которое когда-то взбудоражило многих, но прошло почти без огласки тогда и сейчас редко поминается.

УБИЙСТВО БОГАТЫРЕВА

26 апреля 1976 года (был второй день Пасхи) Константин Петрович Богатырев, ожидая кого-то в гости, около семи вечера, перед закрытием магазина, вышел из дому купить вина. Дома оставалась мать Тамара Юльевна, которой было к той поре лет около девяноста. Через какое-то время она услышала жуткий крик и, когда выглянула на лестничную площадку, увидела существо, которое, обливаясь кровью и пронзительно крича, ползло к ней от открытого лифта. Тамара Юльевна, перепугавшись, попятилась и хотела закрыть дверь, но существо, обхватив ее ноги, втащило вместе с ней в квартиру, вплыло в луже собственной крови, и только тут старуха сообразила, что существо было человеком, и больше того — ее сыном Костей.

«Скорая помощь» отвезла Костю в реанимацию. Там было определено, что голова его проломлена тупым предметом (возможно, бутылкой), завернутым в ткань.

С тех пор прошло много лет, подробностей того, как развивались события, я тогда не записал, боюсь, что никто другой этого

тоже не сделал, попробую восстановить то, что вспомнится, хотя и разрозненно.

Кто-то из врачей сказал, что удар был нанесен Косте явно профессионалом. Убийца знал точно, куда бить и с какой силой, но не знал только, что у убиваемого какая-то кость оказалась аномально толстой.

Нападение на Богатырева переполошило «весь «Аэропорт», то есть писателей, которые жили у станции метро с одноименным названием. Не то что бы им так уж была дорога жизнь Кости Богатырева, но нападение на него делало их собственное существование не столь безопасным, как казалось до этого. Брежневские времена отличались от сталинских тем, что борьба шла в определенных рамках: хватали, судили, сажали не без разбору, а только не соблюдавших основное правило поведения, которое на полублатном языке формулировалось так: сиди и не петюкай. Писатели это правило очень усвоили и не петюкали, сами себе внушая, что это непетюканье объясняется их несуетным обитанием в мире высших замыслов и сложных вымыслов, а если и в сферах более приземленных кого-то сажают, казнят или чего-то еще, то, видимо, эти люди сами на то напросились, по каким-то мазохистским и саморекламным причинам желая быть в числе сажаемых и казнимых. И вдруг всем дано было однозначно понять, что не только Костю Богатырева, а любого можно вывести из мира художественных вдохновенных видений с помощью бутылки, завернутой в мешковину, или другим примитивным (что оскорбительно) способом. Писатели всполошились и забубнили между собой, выражая тревогу и даже недовольство тем, что власти выходят за ими же установленные рамки и нарушают неписанный договор. Уже на другой день некоторые оторвались от письменных столов, нацепили на рукава красные повязки дружинников и пошли группами по три-четыре человека обходить подъезды и другие места, где может совершиться насилие. Конечно, не все были уверены, что нападение на Богатырева — дело рук КГБ, высказывались предположения, что он, может быть, в очереди за вином повздорил с какими-то алкашами или был прибит неразборчивыми грабителями, но пребывавшим в таком заблуждении сразу дали понять, чтобы они подобные глупости даже и в голове не держали. Критик Владимир Огнев был делегирован к Виктору Николаевичу Ильину. Судя по поведению Виктора Николаевича и некоторым его намекам, он с бывшим своим ведомством связи не потерял, поэтому в некоторых случаях к нему люди обращались не только как к секретарю СП, но и как к представителю органов. А он от имени органов отвечал. Как я слышал, разговор Огнева с Ильиным был примерно таким.

— Кому и зачем понадобилось убивать этого тихого, слабого, интеллигентного и безобидного человека? — спросил Огнев.

— Интеллигентный и безобидный? — закричал Ильин. — А вы знаете, что этот интеллигентный и безобидный постоянно якша-

ется с иностранцами? И они у него бывают, и он не вылезает от них.

Даже в те времена, когда у людей мозги были сильно сдвинуты, многие понимали, что наказать человека за якшание с иностранцами, может, и следует, но убивать — это все-таки слишком и уж. Во всяком случае, назначать за якшание смертную казнь вряд ли станет обыкновенный бандит.

Это странное высказывание Ильина укрепило многих в подозрении, что убийство было политическое и совершено, скорее всего, КГБ, сотрудники которого и дальше не только не пытались отрицать свою причастность к событию, а наоборот. Как мне в «Метрополе» кагэбэшник подмигивал, намекая: мы, мы, мы убили Попкова, так и здесь они настойчиво, внятно и грубо наводили подозрение на себя.

Тогда, рассказывали, к лечащей докторице пришел гэбист и, развернув красную книжечку, спрашивал, как себя чувствует больной, есть ли шансы, что выживет, а если выживет, то можно ли рассчитывать, что будет в своем уме.

— Ну если останется дурачком, пусть живет, — сказал он и с тем покинул больного.

Жена Кости Елена Суриц ходила в Союз писателей, кажется, к тому же Ильину, он и с ней разговаривал грубо и раздраженно, вникать в дело отказывался, и это тоже укрепляло людей в тех же подозрениях.

Следствие велось с демонстративной небрежностью и словно бы понарошку. Придурковатый участковый Иван Сергеевич Стрельников обошел нескольких знакомых Богатырева и задал им по несколько глупых вопросов. Никаких серьезных следователей, а тем более следователей по особо важным делам никто, кажется, и не видел, а здесь им было бы самое место. Я дружил с Богатыревым более или менее близко, меня о нем никто ни разу не спросил. Хотя я в то время был уже как бы вне закона и власти меня игнорировали, но все же ради такого из ряда вон выходящего случая они могли и должны были как-нибудь проявиться. Вряд ли я дал бы сколько-нибудь полезные показания, но в случае убийства, да еще столь неясного, с необнаруженными убийцами, следователь не имеет права упускать никакой ниточки. Здесь же было очевидно, что идет не выяснение истины, а что-то другое.

Кагэбэшники не только старательно намекали на свою причастность к убийству, но похоже было, что даже сердились на тех, кто пытался отвести от них подозрение.

Лев Копелев, например, был уверен — и уверенность эту громко высказывал, что убийство Богатырева — это обыкновенное уголовное дело. Так ему, жившему на первом этаже соседнего с Костиным дома, в один из ближайших вечеров вышибли окно кирпичом, чтобы не молол челухи и не наводил людей на ложный след.

Костя в самом деле общался, и очень много, с иностранцами, у него я встречал американцев и англичан, но в основном его друзья были немцы. С немцами он водился потому, что был переводчиком с немецкого, потому, что обожал немецкий язык, немецкую литературу и самих немцев, и потому, что немцы время от времени дарили ему дорогие книги, а отношение к книгам у него было своего рода помешательством. Книги чужие он брал охотно, но своих не давал никому не то что насовсем или на время, но даже дотронуться не позволял. Особенно те, дорогие, присланные или привезенные ему из-за границы. Он очень любил хвастаться этими книгами и охотно их показывал, но всегда только из своих собственных рук. Да и сам часто, прежде чем взять книгу, мыл руки, как хирург перед операцией. Друга с немцами, он порой просил их передать кому-то какое-то письмо, обычно свое, иногда чужое. Его собственные письма, я думаю, были весьма безобидного содержания, да и другие письма тоже вряд ли угрожали безопасности Советского государства. Я сам для отправки писем пользовался Костиным посредничеством раза два-три, не больше.

Формально говоря, диссидентом он не был. В свое время он подписал несколько писем протеста, и последнее было против моего исключения. Но на этом он и остановился. И если возникала ситуация, что мне при нем приходилось подписать что-нибудь эдакое, он подходил ко мне и, волнуясь, говорил: «Знаешь, я это подписать не могу, ты на меня не сердись», а я сердиться вовсе не думал. Мне эти письма самому надоели, но я их чаще всего подписывал, стесняясь отказать и еще потому, что мне терять уже было нечего.

Если в КГБ на него и злили, то, может быть, только за то, что он вел себя с их точки зрения независимо, не по чину. Не спрашивая начальства и не пытаясь угадать его мнение насчет того, с кем можно общаться, с кем нельзя и с кем о чем говорить. Поэтому у него и было много друзей среди иностранцев и опальных соотечественников, в их число входил Андрей Дмитриевич Сахаров, у которого Костя часто бывал.

Жертва была выбрана очень точно.

Костя был одновременно и многим знаком, и мало известен. Ясно было, что слух о его убийстве разойдется далеко и в то же время слишком большого шума не будет. Кроме того, это убийство покажет колеблющимся, что с ними может быть, если они будут себя вести так, как он.

Богатырев умер 18 июня. За все время нахождения в реанимации он почти не приходил в сознание, а когда приходил, то ничего вразумительного о происшедшем сказать не мог. Только однажды вроде бы прошептал жене: «Ты не представляешь, какие страшные вещи они мне сказали». Впрочем, очевидно, страшнее было не то, что они сказали, а что сделали.

Хоронили его на Переделкинском кладбище, неподалеку от Пастернака. Отпевали в тамошней церкви. Священник, желая, види-

мо, заодно обратить к религии столпившихся в церкви безбожников, сказал над гробом, что религия и наука друг другу нисколько не противоречат, существование Бога и потусторонней жизни подтверждено современными открытиями, и прежде всего теорией относительности Эйнштейна.

Он говорил долго. Не дождавшись конца проповеди, я вышел наружу. У церкви стояло большое количество иностранных автомобилей, а среди советских марок были «волги» и «Жигули» прикативших на шабаш гэбистов. Сами они толкались среди народа и прятались, как обычно (это я уже не первый раз такое видел), словно черти, в кустах.

Среди людей, стоявших в церкви и около, было много известных. Ко мне подошел корреспондент «Франкфуртер альгемайне цайтунг» Герман Пёрцген с блокнотом и стал спрашивать: «Рядом с Сахаровым это кто? Боннэр? А Ахмадулина с кем? С Мессерером? А Чуковская тоже приехала? А Евтушенко здесь нет?»

Недалеко от входа в церковь на лавочке сидел Александр Межиров. Я его спросил, почему не видно Евтушенко.

— А в-вы не б-бе-спо-по-койтесь. Как только п-оявятся телевизионные камеры, так возникнет и Евтушенко.

Меня поразила точность предсказания. Когда начали выносить тело из церкви, появилась команда телевизионщиков, я вспомнил слова Межирова и стал искать глазами Евтушенко. Но найти его оказалось легче легкого: он был первым среди несущих гроб и, наверное, на каких-то экранах показан был крупным планом в качестве главной фигуры события.

Гроб несли по узкой, кривой и склизкой дорожке, кагэбэшники с шорохом сыпались из кустов и, направляемые неким предводителем, который был хром и с золотыми зубами (что делало его еще больше похожим на черта), щелкали затворами фотоаппаратов с блицами (чтобы было заметнее) и снимали происходящее кинокамерой, часто приближая ее вплотную к лицам наиболее им интересных людей.

Многочисленность народа и присутствие кагэбэшников делали обстановку нервной, было предощущение того, что вот-вот произойдет что-нибудь крайне непристойное, может быть, даже и страшное.

Начались речи. Не помню, кто что говорил. Я до того ни разу ни на чьих похоронах не выступал и в этот раз не собирался. Но присутствие кагэбэшников и их разнузданность подтолкнули меня. Я подошел к краю могилы и сказал примерно вот что:

— Когда-то Константин Богатырев был приговорен к смерти за покушение на Сталина, на которого он не покушался. Потом он был помилован, и смертную казнь ему заменили двадцатью пятью годами лагерей. Срок этот полностью Богатыреву отсидживать не пришлось, после смерти Сталина его освободили и реабилитировали. Но он, не очень доверяя судьбе, с тех пор постоянно ждал —

и это распространенный среди бывших лагерников синдром, — что его в любой день могут арестовать и отправить в лагерь для отбытия неистекшего срока. Совсем недавно мы, его друзья, в его квартире отмечали окончание этого срока. Мы еще не знали, что тот первый приговор к смертной казни кто-то восстановит и что он так скоро будет приведен в исполнение. Совершилось преступление, участники которого и тот судья, который выносил свой приговор, и те палачи, которые двадцать пять лет спустя его исполнили. Я думаю, что убийцы сейчас здесь, между нами. И я хочу им сказать, что, убивая ни в чем не повинного чистого человека, они к высшей мере наказания приговорили прежде всего самих себя. Они в себе убили все человеческое и перестали быть людьми.

Я закончил свою речь обычными в подобных случаях словами, что Богатырев останется живым в нашей памяти и в своих стихах.

После чего один из поэтов сказал, что насчет стихов я загнул лишнего, стихи у Богатырева слабые и о них лучше было не упоминать.

А один критик сказал, что после такой речи мне, пожалуй, самому не сносить головы.

А Евгений Евтушенко опять не упустил случая меня утрызть и сказал Владимиру Корнилову, что Богатырев был скромный порядочный человек, а Войнович превратил его похороны в политический митинг.

Последним выступал, если не ошибаюсь, поэт Виктор Урин. Он сначала прочел свои стихи по бумажке, а потом, когда опускали гроб, бросил бумажку в могилу.

Сейчас мне это не кажется удивительным, но тогда я не мог понять, почему убийство Богатырева вызвало такой слабый отклик на Западе.

Я внимательно слушал все западные радиостанции и только по «Немецкой волне» поймал невнятный рассказ упомянутого мною выше Пёрцгена о похоронах Кости. Даже не столько о самих похоронах, а о том, какие важные люди на них присутствовали.

Исключение кого-нибудь из КПСС, арест на пять суток часто вызывали на Западе гораздо больше шума, чем убийство этого невеликого и незнатного человека. Одному известному поэту месяцев восемь не давали разрешения на поездку в Америку, это по меркам цивилизованного общества было в самом деле большое безобразие, и о нем справедливо трубила вся американская и отчасти мировая пресса. А убийство Богатырева стало темой нескольких мелких заметок, и все.

Случай этот показал наглядно, что убийство внутри страны было для КГБ очень удобным, радикальным, дешевым и наиболее безопасным способом устранения политического противника или неугодного лица. Для того чтобы посадить человека в лагерь или в психушку, его надо арестовывать, вести следствие, ломать коме-

дию суда, писать статьи в газетах, отвечать на неприятные вопросы, отменять международные встречи или демонстративно покидать их с оскорбленным выражением на лице. А тут одна литая бутылка, один хороший удар, и — следов много (и это хорошо), но доказательств нет и не может быть никаких. Поэтому «мокрые» дела КГБ (на их языке, кажется, «активные мероприятия») за границей время от времени раскрывались (чаще, наверное, все-таки нет), а внутри страны никогда. Ни разу! Может быть, в тот самый день, когда хоронили Костю, или через какое-то время пришлось мне зайти в дом одного видного советского диссидента. У него на кухне сидела миловидная женщина, жена известного американского советолога, и даже не просто советолога, а ближайшего советника будущего президента Джимми Картера. Она пила чай с печеньем и благодарила о том, что в Советском Союзе постепенно дела сдвигаются к лучшему.

— В чем вы замечаете эти сдвиги? — спросил я ее.

— Ну например, у вас стало легче выезжать за границу, — сказала она и назвала упомянутого мною поэта, которому как раз в те дни дали паспорт на поездку в Америку.

И прогрессивная мировая общественность восприняла этот факт с чувством глубокого удовлетворения и с надеждой, что это есть хороший знак и признак постепенной либерализации советского режима.

А что касается убийства какого-то переводчика, то мало ли где, кого и за что убивают. Такое может случиться с кем и когда угодно, и не только с противниками КГБ. Виктор Николаевич Ильин был не противником, а сам собой олицетворял эту контору, но уже в благословенные перестроечные времена, приближаясь к девяноста годам, начал проявлять признаки старческой болтливости, что, может быть, и стало причиной отказа тормозов у грузовика, который сбил Виктора Николаевича, подмял под себя и размазал по асфальту липкое вещество, хранившее столько мудрых мыслей, важной информации и, может быть, даже несколько интересных догадок по поводу убийства Богатырева.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С СЕРЕГОЙ

Во многих детективных фильмах я видел, как попавшие в руки ФБР советские шпионы легко проходят проверку детектором лжи. Я в это охотно верю. Не только шпионы, а все советские люди поголовно прошли большую школу лжи, которой их обучали родители, детсадовские воспитатели, учителя, газеты, книги, радио, телевидение, парторги и лекторы из общества «Знание». А уж в школах КГБ — МБ, я думаю, курсант получает столь высокое образование, что смутить детектор лжи сможет только случайно проговоренной правдой.

Такая примерно мысль пришла мне в голову, когда я общался с теперешними кагээмбистами. Лгут в глаза, не краснеют, не стесняются и не смущаются, когда ловишь за руку. Впрочем, Серега немного смущался, но и смущение переносил мужественно.

Я очень просил его дать мне телефон Фролова, и он дал. Я позвонил, там мне сказали, что это телефон не Фролова, у Фролова другой телефон, но номер они мне сказать не могут. Я опять позвонил Сереге, он опять мужественно смутился:

— Извините, может быть, я ошибся. Сейчас я проверю.

Он позвонил по другому аппарату, я напряг ухо и услышал: «Что? Не давать? Хорошо. Понял». Вернулся к аппарату, связанному с моим: «Владимир Николаевич, у Фролова сейчас ремонт, и прямой телефон не работает, но вы можете попробовать соединиться через коммутатор...»

Ну что, должен был я ему сказать, что он врет?

Испытывать на лживость лубянский коммутатор я не стал и сказал Сереге, что общение с ним и вообще с Министерством безопасности прекращаю. Но напоследок прошу меня выслушать внимательно и передать мое мнение Фролову, что Министерство безопасности намеренно уклонилось от расследования, санкционированного президентом страны. Объяснения по поводу сложности расследования смехотворны и доказывают только то, что Министерство безопасности заинтересовано в сокрытии по крайней мере данного преступления (и других тоже) и укрывает преступников. Это очевидно мне, очевидно каждому непредвзятому человеку и очевидно будет всем читателям того отчета, который я составлю. Я предоставляю министерству последнюю возможность повлиять на содержание моего отчета и доказать, что оно отличается от КГБ и истины не боится. Предъявите, сказал я, мне какой-нибудь документ, запрос, отчет, рапорт, доклад 1975 года, содержащие ответ на мои обвинения. Если такой бумаги нет, пригласите меня и двух независимых экспертов (пусть одним из них будет Борис Золотухин), представьте экспертам те доказательства, которые вам кажутся достаточными (или объясните, почему их невозможно представить). Устройте очную ставку с «Захаровым» (если нельзя и с «Петровым»), и мы посмотрим, скажет он что-нибудь или не скажет, и, если не скажет, спросим, почему не говорит, а если скажет, подумаем, верить ему или нет.

Я дал Министерству безопасности достаточно времени, чтобы оценить логичность моих требований и сделать из этого нужные выводы. И один вывод они, видимо, сделали: что каждое их «доказательство» ставит их во все более глупое положение и лучше не говорить ничего, чем говорить что-нибудь. А тайна, которую я пытался у них выведать, настолько им дорога, что ради сокрытия ее они готовы выглядеть лгунами, мошенниками и саботажниками президентского указания.

ВСЕ ОБЩЕСТВО БЫЛО ОТРАВЛЕНО

Пытаясь добыть нужную мне информацию на Лубянке, я и других источников не чурался и от одного из них (он просил меня его не называть) узнал (через восемнадцать лет!) реальные фамилии моих отравителей. Того, кто когда-то назвался мне Петровым, в миру зовут Смолин Пас Прокофьевич (наверно, папаша был футбольный болельщик). На день моего отравления Пас Прокофьевич был начальником отдела, но не простого, а (если мой источник не ошибается) исследовательского. «При чем тут исследовательский отдел? — спросил я. — Разве мое отравление имеет какое-нибудь отношение к исследовательской работе?» «А как же! — возразил источник. — Конечно, имеет. Это же был как-никак научный эксперимент». Вскоре после моего отравления и, возможно, в связи с ним исследователь Смолин был от «научной» работы отстранен и переведен (наказание с повышением) начальником управления в Саратов (а не в Караганду), там и правда дослужился до генерала, вышел на пенсию и, должно быть, вернулся в Москву. А так называемый Захаров Геннадий Иванович в свое время особо не фантазировал, произвел свой псевдоним из фамилии Зареев, а имя и отчество оставил свои. Чем занимается Зареев сейчас, не знаю, но несколько лет назад он исправлял должность, которая в полном виде называлась «заместитель начальника Управления по экспорту и импорту прав на произведения художественной литературы и искусства ВМП». Это я узнал из газеты «Советская Россия» от 13 сентября 1987 года, где этот подборник прав призывал западных издателей сотрудничать с ВМП «на честной, справедливой и гуманной основе».

Наш рассказ подходит к концу, и пора украсить его последними небольшими открытиями.

В конце мая этого года в Москве проходила международная конференция «КГБ вчера, сегодня, завтра», самая удивительная из всех, на которых автору пришлось побывать. Участвовали бывшие диссиденты, журналисты, публицисты, члены правительства и работники КГБ — МБ, бывшие и теперешние. Бывшие свою прежнюю службу критиковали, но часто не с той стороны, с которой мне бы хотелось. Одного, экс-директора научно-исследовательского института КГБ СССР (наука там была поставлена сильно), руководство КГБ огорчало тем, что мало внимания уделяло научным исследованиям (а я думаю, хорошо, что мало, а то бы они нас всех перетравили). Другой говорил что-то о бюрократизме и карьеризме.

Нынешние работники ГБ — МБ свою службу и свои старые кадры оправдывали, говоря, что каждое государство нуждается в защите своей безопасности, а этим успешно могут заниматься только хорошо обученные и опытные профессионалы, то есть они же сами.

Теоретически я с ними согласен, но конкретно в профессионалах из КГБ сомневаюсь. Они в основном обучены и натасканы стря-

пать выдуманные ими же дела (часто на основе измышлений стукачей-любителей), они умеют заставлять людей клепать друг на друга и на самих себя, вымогать ложные показания, признания и покаяния, проламывать в подъездах головы слабых интеллектуалов и подсовывать отраву растяпе, которого можно отвлечь простейшим способом: смотри, вон птичка летит! А в то, что такие специалисты способны раскрывать реальные замыслы, бороться с реальными шпионами, террористами, диверсантами, я, правду сказать, не верю. Не говоря уже о том соображении (моральном и практическом), а можно ли доверять судьбу государства, еще не вставшего на ноги, людям, воспитанным на лжи, подлогах, коварстве и убийствах из-за угла?

На конференции «КГБ вчера, сегодня, завтра» я рассказал о своих поисках и находках. Я добросовестно перечислил все предъявленные мне доказательства моего неотравления и сказки про отдельную папочку, про то, что не осталось никаких следов и что Смолина нельзя найти, а Зареев не скажет. Доводы моих оппонентов компетентной публике в зале конференции показались столь неуклюжими, что, кажется, каждый из них она встречала громким хохотом. И не успел я сойти с трибуны, ко мне один за другим стали подходить кагэбисты-эмбисты и — один громко, другой шепотом, третий с оттаскиванием меня в сторону женского туалета — стали выкладывать, кто что знал. Они подтвердили, что в 1975 году мною занимались Смолин (тогда еще полковник) и Зареев (капитан). Причем Смолин на это опасное (для кого?) задание сам попросился (хотел небось уже тогда выбиться в генералы), а за ним, вероятно, еще стоял некто Цуркан (по описанию одного из информаторов «черный такой, похожий на цыгана, но вообще-то по национальности молдаванин»), специалист, как я понял, по травле людей химией. Когда меня в гостиничном номере травили, он, возможно, прятался там же за описанной мной занавеской или находился в другом номере, куда и выскакивал к нему Зареев за консультацией по ходу эксперимента.

Там же, в кулуарах конференции, я узнал, что яды и способы их применения против людей разрабатывались (ются) лабораторией № 12, которая находится где-то на 3-й Мещанской улице.

По окончании конференции был банкет, возлияния и братания всех со всеми. Ко мне подходили славные наши чекисты и просили поставить подпись, нет, не под протоколом допроса, а на моей книге, или на чужой, или на бумажной салфетке. Все они (кажется, даже без исключений) оказались читателями и почитателями моих книг и особенно «Чонкина», за которого в недавнее время по долгу службы могли бы и пришибить. Я смотрел на них с любопытством. Вроде люди как люди, и все-таки не совсем. Что бы они сейчас ни говорили, а в свое время (и некоторые по многу лет) занимались они тем, на что большинство людей не способны были никогда, ни при каких обстоятельствах. Что их туда привело? Сле-

пая вера в идеологию (которую они путали с идеалами)? романтика шпионской жизни? цинизм? карьерные соображения? Может быть, то и это, но многих, я думаю, вели туда просто преступные наклонности и возможность удовлетворять их без риска наказания. И покинули они свою контору тоже по причинам разного свойства. Кто (наверное, немногие) устыдившись этой службы (а как их отличить от других?), кто разочаровавшись, что она не дала им того, чего они от нее ожидали, а большинство, должно быть, по инстинкту крысы с тонущего корабля.

Как бы то ни было, теперь все были вместе, пили, закусывали, переходили от столика к столику.

В конце банкета я оказался за одним столом с бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным, которого не преминул спросить, что он думает по поводу моего рассказа.

— Ну что ж, — сказал Калугин, — по-моему, вы все точно определили. Против вас, вероятно, было употреблено средство из тех, которые проходят по разряду brain-damage (повреждение мозга). Такие средства применялись, и неоднократно. Например, с ирландцем Шоном Бёрком. Он сначала нам помог с Джорджем Блейком. С тем самым английским контрразведчиком, который стал работать на нас, был разоблачен и посажен. Шон Бёрк помог Блейку бежать из тюрьмы в Советский Союз и сам убежал вместе с ним. Но через некоторое время затосковал по родине и стал проситься обратно. Его долго уговаривали, чтобы он этого не делал, но он настаивал на своем. Тогда ему сделали brain-damage и отпустили. Пока он доехал до Англии, уже ничего не помнил. Только пил и в пьяном виде молот какую-то чушь, из которой никто ничего не мог понять. И вскоре умер. А еще есть такое средство, что, если им намазать, скажем, ручку автомобиля, человек дотронется до ручки и тут же умрет от инфаркта. Сначала такое именно средство хотели применить против болгарина Георгия Маркова, но потом побоялись, а вдруг кто-нибудь другой подойдет и дотронется.

Мы оба были навеселе, и я спросил: «А если другой дотронется и умрет, разве жалко?»

— Нет, конечно, — засмеялся Олег Данилович, — но каждый лишний случай употребления этого вещества увеличивает риск разоблачения. Поэтому подумали и додумались до стреляющего зонтика.

Я решил извлечь из нашей встречи максимальную пользу и спросил Калугина, что он думает по поводу убийства Богатырева.

— Не знаю, — сказал он, — не думаю, что его убили намеренно. Может быть, хотели как следует проучить, но перестарались.

Может быть. Хотя я помню рассказ об утолщенной кости, о предположении врача, что убийцы как раз недостарались, и об активном стремлении гэбистов записать убийство на себя.

Другой бывший гэбист, просивший его не называть, сказал, что он удивлен, как после отравления точно я оценил свое состояние и насчет сигарет тоже не ошибся. Он же предположил, что

средство, примененное против меня, не оказалось столь эффективным именно потому, что вводилось в организм через табачный дым, а не с едой или питьем. Но мои отравители работу со мной не считали оконченной, приглашал же меня «исследователь» Смолин встретиться еще через две недели. Однако после сделанных мною разоблачений получить санкцию на продолжение операции им уже, наверное, было непросто. Тут уж было бы все шито белыми нитками, а под таким шитьем ни Андропов, ни те, кому направлялись экземпляры его письма номер два и номер один, прямо подписаться, наверное, не хотели.

Выше я рассказал о признаниях хотя и компетентных, но не вполне официальных, а официальное вывел из хронологического ряда и приведу теперь.

Откровенно говоря, выступая на конференции, я думал, что и на этот раз мое заявление будет пропущено действующими кагэбистами мимо ушей, но вышедший в конце третьего дня на трибуну их представитель Юрий Короткий сказал легко и лирически слова, которые следует занести на скрижали, выбить на гранитном цоколе лубянской цитадели, ну а мы, в пределах наших возможностей, просто выделим их жирным шрифтом:

— Да, — признал Короткий, — **Войновича отравили, но ведь и все наше общество было отравлено.**

Я знаю одну очень глупую женщину, которая, не понимая связи явлений, пересчитывает в дни полочки тысячные купюры и огорчено вздыхает:

— Эх, кабы эту зарплату да лет десять тому назад при тогдашних-то ценах.

Вот и нам бы это признание да лет восемнадцать тому назад.

А впрочем, и сейчас оно полностью своей ценностью не утратило.

Насчет общества Юрий Короткий прав. Семьдесят лет в мозги общества средства типа brain-damage вводились с пищей, водой и воздухом и в виде пропаганды проникали через глаза и уши.

Что касается нашей конкретной истории, то за общее и запоздалое подтверждение ее Министерству безопасности спасибо, но желательно все же получить и прямой отчет с конкретными (а не вычисленными эмпирически) ответами на наши вопросы и указать поточнее, кто был инициатором описанной операции, какова была ее истинная цель, какое средство применено (химическая формула), кто разрабатывал и где (точно, а не приблизительно), против кого еще (не считая меня и Шона Бёрка) применялась подобная химия, в каких масштабах и дозах? Какие гарантии того, что в будущем травить нас не будут? Меня лично также интересует, а почему это министерство, которому я лично ни на грош не доверяю, само решает, какие тайны и как крепко хранить, почему оно не подчиняется президенту, почему уничтожаются архивы, кто на каком уровне решает их уничтожать и нельзя ли это остановить? Любопытно было бы узнать, почему заместитель министра (насчет

министра не знаю*) хотя и пришел из МВД, врет не хуже профессионального чекиста и зачем врет? Почему он не боится не исполнить указание президента страны? Значит ли это, что указание дано не всерьез или там не всерьез принимают самого президента? Любой ответ на этот вопрос приведет нас к выводу, что органы госбезопасности остаются зловещей силой, которая в нужный момент опять может быть направлена против нас. Я не знаю, чем принципиально отличается нынешнее МБ от бывшего КГБ (по-моему, только составом букв и ограниченностью — надежной ли? — возможностей), но рассказанная мною история уличает это министерство, по крайней мере, в сокрытии преступлений и укрывательстве преступников. А это само по себе преступление.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом я решил свое расследование прекратить. Суть дела ясна, а деталями пусть кто заинтересуется, тот и займется.

Какие-то люди советовали мне не останавливаться на достигнутом, разыскать своих отравителей (может быть, даже просто через справочное бюро), но я этого делать не стал. Мне с ними говорить не о чем. Мне они в самом деле ничего не скажут. В лучшем случае будут врать или, как выражаются уголовники, уходить в несознанку. Сказать правду они должны в кабинете следователя, а для него данный текст является достаточным материалом.

Тут мы приблизились к вопросу о том, как быть со всеми людьми, которые в недавнем прошлом управляли государством, служили в КГБ штатно или нештатно, судили невинных, писали клеветнические статьи, подписывали шельмующие письма, разбивали семьи, упекали людей в лагеря или в психушки, убивали ядом или бульжником. Как быть с ними со всеми? Судить? Простить? Забыть?

На конференции «КГБ вчера, сегодня завтра» обсуждался вопрос о люстрации, то есть об ограничении допуска бывших партийных функционеров, штатных работников КГБ и тайных осведомителей на важные государственные посты. Разумеется, самыми строгими критиками идеи люстрации стали как раз бывшие партийные воротилы и кагэбисты. Они поголовно считают, что люстрация антидемократична, негуманна и аморальна. Слушая приводимые доводы (и со многими соглашаясь), я подумал, что, наверное, наиболее решительными противниками смертной казни являются убийцы, ожидающие исполнения приговора. Противники люстрации говорили об опасности того, что люстрация очень легко может превратиться в «охоту за ведьмами», и это вполне вероятно — они

* Эти строки были написаны до снятия Виктора Баранникова с поста министра безопасности.

сами эту охоту возглавят и будут ловить не себя. На конференции много раз звучало слово «милосердие», употребляемое чаще всего всуе и не к месту и при полном непонимании его значения. Милосердие можно проявить к любому человеку, и даже к преступнику, и даже к самому страшному преступнику, когда ему грозит суровое наказание. Но господа любители афоризмов, запишите себе в блокнотик: *прежде чем проявлять к преступнику милосердие, его надо поймать*. А он хотя всем известен, но гуляет непойманный, охотно рассуждая об общей вине, которую он навсегда готов разложить на всех поровну.

В защиту нынешних кагээмбистов много раз приводился аргумент, что они есть просто некая, чуть ли не нейтральная, сила, которая раньше была направлена на защиту тоталитарного строя, а теперь с тем же успехом может защищать демократию.

Ну что ж... Говорят, в Индии дрессированные кобры, обвиншись вокруг стоек кроватей, надежно охраняют покой спящих младенцев.

Май 1975 — сентябрь 1993

ВОЙНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

(Полный биографический очерк)

Родился 26 сентября 1932 года в городе Сталинабаде, бывшем Дюшамбе, будущем Душанбе.

Отец журналист, мать еврейка.

Жил в трех странах будущего СНГ и в нескольких за пределами.

Будущему писателю не исполнилось еще и четырех лет, когда арестовали и посадили его отца. После чего наступило счастливое детство, за которое спасибо товарищу Сталину.

Благодаря дальнейшим заботам партии и правительства и в порядке приобретения жизненного опыта работал пастухом, столяром, слесарем, авиамехаником, железнодорожным рабочим, инструктором сельского райисполкома, редактором радио, профессором Принстонского университета.

Из десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года учился в Московском областном педагогическом пединституте (МОПИ) им. Н.К. Крупской, о чем воспоминание содержится в давнем стихотворении, посвященном поэту Олегу Чухонцеву, который тоже, как ни странно, учился там же:

Сперва учились вместе в МОПИ,
Теперь сидим обое в жо...
Прости, чего-то я не допил.
Допью и допишу ужо.

Служил в Советской Армии, где за четыре года прошел славный путь от рядового до рядового.

В армии, до и после нее из всех видов поощрений получал только одно: снятие предыдущих взысканий.

Писать начал поздно, имея от роду двадцать лет, и за прошедшие с тех пор еще два раза по столько извел на свои выдумки немало чернил и бумаги.

За усилия на данном поприще был избран в Баварскую академию изящных искусств, Сербскую академию наук и искусств, Французский Пен-клуб, американское общество Марка Твена, исключен из Союза писателей СССР, изгнан из Советского Союза и лишен советского гражданства (спустя много лет все эти взыскания были по традиции и постепенно сняты).

В течение жизни кое-что написал, кое-что напечатал и на что-то еще надеется.

СОДЕРЖАНИЕ

Происхождение автора	5
Предварительные рассуждения автора	8
Часть первая. ЖИЗНЬ	15
Молоткастый-серпастый	16
Хлеб наш насущный	19
Елки-палки	23
Кое-что о священных коровах	26
Без ленинской партии	29
Советская антисоветская пропаганда	33
Наш человек в Стамбуле	38
Кое-что о беглецах	43
Земляки	47
Медаль за бой, медаль за труд	50
Простая труженица	53
Ченчеватель из Херсона	57
Партийная честь	59
Как искривить линию партии?	61
Бесплатно	63
ДВС	71
Это что за раздолбай?	75
Ничего делать не надо	80
Воруй, да знай меру	81
Приличный молодой человек	81
Правила поведения	82
Пассивный сопротивленец	83
Советский антисоветский человек	86
Андрей Дмитриевич Сахаров	97
В маске кролика	100
Совершенно секретно!	103
Но паразиты никогда	106
Отечественная валюта	109
Электронный враг народа	114
Чеширский кот в дворянском собрании	119
Кому кого чему учить	125
Кому во что сморкаться	127
Два мира, два Шапиро	132

Часть вторая. ЛИТЕРАТУРА	139
Метро «Аэропорт»	140
Стенограмма заседания секретариата правления Московской писательской организации СП РСФСР	146
Товарищ Войнович, вернитесь!	156
Главный цензор	164
Выстрел в спину Советской Армии	169
Его Высокопревосходительство	172
Если враг не сдастся...	176
Цензура и рецептура	181
Правда факта и правда эпохи	182
Литература государственная и побочная	184
Дети оттепели	186
Советская литература на новом этапе	187
Крупный государственный деятель и большой писатель	187
Орден без справки	189
Чем продолжительней молчанье...	194
Герои и кавалеры	195
У вымени мертвой коровы	203
На пыльных тропинках	208
Часть третья. ПОЛИТИКА	221
Нулевое решение	222
На переговорах по разоружению	224
Как я ездил в Соединенные Штаты	228
Смешнее Джонни Карсона	231
В чем проблема?	235
Кто виноват?	236
Что делать?	239
Прогрессивный папа	239
Государев указ	244
Единственно правильное мировоззрение	248
Речь бюрократа	252
Еще один славный юбилей	255
Борьба лысых и волосатых	259
Давайте пофилософствуем	262
Речь о сионизме на расширенном закрытом заседании редколлегии журнала «Ваш соплеменник» с активом	266
Начало эпохи?	268
Сколько стоит Советский Союз?	270
Summit	275
Демократия не цель, а способ существования	279
Вам барыня прислала сто рублей	289

Часть четвертая. ДЕЛО № 34840	299
Введение в тему	300
Манциг цванциг	300
Есть желание встретиться	306
Со штатом охранников и овчарок	314
Засушил сухари	318
Иван Чонкин и Никита Струве	323
«Давайте издаваться здесь»	326
«За шапку он оставить рад...»	332
Гостиница «Метрополь»	339
После «Метрополя»	347
Доктор Аркадий Новиков	352
Андрей Амальрик любил денежки	354
Это уж слишком и очень смешно	355
Тот, который во мне не сидит	359
Убийство туриста в Нью-Йорке	362
Молчание золото	364
Резолюция президента	366
Семнадцать лет спустя на том же месте	367
Непоследовательный Сергеев	374
Хочешь, я расскажу тебе про свою семью?	375
Нам показалось	378
Чаепитие на Лубянке	379
Глаза, глаза, везде глаза	380
Лицо жар-птицы	384
Под влиянием мнительности	386
С учетом того, что скатился	389
Чужие дети растут быстро	390
Лапшу на уши	393
Убийство Богатырева	395
Последний разговор с Сергеем	401
Все общество было отравлено	403
Послесловие	407
Полный биографический очерк	409

РОССИЯ • XX ВЕК • НОВОСТИ ПРОШЛОГО
ПРОЕКТ 2001 ГОДА

Войнович Владимир Николаевич
Антисоветский Советский Союз
Документальная фантасмагория в 4-х частях

Редактор В.Т. Кабанов

ЛР № 061660 от 06.10.97 г.

Подписано к печати 10.07.2001 г.
Формат 60×90 $\frac{1}{16}$. Гарнитура Таймс.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 26.
Тираж 5000 экз. Заказ № 1558.

ООО Издательская фирма «Материк».
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 24, строение 3.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ордена «Знак Почета» Смоленской
областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 5-85646-060-X



9 785856 460604

В серии
РОССИЯ • XX ВЕК • НОВОСТИ ПРОШЛОГО
готовятся к выпуску в свет:

ПОХОДЫ И КОНИ.
Записки поручика Сергея Мамонтова.
1917-1920.

Через восемь десятилетий от описанных в этой книге событий российский читатель впервые познакомится с простым и точным рассказом о гражданской войне, написанным непосредственным ее участником, офицером Добровольческой белой армии. Он три года воевал на Северном Кавказе и Украине, на Дону и Кубани, а закончил свой страдный путь в Крыму, навсегда покинув Россию.

Бенедикт Сарнов.

НАШ СОВЕТСКИЙ НОВОЯЗ.

Маленькая энциклопедия реального социализма.

Как и все энциклопедии, эта книга построена по алфавитному принципу — от А до Я, только это не сухие энциклопедические справки, а живые — смешные и печальные — рассказы о том, как возникали, что должны были означать и что на самом деле означали такие привычные в недавнем прошлом выражения, как «Союз нерушимый», «Партия нас учит», «Социалистический гуманизм», «Морально-политическое единство», «Трезвость — норма жизни» и пр. И еще о том, как народ, оберегая себя от навязанного ему языка, высмеивал его в частушках, песенках и анекдотах.
С иллюстрациями.

РОССИЯ · XX ВЕК
НОВОСТИ ПРОШЛОГО



МАТЕРИК